Личное мнение

Личное мнение

СБОРНИК
ПИСАТЕЛЬСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ

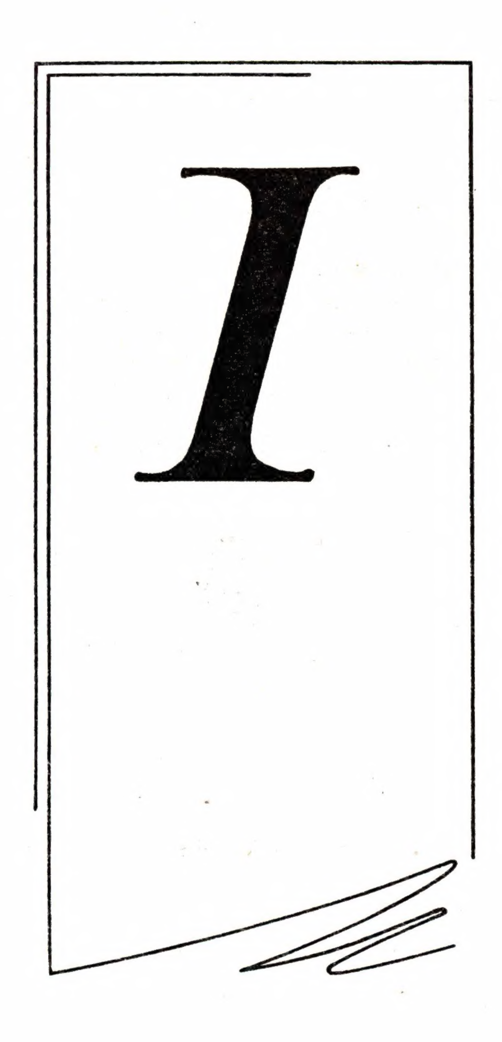
Москва
Советский писатель
1988

ББК 84 Р7
Л66

Художник
АНАТОЛИЙ МЕШКОВ

Л $\frac{4702010200-242}{083(02)-88}$ КБ–15–48–87

ISBN 5–265–00457–2



Принципиальным для нас является вопрос о **расширении гласности.** Это вопрос политический. Без гласности нет и не может быть демократизма, политического творчества масс, их участия в управлении. Это, если хотите, залог государственного, пронизанного чувством ответственности отношения к делу десятков миллионов рабочих, колхозников, интеллигентов, исходный пункт психологической перестройки наших кадров.

Иной раз, когда речь идет о гласности, приходится слышать призывы поосторожнее говорить о наших недостатках и упущениях, о трудностях, неизбежных в любой живой работе. Ответ тут может быть только один, ленинский: коммунистам всегда и при всех обстоятельствах нужна правда.

Из Политического доклада Центрального Комитета КПСС XXVII съезду Коммунистической партии Советского Союза.



Евгений ***ЕВТУШЕНКО***

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Понятия «народ», «человечество» состоят для нас прежде всего из личностей. Но не только из знаменитых, ибо знаменитые люди далеко не всегда лучшие представители своего народа, человечества.

Личное мнение иногда дорого стоит. Но без личного справедливого мнения нет личности, а без личностей нет народа. Личное мнение дорастает до народного, когда оно смело идет наперекор трусливой соглашательской обезличенности. Личное мнение дорастает до народного, когда в нем не личная корысть, а забота о народе. Личное мнение, заткнутое внутрь, саморазрушительно. Бесстрашно высказанное во имя других личное мнение создает личность. Такое личное мнение перестает быть чисто личным, а становится голосом всех других. Разумеется, лишь в том случае, если своим личным мнением не пытаются подавить все остальные мнения. Свежий ветер гласности — это и есть свобода творчества, но не в узколитературном смысле, а свобода творчества всего народа, включая и литературу. Сегодняшний свежий ветер состоит из личных мнений, как из дыхания множества людей, чье имя — народ. Но для того чтобы этот свежий ветер личных мнений не прищемили канцелярскими скрепками, нельзя мириться с любыми формами обезличенности.

На Севере над одним районным стадиончиком красовалась бестактно искаженная некрасовская цитата: «Спортсменом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан!» На слепых стенах новых зданий малевали и до сих пор малюют уродливые гигантские фигуры с бодрым псевдооптимизмом на лицах и с фальшиво увесистыми снопами и молотами в руках. В лучшем случае на эту

«агитацию» не обращают внимания, но в худшем случае она работает наоборот, порождая усмешечный скептицизм, а то и цинизм. Пора заменить косметическое декорирование реальности деловым решением реальных проблем. Таково сейчас главное направление нашей жизни. Некоторые ораторы, по старинке пытающиеся подмешать в деловой дух льстивый елей, по заслугам одергиваются. Назойливые апелляции «наверх» по поводу вопросов, которые при элементарной самодеятельности могут быть решены на других уровнях, натыкаются на справедливый, твердый совет «не взваливать все на плечи правительства», а решать самим. Обнадеживающее знамение нового времени — конструктивно-критический подход, осуждение приписочной парадности, развитие демократической гласности. Гласность немыслима без драгоценного права ненаказуемого личного мнения.

Если личное мнение ошибочно, то оно может быть и должно быть скорректировано мнением коллективным, но без грубого администрирования, без зажима — путем доказательного товарищеского убеждения. Но без права на личное мнение не существует коллективного мнения народа. Мнение народа — это не спущенный «сверху» циркуляр, а сумма именно личных мнений. Эту мысль когда-то гениально выразил Андрей Платонов: «Без меня — народ неполный».

Было время, когда поощрялось преувеличение роли лишь одной личности, а роль остальных сводили к печально пресловутой роли «винтиков». По одному-единственному мнению, зачастую некомпетентному, выверялась не только внутренняя и внешняя политика, но и биология, лингвистика, кибернетика, музыка, литература. Другие личные мнения, даже если это были мнения ведущих специалистов в данных областях, игнорировались, а иногда бывали и наказуемы, как мнения, якобы противостоящие «мнению народа». Из-за подключенности лишь одного мнения к рычагам реализации идей и отключенности многих других немаловажных мнений от этих рычагов произошло немало ошибок, за которые нам и по сей день приходится расплачиваться отставанием ряда отраслей науки и производства. Вряд ли все эти трагические ошибки были порождены злым умыслом. Но субъективное волевое «Так надо!» не имеет морального права становиться приказом, если перед ним не было вопросительного «Как надо?», обращенного к миллионам народных мнений.

Общение с крестьянскими ходоками, с путиловскими рабочими, с красногвардейцами, с Максимом Горьким не было для Ленина игрой в демократизм, прикрывающей заранее предрешенные им волевые действия. Воспитанный некрасовскими «Размышлениями у парадного подъезда», Ленин оставил дверь первого в мире социалистического государства открытой для многоликих народных личных мнений. Только такая открытая дверь — это дверь в истинный социализм. Дав знаменитый триединый совет нашей молодежи: «Учиться, учиться и учиться...», Ленин не только учил, но и сам непрерывно учился у реальности, не боясь мужественно признавать ошибки и менять первоначальные решения. Ленин дал редчайший в истории пример профессионального политика, который никогда не ставил свое личное мнение превыше мнения самой мудрой советчицы — реальности. Когда иностранные корреспонденты навязчиво лезли с вопросами: «Надолго ли нэп?», Ленин неизменно отвечал, что жизнь покажет. В этом была сила его мнения — принципиального, но гибкого, принимающего форму самой жизни, а не втискивающего в жизнь, обрубая ей ноги, в прокрустово ложе неизменяющегося, раз и навсегда окаменевшего мнения. Нетерпимость и весьма нелестная резкость в принципиальных внутрипартийных дискуссиях сочетались у Ленина с терпимостью административной, с уважением к личному мнению, даже если он его не разделял или разделял не полностью. Он чутко ценил все лучшие качества своих товарищей-оппонентов и, критикуя их, тем не менее ставил их на те участки гражданской войны или строительства, где эти лучшие качества могли проявиться. В гражданской войне большевики победили именно потому, что их лозунг «Мир — народам! Земля — крестьянам!» был основан на миллионах личных мнений, ставших мнением народа.

В опаснейший период Великой Отечественной знаменитое обращение Сталина к народу началось несколько неожиданным, человеческим: «Братья и сестры», — и это тронуло множество сердец, на которых было столько еще незаживших ран от незаслуженных потерь и обид. Мнение «Враг будет разбит. Победа будет за нами» не было тогда просто личным — оно было народным. Слияние государственного и народного — вот в чем секрет этой великой победы. Но после победы мнение этих вчерашних «братьев и сестер» стало как бы несущественным. Если бы тогда спросили личное мнение крестьян, то они сказали бы, что нельзя забирать семенной хлеб только для плановой показухи, нельзя отбирать домашний скот,

нельзя расплачиваться бумажными трудоднями, ибо все это подорвет и без того многострадальное наше сельское хозяйство. Но у них не спросили их личного мнения. Если бы спросили личные мнения наших читателей, наших любителей музыки, то они сказали бы, что нельзя обвинять в ненародности ни Анну Ахматову, написавшую во время войны «Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет», ни Шостаковича, чья Ленинградская симфония стала всемирным символом непобедимости духа нашей Родины. Но у них не спросили их личного мнения.

Сейчас делается очень многое, хотя еще далеко не все, для скорейшего поднятия нашего сельского хозяйства, уровня жизни наших хлеборобов, и Ахматова, и Шостакович всенародно признаны нашей советской классикой, но вправе ли мы забывать горькие уроки, преподанные историей, показавшей, насколько губителен разрыв между мнением «сверху» и мнением народа? Эти горькие уроки отнюдь не должны привести нас к историческому нигилизму, к зачеркиванию всех наших великих побед — и строительных, и военных, одержанных нами, несмотря ни на что, даже в самые трудные годы. У новорожденного социализма не было под рукой готового учебника, по которому он сам бы себя строил. Наш социализм — он сам этот живой учебник, из которого нельзя вырывать ни героические страницы побед, ни трагические страницы потерь и ошибок, иначе по такому учебнику не сможем учиться ни мы, ни будущие поколения.

Сегодня в районах, областях, республиках нашей страны к руководству приходят люди, полные созидательной энергии, основанной на конкретном знании народных нужд. Поставленные перед нами задачи научной и производственной интенсификации не могут быть решены без интенсификации значения личных мнений, мнения народа. Радикальные экономические реформы, которые предпринимаются и еще предстоят, должны быть подкреплены по-ленински гибким революционным практицизмом, невозможным без крыльев духовности. Развитие экономического мышления не получится без развития мышления как такового. Смелые преобразующие решения неосуществимы при нравственной неготовности к радикальным переменам, при трусости, ибо такая трусость создает болотную непроходимость для ценнейших инициатив. Наше новое руководство, несомненно, хочет сделать все, чтобы помочь народу жить лучше. Но народ должен тоже помо-

гать руководству и трудом, и откровенной гласностью своих личных мнений, высказываемых не ради острого словца, а ради общего дела, неделимого на мнение «сверху» и мнение «снизу». «Кабычегоневышлисты» пугают нас тем, что гласность может превратиться в анархию. Но даже когда наше государство в своем младенчестве было со всех сторон окружено враждебными четырнадцатью державами, а изнутри его раздирали гражданская война и разруха, Ленин не боялся со всей откровенностью резчайше говорить о бюрократизме, о комчванстве, о спекулянтах, взяточниках, отбирая тем самым у врагов социализма лакомую возможность воспользоваться нашим собственным умолчанием. Правда из рук друга — лекарство, из недобрых рук — яд. Сейчас, когда наше государство выросло, окрепло, мы тем более не должны опасаться собственной критической откровенности личных мнений, ибо эта откровенность — признак нашей зрелости, силы, а сглаживание острых углов — признак слабости. Кабычегоневышлистская болезнь «потери лица» чаще всего ведет именно к потере лица. Общественное умолчание есть скрытая форма анархии. Нет ничего вреднее, когда все послушно голосуют, но формально поднятые руки вскидываются не по велению сердца и разума, а по инерции. Такое формальное голосование затем переходит в вольный или невольный саботаж тех самых постановлений, за которые только что голосовали. Гласность, конечно, не должна быть самоцелью. Гласность не должна превращаться в громогласность людей, которым нечего сказать. Мы не за гласность болтливого безмыслия, а за гласность мыслей, которые можно превратить в энергию действий.

За сравнительно короткий отрезок времени мы уже многое сделали в развитии гласности — письма трудящихся, отчеты о партконференциях, о производственных собраниях стали читаться захватывающе, выигрывая в большевистской остроте по сравнению со многими беззубыми псевдогражданственными стишками. Стремительное развитие общественной трибунности иногда обгоняет по гражданской смелости наших профессиональных публицистов. Руководители не только критикуют работников своего аппарата, но порой мужественно подвергают самих себя самокритике, что хотелось бы услышать из уст некоторых наших писателей, штампующих свои скучные безликие романы, не соответствующие требованиям времени. Мы уже научились открыто говорить о многих сегодняшних проблемах, хотя и не обо всех. Но гласность по отношению к настоящему сейчас превосходит нашу гласность

по отношению к прошлому. Чтобы смело решать сегодняшние проблемы, нельзя быть робким по отношению к собственной истории, внутри которой скрываются корни и сегодняшних проблем.

Но на фоне призывов к гражданской смелости, к правдивости существует постоянное сопротивление «кабычегоневышлистов», стремящихся снивелировать, сбалансировать, усреднить взгляд на многие исторические явления и на сегодняшнюю жизнь. Всячески мешая писателям, режиссерам, художникам, ученым, рабочим выражать их личное мнение, такие безнадежно устаревшие динозавры ложного охранительства тем не менее пытаются ставить свое личное мнение превыше всех других. Если техническая комиссия выносит негативное решение по поводу конструкции нового самолета, а самолет, несмотря на это решение, все-таки выпускается и летит во славу нашей Родины, то такая техническая комиссия не должна оставаться вне общественного, морального контроля. Пора ввести в нашу практику, что те люди, которые становились на пути ценных изобретений, мешали публикации литературных произведений, постановке спектаклей, фильмов, выставке картин, затем получивших всенародное признание, должны признаваться некомпетентными.

Один писатель-фронтовик, вместе с другими писателями решительно поддержавший мою поэму «Фуку», когда ее пытались остановить, сказал мне очень важные товарищеские слова: «Я, конечно, смотрю на некоторые исторические факты по-иному... Но оба мы имеем право выражать наши разные мнения, потому что в их основе — общая любовь к Родине, я и должен защищать твое право, а ты — мое...» Точнее и проще не скажешь. Эта концепция должна быть основополагающей в практике не только наших издательств, но в практике демократического развития гласности в целом.

Советский руководитель, выступающий со всемирной трибуны во имя спасения человечества от ядерной катастрофы; делегаты партийного съезда, произносившие не формальные славословия, а деловые, энергичные речи, воплотившие миллионы народных мнений, незапланированно берущий слово на собрании слесарь и нелицеприятно говорящий рабочую правду в лицо неуютно передергивающему плечами начальству; доярка, забывшая подсунутую ей бумажку и выдыхающая каждое слово из своего крестьянского многострадального сердца; ученый, принципиально ведущий бой против лже-

научных, тормозящих передовую мысль концепций; писатель, с трибуны съезда российской словесности выражающий глубокую озабоченность судьбой северных рек,— все мы равны и ответственны перед историей, и наши личные мнения сливаются, как реки, в единое мнение народа.

Великая сила личного мнения — это рычаг коллективной демократии. Но личные мнения — это не только слова.

Наша борьба за мир, плоды нашего труда: отяжеленные будущим хлебом колосья, струи молока, звенящие о ведра, красавцы мосты, великие научные открытия, правдивые книги, завораживающие спектакли — должны быть тоже нашими личными мнениями, соединенными в общее мнение народа, желающего счастья и мира не только себе, но и всему человечеству.

ЗАКОНСЕРВИРОВАННАЯ КУЛЬТУРА

Над молодежным поселком у Буга —
вьюга и скука,
скука и вьюга,
и марсианский печальный историк
ночью увидит
лишь хлипкий костерик.
У костерка,
обжимаясь блаженственно,
пары танцуют
под Майкла Джексона
в ржавом каркасе
среди пятилетки,
будто забытые детки в клетке.
Законсервирован Дом культуры...
Вьюжное небо взамен потолка,
и арматура торчит колтунно,
больно царапая облака.
В клетке уродской —
девчонки-малявки —
местные модницы из малярки
топчут снежок
луноходами тяжкими
с парой асадовских строк под кудряшками.

В этой же клетке —
их ухажеры,
и у галантного слесаря Жоры
под ливерпульской чуприной косматой
фильм с Пугачевой,
хоккей с Канадой,
и вылез Мегрэ из кармана ватника,
что-то мотая на ус аккуратненько...
Что вы подбрасываете в костерик,
чей узнаваемый дым
так горек?
Законсервированная культура —
это костер,
где строки Катулла,
еще не прочитанные смазчицей Элкой,
страшно счастливой чулками со стрелкой.
Можно ли,
чтобы детей акварели
вместе с народным театром сгорели
и сварщику Грише,
смущенно-носатому,
не выпала роль Сирано
или Сатина?
Ноты Чайковского лижет пламя...
Как же не дрогнула в страхе рука,
культуру
вычеркивая
из плана,
у бонапартика-плановика?
Не обрекайте
грядущую нацию,
ждущую выплеска,
на консервацию.
Законсервированная культура —
это жестянки консервные лиц,
это за пазухой политура
и наркомана трясущийся шприц.
Боремся с водкой,
но нету науки,
как же нам быть с бормотухой скуки.
Разве водчищу менять на скучищу —
путь,
чтобы стали мы лучше и чище?!
Двадцатилетние,

вам досталась
века двадцатого
дряхлая старость.
Что принесем к двадцать первому веку —
в клетке заржавленной дискотеку?
Стали консервами духа
кассетки.
Быть одноклеточным —
это быть в клетке.
Законсервированная культура —
это Майкл Джексон в ушах штукатура,
для коего даже понятия нет,
что Пастернак не трава,
а поэт.
Вам бы повыкричаться без ошейника,
вам бы повыплеснуть злость,
озорство.
Вам бы —
нового Евтушенко,
лучше старого —
раз во сто!
Я вас люблю,
потому и обидно.
Мир неделим
на «элиту»
и «быдло».

Чем оно станет,
ваше наследие,
без Достоевского,
без Бетховена?
Будет безъядерное тысячелетие,
если не выродится
в бездуховное!
И, ободрав до крови ладоши
о клетку
с танцующей в ней тоской,
глазами вас жжет
Карамазов Алеша,
а вы и не знаете —
кто он такой.

КРАНОМ — ИЗ ГРЯЗИ

На КамАЗе шутили когда-то:
«Живем, как
в Париже,
лишь дома чуть пониже,
асфальт чуть пожиже...»
Мóя в луже резиновые ботфорты,
так сказал крановщик,
весь подсолнушно рыжий:
«То, что кажется жижей,—
твердо.
То, что кажется твердым,—
жижа...»
Невдали от могилы Цветаевой
там, на КамАЗе,
утопала девчонка-монтажница
в озере грязи.
Чуть шагнула к столовке,
ступив на неверные хлипкие досточки,—
грязь ее засосала,
трясиной сдавив ее косточки.
Люди, стоя на твердом,
смеялись над этим сначала,
но девчонка тонула, девчонка нешуточно — в голос кричала.
Погибала девчонка,
пока гоготали разини,
посреди человечества,
как посредине трясины;
и как будто антенна,
беретика розовый хвостик
трепетал над трясиной,
хватаясь в отчаянье детском за воздух...
Ну а тот крановщик,
разом выдрав ключи из кармана,
зверем прыгнул в кабину
взревевшего яростно крана,
и рванулась могуче стрела
на отчаянный голос в болоте
так, чтоб хвостик берета
не сбить в осторожном полете,
и девчонка за крюк ухватилась,
сапог не спасая,

и взлетела из грязи до солнца,
зареванная,
босая...
Вот он — выход.
Он — в действии, а не в приказе:
краном —
из грязи!
Вы завязли в безверии,
в тинистом однообразье!
Краном —
из грязи!
Кто-то тонет в бумажной трясине,
где снова — отказ на отказе...
Краном —
из грязи!
Лишь бы только беретик ничей
с его хвостиком —
чуточку боком
не всосала проклятая жижа
с несытым причмоком...

СОКРОВИЩЕ

Медсестра райбольницы —
Марья Никифоровна,
если даже покрикивала на больных,
все же лишнего ни на кого не накрикивала,
отделяя хмельных
ото всех остальных.
И однажды
про язвенника Разгуляева
так сказала,
вконец заклеймив алкаша:
«Наш советский больной
должен быть управляемым!
Если неуправляемый —
лечится пусть в США!
И главврач лишь вздыхал,
утонувший в бумажном сугробище:
«Правда, получудовище,
но как работник — сокровище!»

Поражался болеющий и навещающий
русский народ:
«Не берет...»
Медсестра непростая была она —
старшая,
и суровость была непростая,
а ставшая
чем-то вроде участливости участкового,
сознающего важность участка рискового.
Поправляла она одеяла особенно, фирменно,
а уколы как делала —
даже приятца в заду!
И висела вторая,
такая же строгая Марья Никифоровна,
на почетной доске,
словно в личном,—
больничном саду...
И мерцала ее седина неподкупно.
Указующий перст поднимался:
«Товарищи,— чтение лежа преступно!»
Всех задергав,
сама она тоже ходила задерганной,
лет пятнадцать —
все в той же шубейке затерханной,
и чулки были вечно чинеными,
дряблыми.
Однако жила.
Умерла на субботнике с граблями.
А единственный сын
из Москвы не приехал на похороны.
Диссертацию он защищал:
«Дух наживы с его лжепророками».
И когда ее комнатку вскрыли —
там было убого и пусто —
только сын в разных видах,
лишь не было бюста.
Сын висел на обоях
ее разновозрастным идолом:
толстый мальчик
с губами, измазанными повидлом.
В суперджинсах студент с комсомольским
значком.
Аспирант,
к академику нежно прилипший бочком.

И покойницу стало всем людям собравшимся
жальче и жальче,
потому что в России жалеют лежачих —
в гробу безответно лежачих.
Но когда тетя Дуся,
всплакнувшая няня больничная,
отворила покойницын шкафчик,
то ахнули все:
там стояли рядами лекарства,
ворованные,
заграничные, —
пузырьки и коробки
во всей дефицитной красе.
А в шкатулке покоилась,
руки свидетелей пачкая,
переводных почтовых квитанций
с резинкой аптечною пачка,
и все поняли,
будто бы опухоль взвыла у каждого
где-то в боку, —
продавала лекарства,
а денежки слала сынку.
И глаза опустили врачи,
и медсестры,
и нянечки,
потому что лекарства украсть у больных —
пострашнее украденной наволочки.
Сколько было лекарств
воровскими руками навыковыряно
из чужих, наболевших,
кроваво сочащихся язв!
Что же ты понаделала,
Марья Никифоровна?
Ты украла посмертную добрую память из нас.
Медсестер уважаю,
но столькие боли не выговорены,
столько грязи с эпохи
и с кожи своей не соскреб.
Смерть сама по себе не страшна.
Страшно, Марья Никифоровна,
если смерть, как больничная нянечка,
плюнет на гроб.

Ольга ЧАЙКОВСКАЯ

СДВИГ

Рано утром архитектор Надежда Георгиевна Осмеркина шла по улице и вдруг остановилась, не веря своим глазам. Рабочие возились у каменных въездных ворот: обмотав один из пилонов стальным тросом, они привязали его к тягачу, тот рванул и повалил пилон на землю. Как коршун (надо еще знать характер!), налетела Надежда Георгиевна на людей, которые стояли рядом и на все это смотрели: «Валить ворота баженовской ограды! Кто позволил?!»

— Не проходит техника,— спокойно объяснили ей.

И техника пошла во двор Библиотеки имени В. И. Ленина. Гигантские самоходные краны, чудовищные грузовики вваливались, тяжко ворочаясь в узких проходах, задевая за углы и стены. Можно представить себе отчаяние Надежды Георгиевны: Пашков дом!

Вот он стоит на высоком Ваганьковом холме, двести лет стоит и чего только не повидал на своем веку (в 1812 году горел, пламя рвалось из окон, факелом пылал на крыше бельведер). Очень хорош! Так легки его пропорции, что он, если смотреть издали, словно бы снимается со своего холма и пускается в полет, оставаясь в то же время в торжественном покое. Если же подойти поближе, видно, что он приветлив, весел, даже простодушен. Приглядитесь, кстати: колонны боковых флигелей стоят в серьгах, как красавицы, розетки фризов так веселы, что словно бы крутятся на месте. А ведь в нем целая концепция жизни. XVIII век верил в людской разум, в непрестанное восхождение человеческого духа, эти устремления своего столетия Пашков дом выразил, быть может, как никакой другой; он и сейчас стоит, полный великолепных надежд.

И вот вокруг него взревела стройка станции метро «Боровицкая». Сооружение началось прямо на территории Библиотеки имени В. И. Ленина. Ваганьков холм пробурили скважи-

нами; в частности, и для того, чтобы качать наверх грунтовые воды (я видела эти скважины, они находились в самом дворе дома Пашкова,— по трубам из подземных глубин насосы качали воду вверх). Внутри холма, наискось, пошел эскалаторный тоннель. При его прокладке в твердом грунте, естественно, пользовались взрывами.

В трех метрах от стены Пашкова дома — в трех метрах!— начали вбивать толстые трубчатые сваи, рыть гигантский котлован.

От взрывов, от ударов сотрясалась земля. Пыль столбом стояла над строительной площадкой (и это рядом с книгохранилищем, где предписана хирургическая чистота!). Библиотечные здания, старые и новые, вздрагивали от фундамента до чердака; сыпалась штукатурка, летели оконные стекла, тут и там появлялись трещины; на них ставили «маяки» (алебастровые пластинки или листки бумаги, которые налепляются поперек трещины и которые должны быть целы, если трещина не увеличивается) — один за другим лопались «маяки». Холм грозно и не единожды давал понять, что дело неладно и опасность велика.

Протестовали органы охраны памятников, протестовали искусствоведы, общественность, в «Литературной газете» было опубликовано письмо, подписанное деятелями культуры (после чего стенку котлована отодвинули от Пашкова дома на семь метров — только и всего).

Специалисты многих научно-исследовательских институтов, инженеры и геологи, знатоки фундаментов, грунтов, конструкций били тревогу. Работы начаты без необходимых геологических исследований, говорили они. Уже самые методы строительства — и то, что грунтовые воды, когда их качают, поднимаются вместе с песком; и то, что эскалаторный тоннель ведут способом заморозки грунта, которому предстоит оттаивать; и огромные трубчатые сваи, которые вгоняют рядом с домом Пашкова,— все это неизбежно вызовет подвижку грунта. Взрывов и ударов здания библиотеки не выдержат. Нельзя, повторяли они, нельзя так работать. Теперь, на уровне современной инженерии, в старинных городах, где много памятников истории и культуры, так не работают, теперь под памятником, возле которого предполагается строительство, сперва укрепляют грунт (любым способом, будь то жидкое стекло или корневидные сваи) и только потом — потом! — начинают работы. Так велит и наш Закон об охране памятников. А пото-

му, твердила общественность, надо приостановить строительство и принять необходимые охранные меры.

Куда уходили эти голоса, в какую глухую пустоту? И что должны были чувствовать люди, которые понимали опасность, предупреждали о ней и видели, что их не слышат?

А прежнее руководство Моссовета и все те, кто вправе был остановить Метрострой и заставить его принять охранные меры? Надо думать, они полагали, что как-нибудь обойдется. Почему все обязательно должно поползти? А вдруг и не поползет? Гигантское «авось» висело над этой стройкой.

Ах, Пашков дом, я думала, что он всем родной, и вот что оказалось... Впрочем, ему не везет уже давно. Однажды, обойдя его от подвалов до антресолей, я пришла к директору библиотеки Н. С. Карташову и спросила, как это случилось, что здание (уже без всякой связи со строительством метро) доведено до столь печального состояния, почему так отсырело — да что там говорить, в подвалах банный дух, а в некоем углу вырос гриб на ножке и со шляпой (сфотографированный сотрудниками). Так как же это случилось? Директор отвечает уверенно:

— Не знаю.— И в ответ на мой изумленный взгляд еще увереннее: — Не знаю! Это дело специалистов. А они разделились: одни говорят, что намокает фундамент, другие — что течет крыша.

— А не допускаете ли вы,— спрашиваю я, не зная, плакать мне или смеяться,— что тут имеют место оба фактора?

Он решительно отгораживается от меня ладонью:

— Не знаю. Я библиотекарь, а не инженер.

— Но вы пользователь памятника искусства,— говорю,— и отвечаете за него.

— И отвечу! — гордо говорит он.

Ответит? А не пора ли Закону об охране памятников стать действенным, а если надо — то и карающим?

Создать в небольшом дворике водоотливную систему — не столь уж сложное мероприятие — оказалось не под силу дирекции библиотеки. За решение этой задачи взялась уже упоминавшаяся мною Н. Г. Осмеркина, архитектор, взялась просто от себя. Это она бегала по инстанциям, умоляя, скандаля, неопровержимо доказывая! Это она подсовывала на подпись дирекции библиотеки нужные бумаги! Добилась у министерства денег, лимитов. Нашла подрядчика, с которым заключили договор. Выхлопотала должность архитектора биб-

лиотеки (чтобы был хозяйский глаз). Добыла плиты светлого камня небывалой красоты, организовала их доставку — машина, кран, грузчики. И одно время даже сидела в библиотечном дворе, караулила свою драгоценность.

Вот он, баженовский дворик с его уютом, оградой, великолепными парадными воротами (львиная морда, каменная гирлянда,красавицы колонны в серьгах)! Они приглашают войти, а только войдешь, и навстречу тебе выступит портал Дома с фигурами закутанных в покрывало женщин. У одной отколота рука, кругом все завалено ржавью, хламом, мусором, но Надежда Георгиевна видела не это, она видела («Честное слово, даже во сне!») дворик белокаменным, и дождевая вода светлым потоком бежала по открытым лоткам в городской сток (не странно ли: одни, обязанные хранить Дом, в упор его не видят; другим, формально ему ничем не обязанным, он снится по ночам?). Высохнет фундамент, думала она, выздоровеет Дом.

Куда там, все пошло прахом. Другой архитектор, «хозяйский глаз», сплавил куда-то драгоценные плиты. Надежде Георгиевне удалось спасти и доставить обратно во дворик (машина, кран, грузовики!) только их часть. Лимиты пропали, деньги вернулись в банк неиспользованными. Дирекция ГБЛ не шевельнулась. УКС Минкультуры СССР не дрогнуло. «Словно кисель режу»,— в отчаянии говорила Надежда Георгиевна.

И вот еще началось строительство метро...

Первой пошла трещинами и стала разваливаться старинная типография. Отдел реставрации книг, в ней расположенный, поспешно выселили, само здание взяли в стальной каркас и продолжали работы. По-прежнему вздрагивали от взрывов дома, летели оконные стекла. По-прежнему летели докладные, акты экспертиз, предупреждения (все впустую). И вот...

Не знаю, как это и описать... Дело в том, что треснуло книгохранилище, гигантское здание, длиной своей занимающее полквартала. Я вообще не представляла себе, что подобная махина может треснуть поперек, по всем своим девятнадцати этажам. Приходишь на любой, всюду одна и та же картина: примерно на треть от торца — говорят, именно над тем местом, где под землей идет эскалаторный тоннель,— широкая трещина, концы балок искрошены, словно бы их кто изгрыз. Пол в пыли, в кусках штукатурки (ее выносят ведрами),

в битом стекле, по всему фасаду летят дорогие, витражные, особо для Ленинской библиотеки изготовленные стекла. По всем этажам опасные места огорожены веревками, чтобы сотрудникам не пробило голову; над тротуаром во всю длину здания установили сетчатые козырьки для охраны пешеходов.

Вот тут — наконец-то! — создали компетентную комиссию, которая должна была принять самые срочные меры к спасению здания, решить судьбу Пашкова дома. Крупные инженеры собрались, председателем был замначальника Главного архитектурно-планировочного управления Москвы Ю. А. Дыховичный. И вот заключение комиссии. Сперва идут заверения, что в проекте Метрогипротранса «приняты способы производства работ, направленные на уменьшение оседания поверхности», затем сомнения: «осадки здания могли бы быть сведены к минимуму», если бы был закреплен грунт под книгохранилищем, но это потребует времени (6—8 месяцев), за это время осадка может прекратиться, тем более что тоннель уже удаляется от здания. С другой стороны, комиссия честно признает, что осадку эту прогнозировать трудно. Следовательно, надо составить проект закрепления грунтов (определить объем и стоимость работ). Но для чего? «Для окончательного решения вопроса необходимости его осуществления». Вот где знатно резали кисель! Значит, не от степени опасности, которая грозит зданию, зависело решение вопроса, а от объема и стоимости работ! Но ведь с уверенностью можно сказать: дорого теперь все это будет стоить, втридорога обойдется (и об этом тоже предупреждали!) по сравнению с тем, что стоили бы предварительные охранные работы. Тут еще такие расходы предстоят!

До сих пор комиссия вела речь только о книгохранилище, а что же сам Пашков дом? Его вовсе не упомянули, если не считать общей фразы о том, что «остальные здания библиотеки (не считая здания типографии, которое усилили стальным каркасом) в настоящее время имеют отдельные незначительные трещины, не представляющие опасности».

Когда стал разваливаться северный флигель Пашкова дома? Можно подумать, что сразу, лишь только удалилась компетентная комиссия: во всяком случае, когда я пришла сюда месяца три спустя, глубокие трещины во флигеле уже обошли кругом потолок и стены. А на самом деле — в 1982 году, когда еще не было котлована, только оттого, что вбивали сваи, появились трещины.

Взятые в каркас типография, лопнувшее книгохранилище, расползающийся флигель самого Пашкова дома, вырвавшиеся из потолка его центральной части стеллажные стояки; трещины, провалы, осадки на самых различных участках территории — все это не отдельные беды, это знак одной общей беды. Произошло именно то, о чем предупреждали специалисты: сдвинулся грунт холма.

Ю. А. Дыховичного (это было в середине мая прошлого года) я нашла в состоянии полного оптимизма, ни следа той неуверенности и неясности, которыми отличались выводы возглавляемой им за полгода до этого комиссии. Совершенная уверенность. Ну, для начала, место станции выбрано самое удачное, самое удобное. Правда, Метрострой нарушил правила строительства, но что до опасности, то ее нет, «охрана памятников» вечно пугает, вечно сулит беду. Ну трещины, ну и что? Внутри книгохранилища ставят стальной каркас, да и то скорее как меру психологическую — библиотека, женский коллектив, надо его как-то успокоить. Осадка зданий прекратилась. Типографию снесут, это решено. А что касается выкачивания грунтовых вод, то и тут ничего страшного: природа саморегулируется, собственными силами восстанавливая свой баланс.

Странный все-таки был этот разговор. Ю. А. Дыховичный, инженер, не может, конечно, не знать, что каркас, поставленный внутри здания, не спасет его от осадки, если из-под него уходит грунт (а что, кстати, с типографией, стянутой внешним каркасом,— не помог, значит, каркас?). Знает он, что природа, к великому нашему сожалению, далеко не всегда саморегулируется, что вода, если ее выкачивать, оставляет пустоты, подчас очень опасные, а тут свыше тридцати скважин безостановочно качали воду годами. Что не все процессы, идущие в земле, куда ни один рентген заглянуть не в состоянии, нам ведомы, к чему многие из них ведут — неизвестно. Все это он, конечно, знает — и в то же время как бы не знает.

Но как же это «прекратились осадки зданий»? Как же «нет опасности»?

«Установлено, что в связи с продолжающимися осадками корпуса «Д» (книгохранилище) наблюдается интенсивное разрушение стеклоблоков оконных проемов, что указывает на развитие неравномерных осадок фундаментов. На участке проходки котлована произошел оползень, и часть здания Пашкова дома откололась...» — это заключение НИИ оснований и подземных сооружений Госстроя СССР.

«Несмотря на неоднократные требования органов охраны,

необходимые меры приняты не были, что привело к остроаварийному состоянию ценнейшего ансамбля — дома Пашкова и ряда других строений библиотеки» — это свидетельствует Управление государственного контроля охраны памятников истории и культуры Москвы. Не только не прекратилась осадка — осел грунт и под корпусом «А», где размещены главные научные залы библитеки.

А что же сами метростроевцы? Они были безмятежны: «Работы по сооружению станции «Боровицкая» и пристанционных сооружений ведутся в соответствии с проектом и строительными нормами и правилами. Метростроителями разработаны и осуществляются мероприятия по уменьшению влияния проходческих работ... Установлен надзор». Любопытно, что в своем ответе они ссылались на работу «компетентной комиссии» — одна пустота пытается опереться на другую. И представьте — получается! Начинает воздвигаться некое пустотелое подобие благополучия (и что толку от того, что реальные трещины сейчас замазаны цементным раствором!).

Но ведь все эти люди — и те, кто выдвинул, разработал и защитил идею: втиснуть огромное строительство во двор национальной библиотеки, и те, кто этот план санкционировал, кто его осуществлял, кто получал сигналы бедствия и не вздрогнул, мог вмешаться и не вмешался,— все они наверняка не глупее нас с вами и обстоятельства дела знают куда лучше нас, уж для них-то с их опытом никак не были тайной опасности, которые грозили, и беды, которые возникли.

Как видно, произошла не только подвижка грунта на Ваганьковом холме, но и еще другие сдвиги — если хотите, в пластах сознания. И борьба с такими сдвигами есть самая суть перестройки, идущей сегодня в стране.

Если бы с любым из этих людей мы во внеслужебной обстановке разговорились о судьбе Пашкова дома и всей библиотеки — о, в условиях факультатива они тотчас бы все поняли, и ужасались бы, и негодовали вместе с нами, и говорили бы справедливые слова о преступном разрушении красоты, которая нас облагораживает, и об ущербе, нанесенном культуре! Но когда они «при исполнении», подобные соображения куда-то исчезли. Конечно, тут сдвиг сознания, которое жаждет самоуспокоиться и других успокоить. Конечно, тут деформация чувств, когда ничего не жаль — ни людей, ни дела, ни материальных, ни духовных ценностей; когда возникает

особая этика: взаимовыручка представляется порядочностью и принципиальностью, а горькая правда — бестактностью, по меньшей мере. Раздвоенность сознания, способность видеть — и не видеть, понимать — и блистательно не понимать.

Лукавое сознание, мастерские подмены, замены, ловкие умолчания. Лукавство, да еще какое! Чего стоит решение Моссовета 1980 года о начале строительства: во временное пользование Метрополитену этим документом был отведен земельный участок, находящийся «во владении двух домов» — № 14 по ул. Маркса — Энгельса и № 3 по пр. Калинина. Просто «владение двух домов» — и ни слова о том, что это еще и территория национальной библиотеки, словно ее и на свете нет! Решение было разослано по списку во множество учреждений, но Министерство культуры СССР, в ведении которого состоит библиотека, но органы охраны памятников в этом списке отсутствуют, равно как нет в нем и самой библиотеки. Ей тоже ничего не сообщили о ее судьбе.

Всему этому противостоял и противостоит живой мир — живой мысли, живых чувств. Органы охраны памятников делали, что могли. В частности, спасли типографию. Неустанную энергию в борьбе за ГБЛ обнаружили внештатные члены методического совета Минкультуры СССР Б. Гусев, Е. Пашкин, Б. Ржаницын, подлинные рыцари Пашкова дома. Все они — люди, занятые сверх головы (Б. Гусев возглавляет отдел Госкомитета по науке и технике, Е. Пашкин — доктор наук, профессор Геологоразведочного института, Б. Ржаницын — профессор, сотрудник НИИ оснований и подземных сооружений), несмотря на свою колоссальную занятость, работали (обследования, экспертизы, докладные, выступления на всевозможных заседаниях и совещаниях) — вот уж поистине вели неотступную борьбу. Министерство культуры СССР создало оперативный штаб по контролю за состоянием зданий ГБЛ.

Летом прошлого года строителям было предписано произвести закрепление грунтов под корпусом «Д», под частью Пашкова дома и корпуса «А» (читальные залы), обязав Минтрансстрой при проходке тоннелей и разработке глубинных котлованов вблизи существующих зданий принимать охранные меры. Затем — новое предписание, которым предусматриваются не только ремонт, реставрация зданий ГБЛ, реконструкция на современных основах всего ее оборудования, но и строительство огромных библиотечных корпусов, целого ан-

самбля зданий. Прекрасно, но все это в будущем. А в «недалеком настоящем»? 30 августа тяжкие удары сотрясли корпус «А». Сотрудники и читатели кинулись к окнам. Прямо под окнами «шар-баба» била землю — и корпус «А» в тот же день ответил ей трещинами. Через полтора месяца после указания свыше! Опять без охранных мер! Сделав инвалидом книгохранилище, принялись за читальные залы (работы были остановлены инспектором отдела охраны памятников Минкультуры СССР А. А. Клименко, который тотчас прибежал на строительную площадку).

Что говорить, сокрушительный удар нанесен библитеке. Не только деформировались ее здания — расстроился ее производственный механизм. И дело не только в том, что практически давно уже не работает отдел реставрации книг и рукописей, выселенный из типографии, что скоро придется выселять из северного флигеля кабинет микрофильмирования. Возникла угроза закрытия книгохранилища (22 миллиона книг), уникального, другого такого в мире нет. Сотрудники его, вместо того чтобы хранить, приводить в порядок, изучать его драгоценные фонды, готовятся паковать, увязывать и таскать эти миллионы книг. Сотни тысяч научных работников не смогут работать в полную силу (а есть ученые и целые институты, которые не в силах обойтись без Ленинской библиотеки). Кто подсчитает размеры этих духовных потерь? Кто определит ущерб, нанесенный нашей культуре, нашему научно-техническому прогрессу? (О том, какие огромные предстоят расходы в связи с работами по восстановлению зданий — укрепление фундаментов и т. д.,— мы уже не говорим.)

Допустив ошибку, и притом грубую — келейное и ведомственное решение судьбы национальной библиотеки и великого памятника искусства,— руководители Мосгорисполкома (и Метростроя) имели множество возможностей ее исправить — и все упустили. На законные требования органов охраны памятников беззаконно не обращали внимания. Неужели никто за это не ответит? — спрашивают меня сотрудники библиотеки. Неужели и тут, как это нередко бывает, ответственность расплывается так, что и концов не найдешь? Они правы: необходимо точное и строгое гласное расследование.

Станция «Боровицкая» сооружена. Но тревога растет. Сотрудники библиотеки обнаруживают все новые трещины (это значит, не остановились, идут подземные процессы, и неизвестно еще, к чему приведут). Метрострой, за счет которого, согласно закону, должны вестись восстановительные работы, до сих пор не проявил никакого намерения их начать, а ес-

ли бы и проявил, вознамерился начать работы,— некуда деть миллионы книг: здание, предназначенное для их временного хранения, у ГБЛ отняли.

Уникальная библиотека страны, бесценный памятник искусства, вязнет в толще равнодушия и безответственности. А спрос за небрежение к национальным святыням, как говорилось о том на партийном съезде, должен быть действительно очень строг.

Я иду мимо Пашкова дома, и нет в душе моей прежней радости. Не обманет уже меня его белизна — просто его снаружи побелили. Я знаю, что делается внутри, в подвалах и на этажах. Я не знаю, что происходит под ним, в земле.

Ясный весенний день, а мне кажется, будто ходят над Домом черные тучи, будто все еще от фундамента до бельведера трясут его подземные толчки. А он? Он не чует беды. Торжественный, веселый, простодушный, он для меня сейчас как старый друг, который тяжко болен и этого не подозревает.

«Литературная газета», № 13,
26 марта 1986 года

Расул ГАМЗАТОВ

НАЗОВЕМ ОРЛА ОРЛОМ

Мы знаем: новизна не появится из ничего, не придет сама собой. Нужно оставить и закрепить в своей жизни все лучшее от прожитых лет и умножить это лучшее работой. Я думаю, самые большие наши враги в этом деле — ложь, хвастовство, бахвальство. А самые надежные друзья — совесть, честность, правда.

Правда не бывает большой или маленькой, плохой или хорошей. Правда есть правда. Да, она может быть суровой, горькой, может кого-то обидеть и ранить, но ее нельзя ничем заменить, разбавить или подсластить. Какой ложью ни замазывай ее, какими регалиями ни сверкай — правда остается основой нашего духовного богатства.

И не только духовного.

Мы вступаем в двенадцатую пятилетку; она открывает качественно новый этап в развитии советского общества.

Повернулось колесо нашей жизни. Все мы приветствуем перемены, происходящие в стране. Когда снимают министра за злоупотребления служебным положением в корыстных целях или ректора института отдают под суд за взяточничество, семейственность, личную нечистоплотность, когда называют вещи своими именами — мы видим в этом торжество тех принципов, которые положены в основу нашей жизни великим основателем нашего социалистического государства. Когда руководитель нашей партии на встрече с ленинградцами сказал, что работники, запятнавшие себя моральной нечистоплотностью, пустозвонством, показухой, рвачеством, не имеют права занимать руководящие посты, мы единодушно поддержали его. Ибо нельзя, чтобы ослы ходили под золотыми седлами, а скакуны — в ослиной узде, чтобы голос правды заглушался визгом свиньи и шипением змеи. А ведь кое-где так бывало.

Но сейчас уже недостаточно только приветствовать перемены. Каждому из нас нужно самым активным образом им со-

действовать. И тут я хочу сказать: не бывает ли, что, поддерживая на словах борьбу за правду, за честность в государственном масштабе, мы довольно нерешительно перестраиваем свою личную жизнь или, скажем, жизнь своего предприятия, своего города, своей республики? Не бывает ли, что мера нашей требовательности тотчас же снижается, когда приходится ответить на вопрос: а соответствуешь ли ты сам времени перемен? Все ли в наших нравах и привычках отвечает сегодняшнему дню? Короче говоря, нужно ясно увидеть: что может помочь нам в быстром продвижении вперед, а что камнем лежит на пути. Нужно пересмотреть весь опыт жизни — и общественный, и личный — для того, чтобы, исправляя ошибки, не делать новых.

Есть люди, которые видят все в черном, мрачном свете; есть и другие — с восторженным взглядом. Я выбираю середину. Мы должны быть взыскательны к себе, чтобы ясно отличить, где мрачное, а где светлое, не чернить все подряд и не красить розовым цветом. От зрелости каждого из нас зависит зрелость нашего общества.

Об этом и думаю.

Когда в наших горах, как и повсюду в стране, начали организовывать колхозы, горцам предлагали переселяться в долины, и это было оправданно. На равнине легче организовать новую жизнь. Правда, и в горы пришла новь: постепенно начали строить дороги, в домах горцев заговорило радио, появился водопровод. Но все это произошло значительно позднее, а на первых порах жизнь в горах считалась как бы второсортной.

Прямо скажем: кое-кто противился переселению. «Кто заботится о животе, пусть идет на равнину; кто заботится о сердце, останется здесь»,— говорили старые горцы. Но дети упрямцев все-таки смотрели на равнину. И уходили в города. Одни с благородной целью — учиться, работать; другие — в поисках выгодной жизни. Но ни те, ни другие не возвращались в горы.

В горах — народ, на равнине — население... Задумали хорошее дело, а вышло — не совсем. Не всегда от красивого замысла рождается хорошая книга. Не всегда крутой поворот означает конец дороги; нужно предвидеть продолжение ее даже по ту сторону перевала...

Читаю сегодня о том, как много делается для развития сельского хозяйства в Нечерноземье, радуюсь и думаю: это забота не только о «животе», это забота и о сердце. Такая забота сегодня нужна и горам Дагестана, и многим другим мес-

там. Нельзя, чтобы уходила жизнь из отчих мест. Нельзя, чтобы исчезали колыбельные начала.

Правда, в последнее время покинутые дома в аулах вновь оживают. Но стук топора, подновляющего старые дома, не всегда веселит слух, а ясные стекла окон не каждому радуют глаз. Никто не поднимается на крыши, чтобы посмотреть вдаль: в небо — не принесет ли оно долгожданного дождя? Или в сторону горы Гуниб — все ли спокойно в каменном сердце Дагестана? Или на дорогу, ведущую в аул,— не идет ли по ней желанный гость?

Спрашивал: зачем тогда дом в ауле, если не живешь в нем? В ответ услышал: на всякий случай.

«Что же молчишь ты, заброшенный дом,
Или меня узнаешь ты с трудом?
Дом, возведенный руками отца,
Что своего не встречаешь птенца?»
Камни сказали: «Пойми наконец,
Что нам за радость, неумный птенец,
Если под крышу родного гнезда
Гостем ты на день влетишь иногда».

Орел, ходящий лениво меж кур во дворе,— уже не орел. Тур, пасущийся на привязи,— уже не тур. Форель, плавающая в аквариуме,— уже не форель. Дом «на всякий случай» можно ли назвать родным домом? Представим аул сплошь из таких домов — зачем путнику заходить в этот аул? Зачем нужно в горах такое селение — в нем нет жизни.

Вспоминаю притчу о человеке, мальчиком увезенном из родного селения и вернувшемся туда взрослым. На него надели черкеску, папаху, дали оружие горца. Ему говорили: смотри, солнце поднимается из-за гор, правда, красиво? А он пожимал плечами: восход везде красив. Говорили: смотри, в небе парят орлы, правда, они прекрасны и прекрасно высокое небо? Он соглашался, но добавлял: птицы в небе всюду хороши.

Словом, все вокруг было для него чужим. И тогда старая мать начала петь ему колыбельные песни, которые пела в детстве. Он слушал и вспоминал усталое ее лицо, когда она поднималась с кувшином воды по крутой тропинке от родника; вспоминал ее ласковые глаза, когда она протягивала ему горячий чурек; глубоко вздохнув, он узнал забытый запах дыма от очага. Он снова взглянул на горы и увидел, как они высоки и

могучи; услышал, как гремят камнями потоки; поднял глаза и выше гор увидел просторное небо. Он положил руку на эфес кинжала и почувствовал, что по руке приходится ему оружие горцев. Сыновняя любовь проснулась в нем. Проснулась душа. Песни матери наполнили его сердце заботами Родины.

Вспоминаю эту притчу и думаю о доме «на всякий случай». Кто вернется в него? Когда? Зазвучат ли в таком доме колыбельные материнские песни? Кто их споет, если отцы и матери тоже покинули его?

Людям, покинувшим горы, непросто вернуться назад. Но я чувствую настроение многих моих земляков и знаю: если создать в аулах хорошие условия жизни, люди не будут их покидать.

Мне нравится, как «осваивали» горы в Грузии. Там я вижу разумный подход: построили промышленные предприятия и расширили сельскохозяйственную сферу. Правда, с грузинской стороны горы бархатные, а у нас — суровые скалы; там почвы мягкие, у нас грунт сухой. Но с учетом местных условий можно устроить и в наших горах интересную, современную жизнь.

Некоторый опыт в этом у нас есть. Новая жизнь в горы пришла вместе со строительством Чиркейской ГЭС, заводов в Ботлихе и Дылыме...

Это факты не только промышленного значения, но нравственного и социального. Поэтому смело надо двигаться вперед, брать на себя решение острых жизненных вопросов, а не ждать, пока из Москвы в Махачкалу (или в Нальчик, или в Вологду, или в Иркутск) придет подсказка, как искать и приводить в действие наши местные скрытые резервы. Об этом прямо сказано на апрельском Пленуме ЦК партии: «...на местах должны полностью отвечать за решение всех вопросов, относящихся к их компетенции».

На моих глазах создавалась наука в республике. Это зримое, яркое подтверждение национальной политики Советского государства: формирование рабочего класса, формирование интеллигенции, в том числе и научной, в бывших отсталых, окраинных районах страны.

Я не против развития науки. Но была ли острая необходимость такого интенсивного создания научных учреждений в таких небольших республиках, как наша? Может быть, это издержки хорошего? Издержки внимания к малым народностям, заботы об их развитии? В большой семье самые младшие бывают самыми любимыми, старшие к ним особенно внима-

тельны и стараются дать им даже больше, чем требуется для их роста и становления.

У нас много научных лабораторий, институтов, но серьезных научных исследований маловато. Несмотря на это, защищаются диссертации, увеличивается число «остепененных». У нас сейчас столько кандидатов наук, сколько до войны не было людей с высшим образованием! Кандидатская степень стала теперь контрамаркой для входа в науку. Как в горах строят дома «на всякий случай», так некоторые должностные лица на всякий случай пишут диссертацию — «про запас»; если освободят с этой работы, можно пойти в научное учреждение... Вот и разрастается список кандидатов.

Но разве успех в науке достигается числом, а не умением?

То же можно сказать и о литературе в стране.

Тридцать пять лет назад писателей в Дагестане было 12 — 15 человек. Сейчас — 104 члена Союза писателей. У наших соседей не меньше. Но дагестанскую поэзию связывают прежде всего с именами Махмуда, жившего в прошлом веке, Сулеймана Стальского, Гамзата Цадасы, Эффенди Капиева... Современные поэты хотят пораньше да поскорее стать «народными» — есть у нас такое высокое звание. Но звание не спускается указом (оно только указом закрепляется). Надо утверждать свое имя и фамилию творчеством, а не званием. На могиле Махмуда написано просто: «Махмуд» — и всем все понятно...

Так и получение кандидатской степени вовсе не означает, что в мир пришел Ученый. Сегодня институты уже даже не «соревнуются» — у кого больше кандидатов наук. Везде их много. А ведь надо, чтобы наука постоянно обогащалась новыми мыслями и перспективными идеями, надо, чтобы выданный диплом постоянно подтверждался изобретением нового прибора, созданием нового метода, оригинальной формы — то есть практическим делом.

Мне нравится, что сегодня в партийных документах, определяющих перспективу нашего развития и движения вперед, так остро поставлен вопрос о науке: нужна реальная, ощутимая отдача от научного поиска, нужна нацеленность на достижение высоких народнохозяйственных результатов.

Филиал Академии наук — хорошее место работы. Престижное. И люди с удовольствием идут туда. Почему не пойти? Если есть хорошее место, если тебя берут... Но всегда ли эти хорошие места — самые нужные, самые необходимые, без которых затормозится, остановится развитие Дагестана (или Сибири, или Украины, или Киргизии — «хороших мест», я

знаю, всюду немало)? Нужно создавать не «хорошие места», а базу для настоящего развития науки. Там, где нет настоящей базы, там трудно делать серьезные открытия.

Говорят: приснилось ручью, что он большая река,— расплеснулся по песку и тут же высох.

Освобождаясь от груза пережитков прошлого, мы, к сожалению, нередко теряли и кое-какие ценности внутренней культуры. Приобретали общеобразовательную культуру, а выработанные веками нравственные позиции утрачивали. Потери эти не все были видны сразу, они проявились значительно позднее, через годы. И некоторые обернулись серьезными социальными проблемами.

Долгие годы не решались эти проблемы. Стало даже казаться, что так и надо, что по-другому не бывает. Будто то, что привычно, то и правильно.

В Махачкале построили драматический театр с большим зрительным залом, который из вечера в вечер заполняется лишь наполовину. Такие, с размахом, здания любят теперь возводить и в других республиках. Архитекторы хотят выразить себя в монументальных формах, но о содержании забывают. Вероятно, в Махачкале можно было бы возвести телебашню, подобную Останкинской, но есть ли в этом необходимость?

Так нетрудно встречаемся мы с размахом там, где размах не требуется. Встречаемся с желанием приукрасить свое скромное дело, придать ему значение, которого на самом деле нет.

И как ни грустно признавать, но фальшивим иногда и в самом дорогом — в нашем взаимопонимании. Некоторые громко кричат об устоях, о заветах предков, но плохо их исполняют; красноречиво говорят о нравственных идеалах, а действуют из соображений мелочной корысти, эгоизма, собственной выгоды... Некоторые, например, под прикрытием старого обычая заботы о родных «заботятся» о родственниках за счет государства: сделавшись руководителем, протаскивают на «хорошие места» и свата, и брата, разводят семейственность, как говорят у нас, тухумщину (тухум — род). Надо ли говорить, какой это приносит вред!

Из красивых слов не построишь дом; от красивого слова не зажечь огня в очаге. Многие дела, которые могли бы быть красивыми, мы растворяем в красивых словах.

Многое делаем напоказ. Хвалимся обычаями и нравами, которые действительно могли бы украсить духовную жизнь

любого народа, если бы... Если бы меньше говорили о них, а больше следовали им в жизни.

Не похожи ли мы бываем на человека, который расхваливает достоинства бешмета, а сам никогда его не носил? Обычаи сегодня существуют более как атрибуты национальной самобытности, как форма, которой далеко не всегда соответствует содержание.

Теперь дороги в горах изменились, можно проехать на машине. Можно долететь на самолете или вертолете до самых отдаленных мест. Но все трудней и трудней становятся дороги детей к родителям. Самостоятельные дети ездят, летают в отпуск, в путешествия отправляются даже на другие материки, и только одна дорога для них самая далекая — к родителям.

Встречал я в горах одиноких стариков. Еле слышно зовут сыновей и внуков: «Где вы?» Но не доносится зов до сыновей в городах. А до внуков и подавно — у этих своих хлопот полон рот.

Сами ли не захотели уехать или дети оставили их сторожить дом «на всякий случай» — не знаю. Но печальна и горька их участь...

Говорят: не уважающий стариков готовит себе горькую старость...

Уважение к старшим — один из священных обычаев горцев. Веками следовали ему. Казался он незыблемым, как гора Гуниб. Я хотел бы с гордостью сказать, что обычай этот и теперь соблюдается свято. Но поверят ли мне?..

Вот я кладу на одну чашу весов потертое на сгибах письмо. Оно промокло от слез матери: сын давно не пишет ей... На другую чашу положу гору книг наших поэтов и прозаиков, где мы стараемся показать, как мудрость старших помогает жить молодым и как молодые почтительны к старикам. Что окажется тяжелее на этих весах? Что перетянет?

Горько говорить, но думаю, перевесит старое письмо...

Не хочу обвинить только молодых в том, что старый горский обычай, священный обычай, сегодня почти забыт. Он стал формальностью — кто-то место старику уступит, и то не всегда, кто-то совета спросит... Но поступит по-своему.

Четыре койсу, четыре реки Дагестана несут воду нашего горного края в море. Одна койсу питается от снеговых вершин, другая — от родников, третья — от дождей, а четвертая — росой с альпийских лугов. Но как только вливаются они в море, не различить, где какая вода.

Так и со старым обычаем. Когда говоришь о молодых, ка-

жется, что это по их вине тоскуют матери, страдают отцы, старикам не оказывается должного уважения. Но стоит заговорить о старшем поколении, и десятки вопросов остаются без ответа: зачем баловали детей? зачем оберегали их от забот? почему у трудолюбивого отца сын вырос лентяем? почему в стенах отцовского дома нет ни одного камня, положенного сыном? почему легко отпускал детей, едва они оперились: одного — туда, другого — сюда, третьего — в третье место?..

Ко мне как к депутату иногда приходят отцы с одной бедой: сын осужден. Просят помочь. Слушаю их истории и думаю: вот отец — труженик, фронтовик, солдат. Жизни не жалел, защищая Родину. Потом сил не жалел, трудясь. Работал, чтобы детям хорошо жилось, чтобы учились они, чтобы не знали бед. А сын вырос беззаботным, безответственным, оторвался от родной почвы, вышел из-под контроля земляков. И вот чем кончил: воровством, хулиганством. Кто из них виновнее: отец перед сыном или сын перед отцом?

У некоторых молодых не просыпается совесть; у некоторых стариков не проснулась мудрость.

Спросили седого горца: как в старину наказывали за грехи? Он ответил: за нетяжкий проступок отец отхаживал сына плетью; за большой грех — брал в руки посох; а чтобы смыть позор от поступка сына, в гневе и отчаянии отец вытаскивал и кинжал.

Спросим друг друга: а как теперь?

В горах теперь проступок малый
Стараются не замечать.
Повинность бóльшую — прощают:
Мол, все бывает. Не беда.
И в добродетель обращают
Грех превеликий иногда.

У нас говорят: «Если зашел в воду до пупка, полезай весь». «Если развязался мешок, то вытряхивай все, что в нем содержится».

Но разве не бывает иногда, что стыдно показать содержимое своего хурджина? Сверху он хорош: и новый, и чистый, и узел на нем красиво завязан. А внутри?

О священном обычае я завел речь. И что вытряхнул из хурджина? Встречу с одиноким горцем, покинутым стариком...

Что там еще, в моем хурджине, о незыблемости обычаев?

Гостеприимство. Было время — говорить с гостем считалось удовольствием. Что видел, что слышал, чему удивился, чему обрадовался, чем рассердился — обсуждали, обдумывали, друг у друга часть опыта жизни заимствовали. Стол лучший накрывали. Даже если оставалась в доме еда, которой хватило бы семье на целый день, для гостя готовили свежую, как бы поздно он ни пришел. Гостя в дом всегда ждали, и он всегда был желанным.

И сейчас так. Почти так.

Но слабеют прежняя сердечность и внимание.

Сейчас тоже говорят: подождем старшего. А кто старший сейчас? Раньше старшим называли того, кто много рек переплыл, много лет прожил, много звезд видел. А теперь старшинство — по должности, какой-то культ должности...

Было время — сосед считался дорогим другом, кунаком, уважаемым человеком. Без соседа за стол не садились. Сосед был первым гостем. А разве не бывает теперь, что сосед — первый враг? Не бывает тогда тебе хорошо, когда соседу плохо? Соседская корова молока не дает — радуешься. Премии лишили соседа — тоже радость. А если у соседа и корова хорошо доится, и премию ему дали — жалобу на него, анонимку! Дескать, шумит очень, культурно отдыхать не дает, и корова его на рассвете мычит, и хозяйка подойниками гремит, и сам он громко дышит.

Была родовая вражда, теперь появилась соседская. Оба живут хорошо, оба сыновей учат в техникумах, но иногда думают: как бы это так сделалось, чтобы его сына выгнали из техникума, а мой бы продолжал учиться?

Но довольно. Переменим шаг иноходца. Всем сердцем верю: есть и гостеприимство в Дагестане бескорыстное, широкое, от души. Есть и соседи, которые не пишут друг на друга жалоб, а дружат меж собой, и дочь одного выходит за сына другого, а оба деда счастливы, качая на руках внуков. И может быть, сейчас в какой-нибудь городской квартире или горской сакле хозяйка накрыла стол, а хозяин пошел звать к столу соседа — как первого гостя, и от души одаривают они друг друга не золотом, серебром, а сердечностью, уважением, вниманием. А то, о чем я здесь говорю,— это не самое характерное, это отдельные негативные случаи, и не ими определяется наша жизнь.

Но и промолчать о них нельзя.

Один наш гость из Москвы очень хотел побывать в горах и увидеть орлов. Но времени было мало, и гостю организовали недальнюю экскурсию в предгорья. В тех местах тоже есть об-

рывистые склоны, и они произвели на гостя впечатление. Видел он и парящих больших птиц вдалеке. «Это орлы»! — обрадовался он и, довольный, вернулся в город.

Но я знал, что в тех местах орлы не живут, там поселились коршуны. Это их полет наблюдал гость. Мне было жаль расстраивать его, но я все-таки сказал, что он ошибся. Иначе поступить я не мог: только орла можно назвать орлом. Может быть, полет коршуна тоже красив, но это всего лишь красивый полет коршуна.

Плохого не должно быть в нашей жизни, потому я и называю вещи своими именами. Сейчас партия ведет очень серьезную борьбу со всем, что мешает нашему движению вперед. И никто не должен оставаться от этого в стороне.

Мастер делом непрестанно занят,
Не всегда горазд на словеса.
Прохиндей хвастливо барабанит,
Словно он создатель колеса.

Рвется бездарь к ложному величью,
У коварства — происки свои.
Вновь слышны, как в стародавней притче,
Визг свиньи, шипение змеи.

Колесо, безудержно вращаясь,
На своем пути встречает вновь
Радость и печаль, восторг и зависть,
Страх и смелость, ярость и любовь.

Размышляя о некоторых чертах нашей жизни, хорошее я назвал хорошим, прекрасное — прекрасным и плохое — плохим. По-другому я не могу.

Скоро наступит новое тысячелетие. Каждый день для нас — как подарок жизни. Каждый год мы должны сделать содержательным, чтобы оставались наши годы в памяти и в жизни как нержавеющая вечная ценность. Я желаю каждому испытать святое чувство недовольства собой, потому что тот, кто доволен сегодняшним и успокаивается на этом, не сможет сделать лучше завтрашний день.

Васалам, вакалам![1]

---

[1] Мир дому твоему. Разговору конец!



Дмитрий ЛИХАЧЕВ

ТРЕВОГИ СОВЕСТИ

Когда-то, очень давно, мне прислали важное издание «Слова о полку Игореве». Я долго не мог понять: в чем дело? В институте расписались в том, что книгу получили, а книги нет. Наконец выяснилось, что взяла ее одна почтенная дама. Я спросил даму: «Вы взяли книгу?» «Да,— отвечает она.— Я ее взяла. Но если вам она так нужна, я могу ее вернуть». И при этом дама кокетливо улыбается. «Но ведь книга прислана мне. Если она вам нужна, вы должны были ее у меня попросить. Вы же поставили меня в неловкое положение перед тем человеком, который ее прислал. Я даже не поблагодарил его».

Повторяю: давно это было. И можно было бы забыть об этом случае. Но все-таки вспоминаю иногда о нем — жизнь напоминает.

Ведь действительно, кажется, какой пустяк! «Зачитать» книгу, «забыть» вернуть ее владельцу... Сейчас это стало как бы в порядке вещей. Многие оправдываются тем, что мне, мол, эта книга нужнее, чем владельцу: я без нее обойтись не могу, а он обойдется! Распространилось новое явление — «интеллектуального» воровства, вроде бы вполне извинительного, оправдываемого увлеченностью, тягой к культуре. Иногда даже говорят, что «зачитать» книгу — это вовсе не воровство, а признак интеллигентности. Подумайте только: бесчестный поступок — и интеллигентность! А не кажется ли вам, что это попросту дальтонизм? Нравственный дальтонизм: мы разучились различать цвета, точнее — отличать черное от белого. Кража есть кража, воровство есть воровство, бесчестный поступок остается бесчестным поступком, как бы и чем бы они ни оправдывались! А ложь есть ложь, и в конце концов я не верю, что ложь может быть во спасение.

Ведь даже проехать «зайцем» в трамвае — это то же воровство. Нет малой кражи, нет малого воровства — есть

просто воровство и просто кража. Не бывает малого обмана и большого обмана — есть просто обман, ложь. Недаром же говорится: верен в малом — и в большом верен. Когда-нибудь случайно, мимолетно вспомнится вам незначительный эпизод, когда вы поступились совестью в самом будто бы безобидном и ничтожном — и вы почувствуете укор совести. И вы поймете, что если кто и пострадал от вашего пустякового, ничтожного поступка, то пострадали прежде всего вы сами — ваша совесть и ваше достоинство.

...Новое противостоит старому, хотя, может быть, не всякое новое лучше старого. Как свет противостоит мраку, так разум и мудрость противостоят невежеству и безрассудству. Это вечное противостояние. И если продолжить цепочку сопоставлений, вернее, противопоставлений, то звеньями ее должны связаться любовь и ненависть, жестокость и милосердие, вражда и мир, дружба и неприязнь и, конечно, правда и ложь. Окажется, таким образом, что вся наша жизнь находится в постоянном борении, в преодолении одними силами других. Это извечный закон, и, вероятно, не будь такого вековечного противостояния, не существовало бы ни самой жизни, ни самого мира. Однако когда нарушается в душах людских равновесие сил, противоборство обостряется.

Стали привыкать жить двойной жизнью: говорить одно, а думать другое. Разучились говорить правду — полную правду, а полуправда есть худший вид лжи: в полуправде ложь подделывается под правду, прикрывается щитом частичной правды.

Стала исчезать у нас совестливость. Говорю об этом, обязан говорить, потому что мне в своей жизни множество раз не по личным делам, а по таким, которые имеют огромное значение для сохранения нашей культуры, приходилось сталкиваться с людьми, у которых чувство совестливости отсутствовало.

Тот, кто бывал в Ленинграде, знает портик Руска — один из шедевров градостроительства в нашем городе. Стоит он теперь не на своем месте, а чуть в стороне от общего порядка Невского проспекта. Как он тут оказался? Запланировано было строительство станции метро. Портик «мешал»: его собирались убрать. Я пришел к бывшему главному архитектору Ленинграда и как профессионал объяснил ему, что портик Руска очень важен именно на этом месте, потому что он прямой перспективой связан с портиком Русского музея, что

в этом и был градостроительный замысел Руска. Главный архитектор выслушал меня, не возразил, вызвал помощника и сказал: «Значит, надо обдумать положение. Вот Дмитрий Сергеевич Лихачев просит не разрушать портик Руска, и у него есть основания. Обдумайте, как тут быть, как, не разрушая, построить станцию метро». То есть до какой степени человек врал! Полагаясь на его слово, я не стал обращаться к помощи прессы. Через некоторое время портик Руска был разрушен, а на все последующие недоумения главный архитектор отвечал: «А мы его и не разрушали. Мы его разобрали, мы его и восстановим».

И действительно — восстановили... Но ведь есть еще невосстановимые, невоспроизводимые, например — колонна. Она — как живое тело, она ведь немножко неправильна, сужение кверху у колонны идет не по прямой линии. Колонна — это скульптура... Что сейчас с портиком Руска? Внешне он как будто бы такой же, а все-таки колонны — не те. Кроме того, портик отнесен на несколько метров назад, и это уже меняет перспективу: исчезло противостояние Русскому музею. Вторжение в сложившийся архитектурный ансамбль нанесло ущерб Невскому проспекту.

Обычная тактика наших градостроителей — внезапность и темпы. Когда общественность поднимает свой голос в защиту памятника старины, которая предназначается к сносу, градостроители делают вид, будто прислушались к этому голосу. Всячески успокаивают, чтобы усыпить бдительность — и нанести внезапный удар. Успешная, беспроигрышная тактика!

По этой тактике в одну ночь (или в один день) с лица земли в Ленинграде был стерт Пироговский музей. В нашем городе, пожалуй, нет здания, которое так резко вторгалось бы в ландшафт с открывающимся невским простором, как гостиница «Ленинград». Построена она на месте Пироговского музея. Музей был построен хотя и очень поздно, в конце XIX в., но все же в лучших архитектурных традициях Петербурга — Ленинграда. Архитектор, строивший его, понимал, что в этом месте нельзя возводить высокого здания — он построил одноэтажное здание, и сзади виднелось вытянутое вдоль берега длинное двухэтажное здание Военно-медицинской академии. Пространство Невы как бы увеличивалось от того, что здания вдали были низкими и вытянутыми по берегу. Музей был поставлен правильно, у берега. Ко всему прочему, он был построен на народные деньги по подписке. Не наше право было его сносить. Однако повторилась та же история

моих переговоров с главным архитектором: то же обещание «учесть» — и тот же обман.

Вроде бы горький опыт уроков должен был бы научить нас бережно относиться к культуре прошлого, к природе — беречь малый мир и большой мир, в которых мы живем и которые теснейшим образом взаимосвязаны. И вроде бы он чему-то научил нас... Но — научил ли? Вот в Москве, в заповеднике Коломенское, идет наступление Метростроя. Уже давно территория заповедника урезается под разными предлогами, а теперь предполагается построить станцию неглубокого залегания. Таким образом, один из важнейших историко-культурных заповедников, а вместе с ним и один из прекраснейших ландшафтов находится под угрозой разрушения. Конечно, и на сей раз обошлись без мнения общественности.

А разве можно забыть совсем недавнюю историю, которая произошла в Ленинграде с домом Дельвига? Произошла она потому, что за сохранность исторических зданий у нас отвечает несколько организаций и согласие одной организации расходится с несогласием другой. Метрострой — опять Метрострой! — получил согласие на снос дома Дельвига на Владимирской площади в ГлавАПУ. Думаю, дать такое согласие могли лишь те, кто не знает, кто такой Дельвиг, что такое дружба между Дельвигом и Пушкиным, кто не слышал о лицейской дате — 19 октября. Ибо именно 19 октября начали сносить дом Дельвига. Возле него собрались школьники читали стихи Дельвига, читали стихи Пушкина, ведь Пушкин и Дельвиг для них — это символы товарищества! Школьники поставили на каждом окне по свечке: это была панихида по дому Дельвига, это была настоящая трагедия юношеских чувств, достойная экранизации. Даже сами метростроевцы осознали, что они наделали, но ничем не могли помочь, дом уже был подкопан — и разрушается.

Когда-то, помните, герои Достоевского стремились в Европу, чтобы прикоснуться к древним камням. Не пора ли нам наконец прикоснуться к своим древним камням, к своей памяти, к своей культуре?

Правда, сейчас в общественном сознании очень важные перемены: люди уже не стремятся изображать из себя упорных, последовательных, узких исполнителей чужой воли, что раньше считалось чуть ли не достоинством. Отношение к истории изменилось настолько, что защитники старины появились как раз из числа тех, кто раньше старину разрушал. И это очень отрадное явление.

Я имею возможность сравнивать с иными годами и могу

сказать, что временами общественное сознание становилось иным: честным людям было очень трудно. Сейчас оно изменилось и дает возможность выдвинуться хорошим людям, значит, и дурные люди вынуждены прятаться, маскироваться, скрывать свое озлобление, свои дурные качества, неблаговидные поступки. Им приходится притворяться хорошими, доброжелательными, воспитанными и т. д. Пусть притворяются: со временем их сменят подлинно хорошие, потому что — я верю в это — за переменой общественного сознания наступит перелом и в характере людей. Будет больше по-настоящему добрых и честных людей. В здоровом, открытом обществе при наших сегодняшних требованиях гласности, общественного обсуждения уже вряд ли кто пойдет на обман общественности, на принятие каких-то своих волевых решений, на анонимки или доносы. Это будет уже труднее.

Отсутствие совестливости у людей, занятых в хозяйстве, в экономике, наносит ущерб материальный. Отсутствие совестливости у людей, ответственных за культуру, наносит ущерб, не выражающийся материально. Но если в экономике можно наверстать упущенное, то ущерб в культуре чаще всего невосполним. Впрочем, без перемены климата в нашей культуре и экономика не сдвинется ни на шаг.

Честь, порядочность, совесть — это качества, которыми дорожить нужно так же, как мы дорожим своим здоровьем, ибо без этих качеств и человек — не человек.

Я получил недавно письмо, в котором школьница пишет о своей подруге. Учительница литературы дала задание этой подруге написать сочинение об очень крупном советском писателе. И в этом сочинении школьница, отдавая должное и гениальности писателя, и его значению в истории литературы, написала, что у него были ошибки. Учительница сочла это неуместным и очень ее бранила. И вот подруга той школьницы обращается ко мне с вопросом: можно ли писать об ошибках великих людей? Я ей ответил, что не только можно, но и нужно писать об ошибках великих людей, что велик человек не тем, что он ни в чем не ошибался. Никто не свободен от ошибок в нашей жизни, в нашей сложной жизни.

Но еще и другая сторона есть в этом вопросе. Может ли ученица высказать мнение, не соответствующее взглядам учителя? Мне кажется, что учитель должен поощрять самостоятельность мышления своих учеников. Потому что если он будет заставлять придерживаться только своего собственного мнения, то представьте, что может получиться с тем учеником, когда он выйдет из школы, окажется рядом какая-то сильная,

но дурная личность, которая будет внушать ему свои мнения. Он не сможет им противостоять. Да ему нечего противопоставить, потому что у него нет ничего своего. Ведь если человек не умеет отстаивать свое мнение, а умеет только слушаться, он может послушаться дурного человека, забыв о совести и чести. И ведь бывает, что первые ученики, глядящие в рот своему учителю, потом оказываются на самом деле иногда и плохими людьми, у них нет самостоятельности, у них нет умения отстаивать свою точку зрения. Они привыкли слушать других, слушать только то, что им говорят, и повторять только то, что им говорит преподаватель. Умение отстаивать свою точку зрения — это же очень важно. И оно крайне важно в нашей государственной и общественной жизни. Только тогда мы сможем быть уверены, что человек не попадет под дурное влияние, будет жить по совести.

Совесть — понятие очень сложное, и, конечно, сложно требовать от каждого человека совестливости. Но требовать чести можно, потому что бесчестный поступок на виду, он явно замечается общественным мнением. Бесчестные поступки рождают разные обстоятельства. Допустим, человек не ищет личных выгод, привилегий, он хороший товарищ, хороший директор учреждения. Это ведь большое достоинство — быть хорошим товарищем и хорошим директором учреждения. И для того чтобы учреждение получило дополнительные средства, фонды, он придумывает ему большую работу, которая, в сущности, неадекватна расходам на эту большую работу, неадекватна штатам. Он защищает штаты, защищает людей. Выполняет долг руководителя. Но все-таки нарушает закон чести, идет на сделку с совестью, хотя перед лицом своей личной совести он, может быть, и прав: ему удалось сохранить место Ивана Ивановича и Марьи Ивановны. Но тут возникает сложнейшее расхождение между долгом, честью и совестью.

Я не люблю определений и часто не готов к ним. Но я могу указать на различие между совестью и честью. Совесть подсказывает. Честь действует. Совесть всегда исходит из глубины души, и совестью в той или иной мере человек очищается. Совесть «грызет». Совесть не бывает ложной. Она бывает приглушенной или слишком преувеличенной (крайне редко). Но представления о чести бывают совершенно ложными, и эти ложные представления наносят колоссальный ущерб обществу. Я имею в виду то, что называется «честью мундира». У нас исчезли такие несвойственные нашему обществу понятия, как, скажем, дворянская честь, но «честь мундира» остается.

Точно человек умер, а остался мундир, с которого сняты ордена и внутри которого уже не бьется совестливое сердце. «Честь мундира» заставляет руководителей отстаивать ложные или порочные проекты, настаивать на продолжении явно неудачных строек, бороться с охраняющими памятники людьми («наша стройка важнее») и т. д.

Честь истинная — всегда в соответствии с совестью. Честь ложная — мираж в пустыне, в нравственной пустыне человеческой (вернее — «чиновничьей») души. И мираж вредный, созидающий ложные цели, ведущий к расточительству, а иногда и к гибели подлинных ценностей.

Поэтому честь должна быть в гармонии с совестью. Честь и совесть надо рассматривать не только в плане личных отношений, но и в государственном масштабе. Если человек совершает добрые поступки, как это часто бывает, не за свой счет, а за счет государства, то это не доброта, не бескорыстие, а делячество и хитрость.

В чем выражается внутренняя честь? В том, что человек держит слово. И как официальное лицо, и просто как человек. Ведет себя порядочно — не нарушает этических норм, соблюдает достоинство, не пресмыкается перед начальством, перед любым «благодающим», не подлаживается к чужому мнению, не упрямится, чтобы доказать свою правоту, не сводит личные счеты, не расплачивается с нужными людьми за счет государства различными поблажками, устройством на работу нужных людей и так далее. Вообще умеет отличать личное от государственного, субъективное от объективного в оценке окружающего.

Честь — это достоинство нравственно живущего человека.

Вот в «Литературной газете» не так давно была напечатана хорошая статья о том, что на выборах надо выдвигать не одного, а нескольких кандидатов. И это правильно. Это очень важно, потому что тогда человек, которого выбрали в органы государственной власти, будет активен, будет дорожить своей репутацией и своей честью, он будет знать, что если станет трудиться не на благо общества, а только ради собственных привилегий и выгод, то в следующий раз выберут другого.

Да и просто руководитель, который запятнал свою честь хитростью или обманом, должен быть снят со своего поста. Ему нельзя быть руководителем, пусть он и обманывал ради интересов своего учреждения.

В последние годы особенно остро мы почувствовали недостаток, дефицит гражданской совести. Не то чтобы в нашей общественной жизни скопилось так много пороков, непри-

глядных явлений; не то чтобы слишком много людей оказались замешанными в махинациях, в неблаговидных поступках и эти неблаговидные поступки слишком долго оставались безнаказанными. Мы почувствовали дефицит гражданской совести потому, что молчали. Вроде бы были и объективные причины у нашего молчания: совершавшие дурные поступки люди занимали ключевые посты. И тем не менее это не снимает ответственности и с нас самих, не оправдывает и нашей с вами вины. Мы же все видели — и... молчали. Молчала наша совесть.

Что же мы — боялись? В правде нет страха. Правда и страх — несовместимы. Мы должны бояться только своих порочных мыслей, мыслей, неуважительных по отношению к нашим друзьям, неуважительных по отношению к любому человеку, к нашей Родине. У нас должен присутствовать единственный страх: страх лжи. Вот тогда и будет в нашем обществе здоровая нравственная атмосфера.

С самого начала, как только повеяло ветром перемен, некоторые стали поговаривать, что продержится это недолго, что перестройка — явление временное, что это якобы очередная кампания. Так они пытались успокоить самих себя и окружающих. И, разумеется, они ждали — и сейчас еще ждут,— что волна пойдет на убыль, на спад. Кое-кто предпочитал присмотреться, в какую сторону подует ветер. Наблюдались, одним словом, и настороженность, и растерянность, и хотя не явное, но все же вполне ощутимое желание противодействовать тому подъему, который охватил наше общество. А это ведь — настоящий подъем!

Вы посмотрите, что происходит в нашей литературной жизни, какое оживление в ней: на глазах меняется атмосфера. Стали появляться публикации произведений писателей, которые по тем или иным причинам длительное время не печатались (я не говорю о том, что они были преданы забвению – забыты они не были никогда). Читатели, по крайней мере подавляющее их большинство, доброжелательно встретили публикации. Однако раздались и голоса: зачем нам это нужно? Кое-кто их «чиновников от литературы» — противников обновления — прибегает к недозволенным приемам: в качестве как бы некоего аргумента на первый план выставляются сложности пути, сложности биографий этих писателей или поэтов, как, скажем, Гумилева, или же наименее удачные их произведения, уязвимые стороны их творческих дарований,

и на этом основании делаются выводы о мнимой «вредности» их творчества, «вредности» их взглядов для наших читателей. Тут уместно напомнить, как Ленин отнесся к острейшей сатире Аверченко вопреки ее недоброжелательности: посоветовал перепечатать некоторые рассказы, назвав их талантливыми.

И если мы издадим неопубликованные произведения Андрея Платонова «Чевенгур» и «Котлован», некоторые все еще остающиеся в архивах произведения Булгакова, Ахматовой, Зощенко, то это, как мне кажется, тоже будет полезно для нашей культуры.

Мне совсем недавно привелось прочесть роман Пастернака «Доктор Живаго». Меня попросили написать о нем статью, и я ее написал. Я вспоминаю: мнение об этом романе в свое время высказали наши уважаемые писатели. Но вот о чем я подумал, читая роман: многое сейчас воспринимается поиному и, видимо, он нуждается в новой оценке, как мы это делаем по отношению к некоторым другим произведениям нашей литературы.

Помните: двадцать лет назад вошел в нашу жизнь Булгаков со своей острейшей и веселой сатирой, со своим романом «Мастер и Маргарита». Так что же произошло? Случилось что-нибудь? Да, случилось: мы получили прекрасное произведение, которое «работает» на нас, а не против нас! Нам нужна сатира — острая, бичующая наши пороки и веселая. Она нам будет помогать!

Нам давно пора было начать «разгребать» архивные «залежи». Широко открыть двери и для той литературы, которую мы так долго замалчивали. Вернуть ее народу, нашей культуре. Это и неизбежность, и необходимость. Благодаря тому, что журналы стали публиковать «залежавшиеся» в архивах произведения, создаются благоприятные условия и для развития литературы современной: возрастает культура — повышается уровень требований к тому, что пишется сегодня. Произведениям серым, проходным, конъюнктурным, роняющим достоинство литературы, не выдержать духа соперничества с произведениями высокой культуры, требовательного нравственно-этического содержания. А разве не радость то, что мы широко открываем двери для нашей богатейшей литературы и прошлого, и настоящего?! А разве не радость сознание того, что торжествует справедливость и дань должного воздается тем писателям, к творчеству которых мы так долго и упорно относились с несправедливой и унижающей наше достоинство подозрительностью?!

Вместе с тем как ученый я могу согласиться с тем, что

подобным публикациям вредна атмосфера ажиотажа, некоего «бума». Они должны стать обычным делом, как всякая нормальная, естественная работа, но работа последовательная и непрерывная, без всяких заминок и пауз. Между тем здоровая мысль о том, что не следует создавать «бума», ажиотажа, особенно в юбилейном году, иногда понимается превратно: под этим флагом в иных журналах и издательствах «перекраиваются» планы, выбрасываются произведения, которые столь долгое время ждали своего часа и которых ждали и ждут читатели.

Наша сегодняшняя литература необычайно богата и разнообразна. Однако на литературном небосклоне наряду с заметными, действительно заметными явлениями немало и ложных звезд: якобы крупнейшие наши писатели на самом деле оказываются пустышками. Я знаю случай, когда никто не хотел подписываться на собрание сочинений одного такого писателя. Выход был найден: подписка чуть ли не в приказном порядке была разверстана по всем армейским библиотекам. Но зачем эти «сочинения» (добро бы они были на военную тему!) в армии, если они не нужны читателям гражданским?

Лет двадцать тому назад в Отделении литературы и языка АН СССР украинский ученый-статистик выступил с очень интересным сообщением о резком падении чтения классики. Думали, что оно в какой-то мере вызвано падением уровня культуры или падением читательского спроса на классику. Оказалось — ничего подобного: интерес и спрос есть и они вовсе не понизились, а попросту издательства выпускают книги современных писателей за счет классики! И ведь посмотрите: сколько словесного мусора выпускается! Об этом говорилось на писательском съезде, правда, к сожалению, в довольно отвлеченной форме: никто не говорил о том, почему выпускаются серые произведения. А сказать надо: потому, что их авторы принадлежат к категории так называемых влиятельных людей в Союзе писателей. От них зависит издательство «Советский писатель», они могут потребовать, чтобы и «Художественная литература» выпускала их собрания сочинений. Сколько ныне живущих писателей обзавелись «собраниями» в пяти, а то и в десяти томах! Между тем тридцатитомное собрание сочинений Достоевского выпускается вот уже пятнадцать лет! Допустимо ли это? Конечно, недопустимо. А попробуйте свободно купить Лескова, Булгакова, да даже Пушкина, Гоголя, Лермонтова — то, что составляет нашу национальную гордость. Не купите. Сейчас выходит собрание

сочинений замечательного писателя Михаила Зощенко. Но сколько усилий понадобилось для того, чтобы «пробить» его! Когда же зашел разговор о том, чтобы включить в собрание повесть «Перед восходом солнца», один из ответственных работников издательства заявил членам комиссии по литературному наследию Зощенко: «Повесть включать нельзя, о ней говорилось в постановлении, а постановление никто не отменял». «Да вы прочтите повесть! В ней нет никакого «криминала»!» — настаивали члены комиссии. «Мне незачем читать повесть. Я читал постановление».

К счастью, впоследствии все-таки удалось вернуть повесть в собрание сочинений, из которого она была выброшена.

Для меня лично нет никакого сомнения в том, что нам нужно научиться признавать собственные ошибки, ибо признание ошибки не только не умаляет достоинства и человека, и общества, а, напротив, вызывает чувство доверия и уважения как к человеку, так и к обществу.

Литература — это совесть общества, его душа. Честь и достоинство писателя состоит в том, чтобы правду, право на эту правду отстаивать при самых неблагоприятных обстоятельствах. Собственно, для писателя даже вопрос не стоит: говорить правду или не говорить? Для него это значит: писать или не писать. Я как специалист по древней русской литературе могу с убежденностью сказать, что русская литература не молчала никогда. Да и разве можно считать литературу литературой, а писателя писателем, если они обходят правду, замалчивают ее или пытаются подделаться под нее? Литература, в которой не бьется тревога совести,— это уже ложь. А ложь в литературе, согласитесь,— худший вид лжи.

Хотя есть у нас замечательная литература, замечательные писатели (не буду называть их, вы их прекрасно знаете), все же это открытия в общем-то двадцати-, тридцатилетней давности. Мы не обрели новых крупных открытий за последние годы. В литературе за последние десятилетия возобладал дух потребительства. Появилась тенденция писать «на продажу», то, что пройдет наверняка. Мне не раз приходилось слышать сетования, что вот, мол, не печатают.

Вас не печатают? Ну и что! Да вы пишите: напечатают, если напишете стоящее. Услышат голос вашей совести. Терпение — мать мужества, а мужеству нужно учиться. Его нужно воспитывать. Нужно закалять себя, закалять свой талант, свой дар. Творчество требует мужества. Творчество — не слава, не лавры. Это тернистый путь, требующий полной самоотдачи.

Я не согласен с тем, что писатель — это профессия. Писатель — это судьба. Это жизнь. Свой гонорар писатель может получать только в результате огромного труда. У нас же писательство рассматривается как своего рода «кормушка»: выпускают книжки, локтями пробивают себе дорогу в Союз писателей, чтобы нигде не работать, забывая о том, что хлеб искусства — черствый и трудный хлеб.

Почему, например, прекрасный болгарский поэт Атанас Далчев за всю свою жизнь выпустил всего несколько поэтических произведений? Поэзия не была для него средством заработка. И все произведения, которые он выпустил,— первоклассные. Мы же в погоне за гонораром утратили чувство краткости. И не только краткости: мы забыли о том, что литература — это учительство и ее миссия — просветительство, то, что изначально составляло ее сущность. Да разве Пушкин, когда писал «Капитанскую дочку», мог думать о гонораре, о том, что ее нужно разогнать до размера огромного романа? На первый план он ставил свое творчество, свою честь — честь литературы, которой он служил, хотя ведь и ему, как мы знаем, приходилось заботиться о гонораре.

Я приведу другой пример, более близкий нам,— случай из жизни Андрея Платонова, о котором мне рассказали. Платонов, как известно, не был избалован вниманием издательств. Печатали его мало, трудно. Больше ругали. И вот в тридцатые годы, получив более чем скромный гонорар, Андрей Платонов встретил в издательстве другого писателя, который в те годы был «в чести». Его коллега, потрясая пачками денег, которые едва помещались у него в пригоршнях, обратился к Платонову: «Во как нужно писать, Платонов! Во как нужно писать!» Что ж, Платонов, как мы знаем, ныне известен во всем мире, но если бы я назвал имя литератора, который «учил» Платонова, как нужно писать, то вряд ли кто из читателей вспомнил бы его.

Трудно жил Булгаков, трудно жила Ахматова, трудно жил Зощенко. Но трудности не сломили их волю к творчеству. Писатель, истинный писатель, не поступается своей совестью, даже если он терпит нужду и лишения.

Что человеку важно? Как прожить жизнь? Прежде всего — не совершить никаких поступков, которые бы роняли его достоинство. Можно не очень много сделать в жизни, но если ты не делаешь ничего, даже мелкого, против своей совести, то уже этим самым ты приносишь колоссальную пользу. Даже в обыденной нашей, повседневной жизни. А ведь в жизни могут быть и тяжелые ситуации, когда перед челове-

ком стоит проблема выбора — быть обесчещенным в глазах окружающих или в своих собственных. Уверен, что лучше быть обесчещенным перед другими, нежели перед своей совестью. Человек должен уметь жертвовать собой. Конечно, такая жертва — это героический поступок. Но на него нужно идти.

Когда я говорю о том, что человек не должен идти против своей совести, не должен совершать с ней сделку, я вовсе не имею в виду, что человек не может или не должен ошибаться, оступаться. Никто не свободен от ошибок в нашей сложной жизни. Однако человека, который оступился, подстерегает серьезнейшая опасность,— он нередко приходит в отчаяние. Ему начинает казаться, что все кругом подлецы, что все лгут и скверно поступают. Наступает разочарование, а разочарование, потеря веры в людей, в порядочность — это самое страшное. Как-то один мой сослуживец сказал, что он не верит ни одному человеку, что все люди прохвосты. Оказалось, что когда-то, когда он очень нуждался, у него из письменного стола украли зарплату. Я понял, что и мне ему верить нельзя, человек, убежденный только в силе зла, может и сам украсть деньги из чужого стола.

Да, говорят: «Береги честь смолоду». Но если даже не удалось сберечь честь смолоду, ее нужно и можно вернуть себе в зрелом возрасте, переломить себя, найти в себе смелость и мужество признать ошибки.

Я знаю человека, которым сейчас все восхищаются, которого очень ценят, которого и я в последние годы его жизни любил. Между тем в молодости он совершил дурной поступок, очень дурной. И он мне рассказал об этом поступке. Сам признался. Как-то мы плыли с ним на теплоходе, и он сказал, опершись на поручни палубы: «А я думал, что вы со мной и разговаривать не станете». Я даже не понял, о чем он, мое отношение к нему изменилось гораздо раньше, чем он признался в грехах молодости. Я уже сам понимал, что он многое не осознавал из того, что делал...

Путь к раскаянию может быть долгим и трудным. Но как же украшает мужество признать свою вину — украшает и человека, и общество.

Тревоги совести. Они подсказывают, учат, они помогают не нарушать этических норм, сохранять достоинство — достоинство нравственно живущего человека.

Александр ГЕЛЬМАН

ЧТО СНАЧАЛА, ЧТО ПОТОМ...

На перемены, которые сегодня происходят, я смотрю так — это судьба повернулась к нам лицом. Почему судьба? Потому что история, при всей закономерности ее развития, с началами и концами своих периодов обращается ребячески беспечно: плюс-минус десяток, другой годков на стыке эпох для нее сущий пустяк. А для нас, при недолгом отпущенном нам сроке, эти вольности истории оборачиваются судьбой.

Однако люди так устроены, что, пока судьба стоит к ним спиной, они ее клянут, поносят, все свои беды, неудачи громоздят на нее, а когда она вдруг поворачивается, открывает перед ними простор возможностей, они, возликовав, возрадовавшись поначалу, тут же начинают различать в повороте судьбы несовершенства, неполноту, дескать, да, поворот имел место, но ведь неполный, не до конца, вот если бы до конца.

Историческая судьба никогда не поворачивается до конца. Ее нужно собственными силами «довернуть», «довести до риска». А иначе, чем черт не шутит, может и обратный ход дать, снова спину свою показать нам.

Я неверующий, но признаю грех. А самый страшный, самый непростительный грех людей — это упущенные, угробленные возможности. В прошлое не съездишь, чтобы там что-то исправить, изменить. Есть только одно прошлое, которое можно изменить,— это будущее, которое очень скоро, не успеем оглянуться, станет прошлым. Кажется, совсем недавно были нашими будущими 50-е, 60-е, 70-е годы. Были, да сплыли.

Конечно, это в обычаях людей — грешить и каяться, грешить и каяться. Но мы грешили не один срок. Мы грешили несколько сроков подряд, без перерыва. Старые грехи наложились на новые, старые грешники воспитали новых.

* * *

Вступая в деловую, производственную жизнь, человек действует одновременно на двух территориях, в двух зонах. На внешней территории — оборудование, машины, начальники, но самое главное — порядки, правила организации труда и его оплаты. Это один мир, внешний. Вторая территория, второй мир — внутренний, где расположены чувства, мысли, хотения, устремления, совесть, сама душа. И вот человек начинает работать. Если он на внешней территории натыкается на скалистые, тупые, неподатливые порядки, с которыми ничего не может поделать, он тогда переходит на внутреннюю территорию, тут начинает ломать и кромсать, приспосабливая себя к условиям внешней зоны. Тут он сам хозяин, и материал помягче, поуступчивее — собственные мозги. Это закон — где помягче, там в первую очередь и идет работа. Вот тут и шла, поскольку там не шла, перестройка. Честность переоборудовалась в лживость, прямодушие в ловкачество, можно было и вовсе душу изъять — хозяин барин. А когда человек натыкался на скалистые породы в обеих зонах, тогда он бился головой об обе эти стенки и чаще всего в конце концов уходил в «сторожа» — на такую работу, где дают кое-какую зарплату за то, что сторожишь стул, на котором сидишь, и якобы работаешь. В последние годы наблюдался, я бы сказал, массовый уход в «сторожа». Оказалось, что «сторожевых постов» у нас бесчисленное число, половину народа можно занять на этой якобы работе.

Значит, если позволить себе немножко теории, общенародная наша собственность соединяется со своими хозяевами и определяет их сознание не сама по себе, не в «чистом» виде, а оснащенная толковыми или бестолковыми порядками и правилами, сообразуясь с которыми хозяева и работают с общенародной собственностью (в ней, на ней, около и вокруг нее). Значит, между хозяином и его хозяйством существует посредник, автор правил и порядков,— его и нужно вызывать на сцену, когда дела идут плохо, а не ссылаться, как бывало, на неизбежное отставание сознания от бытия. В состав бытия входят порядки и правила, как его неотъемлемая, наиболее активная, воздействующая часть. Отдельно от этих порядков и правил общенародная собственность воспринимается умозрительно, созерцательно, инертно, обзорно, как воспринималась бы живописная панорама «Поля и заводы нашей Родины».

* * *

Марксизм тоже стал у нас общенародной собственностью. Но не надо понимать это слишком буквально. Как это делают некоторые «ученые», превратившие великое революционное учение в бездонную кормушку. Ведь как бывало: почувствуют какие-то новые веяния начальства и, по принципу упреждающего угодничества, спешат их «марксистски» офундаменталить.

Марксизм — это глубокие, живые мысли Маркса, Энгельса, Ленина. Это книги, всего лишь книги, они лежат или стоят, как лежит земля, как стоят заводы, и как земля и заводы, так и книги сами по себе социализм не строят. Они это делают, хорошо или плохо, опять-таки в зависимости от порядка и правил отбора мозгов для их истолкования.

Когда читаешь иные труды, создается впечатление, что народное хозяйство страны после революции было собрано буквально под одну крышу, что у общества один общий рот, одна общая пара рук, одна общая голова на одних общих плечах. Считается как бы незначительным, периферийным фактом, что человек потребляет то, что он потребляет, главным образом, сугубо индивидуально или в составе своей семьи. И уже почти вовсе не считается никаким фактом то обстоятельство, что ум, способности, физические силы, совесть и прочее в этом роде остаются и останутся во веки веков неотъемлемой индивидуальной, частной собственностью человека, с которой человек и вступает в производство и расходование которой сам регулирует. Вы свободны ставить меня в определенные условия, но и у меня есть своя свобода, свой диапазон возможностей, нижний и верхний его пределы, и это уже я сам буду решать, на каком из этих пределов работать. На любой привет не любой ответ. И уж тем более не тот, на который рассчитывают «теоретики», сбрасывающие со счетов, что всякий человек себе принадлежит — не во всех, правда, отношениях, но все-таки в достаточно значительных, серьезных.

* * *

Бытует мнение, что вообще-то уравниловка — вещь хорошая, но, поскольку сознание еще низкое, приходится пойти на ощутимую дифференциацию в оплате труда.

В таком истолковании многое извращено. При уравниловке не потому не стараются, что человек любит деньги. Человек

любит, уважает себя, вот в чем дело. Признавая несомненным добром, высшей справедливостью равенство основных прав, люди тем не менее не стремятся к равенству, к одинаковости личных достижений в самоосуществлении своих потенций. Наоборот. В этом отношении они считают законным и необходимым дерзкую соревновательность. Жизнь, помимо прочего, это еще и состязание личностей. Показать себя, когда речь идет о самореализации, а не об эксплуатации чужого труда,— это законное, нормальное право человека. Существует неистребимая потребность в таком соперничестве, и она ничуть не буржуазна. А заработок — это не только уровень платежеспособности, но и мера публичного, социального признания заслуг, измеритель личных качеств, а потому и предмет гордости, если хотите. Уравниловка не столько бьет по карману, сколько по достоинству. Она лишает перспективы честное, непорочное честолюбие, а ведь это существенный, неиссякаемый источник не только экономического, но и духовного обогащения общества. Даже в самом аскетическом бескорыстии, если будем внимательны, обнаружится момент честолюбия.

Конечно, будут и издержки — жадность, вещизм, завистничество. Но разве уравниловка от этого спасала? В социальных вопросах то решение считается добром, которое сопровождается наименьшими из возможных зол. Нельзя из-за дурных исключений порочить хорошие правила. Справедливость не в том, чтобы получали поровну, а в том, чтобы справедливо получали не поровну.

Потребность в состязательности имеет и глубокий бытийный смысл — жизнь коротка, неминуемость смерти, думаем мы о ней или не думаем, угнетает. Поэтому возможность проявить себя, показать себя, запечатлеться в памяти людей, многих или немногих, надолго или хотя бы ненадолго, это — когда сознательный, когда подсознательный, но мощный способ преодоления неуютной временности пребывания под этим небом. Наша политэкономия упорно уклоняется от учета такого рода бытийных фактов. Будь иначе, она бы намного раньше уразумела порочность уравниловки. Человеку нужна, необходима, как воздух, большая, крупная, головокружительная, если хотите, перспектива, а не «потолочная»,— тогда он покажет чудеса трудолюбия и творчества.

* * *

Общество — не дерево, у него корни и снизу и сверху. И если сосуды сообщения между верхними и нижними корнями

засорены произволом, догматизмом или просто глупостью, то неминуемо будут возникать тромбы, лечение которых, как мы сегодня видим, дело непростое.

* * *

Самая серьезная ошибка — ошибка в определении причин. Когда собака зарыта справа, а копают слева. А еще бывает так — причину обнаружат, поглядят на нее, потом закрывают глаза, поворачиваются и пальцем показывают в противоположную сторону.

* * *

Пресловутый антипоказатель «вал» в буквальном смысле угнетал нашу экономику. Он всех запутал и опутал своей коварной простотой, ясностью нелепого принципа: чем тяжелее, тем лучше, чем длиннее, тем лучше, чем дальше, тем лучше, чем дороже, тем лучше. Руководить с помощью «вала» было легко, необременительно — «вал» воспитал целое поколение начальников-приписчиков, поскольку сам, по существу, являлся легальной, узаконенной, поощряемой формой огромных приписок. «Вал» дал толчок многим сомнительным карьерам.

В тот день, когда с «валом» будет вконец покончено, надо бы устроить общенародный праздник, День избавления, и отмечать его каждый год в назидание потомкам. Я вношу это предложение без всяких шуток.

* * *

Первое, что сознает человек, вырастая, это что жить можно лучше и хуже. Имеется целый набор, целый репертуар образцов «лучшей жизни», и каждый к одному из них приникает душой. Потом модель можно сменить — по моим наблюдениям, люди меняют такие модели до трех — пяти раз, больше не успевают. При этом притязания нередко расходятся с трудолюбием, способностями. Люди разные, а жить как можно лучше хотят все одинаково.

У кого притязания «уехали» сильно вперед, обнаруживается тяга к рутинно-групповым связям. Встречаются большие мастера установления, укрепления, развития, разветвления связей. Крупные «связисты» держат в руках целые клубки расходящихся во все стороны нитей. Это обычно довольно плотные, крепкие нити, потому что скручены из незаконной, неофициальной деятельности.

Сегодня «связисты» в растерянности — некоторые «узлы связи» пострадали, но наиболее живучие и энергичные уже приступили к налаживанию новых связей с новыми людьми, которых выдвинула перестройка.

* * *

Привилегии в правах — это, конечно, не то, что недвижимая собственность буржуазии, но тоже, как говорится, дай бог как за них держатся. Неуступчивых держателей прав я называю для себя «новые недовольные», в отличие от недовольных до апреля восемьдесят пятого. Сегодня, когда повсеместно переосмысливаются, пересматриваются бесчисленные реестры допустимого и недопустимого, разрешаемого и запрещаемого, вокруг каждого устаревшего «нельзя» или «можно» — схватки, борьба, затяжки. Каждый шаг в сторону большей самостоятельности, свободы «новые недовольные» стараются сопроводить, обрамить, окружить таким числом оговорок, что из них ногу не вытащить и шага не сделать.

Права — это оружие, и, чтобы ими не злоупотребляли, распределять их надо так, чтобы никто не оставался безоружным.

* * *

Но догмы догмам рознь. Есть догматизм заскорузлый, упрямый, пожирающий время, не желающий понимать, что если жизненно важные вопросы не решаются в намеченном русле, то надо не вопросы снимать, их не снимешь, «вопросы не умирают»,— надо само русло менять. Но есть и высокая, благотворная догматика. Есть неувядаемые, нестареющие уверенности.

Можете быть совершенно уверены, что если люди на своих предприятиях, в своих организациях сами не решают, как им жить и работать, сами не ошибаются, сами не переживают своих ошибок, сами не исправляют их, сами не запоминают их на будущее, сами не выбирают свободно своих общественных руководителей, сами не участвуют в подборе и расстановке административных кадров, то, несмотря на то что они живут при социализме, они будут относиться к общественному добру так, будто это не общее, не наше, а ничье.

Можете быть совершенно уверены, что если вы на производстве ввели уравниловку, «потолки», то очень скоро начнется энергичная борьба за повышение производительности

не труда, а покоя, и если эта борьба будет длиться много лет, вы обязательно добьетесь самой высокой производительности покоя в мире.

Можете быть совершенно уверены, что если на собраниях, совещаниях, пленумах, семинарах, симпозиумах, коллоквиумах, конференциях будет всегда говориться только то, «что надо», то делаться обязательно будет то, что не надо.

Можете быть совершенно уверены, что если те люди, которые призваны проверять и освещать деятельность ответственных лиц и учреждений, находятся в зависимости от этих лиц и учреждений, то никакого честного, объективного, нелицеприятного контроля не будет.

Можете быть совершенно уверены, что если в коллективе, в городе, в любом месте появилось хоть одно неприкасаемое лицо, то тут же, немедленно станет неприкасаемым и его ближайшее окружение, и окружение этого окружения, и окружение окружения окружения, и очень скоро образуется круговая порука неприкасаемых, замкнутый круг неприкасаемости, разорвать который не удастся до тех пор, пока он сам не треснет.

* * *

Читайте Андрея Платонова. Сегодня надо издать, доиздать все, что он написал, потому что, как никто другой, Андрей Платонов понимал, что если управление не соединить с ценностями культуры, если управление не пронизать вечными уверенностями человечества, то все выйдет наоборот, а не так, как хотелось, и уже не поймешь, что и хотелось.

К сожалению, в мире искусства, даже у нас, можно наблюдать известное пренебрежение к миру управления, политики как к чему-то изначально рутинному, бездуховному, недостойному внимания. Возникают иллюзии, что культурно-духовная деятельность способна сама, минуя управление или даже вопреки управлению, направить общество по верному пути. Эти всплески гордыни, этот «высокий» снобизм фактически не имеют опоры в исторической практике. Напротив, эта практика показывает, что воодушевленное культурой управление может в один день сделать больше, чем культура сама по себе за многие десятилетия. Эта тема требует специального рассмотрения, но здесь я хочу сказать, что управление и культура — разумеется, не рутинная, а истинная культура — должны решительно шагнуть друг другу навстречу, если мы хотим, чтобы перестройка стала необратимой. Куль-

тура без управления свою миссию будет только вновь и вновь провозглашать, но не осуществит ее до конца. Это понимал лучше меня, гораздо лучше меня Андрей Платонов. Да вот только его не поняли те, кому он от чистого сердца хотел помочь.

* * *

Что такое бюрократ, как он возникает? Видимо, человек бюрократом не рождается. Тем более невозможно предположить, что рождается такое огромное количество бюрократов, что существует биологический ген бюрократизма. Да я просто сам несколько раз наблюдал, как из нормального мужчины за год-два, больше не надо, вырабатывался заправский, классический бюрократ.

Происходит это просто. Если вы хотите получить бюрократа, поставьте человека в положение, когда от него будут зависеть многие люди, но он при этом от них зависеть не будет. Все. Таким способом вы можете выпекать бюрократов тысячами.

Бюрократ — это дитя несбалансированных взаимозависимостей в обществе.

Потому что если я от вас не завишу, то вас для меня нет и быть не должно. Независящий не помнит. Бюрократизм — это беспамятство. Жужжащая муха — вот вы кто для бюрократа. Заветная его мечта — придумать для людей, как для мух, этакое клейкое полотно, чтобы они по пути в его кабинет прилипали и прекращали наконец жужжать.

Шутки шутками, но структуры взаимозависимостей — дело серьезное. Ничто другое так не запечатлевается в нашей памяти, как взаимозависимости. Особенно в том слое памяти, наиважнейшем, который я называю памятью воли. В памяти нашей воли живут только те отношения с людьми, только те истины, от учета или неучета которых в нашей жизни что-то всерьез зависит. Все остальное хранится в другой памяти, в мешке, куда мы бросаем все, что видят глаза и слышат уши,— это проходная, текущая, безответственная память. А вот память воли — это сейф особый, престижный, туда вход только по пропускам зависимостей.

* * *

Самоуправление, самовнушение, самоотторжение, самоконтроль — как я люблю все эти слова на «само»! И еще милы сердцу слова на «взаимо». Я даже сочинил такой афоризм:

когда нет «само», то нет и «взаимо». Суть его в том, что в обществе наиболее плодотворны взаимозависимости самостоятельных, суверенных структур. Зависимо-независимые связи, если можно так выразиться, самые надежные, самые эффективные. Они наиболее точно соответствуют природе общества, где люди, семьи, коллективы, народы и самостоятельны, и взаимосвязаны одновременно. У нас же нередко управление строится по чисто зависимому принципу. И получается как в известном фокусе с домино. Помните эту игру: выстраиваешь, ставя на торец, костяшки в затылок друг дружке, а потом первую повалишь, и — тык-тык-тык — одна за другой — все лежат.

Однако это очень трудно — правильно расставлять акценты, когда речь идет не о произношении слов, а о соблюдении социальной симметрии. Если больше надавишь на централизм, вылезает произвол, если оставишь совсем без присмотра демократизм, явится «мать порядка» — анархия. А надо, чтобы «мать» с «отцом» жили вместе, помогали друг другу вести хозяйство.

Помочь в этом деле могут только личность и гласность.

* * *

Человек только тогда человек, когда старается быть человеком. Но он может и не стараться. Природа, помещая нас в общество, среди себе подобных, не позаботилась о том, чтобы притязания каждого соотносились с интересами всех. На эту «недоделку» природы особенно настойчиво обращал внимание Достоевский. Именно потому и нужна гласность, что общество — это всегда такое «единое тело», внутри которого возможны и, по существу, неизбежны проявления индивидуального и группового произвола.

Гласность, если хотите, это ответ общества на нашу «недоделанность». Каждого в отдельности гласность может раздражать, она колюча, приносит неприятности, иногда даже и несправедливые, не без того, но это та епитимья, та совершенно необходимая высшая мера предосторожности, которую общество добровольно на себя накладывает, сознавая свои слабости.

* * *

Недавно один товарищ из «новых недовольных» доказывал мне, что гласность, как он выразился, «инструмент опасный, обоюдоострый» — ему, видать, ближе обоюдотупые ин-

струменты. Он внушал мне, что газеты сейчас буквально «охотятся» на руководителей, была и на него «облава», но отбился, однако ждет следующей.

Тут любопытна методология подхода. Гласность рассматривается изолированно, отдельно от всего, будто мы и не знали никогда ее антипода — негласности. Будто никому не ведомо, что истина познается в сравнении. Будто трудно увидеть, что если сравнить зло, идущее от негласности, и зло от гласности, то обнаружится, что это гора и песчинка, не говоря уже о том, что гора зла от негласности всегда на две трети в тумане, а крупица зла от гласности всегда на ладони, с этим злом, как говорится, можно работать.

Ничего, привыкнут «новые недовольные», все будет нормально. Ведь были же они когда-то детьми, а дети негласности не знают — что придет в голову, то и говорят. И они говорили, что хотели. Это потом научились, что лучше помалкивать. И так, видать, научились, что и забыли, что этому пришлось когда-то учиться.

Детство надо чаще вспоминать. Только вспоминая детство, человек видит себя со стороны, видит, во что он превратился.

* * *

Быть открытым для любой, даже самой предвзятой, хулиганской критики — это полезно, писателю этого не надо избегать, да и не писателю тоже. Это бодрит, злит, смешит, заостряет перо, мысль, ты ощущаешь себя живым, задевающим и задетым.

* * *

Поделюсь сюжетом, связанным с новым отношением к критике. Мне рассказали, как один быстро перестраивающийся начальник собрал «треугольник» перед большим собранием и приказал: «Чтобы в каждом, подчеркиваю, в каждом выступлении была критика меня!» Но на этом не успокоился, взял дело «критики меня» полностью в свои руки: вызвал намеченных ораторов и отчетливо распределил, кто за что его должен критиковать... Вполне допускаю, в качестве развития сюжета, что такой начальник может открыть курсы «критики меня» под своим же руководством, а потом делиться опытом работы «по-новому».

* * *

У входа в орбиту гласности стоят еще некоторые важные вопросы. Очередь продвигается, это живая очередь. Я вовсе не считаю, что надо вывалить себе на голову все сразу. Но очень важно — что сначала, что потом. Ошибки в этом вопросе — не тактические, а стратегические ошибки.

* * *

Когда не было широкой гласности, была узкая, домашняя, кружковая. В небольших группках варились в собственном соку мысли, порой сомнительные, темноватые. Не встречаясь с другими воззрениями в открытом споре, эти мысли набухали, люди накачивали себя ими, становились от этого неповоротливыми, глухими, упрямыми. Сейчас понемногу это выходит наружу, произносятся речи, публикуются статьи — есть возможность выслушать возражения, поглядеть на себя со стороны, отделить в своих убеждениях достоверное, обоснованное от ложного, кажущегося, а то и просто приснившегося.

* * *

Боязнь конфликтов — это черта людей рутинно-группового мышления, которые подсознательно чувствуют, что любой конфликт, если он будет нормально, последовательно, демократически разворачиваться и анализироваться, в конце концов обнаружит их несостоятельность или даже их вину. Поэтому — «ничего не было, ничего не было». Конфликты не разрешались, а убаюкивались, умасливались, углаживались, упаковывались в оберточную мягкую демагогию... волны утоплялись. Они где-то там, под водой, схлестывались, бились, но туда почти никто не нырял. Потом начались «выбросы» — узбекские дела, ростовское дело... Чернобыль...

* * *

Человек хрупок, а кругом такие мощные силы природы и общества. Что ему делать? Он одевается в броню своих уверенностей. Но если это уверенности ложные — быть беде.

Менять жизнь нельзя без оглядки, а вот изучать жизнь надо именно без оглядки — и так, и этак, спереди, сзади, с изнанки, даже наперекосяк. А то шагнем и боимся оглянуться — откуда шагнули и куда.

Жизнь завораживает, мистифицирует. Жизнь обманывает. Жгучая потребность в уверенности сильнее голода и жажды, она нетерпелива, она может превращать в уверенности первое попавшееся, любую чушь и муть. Потом выковыривай.

* * *

Однажды я присутствовал при разговоре сценариста с редактором. Редактор просил сценариста убрать одну реплику, сценарист стоял насмерть. Оба были до такой степени непримиримы, оба дошли до такого экстаза принципиальности, что я решил поинтересоваться. Оказалось, невинная, пустяковая реплика, да еще не очень складно составленная. Я пожал плечами, сценарист вонзил в меня свирепый взгляд, схватил сценарий, убежал. Но из разговора с редактором я понял, в чем дело. Когда-то, в первом варианте сценария, это была действительно острая, существенная реплика. В течение года бедная реплика редактировалась, подправлялась, округлялась и уже давно превратилась в пустой звук.

Но у автора и у редактора в сознании, видимо, оставался какой-то отблеск, какая-то тень уже давно загубленной реплики, и вот они сцепились из-за этой бледной, ничтожной тени, наличие или отсутствие которой ровно ничего не значило.

Какой грустный случай, не правда ли? В бессмысленности абсурда всегда кроется печаль.

* * *

Прошел всего год с небольшим после апреля восемьдесят пятого, но мы уже порой себя не узнаем. Неужели это мы? Да, это мы. Это мы вчера мирились с тем, с чем сегодня не миримся. Это мы вчера молчали о том, о чем сегодня не молчим. Это мы вчера робели перед теми, перед кем сегодня не робеем. Это мы вчера и подумать не смели о том, о чем сегодня пишем в газетах. Это все мы, те же самые мы. Значит, мы завтра снова можем мириться с тем, с чем не миримся сегодня и снова бояться писать в газетах о том, о чем пишем сегодня? И это тоже будем мы? Да, это тоже будем мы. Не какие-то абстрактные люди, а мы с вами: я, кто пишет эти заметки, и вы, кто их сейчас читает.

Поэтому не надо высокомерно спрашивать: «А что, собственно, изменилось, где перемены, я что-то не вижу больших перемен?» Надо работать, трудиться надо для того, чтобы перестройка стала необратимой. Потому что при всем высоком уважении, которое мы испытываем к нашему собственному

«я», жизнь в очередной раз наглядно показала, что люди таковы, каковы обстоятельства, и поэтому, когда есть возможность очеловечить обстоятельства, надо это делать не ленясь, капитально, надолго, потому что это самое большое, что мы можем сделать не только для себя, но и для детей, и для детей наших детей.

В заключение коснусь самого большого вопроса, который одновременно является для каждого и самым личным вопросом сегодня.

Одна венгерская журналистка спросила: надеюсь ли я, что через сто лет мои пьесы будут помнить? Я ответил тогда и хочу этот ответ подтвердить снова: дай-то бог, чтобы через сто лет было кому меня забыть. Лично я о большем не мечтаю.

Сегодня СССР и США — как бы две ноги человечества, решившего выйти из опасного положения. Но если одна нога делает шаг, а вторая стоит на месте, продвижения к цели не будет. Конечно, трудно добиться, чтобы две ноги, принадлежащие столь разным по устройству телам, научились нормально ходить, не спотыкаясь. Но что делать, придется как-то «дохромать» до лучших времен, другого выхода нет.

Кончился гарантийный срок, предоставленный природой истории человечества, во время которого можно было сумасбродничать, сумасшествовать, подниматься и падать, разбиваясь в кровь. И кончился этот срок на нас, на нашей волне жизни, на поколениях, живущих в конце XX века. Природа поступила с нами благородно: она подвела нас к этой черте не как вымерших когда-то мамонтов — без понятия, а при ясном разуме. Природа сделала все, что могла. А теперь она положила нам в руки нашу историю, наших детей, уже родившихся и еще не родившихся, и сказала: дальше уж сами, братцы, или беритесь за ум, или все, прощайте.

Для тех, кому неймется, я нашел выход. Ведь через сто лет из ныне живущих людей на земле не останется ни одного. Вот вам и атомная война, только без бомб. Подождите немножко, и всех победите — и ваших врагов, и врагов ваших врагов, то есть самих себя. А люди, которые придут после нас, сами разберутся, как им свою жизнь построить: по-нашему или по-вашему. Они построят ее по-своему.

Никто не должен брать на себя страшный грех — по произволу своему лишать возможности новых людей сюда прийти.

Эта земля принадлежит не только нам, но и им, хотя они здесь еще не ступали.

Виталий КОРОТИЧ

РАЗГОВОР О ПРАВДЕ

У нас есть удивительный Основной закон. И то, что мы так привыкли к его высоким правилам, делает нас уверенными в себе, уверенными в своей жизни. Но в то же самое время иногда мы забываем, какой ценой, какими стараниями, какой кровью добыт этот закон и как нам надо его отстаивать для того, чтобы он навсегда был так же чист, так же прекрасен перед всем миром. Как-то я попробовал купить текст Конституции Советского Союза. Прошел я наши книжные лавки, и не могу сказать, что успех сопутствовал мне. Попробуйте. А если вы не найдете, обратитесь в ближайший книжный магазин с заявкой. Конституция должна быть везде. Это та книга, которая должна быть в каждом доме, в каждой душе. Я в этом очень твердо уверен, и задача просто хорошо знать правила собственной жизни мне представляется достаточно важной, чтобы начать с нее этот разговор.

Очень важно, чтобы мы беседовали друг с другом серьезно. Согласившись выступить с этой статьей, я еще раз подумал, насколько легче говорить хорошие слова, чем исполнять сказанное. Подумал, в первую очередь оглянувшись на собственный опыт.

Собственно говоря, опыт не мой. Мы, советские, формировались в условиях непростых, в поле зрения всего человечества. Мы должны вырабатывать и развивать умение взглянуть на себя со стороны, понимая, что любая кроха накопленных нами знаний становится достоянием всемирным. Наш честный путь поучителен — иначе не замалчивались бы с такой старательностью на Западе советские достижения.

Чрезвычайно важен и тот духовный опыт, что соединяет любого из нас с историческими глубинами, обязывает оценить всякий поступок не только с точки зрения перспективы, но и с точки зрения опыта, с точки зрения накопленных знаний и репутаций.

Для этого надо учиться знать, осмысливать, ощущать и говорить правду — что может быть важнее?

Живет еще, что греха таить, въедливое умение отмахиваться от проблем, накопившихся за многие годы. Получается этакая жизнь, провисшая между праздниками и кризисами: либо мы, изнемогая от взаимного обожания, рушились друг другу в объятия, либо — гневались на некие обстоятельства, обвиняя целый свет в собственных неудачах. Гласность, стремление к которой так дорого нам сегодня, и является одним из гарантов нормальной повседневной атмосферы, с четкими оценками происходящего, с объективным пониманием сути процессов. Впрочем, не только и не столько так называемая назывная гласность; важно не просто назвать явление, но — разобраться в нем. Меня очень беспокоят возникающие сегодня то там, то сям бодрые болтуны, «называтели», «изрекатели», даже не претендующие на то, чтобы вторгнуться в явление, изменить жизнь к лучшему. Нередки руководители, огорченно признающие, что не все в их ведомстве идеально, но пальцем о палец не ударяющие, чтобы изменить положение. Я ловлю себя на ощущении, что некоторые критические материалы появляются в нашей печати с периодичностью в определенное количество лет, будто их перепечатывают, не изменяя в самих материалах ни слова. Особенно это заметно для работающих в периодической прессе, потому что через некоторое время приходит положенный ответ из инстанции, который слово в слово напоминает некогда уже полученный по этому поводу. А дело?

Во избежание забалтыванья, думается, мы должны воскрешать в себе, заново вырабатывать, если надо, умение свершать простые дела. Разве так сложно назвать трепача трепачом, а лжеца — лжецом, не подать руки недостойному человеку и во всех случаях поддержать несправедливо обиженного? Просто?

Позвонил знакомый кинорежиссер: «Завтра по телевидению крутанут мой фильм. Ерунда, ты не гляди,— но помоги организовать хорошую рецензию у вас в журнале. Сам понимаешь, надо...»

Еще одна подробность в разговоре о правде. Стало возможным вполне нескрытно выпрашивать премии, звания, скандалить, если к юбилею не было про тебя статьи в газете. Причем на рецензиях и поздравлениях тверже всего настаивают те, кого в нормальных условиях, может, лишь ближайшие родственники и поздравили бы. А смолчишь — ведь напишут куда следует, непременно напишут о том, что такого-то вот поздравили, а меня ни в какую. А чего стесняться, если и тот по-

ступил подобным образом, и вон этот... Все это идет вопреки Конституции нашей страны, вопреки Конституции души каждого советского человека. Конституция наша удивительно чиста и возвышающа, и поэтому поступки любого из нас должны вписываться в нее очень четко. И стоит думать об этом постоянно.

Когда я думаю о попытках размывать критерии правды, то говорю о многообразности этих попыток, о том, что мы знаем, как во имя временной выгоды люди даже мирятся, образуя этакие нестойкие союзы к взаимной выгоде. Упрекните таких: застыдятся?

Нельзя, неприлично привыкать к неискренности, когда, совершая поступок, человек как бы подмигивает окружающим, говоря: «Да не обращай ты внимания на то, что говорю и делаю публично, все это значения не имеет. Я вот сделаю все это, а затем встретимся и поговорим по правде...»

Некоторые люди двоятся, троятся. Выслушав от коллеги по писательскому цеху множество обвинений в адрес другого коллеги, я через полчаса увидел обвинителя с обвиняемым за общим столиком в литераторском буфете и услыхал, как они клянутся друг другу в вечной любви. Чуть позже на мой недоуменный вопрос собеседник ответил, что его мнение о том человеке не изменилось, но вот надо было просто одно дельце уладить.

Очень это непорядочные способы улаживания дел.

Безразличие, набившееся, как пыль, во многие щели общественной жизни, может привести к утрате критериев в самом главном, в отказе от принципиальности, в не активной, а выжидательной жизненной тактике: «Авось все устроится без нас с вами...»

Откуда этот, столь прочно укоренившийся кое в ком взгляд, что все само собой образуется, что не надо с такой настойчивостью исправлять пороки в нашем идеально отрегулированном обществе? В крайнем случае, многие согласны побороться за чистоту, но — чтобы подметать, да еще лично?!

Подготовив недавно в «Огоньке» публикацию о проворовавшихся мосторговцах, долгое время разрушавших саму веру в справедливость социалистических принципов, а потому неотвратимо разоблаченных, арестованных, осужденных, мы натыкались на немало уговоров — статью не печатать. Одним из главных аргументов было: «Не надо связываться», другим — «Не обижайте ответственных работников», третий и четвертый были на том же уровне, но

высказывались настойчиво и многозначительно. «Они этого так не оставят»,— говорили самые опытные...

А что, я серьезно отношусь к такому роду предупреждениям. Потому что, когда четыре, пять, шесть, десять писем приходят куда следует и во всех разоблачают тебя, грешного, опять же срабатывает вот тот самый хороший принцип гласности, наш конституционный принцип, но употребляемый гласности во вред. Зная, что в письмах много ерунды, компетентные товарищи тем не менее составляют, должны составить, комиссию, и летят дни за днями в безрезультатных проверках...

Гласность вдохновляет не только честного правдолюба. Сутяга тоже пробует приспособить ее к себе. На моей памяти очень немного случаев, когда сознательного осквернителя правды привлекли бы к судебной ответственности. Зато знаю про несколько инфарктов, случившихся у людей, затасканных по проверочным комиссиям, хлопотливо слетающимся на аромат доносов. Знаю, с каким скрипом создаются советы по реализации важного предложения. Но изучать очевидный оговор, расследовать доносы — и люди находятся, и время...

Пора бы и честь знать.

Пушкин погиб на дуэли, пытаясь защитить свою и супруги своей честь. На дуэли погиб Лермонтов. Радищев, Шевченко, Райнис — называю имена гордости нескольких советских народов; жизни этих людей сложились бы совсем по-иному, отрекись они в поворотный миг судьбы от себя. Но для них это было несовместимо с жизнью и честью — шли нераскаянными в ссылку, на эшафот, но сохранили доброе имя...

Мы с вами — не каждый сам по себе. Мы соединены тысячью нитей с историей, с добрыми именами своих предшественников, а также — между собой. Ленинское правдолюбие, из которого проросла советская этика, на котором вызрели все советские основные законы, и наша Конституция прежде всего, принципиально. И то, что главная газета страны называется «Правда»,— тоже показательно. Ложь — разноликая, разносортная, но ложь при социализме — антиобщественна. Постоянная объединенность людей в коллективе ставит их в зависимость от чужой порядочности. Единственный нечестный человек создает цепь непорядочностей, охватывающую и парализующую усилия очень многих. Умолчание, волокита — это ведь тоже противостояние правде; болтовня, не позволяющая ни на шаг приблизиться к сути и не остановленная нами,— примиренье с бесчестием.

Почаще, при всех и вслух, прошу вас, называйте случаи, когда клеветник, болтун, доносчик были наказаны сурово и показательно; когда разгильдяй был отчетливо поименован противником перестройки.

Мелочи жизни?

А ведь беды, случившиеся этой весной в Чернобыле и этим летом в Новороссийске, произошли прежде всего в результате разгильдяйства...

Мы учимся жить в условиях крепнущей социалистической демократии, и нельзя позволить, чтобы не было нам житья от взбодрившихся человеков, которые научились оправдываться. Демократия, или власть народа, если перевести термин дословно, как раз и подразумевает то самое действие, что в поговорке определяется как «за ушко да на солнышко», то есть — умение осадить человека лживого и вздорного, четко разобраться в том, кто есть кто в нашей жизни. Это — наше право, но это и наша обязанность.

Борьба за добро должна быть конкретной и повседневной. Как все просто, казалось бы: человек, хорошо работающий, должен быть лучше, чем тот, кто существует захребетником. Просто?

Многое представляется слишком уж простым и очевидным на первый взгляд. А на второй?

Здесь ведь — тема на теме: от не гаснущих в подъездах круглосуточных электросветильников до ресторанных столов, заваленных недопитыми бутылками и недожеванными кусками, сваленными в кучу; от старой одежды, которую некому отдать, до новых телевизоров, которые не работают,— и не с кого по всей строгости спросить за это. «Да что вы мелочитесь,— как правило, говорят в ответ.— Копеечные дела...» Копеечные?

Ладно, изменим масштаб.

Знаете, сколько стоит каюта-люкс для недельного путешествия вдоль советского Черноморского побережья на советском же лайнере? Больше тысячи рублей... Кто-то для кого-то установил цену.

Не раз уже я, к примеру, думал о том, что, государственно наладив производство ювелирных украшений, стоимость которых исчисляется в десятках тысяч, и выставив их для продажи в обычных ювелирных лавках, мы вроде бы официально смиренно признаем, что имеется в стране круг людей, которым выгодно хранить излишки не на сберкнижке, где они так или иначе учитываются, а в виде блестящих компактных цацек про черный день. Насколько мне известно, брил-

лиантовых балов у нас в стране не бывает, а в кино оные колье не на всякий сеанс и наденешь...

Хватит об этом — поближе к жизни. Не кажется ли вам, что огромные мусорные баки для пищевых отходов, выставленные в некоторых дворах, и призывы к аккуратности в обращении с пищей не всегда дополняют друг друга? По-моему, либо то — либо другое. Либо надо раскладывать на вечную сушку списанные на рекламу караваи в витринах, либо — сражаться за экономию хлеба.

И так далее.

У нас очень умная и честная жизнь. Критерии ее очевидны и не имеют права ни на какие раздвоения. Конституция наша однозначна и чиста. Видите, как все просто — и разговор этот был очень простым. У нас с вами удивите ьная судьба, у нас прекрасная Конституция, завоеванная дорогой ценой. Что бы мы ни творили, что бы ни создавали на пути к будущему — всякий раз осуществляем мечту не только свою. И отступление от высокого замысла Первых недопустимо, потому что Советская страна создавалась в таком труде и в таких битвах, из которых не только мы — все человечество выходит лицом к солнцу, лицом к надежному и честному будущему, создаваемому в общих усилиях.

Камил ИКРАМОВ

ФИГУРА УМОЛЧАНИЯ

1

Это всего-навсего литературоведческий термин. А может быть, и не всего-навсего. Словарь русского языка дает ему пространное толкование, в частности: «стилистический прием, при котором выражение мысли остается незаконченным, ограничивается намеком».

...В дни работы XXVI съезда партии позвонил мне его делегат, директор узбекского совхоза Худояр Латыпов. Знакомство давнее, был он когда-то директором одного совхоза, потом возглавил другой, в этой должности был избран на высший партийный форум.

— Приходите, очень хочется встретиться.

Гостиница «Россия» разговаривала на всех языках народов нашей страны, из окон виделись звезды на башнях.

Мы сидели в номере, пили зеленый чай, я налегал на каленные в золе урючные косточки, а Худояр-ака рассказывал о делах и проблемах, о том, как трудно дается бригадный подряд, который одним из первых в республике внедрял он. О достижениях говорил мало, ровно столько, сколько требует ритуал — не говорить в начале беседы об огорчительном. Еще он вспоминал войну, читал свои фронтовые стихи, вспомнил и послевоенные годы, голод, смерть сестры и матери, рассказывал, как, будучи председателем сельсовета, своими руками хоронил односельчан, умиравших от ядовитых зерен сорняков, которые оказались в полове после обмолота. Ели-то одну полову.

— Каждый день несколько человек. Сам хоронил. Тогда думали — эпидемия. Вот этими руками могилы копал.

Замечательный человек — Худояр Латыпов, ни разу за много лет не увидал в нем неискренности и фальши, не раз

удивлял он меня прямотой суждений и точностью выводов, а тут удивил до крайности.

— Дальше так продолжаться не может, Камильджан. Понимаете?

Я не понял.

— Дальше так продолжаться не может. Взятки. В городе и в селе, в милиции, в институтах, в райкоме. Слитками берут. Деньгами уже иногда не берут. Меня пока боятся, но давят сильно.

— Как слитками? — опять не понял я, думая, что слово «слитки» он употребил из-за недостаточно точного знания русского языка.

— Золотыми слитками, Камильджан. И где эта лестница кончается, я вам сказать не могу. Могу только сказать, что лестницу надо мыть сверху.

Обращаю внимание, что слова эти говорил не обиженный, не опальный и злопыхающий, говорил человек, гордый своим трудом, делегат съезда партии.

Чем меньше в обществе социальной справедливости, тем больше простора для обывательской философии. Оптимизм тогда почитается за наивность, а мой друг Латыпов никогда наивным не был. Он верил в справедливость твердо, как верил в нее на фронте. А вот я про слитки не поверил, ведь Худояр-ака сам этого не видел, а только слышал от людей. Может, болтовня?

Очерк об этой встрече через год после съезда я опубликовал в «Правде». Рассказал о войне, сотнях голодных его односельчан, умерших от сорняковых зернышек «кампыр чапана», о трудностях с бригадным подрядом. О взяточничестве и слитках я умолчал. Где они, доказательства?

Очерк тем не менее в Узбекистане не понравился; его даже не перепечатали, как делается обычно, на Латыпова рассердились, кое-какой сор из избы он вынес, а этого не терпели. И у меня в республике начались неприятности.

Вроде подвел я Латыпова, но он сказал:

— Спасибо, Камильджан. Переживем!

Кажется — пережили.

А вскоре на Всесоюзный съезд учителей приехал в Москву герой другого моего очерка — народный учитель СССР Мамаджан Абдурасулов. Сидели по-семейному, на кухне. И после обязательных слов о том, что дома все хорошо, что все здоровы, что в школах республики широко идет эксперимент по его методу, учитель сказал:

— Дальше так продолжаться не может, Камиль-ака. Очень

много здоровых людей у нас от колхозной работы любыми способами откупаются, спекулируют, в начальники идут, что угодно делают, а на полях их нет, на полях работают за них мои школьники, малыши. (М. Абдурасулов — учитель младших классов.)

И еще он рассказал:

— Дочка у меня в педучилище поступила. Приехала на зимние каникулы и спрашивает: «Папа, сколько вы заплатили, чтобы меня приняли?» Я удивился, объяснил ей, что никогда никому взяток не давал, а поступила она потому, что хорошо сдала экзамены. А она мне: «Зачем вы говорите неправду, папа. У нас все девочки рассказывают, что за них заплатили по 600—700 рублей». Что я ей могу ответить?

Конечно, за дочку с Абдурасулова взятку брать было невозможно, знаменит он был в республике почти как Сухомлинский. В президиумах рядом с Рашидовым сидел. Не написал я про педучилище, умолчал. А как написать? Дочка сказала, что девочки говорят? Где доказательства?

Слова самого хорошего человека для писателя, берущегося за публицистику, не доказательства. Доказательства дает прокуратура и суд. Не знаю, во всех ли случаях это правильно, но так уж заведено.

Юридические доказательства о слитках, о чудовищных приписках и взяточничестве в хлопковых делах, о поборах в вузах и прочем пришли позже. Названы несколько очень крупных имен и их самый главный покровитель... Вот ведь опять склоняюсь к умолчанию!

Итак, Ахмаджан Адылов, Рузмет Гаипов, Абдувахид Каримов, Хайдар Яхьяев и другие. Эти имена давно были известны в республике и за ее пределами. Но характерно, что сообщения о новом их качестве не для всех прозвучали как гром с ясного неба. Так, прочитав очередной восторженный очерк об Адылове, я спросил о нем одного из его земляков. Он замялся:

— Я ведь в другом районе живу. Но говорят, народ не очень его любит. Точно не знаю.

А все тот же Худояр Латыпов остерег прямо:

— Вы писать о нем хотите? Не надо. Это басмач.

Своевременным было предостережение. Вскоре первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана Ш. Р. Рашидов в долгой беседе с глазу на глаз посоветовал мне поехать к Адылову, написать о нем. Убедительно говорил.

Я довольно твердо, насколько позволяла субординация, от-

казался, объяснив, что не хочу вступать в соревнование с теми многими, кто уже писал об Адылове.

— Как знаешь,— обиделся Рашидов.— Тебе видней.

Так я не встретился с Ахмаджаном Адыловым, зато в одном почетном доме мне представили его брата: «Брат самого Адылова». А в издательстве я увидел человека в сером костюме с очень незначительным, я бы сказал, даже мелким каким-то лицом. Он шел по коридору, а на шаг от него, чуть с краю, отставал рослый мужчина с военной выправкой.

— Наш поэт,— на мой немой вопрос усмехнулся добродушный толстяк редактор, куривший возле стола для пинг-понга.— Между прочим, министр внутренних дел. Яхьяев.

— И ничего пишет?

— Министр,— пожал плечами толстяк.

А вот с первым секретарем Бухарского обкома партии А. Каримовым я опростоволосился. Дело было так. Подгадал я свою командировку к открытию памятника моему отцу в Самарканде. Только туда и собирался лететь.

— Туда успеете, сначала обязательно побывайте в Бухаре. Очень большие успехи, урожайность за пятилетку выросла на 62 процента,— сказал мне секретарь ЦК по сельскому хозяйству.— Замечательный там секретарь обкома. Напишите о нем.

Я слукавил, сказал, что задание у меня другое — рядовой бригадир.

— Все равно. Абдувахид Каримович сейчас в Ташкенте, в Москву летит на сессию, мы его сейчас разыщем.

Встретились мы через полчаса в кабинете завсельхозотделом.

Как ни горько, признаюсь: Каримов мне понравился. Живой, быстро реагирующий на любой вопрос. Интересно рассказывал, как понял он, что опираться надо прямо на бригадиров, что бригадир отстающей бригады имеет право вне очереди встретиться с первым секретарем обкома, как человек с острой зубной болью может вне очереди пройти к стоматологу.

Вода — главный дефицит в сельском хозяйстве Узбекистана, а секретарь обкома ввел небывалый порядок. Пусть колхозник сначала польет свои четыре сотки, а потом уже многие гектары колхозного поля. Пусть не болит у него душа, ведь приусадебные сотки для многодетных узбекских семей большое подспорье.

— У меня самого десять детей,— добавил Каримов.

Он улетел в Москву, а я с цифрами, полученными в сельхозотделе, направился в Бухарскую область, в бригаду, кото-

рая издавна считалась отстающей. Цифры, которые я взял в ЦК, оказались ложными, а вскоре А. Каримов был арестован за гигантские хищения. Сначала говорили, что у него дома взяли тридцать два килограмма золота. Ровно два пуда. Не верилось. Потом цифра эта выросла до двухсот килограммов. Кажется, нигде эти цифры не опубликованы, но я ведь пишу о фигуре умолчания, именно умолчаний боюсь.

Слабое утешение, что писал я не о нем, а о рядовом бригадире. Хорошо хоть, что внутреннее сопротивление идти торной тропой спасло меня от другой ошибки. То есть я ошибся, но никто до сей поры об этом не знал.

Писал я тогда об очередной трудной узбекской осени, о том, как сотни тысяч людей в мокрых телогрейках и увязающих в грязи сапогах с темна и до темна выбирают белое из белого, тонкие пряди опавшего хлопка из внезапно выпавшего снега. Больше всего меня интересовало, когда это кончится, когда мы научимся по-людски работать, неужто так и не сможем освободить людей от тяжкого, невероятно убыточного и часто вовсе бессмысленного труда. На бесчисленные НИИ и КБ надежд я уже не питал, а заинтересовал меня опыт рационализаторов Коммунистического района Ташкентской области.

Заехал за мной второй секретарь райкома Владислав Николаевич Бабанец. Я помнил его еще комсомольским работником. Бывший механизатор, потом инженер, рассказывал он мне когда-то, что лет через десяток все хлопководство перейдет на новую технологию, что хлопок будут косить, как пшеницу. Он верил в селекционеров, которые выведут такой хлопок, в инженеров, которые разработают принципиально новую технологию уборки и переработки. Не попрекнул я его за несбывшиеся мечты, рад был встрече.

— Сначала заедем к Хвану.

— Зачем? Лучше сразу к тем ребятам, которые новую куракоуборочную машину изготовили.

— Я вас понимаю, но миновать Хвана не можем. Такой порядок. Он наша звезда.

— Только, умоляю, никаких застолий, никаких обедов и прочих ритуалов.

Герой Социалистического Труда, лет уж тридцать знаменитый на всю страну председатель корейского колхоза «Политотдел» встретил нас довольно равнодушно. Беседа началась уныло: я точно знал, что не буду писать о хозяине, а хозяину и не больно-то этого хотелось. Подумаешь, статейка. О нем к той поре написано было не меньше, чем об Эдисоне или

Нильсе Боре. Но вдруг Тимофей Григорьевич, как на русский лад было переиначено его трудное для нашего слуха корейское имя, сослался на какие-то слова Валентина Овечкина.

Овечкина я знал больше как читатель. Последние годы он жил в Ташкенте с сыном, видел я Валентина Владимировича только раз. Шел съезд писателей республики. В перерыве нас познакомили, мы вышли во двор покурить, сели на что-то и проговорили до конца заседания. Не помню содержания всего разговора, запомнилась крайняя грусть любимого мной писателя и вывод. Сам ли он это сказал, или я за него сформулировал, но получалось так: он думал, что Мартынов навсегда победил Борзова, а вышло, что Борзов снова наверху.

Хван говорил об Овечкине с любовью, показал мне гостевую комнату, где подолгу в последнее время жил Овечкин.

— Курил он очень много. До сих пор табаком пахнет.

Остался я обедать. Ел корейские национальные кушанья. Не знал я, что другой уважаемый мной писатель — Николай Атаров написал (но тогда еще не опубликовал) много страниц о дружбе Овечкина с Хваном, долго жил в «Политотделе».

Узнал я об этом только после того (вот это для меня был гром с ясного неба!), как стало известно, что Хван арестован, что он в одном ряду с басмачом Адыловым.

Не удалось мне присутствовать на суде, когда разбиралось дело Хвана, не читал «дела» Каримова. Очень об этом жалею. Ведь только от полного равнодушия к человеческой природе можно пропустить мимо ушей разговоры о том, что человек, с которым ты разговаривал,— живой, улыбающийся, вполне разумный — копил золотишко. Не граммами, не килограммами, не пудами — центнерами. Но ведь, с другой стороны, а если «всего» десять килограммов? Если пять? Хотя разница в цифрах имеет какое-то уже внеюридическое значение. Тут уже не в том дело — откуда, а в том — зачем, куда, для какой цели?

Уже два года думаю, умных людей выспрашиваю. «Золотым теленком» тут ничего не объяснишь. Тут зло какого-то высшего порядка. Как Освенцим или Треблинка.

2

Дешевый скепсис — производное от обывательского равнодушия к социальной справедливости, и меня крайне настораживают люди, которые хотят отмахнуться от того, что знают. Еще бо́льшую опасность представляют те, кто, увидев, что

преступник уже в наручниках и за решеткой, начинают кричать: держи вора!

В Союзе писателей Узбекистана суровой критике подвергнуты авторы книг, посвященных ныне разоблаченным преступникам. Это романы, повести, очерковые книги. В одних «герои» идут под настоящими именами, в других — служат весьма определенными прообразами. Я этих книг не читал, о качестве литературы судить не берусь, хотя и предполагаю самое худшее. Не берусь я и анализировать все причины появления подобных произведений. Одна из причин, без сомнения, кроется в том, что братья писатели все еще путают заказ издательства с социальным заказом, веление времени с требованиями конъюнктуры, а ведь это вещи разные и иногда даже противоположные.

Речь, повторяю, идет о больших книгах местных авторов, а не о статьях и очерках, которым нет числа. Невозможно перечислить даже названия периодических изданий, а не только авторов, которые были умело введены в заблуждение самим Рашидовым и всем его огромным аппаратом. Нет, я не брошу камня ни в кого. Хорошо было мне, узбеку, живущему в Москве, пользующемуся пусть и относительно, но все же какой-то экстерриториальностью, отказываться от прямых указаний руководителя республики, а каково, к примеру, главному редактору кинохроники, когда его вызвали и поручили сделать полнометражный документальный фильм о том же Адылове. Сделал.

— Ну что Адылов? Интересный человек? — спросил я Х. Джураева, доверяясь чутью и зоркости этого талантливого кинопублициста.

— Не спрашивайте, Камиль-ака. Ничего не скажу.

А тут вот встретился я с ним и пошутил:

— А не сделать ли вам вторую серию и показывать их вместе?

— Мечта! Только кто разрешит?

Каждый знает сказочку о дураке, который искал пятак под фонарем.

— Да где ты его потерял? — спросили дурака.

— Вон там, далеко.

— Там и ищи.

— Ну да! Там ведь темно.

А вдруг он не дурак, этот дурак? Вдруг он хитрей нас с вами, умных?

На поприще разоблачения книг, написанных о разоблаченных ныне преступниках, особенно сильно старался предсе-

датель узбекской писательской организации Ульмас Умарбеков. Я давно знаком с ним, каюсь, он стал даже одним из прообразов отрицательного героя моего последнего романа и одной давно написанной, но все еще не опубликованной повести. Карьеру при Рашидове он делал быстро. Одно время руководил «Узбекфильмом», и злые языки не без оснований, видимо, переименовали студию в «Ульмасфильм», а не так давно «Советская культура» опубликовала статью «Министерская драма». Говорилось в ней о руководителях ряда республиканских министерств, которые сами писали пьесы, сами у себя покупали их за государственные, естественно, деньги. Они же заставляли подчиненные им театры принимать эти пьесы к постановке, а порой и требовали, чтобы пьесы и в самом деле ставили. Власть!

Если идти по пути исторических аналогий и не бояться рассмешить читателя этой грустной статьи, то следует, видимо, вспомнить римского императора Нерона. Тоже любил театр и тоже небескорыстно. Справедливости ради следует отметить, что руководители министерств в своих пьесах не играли, публичности чуждались, а гонорары и лавровый лист получали без излишней шумихи. Смешно, но не до смеху, потому что строптивых режиссеров власть имущие драматурги просто сживали со свету.

Странно получается. Если, допустим, начальник строительства или министр вынуждает за государственный счет отремонтировать свою квартиру или построить собственную дачу, то это — статья уголовного кодекса, а если это касается культуры, то тоже статья, но — в газете. И еще более странный факт — все персонажи «Министерской драмы» названы по именам, все, кроме одного. В Узбекистане, правда, его опознали сразу и сразу же поняли, почему газета прибегла к фигуре умолчания. Очень уж крупная это фигура, руководитель творческого союза. И хотя вы, конечно, догадались, что речь идет именно об У. Умарбекове, я вынужден еще раз написать это буквами.

Вообще к корыстным преступлениям в области культуры мы подходим с особыми мерками. Мол, причуда художника. Так, на Всесоюзном съезде кинематографистов один из руководителей Госкино А. Н. Медведев, впопыхах отвечая на неожиданную для него критику, вынужден был сообщить, что треть выпущенных за пятилетку фильмов сделаны в официальном соавторстве сценариста и режиссера, а еще больше случаев тайного соавторства. Почему же тайного, если это действительно было соавторство? Может, это фигура умолча-

ния? Может, речь идет о вымогательстве взяток, дележе, который только и решит, быть сценарию фильмом или же остаться стопкой страниц машинописного текста.

«И мы на это закрывали глаза»,— сказал А. Н. Медведев. На что? Зачем закрывать глаза на соавторство? В соавторстве ничего стыдного нет.

Более двадцати лет работаю в кино. О подлинном соавторстве все эти годы только мечтаю. Знаю точно: возьмет мой сценарий Панфилов, Герман, Климов, Балаян, Ишмухаммедов, Хамраев или тот, кто вровень с ними, пусть не по известности, а по серьезности и честности в отношении к своей работе,— я буду счастлив любому вмешательству в мой текст. Но все эти годы я с большим или меньшим успехом встречаюсь совсем с другим. Хочешь увидеть свой фильм на экране, отдай режиссеру половину. И что интересно, режиссеры этого склада делают фильмы много больше, чем те же Климов, Герман, Панфилов и Балаян. Особенно ярко это видно на опыте моей работы на родном «Узбекфильме». Каждый знает, что плохие обеды в общепите, недостроенный, но заселенный дом, низкое качество товаров в магазине далеко не всегда имеют в своей основе одно лишь разгильдяйство. Чаще за этим чья-то корысть. Давайте же разберемся, может, и культура наша от той же причины страдает больше всего?

Я не раз был свидетелем того, как гневался Рашидов, если где-то проскальзывало нечто о негативных явлениях в жизни республики. И всегда говорилось: это унижает нашу национальную гордость. Не смейте ругать наши книги, наши пьесы, наши фильмы! Не смейте писать, что мы делаем плохие машины и строим плохие дома! Не смейте ни в коем случае говорить, как трудно и скудно порой живет рядовой и многодетный узбекский крестьянин!

3

Что такое национальная гордость, какой она иногда оказывается и какой должна быть на самом деле, никто не сказал лучше В. И. Ленина. Взять хотя бы знаменитую «О национальной гордости великороссов». Пересказывать ее невозможно — ее нужно читать и перечитывать, помня, что именно ленинская национальная политика обеспечила победу Октября в небывало разноплеменной Российской империи.

Коммунистическая партия и Советская власть не только провозгласили, но и обеспечили полное равенство всех наций и народностей нашей страны, и негоже нарушать это равенст-

во в угоду амбициям отдельных лиц, считающих, что вор, стяжатель, плохой писатель или никудышный режиссер достоин снисхождения, если он принадлежит не к самой большой нации.

Спекуляция на высоких идеях и славных именах хуже и опасней базарной спекуляции.

Хамза Хаким-заде Ниязи — гордость узбекской советской литературы. В создании невероятно длинного, семнадцатисерийного телефильма о нем принимали участие многие, но во главе стояли очень известные люди К. Яшен и Ш. Аббасов. На всем многолетнем пути показа этого сериала по телевидению возникали горячие споры о досадных исторических и биографических неточностях, о неправомерности и бестактности иных домысливаний, о киноштампах, отвергнутых искусством еще в тридцатых годах, но все эти споры и разговоры носили сугубо кулуарный и закулисный характер. В печать не проникло почти ничего. Почему?

Да потому, что искусственно была создана такая ситуация, при которой критиковать фильм о Хамзе или книгу, на основе которой он создан, равносильно было унижению самого Хамзы, всей узбекской культуры и нации. Видимо, с этим соображением считались столичные критики, но почему в республике могли появляться только панегирики? Между тем серьезная, вдумчивая и уважительная критика явно пошла бы на пользу нашему искусству. А снисхождение всегда унизительно.

По количеству премий, званий и регалий мы ничуть не отстаем от других республик, может, кого и опережаем. Есть, однако, и иной счет. Не зря говорится, что люди всего мира с особой любовью относятся к Сибири, которая открылась им в книгах В. Шукшина и В. Распутина, к Белоруссии, о которой так преданно пишет В. Быков, к Киргизии, которую все видят глазами Ч. Айтматова... Список можно и продолжить, но важнее, видимо, сказать о другом. Главным хозяйственником в нашей республике был Рашидов, он же был и главным писателем. Ранги и степень неприкасаемости были узаконены. Так было везде, культура не была исключением.

Так и хочется крикнуть, взмолиться: не бойтесь, товарищи, сказать, что плохая узбекская книга ничуть не лучше плохой русской! Не бойтесь, разоблачая проходимца, бросить тень на республику. Не затронет это национальную гордость народа, давшего человечеству Бируни, Навои, Улугбека, Авиценну, народа, создавшего за годы Советской власти совершенно новую культуру, прочно основанную на культуре

прошлого, народа, построившего новые города, современную промышленность, преобразовавшего сельское хозяйство. И нет сомнения, что наш народ достиг бы еще большего, если бы не отдельные от него и до поры могущественные мерзавцы. Гласность — единственная гарантия от повторения прошлого, вот почему я все время вынужден к этому прошлому возвращаться. Недопустимо, чтобы фигуры судебной хроники становились вдруг фигурами умолчания. И если для каждого нормального и нравственного человека непостижима загадка — куда и зачем человеку в нашем обществе центнеры золота, кувшины бриллиантов и пачки денежных купюр, увязанные так, как увязывают макулатуру, сдаваемую за «Графа Монте-Кристо», то ведь каждый нормальный и нравственный человек легко сообразит, что все это не из гнилого воздуха образовалось, не алхимиками сотворено и не старик Хоттабыч на блюде преподнес. Это то мясо, молоко, масло, сахар, виноград и фрукты, которые отняли у простых и честных людей. Это было отнято у детей, которые учились на три-четыре месяца в году меньше, чем дети в других республиках, и по этой причине очень часто отставали в знаниях и физическом развитии. Именно об этом буквально со слезами на глазах говорил народный учитель М. Абдурасулов. Может, он в глубине души надеялся, что я тогда же и напишу об этом. Нет, я только говорил, а пишу сейчас.

А вот про взятки в педучилище я рассказал министру просвещения республики, которую помню еще совершенно очаровательной молодой женщиной. Сейчас она бабушка. Мы ехали в ее машине, и я решился. Не понравился министру мой рассказ. Ни слова в ответ. Боюсь, не было бы неприятностей у доброго Мамаджана-ака.

Счастливые, здоровые, образованные дети — вот истинная гордость любой нации.

Я узбек, живущий в Москве, и не для того, чтобы пощадить своих земляков, а истины ради буду приводить примеры, не ограничивая себя географией, как не ограничивается географией эпидемия, о которой я пишу.

Вот первый пример, московский, центральный, так сказать. Вспомнил я о нем недавно, но забыть уже не смогу никогда. Рассказал о нем ныне покойный ветеран нашей энергетики, инспектор министерства. Проводилась ревизия работы большого карьера, где добывали камень для строительства электростанции. Минэнерго оказалось перед фактом непред-

виденного перерасхода фонда заработной платы. Руководители карьера уверяли, что просто-напросто выросла производительность труда, а в министерстве не поверили. С чего бы так вдруг и сразу процентов на двадцать?

Самая тщательная проверка документов бухгалтерии и планового отдела ничего не дала: выросла производительность. Что плохого, казалось бы? Много добыли камня, больше получили денег.

Но был косвенный способ проверки. Камень из карьера вывозила транспортная организация другого ведомства.

Вскрылись огромные приписки.

И не всякого убедишь, что это недопустимо, смертельно опасно для общества, для людей. Все теперь грамотные, все знают, что может существовать мир и антимир, тела и антитела, экономика обычная и экономика теневая, все знают, что есть саморегуляция и закон сохранения вещества. Если где-то что-то убудет, то где-то это же прибавится.

А вот пример, смежный между строительством и культурой. Это уже Таджикистан.

Прилетел я как-то в Ленинабад раньше, чем предполагал, часов в шесть утра. Никто меня не встречал, я взял такси и попросил шофера-таджика покатать меня по окрестностям, показать достопримечательности. Не колеблясь, шофер повез меня в ближайший колхоз к роскошному клубу, вернее, Дворцу культуры, который я тыщу раз видел на картинках и в кинохронике. Резные двери были на огромном и ржавом амбарном замке, но мне и не хотелось заходить внутрь. Больше всего меня поразил каскад фонтанов, сделанный в надежде переплюнуть Петергоф. Дворец стоял в саду отдельно от кишлака, и мы поехали туда, где люди живут.

— А почему здесь нет водопровода? — убедившись, что его нет, спросил я таксиста.

— Не знаю,— хмуро ответил он.— Зато председатель без телохранителей не ходит. Четыре у него. Здоровые лбы.

4

Ох уж эта «национальная гордость», толкуемая своекорыстно! Не рано ли забыли мы, что́ такое феодально-байское поведение? А ведь именно феодальным и байским объясняется очень многое. Даже добрый и бескорыстный узбекский дастархан, которым простые люди встречали любимого гостя, за последние годы стал служить подкупу, лести и подхалимству.

Сегодня в Узбекистане с полной отдачей трудятся многие опытные партийные, советские, хозяйственные работники, посланные туда из разных республик, краев и областей на помощь, на прорыв, как говорилось когда-то. Ситуации порой бывают сложными, и нелегко выбрать, на кого можно опереться, а от кого надо прочь бежать. По вполне понятным причинам повсюду у нас появились желающие влезть на трибуну и, бия себя в грудь, уверять, что они уже перестроились, а сама перестройка уже к своему завершению близится.

Трудно всем настоящим людям в Узбекистане, трудно потому, что старое сопротивляется исподволь, но оружие лжи, клеветы, подкупа и семейственности у опытных мерзавцев никогда не ржавеет.

Наше время новое, и определений к нему много совершенно новых, но вот что надо иметь в виду. Никогда еще мафия не ощущала такой опасности для своего существования, и потому она сплотилась, как никогда прежде. Если для нас это начало нового времени, то для нее — начало конца.

Пишу статью, перечитываю, тревожусь, не умолчал ли по привычке про что-то еще. Сильна эта привычка, подразумевающая, что и без тебя все всё знают. А если все всё знают, зачем писать?

...Доктор филологических наук, профессор и членкор АН Узбекистана Э. И. Фазылов был приглашен в Берлинский университет им. Гумбольдта заведовать кафедрой. Пробыл там значительно дольше договоренного срока, вернулся заслуженным деятелем науки ГДР, сразу включился в свою любимую языковедческую работу, засел за источники пятисотлетней давности. Сегодня он уже с заметно седеющей густой шевелюрой, а помню я его дотошным аспирантом МГУ. Только что вышел в свет четвертый том фундаментального словаря языка Алишера Навои, работу над которым он проводил со своими учениками. Труды Э. Фазылова печатались и переводились во многих странах, где серьезно занимаются тюркологией, а годы его работы в центре Европы обусловили и обширные личные связи.

И вот в Ташкенте пришли к профессору молодые венгерские филологи, стажирующиеся в нашей стране. Разговор был профессиональный, о чем-то спорили, говорили о проблемах, разглядывали древние книги и обширную библиотеку профессора на разных языках. А один из гостей озабоченно спросил:

— Скажите, пожалуйста, где ваш коллега (кто этот коллега, Эргаш Исмаилович мне не открыл) прячет свою библиотеку? Мы несколько раз были у него в доме, в больших шка-

фах очень много хорошей дорогой посуды, хрусталя, но книг мы не видели совсем. А хотелось посмотреть книги.

Что тут было отвечать?

— Книги у него на другой квартире. Там у него нечто вроде рабочего кабинета. Уединяется и работает.

Не мог же профессор сказать молодым зарубежным ученым, что его коллега ни дома, ни на работе с книгами давно не работает. И никогда нигде он не уединяется, зато присутствует везде и всегда с успехом для карьеры.

Неловкость, которую испытал профессор, говоря гостям неправду, понятна. Понятен и его гнев, что неназванный «коллега», к сожалению, не исключение. У «коллеги» есть ученики, а у тех учеников свои ученики. Воспроизводством это называется. Растет количество диссертаций, а в отчетах — число «остепененных». Показуха.

Пожилой ученый-физик пожаловался на местную медицину:

— У нас докторов наук и профессоров стало очень много, кандидатов — не счесть, а лечиться ездим в Москву или другие города. Но не у всех есть такая возможность.

Абитуриент, поступивший за взятку или по протекции в мединститут, как правило, становится врачом, на совести которого невылеченные или даже погибшие люди. Они расплачиваются за тех, кто получил взятку и остался в тени.

Так подлинные национальные интересы приносятся в жертву «национальной гордости».

Показуха в области культуры и идеологии ничуть не менее опасна, нежели любая другая.

На XXVII съезде КПСС были сказаны очень решительные слова о борьбе с чуждой нам идеологией, об атеистическом воспитании в частности. В этом сложнейшем деле есть еще много нерешенных вопросов. Мы почти не пишем о довольно редких, но повторяющихся фактах самоубийства девушек и женщин в некоторых местностях Средней Азии, самоубийствах, завершающих скрытые семейные и бытовые драмы. Способ самоубийства ужасный — самосожжение. Мы списываем это на ислам и называем пережитком. А если дело не в исламе? Если дело в феодально-байском отношении к женщине? Ведь мусульманство, как и многие мировые религии, считает самоубийство грехом смертным и неискупимым. Некоторые ученые относят самосожжение к пережиткам зороастризма и огнепоклонства в его самых древних формах, предполагающих очищение огнем. Но отделаться ссылкой на пережиток — значит уйти от проблемы. Пережитками мы называем то, что

исторически идет на убыль. А тут нельзя сбрасывать со счетов, что сжечь себя на костре из саксаула или кизяка было когда-то труднее, чем сейчас, когда всегда под рукой канистра бензина. Не в бензине все же главное, а в быте. Еще раз подчеркиваю, что подобные случаи крайне редки. Именно поэтому в каждом из них следует разбираться детально и гласно, не боясь вражеских «голосов». Очень может быть, что люди, принуждающие женщин к самоубийству, и рассчитывают на то, что самосожжение спишут на нечто мистическое и непознаваемое. Умолчанием вопроса не решить.

Зато как легко прибегнуть к показухе в борьбе с пережитками, если дело можно решить путем «хирургического» вмешательства.

Уже упомянутый мной профессор Э. И. Фазылов с вполне понятным чувством крайнего огорчения рассказал следующее.

В горной местности близ Ташкента росло на виду у всех старое и красивое дерево, на ветки которого, по давнему и тоже доисламскому обряду, суеверные люди привязывали тряпочки, дабы «высшие существа», взирая на красоту земную, не забывали и тех, кто молил их о здоровье и избавлении от несчастий.

Внезапно дерева этого не стало, есть только пень, и легко с точностью сосчитать, сколько лет или веков оно росло. Просто не верится, что местные «борцы с пережитками» погубили чудо природы с единственной целью — лучше выглядеть в глазах посторонних, особенно в глазах приезжих и проезжающих. Дерева нет, но суеверия-то не только остались, но, как показывает опыт, еще и увеличились.

Во многих странах Азии без различия исповедуемых там религий издавна принято считать день весеннего равноденствия началом нового года. В наших среднеазиатских республиках праздник этот называется навруз. И вот теперь, поспешая в перестройке, кое-кто в Узбекистане захотел первым в Средней Азии ликвидировать навруз, вырвать с корнем тысячелетнюю традицию, связанную с очень красивым бытовым ритуалом, традицию, в которой давно выветрилось какое-либо религиозное содержание. Помнится, что православие когда-то пыталось предать анафеме языческую масленицу, а исламские завоеватели и муллы с тем же успехом боролись с наврузом.

Дерево срубили, народный праздник весны и обновления поставлен под подозрение, но праздники «семейные», свадьбы, суннет-тои, юбилеи, среди коих есть, кстати, и чисто рели-

гиозные, слишком часто продолжают носить тот же характер, что и при эмире бухарском.

Подношения теперь стараются сильно не афишировать, суммы держат в секрете, но не могут эти нынешние феодалы отказать в удовольствии надевать на себя или на своего патрона дорогой, иногда и золототканый халат, а то и чалму с султаном. Связь формы с содержанием общеизвестна, форма сама за себя говорит. О том, что это не народный, а феодальный обычай, свидетельствует хотя бы то, что «подарки» всегда имеют одно направление — снизу вверх, а дурные примеры обычно идут сверху вниз.

Наши местные «феодалы» имели пристрастие к американским или бельгийским тряпкам, мебель приобретали финскую или арабскую, пить предпочитали французский коньяк, а электронику ценили японскую. Однако интернационалистами этих людей не назовешь. Это было бы так же нелепо, как, к примеру, считать тюбетейку или традиционного покроя узбекское платье признаком национальной ограниченности.

Лучшие люди республики справедливо говорят, что за нормы нашей морали и нравственности надо бороться не тогда, когда человек уже сложился, писать об этом надо не тогда, когда кто-то зарвался и стал «коллекционировать» украденные у народа ценности, а много раньше. Тут не о воспитании надо говорить, а т о л ь к о о перевоспитании, и работу эту надо проводить по преимуществу в системе исправительно-трудовой, в учреждениях МВД.

В качестве корреспондента «Правды» примерно за год или за два до смерти Рашидова я был в республике и уезжал уже, когда возле гостиницы к нам подошел сравнительно молодой человек. Приятель представил его по имени, добавив титулы:

— Доктор экономических наук, лауреат премии Ленинского комсомола, председатель совета молодых ученых республики.

Погода была совсем не узбекская: только что прошел дождь со снегом, мешавшим вести уборку хлопка, и я спросил экономиста, будет ли в этих условиях выполнен план, даст ли республика заветные шесть миллионов тонн. Надо добавить, что шестерка с шестью нулями была тогда на полосах всех газет, на самых заметных зданиях городов, на перекрестках, в каждом колхозе и совхозе.

— Будет,— сказал экономист.— Обязательно будет, если Шараф Рашидович обещал.

А потом добавил:

— На самом деле больше пяти миллионов у нас нет. Но

проверить этого никто не может, хотя знают многие. Это ведь как и что считать хлопком.

Нынче ответственность за это «как и что считать» понесли многие, но многие и не могут нести ответственность, ибо цепочка, созданная годами, связывала воедино виновных и невиновных. Без констатации грустного этого факта статья моя была бы необъективной.

Долгое время никак я не мог объяснить себе некоего феномена: честный и принципиальный человек должен бы предельно ненавидеть и до конца бороться с подлецами и негодяями. К этому призывает нравственный императив. В жизни же часто, слишком часто видишь иное: мерзавец, подлец и подонок куда более непримирим к честному человеку и готов травить и уничтожить его всеми способами, а средства такие люди не выбирают. Так бывает в обыденной жизни, так не раз было в истории. Дело, полагаю, в том, что нравственный человек очень уж верит в конечную или высшую справедливость и потому считает возможным уклоняться от непосредственного ей содействия, а подонок и мразь этой справедливости боится как черт ладана и потому готов стрелять любого, в ком она выражена.

Высшая, конечная справедливость не осуществится никогда, если за нее не бороться ежечасно.

Так уж сложилось издавна и навеки, что вся наша огромная страна — одна семья. Никому не разрушить наше единство. Каждая наша радость и каждое наше горе делится на всех, хлеб едим от общей буханки.

Моя республика сейчас на очень крутом и очень трудном подъеме, ей помогает вся страна, а проблемы, которых я коснулся, носят тоже далеко не локальный характер. Одни называют это задачей перестройки хозяйства и сознания, другие — борьбой с негативными явлениями прошлого. Верно то, верно и другое.

На встрече с писателями — депутатами Верховного Совета СССР М. С. Горбачев подчеркнул, что сегодня мы находимся лишь в самом начале намеченного пути, что начинать надо с перестройки мышления, психологии самого человека.

Наше время теперь стали называть строгим; чтобы ему соответствовать, к себе надо быть строгим в первую очередь. Есть зримые приметы и того, что у лучших из нас, писателей, существует запас правды и совести, запас не в замыслах о том, что будет написано и опубликовано, когда нам ска-

жут — пишите и печатайтесь. Этому запасу намерений грош цена. Истинный запас писательской правды существует только в том, что лежит на наших столах. Папки с честными рукописями создают реальное давление, тот гидравлический эффект, без которого никакая подлинная работа не может быть произведена. И не надо мнить, будто мы идем впереди наших героев и наших читателей. Очень часто — плетемся в хвосте или пешим порядком догоняем поезд, который давно ушел.

Тут мелочей нет. «Подумаешь, плохая книга, есть ведь и хорошие,— говорит обыватель.— Да, много плохих фильмов. Ну и что? Зато люди больше времени будут дома, с семьей».— «Но ведь кино теперь смотрят дома по телевизору». — «Пусть меньше смотрят, как-никак облучение».

На кого будем делить ответственность?

Москва
23 июня 1986 г.



Римма КАЗАКОВА

* * *

Что у кого накипело —
время об этом, об этом! —
и горновым, и поэтам...
Все мы — с партийным билетом,
все в нас поет, что и пело,—
выплеснем — что накипело.

Правда, бывало, молчала,
правдой быть не переставши.
Горечь в большом этом стаже,
но тем весомее скажем —
снова упрямо сначала
там, где она промолчала.

То, что добыли,— добыли,
кто у нас это отнимет?
Только давайте отныне
станем получше, чем были,
чтоб нас за дело любили
века идущего были.

Что у кого за душою —
выскажем, взвесим и сложим.
Все мы сумеем и сможем.
Время и вправду большое!
Счастье такое большое —
быть ему вровень душою.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЗАВТРА И ВЧЕРА

...А жизнь идет, как раньше шла.
Позавчерашние дела!
Что ж, новизной пахнуло зря?
Позавчерашняя заря!

Звонит мужчина, нежный вор,
ночной бандит, бесшумный тать,
привыкший в жизни только брать.
Позавчерашний разговор!

Стихи редактор завернул
и укоризненно взглянул,—
конечно же велик искус,—
увы! — позавчерашний вкус.

У жизни — новая глава,
удвоив новые слова,
пристраивает к ней перо
позавчерашнее нутро.

Уже пора смириться мне б,
надеждой страстной не пленясь,
ведь даже в булочной у нас
опять позавчерашний хлеб!

Но кавалеру в телефон
роняю, чтоб отшился он,
что всё, чем так ему мила,—
позавчерашние дела!

Стихи — как все, на чем стою,—
в другие руки отдаю,
и бьют они прицельно, влёт
в позавчерашний бред и лед.

Обронзовевшие столпы,
вам бросит мальчик из толпы,
как будто забивая гол,
прицельно: — А король-то гол!..

А в булочной поднимем бунт,
на реи вздернем пекарей,—

или простим...
Лишь поскорей —
прочь! — из позавчерашних пут.

Такая бушевала боль,
но, ошибаясь и спеша,
мы все ж рождались вновь с тобой,
позавчерашняя душа.

И нас позавчерашний день
у нас самих не отберет,
не сунет в свой водоворот,
в свою не опрокинет тень!

...Но око завтрашнего дня,
быть может, смотрит на меня:
мол, жизнь идет там — как и шла...
Позавчерашние дела!..

СОСЕДКА

Какая нелепая женщина!
Одною работой жива.
Ни капли в ней тайного, вещего,
нет женственного естества.

Походкой, прической, одеждою
похожа, скорей, на мужчин.
Где — слабое, нежно-мятежное?
Очки. Сеть суровых морщин.

Не хочет она или ленится,
а может, ей все ни к чему...
Читает какие-то лекции.
Встречают ее по уму.

И что-то в том есть безнадежное...
А мы разве лучше живем,
когда со своими одежками
все ленточки финишей рвем?

И, первыми будем иль третьими,
других оттеснив и забив,
но как по одежке нас встретили,
вот так и проводят, забыв.

Заходит соседка немодная,
и зависти я не уйму
к тому, чем счастливо измотана,
к повадке ее и уму...

И мы говорим с ней о Маркесе,
о Бунине и о Леже...
И бремя страстей парикмахерских
не давит на плечи уже.

К ВОПРОСУ О РЕМОНТЕ

Отремонтировали дом
по плану и по чувству долга.
Как будто жалко нам потом,
что это, в общем, ненадолго!

Вот он стоит — кирпичный стих —
во всем величии и блеске
и кажется среди других
подобием отмытой фрески.

Вплывает в непогодь весны,
в дождливый день не без опаски...
А знаю: изобретены,
есть несмываемые краски!

И, чтоб он не терял лица,
светил сквозь годы многооко,
не подновлять бы без конца,
а обновить на срок без срока!

И я себя не примирю
с тем, что, быть может, зря, напрасно
с такой надеждой говорю
в небезразличное пространство:

— Отремонтируйте мне дом,
но только помня, что он — вечен,—
и будет и моим трудом
ремонт роскошный обеспечен!

Заденьте нужную струну,
что до сих пор молчала сонно:
отремонтируем страну! —
не от и до, не для сезона,

не только — чтоб на сахар яд
сменил турист, на нас глазея,
не только для олимпиад
и президентов иноземных.

И пусть для этого нужны
и будут встряски, перетряски,—
я знаю: изобретены,
есть несмываемые краски!

Возьмемся: каждый — и гурьбой,
и по отдельности, и дружно,—
отремонтируем любовь!
А новой заводить не нужно.

С какой дорогой ни вяжись,
одна — твоя и — до погоста.
Отремонтируем и жизнь:
у нас другой не будет просто.

Прочь, благодушная ленца!
Как наши же сердца велели,
отремонтируем сердца,
чтоб больше чуточку болели.

Отремонтируем дома!
Отремонтируем страну!
Отремонтируем любовь!
Отремонтируем сердца!..

ДОСТОИНСТВО

Есть черта души: достоинство.
И оно важней всего.
Будет все на свете спориться,
если сохраним его.

То, что на добре настояно,
и к добру должно вести.
Надо сохранить достоинство,
а коль нету — обрести.

Утомительна привычная,
неразлучная с тобой,
от достоинств, в кресло ввинченных,
в голове — зубная боль...

Все равно: в штиблетах, в кедах ли,—
важно: как печатать шаг!
От достоинства анкетного
подлинным не дорожат...

Пусть твоя работа — скромница,
в ней достоинство одно,
что достоинство не скроется,
если все же есть оно.

Пусть ты — сторожем на пасеке,
где покой и тишина,—
жизнь не может быть напрасною,
если хоть пчеле нужна!

Только будь в работе стоиком,
впрок терпенья напася.
Это главное достоинство —
двигать дело в небеса.

Для того ль беда отгрохала,
столько лучших истребя,
чтоб ходить вокруг да около
дел, заждавшихся тебя!

Их мечта, их дом — достроится!
Слушай, мир, и слушай, век:

говорит с таким достоинством
наш достойный человек.

Он сумеет правду выложить,
достучиться до сердец.
Ты его захочешь выслушать —
и услышишь наконец.

Надо так сердцам настроиться:
мы достойно жить должны!
И равнять свое достоинство
на достоинство страны.

* * *

Грешно на долю плакаться,
все, что хотела,— вышло.
Приподнимите планочку,
я прыгну чуть повыше!

Жизнь по одежке пригнана,
да вот в одежке тесно,
до зрелых лет допрыгнуло
и не остыло детство.

И так бездумно-празднично
кричу в туман нависший:
— Приподнимите планочку,
я прыгну чуть повыше!..

Но кто поднимет планочку,
чтоб прыгнуть чуть повыше,
и новой жизни главочку
к моей судьбе припишет?

А он, мой рай, не пряничный,
в нем многое недужно,
и не от жира планочку
повыше взвить мне нужно.

Любой привычной тяготой
довольно тяготиться!

Стоять с рукой протянутой
давно уж не годится.

И маленькое, скучное,
как на ногах колодки,
у жизни счастье куцее
выхватывать из глотки...

Еще хоть что-то станется,
коль врать себе не стану,
любви и жизни таинство
не превращая в тайну.

Не тайна, что увенчано
не все, как сердце хочет,
и взгляд мой недоверчивый
безжалостен и точен.

Еще хоть что-то сбудется,
когда бы враз и смело
от пут своих и путаниц
отпутаться сумела.

А в том, прикрыть ли лавочку,
лишь от себя завишу.
Приподнимаю планочку!
Осталось прыгнуть выше...

* * *

Благословен наш путь предтечами,
Отчизны светочами вечными.
Как стать им вровень нам самим?
Но пусть мы мучаемся, мечемся,
в свой срок и в свой черед Отечества
мы, как они, не посрамим.

Работа, правда, одоление —
души и времени веление.
Пускай все будет — в лад весне,—
как под прищуром зорким Ленина,
зачеркнуто или взлелеяно —
в стране, во мне и в каждом дне!

Николай ГРИБАЧЕВ

ОПОРА

В пределах мне отпущенного срока
Я ухожу все дальше от истока.
И даже мало в памяти осталось,
О чем трава с березами шепталась
Вначале; как в ночном храпели кони,
Как бил набат на ветхой колокольне
И бился в шуме пламени и ветра
Флаг на горящей крыше сельсовета.
Как, сладко пахнущий щепой сосновой,
Под новой крышей вскоре вырос новый.

Теперь, когда полмира за плечами,
Другим томлюсь я длинными ночами —
В чем смысл восторгов наших и страданий?
В комфортной жизни? В прорве новых знаний?
В дворцах, машинах, шахтах и ракетах?
В лавине песен, спетых и неспетых?

Вокруг все больше множится богатство,
Звучат призывы мира, счастья, братства.
Меж тем, с разбегом века несогласна,
Еще вражда на свете не погасла.
Еще есть подлость, хитрость, лень и чванство
И в новомодном облике мещанство.

Ужель и впрямь, как будто кем казнимы,
Через события, труды и годы
Принуждены какое-то нести мы
Проклятье человеческой природы?
Ужели, не знаком со здравым смыслом,
Прав некий тип в словесно-книжном блуде,
Что по инстинктам уподобил крысам

Род человеческий? Грызитесь, люди!
Или, с расплодом умственного кризиса,
Где все как на базарной карусели,
Он сам — лишь перепуганная крыса,
Что, салом соблазнясь, застряла в щели?

Веками при любом богатом храме
Юродствующих ползало немало.
Но время для себя проводниками
Других, чей разум ясен, избирало,
Чтоб при народном взлете и почине
Шла жизнь, росли дома, смеялись дети.
И залп «Авроры» — он по той причине,
И мир социализма на планете.

И впусте тут угрозы бесполезные,
И ложь, и злоба пополам с тоской,
И никакие «мускулы железные»
Загнать не могут в рабство род людской.

Без этой веры нет ногам опоры,
И ни к чему богатств и знаний прорвы,
И жизнь была б пуста в пределах срока
Всего как есть — от устья до истока!

Татьяна КУЗОВЛЕВА

ЧЕСТНЫЕ ЛЮДИ

В затишье
И на перепутье,
Где ветры ликуют, трубя,
Отечество,
Честные люди
Болели всегда за тебя.

Всегда они, помня о деле,
О цели, о благе Земли,
И собственных сил не жалели,
И времени не берегли.

Во всем добирались до сути,
За совесть трудясь, не за страх.
Отечество,
Честные люди
Тебя заслоняли в боях.

И первыми в мирные годы
Вставали на вахты свои.
Не сыщешь в масштабе народа
Войной обойденной семьи.

И ныне,
Средь гласности буден,
Твоей сопричастны судьбе,
Отечество,
Честные люди
Приходят на помощь тебе.

Трудом и терпением стойко
Творят они завтрашний день.
Идет

По стране
Перестройка —
И нам становиться ли в тень?

Сидеть, выжидая, на камне,
По старой листве ворожить...
Мы честные люди.
Не нам ли
Отечеству честно служить?

И жить и насущным, и новью
В столице ль, в районе, в селе —
С любимыми рядом.
С любовью.
Во имя любви на земле.

ДУХ ВРЕМЕНИ

Дух времени.
Достаток в каждом доме,
Семейным заработанный трудом.
Страна моя — как путник на подъеме.
Нелегок и непрост ее подъем.

Дух времени.
Рассветный гул моторов
И скорости, поправшие предел.
Дух времени.
Поменьше разговоров,
Побольше честных и весомых дел.

Дух времени.
Он властвует упрямо
Над бытом.
Он к мечте берет разбег.
Везут в колясках тоненькие мамы
Наш завтрашний,
Наш двадцать первый век.

Любимый мой,
Нам выпало на долю
Детей подросших ставить на крыло.
Любимый мой,

В тепле твоей ладони —
Тепло судьбы и Родины тепло.

Дух времени.
Он в заполночных спорах
О том, чем мы живем, на чем стоим.
Дух времени.
Любовь и труд, которым
На всей планете мир необходим.

Необходим, чтоб света в каждом доме
Все больше становилось день за днем.
Страна моя — как путник на подъеме.
Движение вперед — всегда подъем.

Преодоленье.
Сопричастность чуду.
По звездам путь
И откровенья вслух.
Дух времени —
Он так высок повсюду,
Что у меня захватывает дух.

ХЛЕБ

Ровесники нелегких лет страны —
Ее лишений и ее Победы —
Мы измеряем памятью войны
Сегодняшние радости и беды.

Путь памяти — нелегок и непрост.
Но по нему идем мы и доныне.
Птенцы из разоренных горем гнезд,
Росли мы на жмыхе да на мякине.

Не в сытости,
Не в холе,
Не в тепле...

И потому — иным на удивленье —
На свежий хлеб, лежащий на столе,
Доныне мы глядим с благоговеньем.

От хлеба не уйти нам ни на миг,
Ведь хлебный колос — это тоже знамя.
Мы измеряем
Доброту других
Готовностью
Делиться хлебом с нами.

И сами хлебом делимся всегда
Со всеми,
С кем живем под общим небом.
Благословляя мирные года,
Богаты мы судьбой,
А значит, хлебом.

Хлеб протянуть —
Как выдохнуть «люблю»,
Как поделиться мыслью сокровенной.
...С тобой, любимый,
Я свой хлеб делю —
Всегда насущный
И всегда священный.

* * *

Мать Никарагуа!
Гневом твоим
Сердце мое возгорится.
Мы на одном языке говорим —
На языке материнства.

Нам ли друг друга с тобой не понять?
В мире, где зла еще много,
Вместе с тобою я —
Русская мать —
Той же тревожусь тревогой.

Тою же болью болеет душа.
Родственно и по-соседски
Дай твоего мне прижать малыша —
Темноголового — к сердцу.

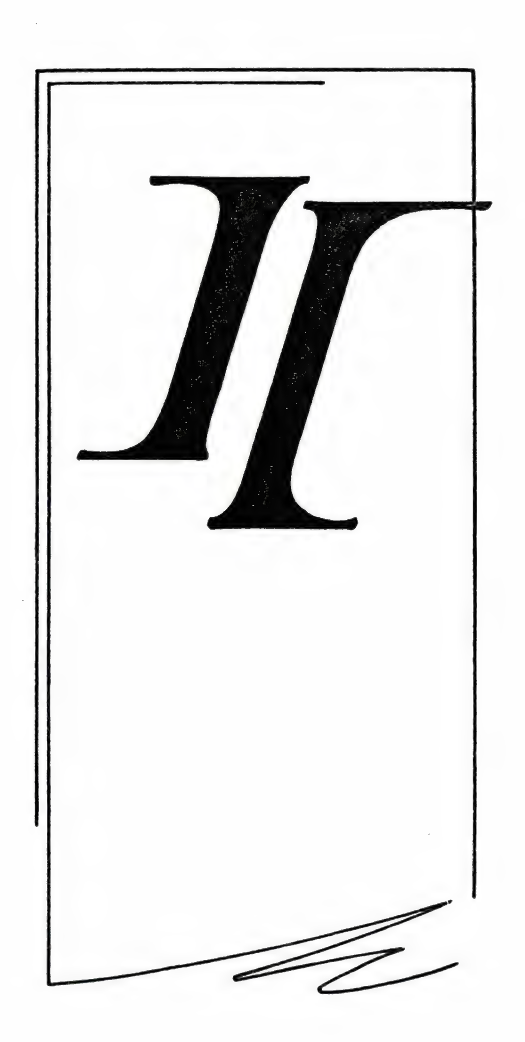
К небу поднять и в глаза заглянуть:
Кто он — тихоня? Задира?
Пусть ему солнечный выпадет путь
В мире, так жаждущем мира.

Пусть, приникая к плечу моему,
Знает: чему б ни случиться,
Сердце пошлю я
На помощь ему
Самой стремительной птицей.

Крикну опасности: — Остановись!
Мною оплачено это:
Над Никарагуа — мирная высь.
Мирная высь над планетой.

Мною — моею большою страной,
Крови пролившей довольно,
Чтоб со второю войной мировой
В мире закончились войны.

Знай, провожая любимого в бой:
Словом, поступком и взглядом,
Мать Никарагуа,
Будут с тобой
Русские матери рядом!


II

Наш идеал — мир без оружия и насилия, мир, в котором каждый народ свободно избирает путь развития, свой образ жизни. Это — выражение гуманизма коммунистической идеологии, ее нравственных ценностей. Поэтому и на будущее магистральным направлением деятельности партии на мировой арене остается **борьба против ядерной опасности, гонки вооружений, за сохранение и укрепление всеобщего мира.**

Из Политического доклада Центрального Комитета КПСС XXVII съезду Коммунистической партии Советского Союза.



Леонид ЛЕОНОВ

МЫСЛИ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ВЫСКАЗАТЬ

Мне мало довелось поездить по Европе, но и увиденного достаточно для понимания, почему русские литераторы прошлого века в такой степени чтили «священные камни Европы». В ее гигантских накоплениях духовной и материальной культуры запечатлелся неохватный никаким воображением подвиг рода человеческого: его труд, его творческие метания, его вдохновенье. Есть там и наша доля, никто не откажет нам в этом. На каменных страницах европейских площадей с такой царственной готикой — вроде Йоркского собора — написана добрая треть всемирной истории, не меньшая, чем в громадных, еще не раскрытых до конца тысячелетиях и пространствах Азии. Тем горше видеть, как иные правители соглашаются впустить на постой к себе войну, а форумы мировой цивилизации отдать внаем для танковых эволюций, каменных смерчей, радиоактивных фейерверков. Если принять за исходную истину, что мы живем в эпоху, когда нельзя ошибаться, то откуда же эти люди черпают свои печальные надежды на благополучный исход — после таких ошибок? Ужели в детской вере, что какая-нибудь сила небесная защитит их от ими же разбуженных извергающихся вулканов? А ведь из опыта прошлого известно, что никакая броня из крыльев — ни дюралюминиевых, ни ангельских — не в состоянии сплошь прикрыть даже самую скромную страну-крошку. Это падает до отчаяния быстро, оно не знает препятствия, и, по слухам, расплата за ошибки приходит в гораздо меньший срок, чем можно отбежать в сторонку.

1955 г.

Несомненно, мы живем в век крупнейших перемен, не только социальных. Меняется все — техника, моральные и научные воззрения, представления о космосе, способы и ско-

рости передвижения, плотность населения. Человечеству становится тесно на земле, и, пожалуй, тесно уму в пределах, которыми он ограничен сегодня. Какие-то общие, неминуемо возникающие, первостепенной важности цели, с одной стороны, и, с другой стороны, становящаяся тесной жилплощадь планеты сбивают в одну, все более плотную семью. До такой степени плотную, что народы слышат за не в меру утончившейся стенкой голоса и самое дыхание своих соседей. Человечество поставлено в необходимость очень интенсивно, объединенно обсудить создавшиеся условия, выработать наилучшие способы человеческого общежития. Недаром же у людей такое высокое звание, как homo sapiens. Наша планета сейчас такой населенный дом, что все дети в нем начинают плакать одновременно. Надо твердо усвоить людям: если твоему ребенку плохо, то и моему наверняка будет тоже неважно. В случае пренебрежения к этим вопросам может случиться, что заплачут и их отцы.

1961 г.

Натерпевшись от страхов, кризисов и войны, люди на земле ложатся спать с надеждой, что за ночь все устроится к лучшему. И верно, когда-нибудь завтра решительно все станет по-новому. Возможно, будущие историки назовут двадцатое столетие эпохой генеральной линьки человечества. В таком случае время наше, вулканическая сердцевина века, и в особенности переживаемое нами десятилетие, представляется мне самым главным и смелым переходом по довольно малознакомой местности. Решение основной проблемы современности, со всеми вытекающими последствиями, целиком поэтому зависит от нашего поведения сегодня. И чтобы не тужить потом, не следует сопротивляться наступающей новизне, ни равным образом шалить с неизвестностью. Ибо, представляется мне, на сегодняшнем повороте истории мало одного оптимизма и удальства, как, наверное, недостаточно и реформаторского вдохновения. Крайне желательно даже высочайшие веления ума поверять прозрением большого сердца.

* * *

Мне бесконечно жалко мою цивилизацию, которая представляется мне самым неслыханным чудом в мире. Я живу и все не могу насмотреться на этот волшебный пульт с кноп-

ками, нажатием которых извлекается любое, на выбор благо жизни — вода, свет, тепло, энергия, живительные лучи... да еще ждут срочного освоения десятки других, под которыми таятся иные, впрок упакованные блага для утоления еще неизвестных людям потребностей. Я благоговейно подымаю брошенную гайку на улице, потому что мускульно ощущаю количество затраченной на нее работы — эти концентрированные будни шеститысячелетнего бессонного трудового подвига, которые предшествовали ее созданию.

И действительно, а вдруг из-за наших чрезмерно участившихся промахов все это возьмет да и схлынет прочь и на поверку останется одна пещера нижнего палеолита, в которую и ступит то самое, одетое в метель и мрак, что в продолжение ста тысяч лет человеческого существования пристально и враждебно следит за каждым нашим движением из недр космоса. Люди воображения, уж мы-то хорошо знаем, как может обернуться дело в случае какой-нибудь генеральной ошибки. В отличие от евангельских птиц небесных, нам полагается почаще задумываться о завтрашнем дне... В свете перечисленных соображений не кажутся ли всем вам столь хваленые западные свободы всего лишь правом на пренебрежение к будущему?

Но люди стоят того, чтобы беззаветно помочь им в их труде и осознании их нынешних богатств, чтобы облегчить им процесс происходящей перестройки и наступления великой, категорической, повсеместной новизны. Она стучится в мир, и там, где ей долго не открывают ворот, она взламывает стены.

1963 г.

Пожалуй, не было в истории людей более строгого переломного периода, чем вот эти тридцать — сорок лет, в которых мы активно присутствуем. Периода тем более ответственного для совести и ума, что буквально все экспоненты, определяющие экономику, потребности и отсюда всевозрастающую физиологическую уязвимость со стороны условий существования, круто полезли в таинственный свой перекресток наверху, и резвей всего, до жути беспощадно взвивается кривая военной техники. Так что никогда еще от начальников не требовались такие серьезные и дальнозоркие раздумья о будущем, как сегодня...

Потребность осмыслить события текущих дней, самый трудный перегон из позавчера в послезавтра, крайне велика и у современников.

...Нет ничего грознее, как не предусмотреть те роковые, вроде волчьих ям, овраги впереди, которые по забывчивости иных плановиков нередко на бумаге не помечаются. Не надо бояться и пессимистических картинок. «Слово о полку Игореве» тоже не поэтический рапорт о великой победе, а какую историческую работу оно проделало... Кстати, чем крупнее объем времени, из которого мыслитель выцеживает свой опыт, тем глубже и выводы. Точно так же река тем мощней, чем обширней называемая бассейном территория, с которой она собирает свои воды.

1980 г.

Казалось бы, вслед за нашей страной все доводы в защиту чистого неба, земной цивилизации и самой жизни пространно и убедительно повторены на всех наречиях планеты.

Уличные демонстрации простых людей на Западе, еще недавно походившие на праздничные прогулки, все чаще стали превращаться в серьезные побоища.

Подобно Катону Старшему, не устаю при каждом удобном случае повторять, что никогда, со времен начала нашей эры, не требовалось так интенсивно, хотя бы по часу в день, думать о послезавтрашнем мире.

Однако наши неоднократные призывы благоразумно, без применения меча, развязать опасный узелок все еще не дошли до сознания правящего клана за океаном, и вот воочию проявляется, какой непримиримо злой и корыстный стимул правит им самим.

...Наиболее коварные бездны имеют обыкновение прикидываться маловероятными до поры, пока неминуемо и сразу не разверзнутся под ногами.

И тогда оптимистическая слепота исцеляется отчаянием внезапного прозрения.

Различаются классовые идеологии, национальные традиции и региональные интересы, но с какой жуткой силой выявилось сорок лет назад, что в большую бурю все дети мира плачут в унисон и на одном языке.

Задувающий ветер непогоды, от которой не спасут ни золото, ни ранг, ни пещерное убежище, заставляет глобально крикнуть людям — всеми средствами сопротивляйтесь ей, берегите свои города и будущность ваших малюток, все вместе и каждый порознь — защищайтесь!

1985 г.

Григорий БАКЛАНОВ

«...НЕ РИСКУЯ ВСТРЕТИТЬ ОСУЖДЕНИЕ»

Статья эта — «Почему мужчины любят войну» — напечатана в предрождественском номере американского журнала «Эсквайр», и если бы она не была так велика, ее просто следовало бы перепечатать в нашей газете: редко случается, чтобы человек решился так обнажить себя. Но я буду ее подробно цитировать.

Начало статьи вполне лирично. Встретились два человека, не видавшие друг друга пятнадцать лет: «В последний раз я видел Хайерса в рисовом поле во Вьетнаме». Автор статьи Уильям Бройлс был в ту пору лейтенантом, Хайерс — радистом. Теперь бывший радист содержит небольшую гостиницу в Вермонте, и вот к нему по-семейному, взяв с собой детей, приехал бывший командир взвода повидаться, повспоминать и заодно — покататься на лыжах. «В первое же утро на рассвете мы были уже на ногах, пытаясь спасти пять новорожденных крольчат. Хайерс соорудил в сарае гнездо из кроличьего меха и соломы и поставил рядом лампу, чтобы защитить его от жестокого холода. «Людям не понять,— сказал Хайерс, осторожно поднимая каждого крошечного крольчонка и устраивая его в гнезде,— как весело было там, во Вьетнаме. А мне там так нравилось. Мне там так нравилось, да ведь об этом никому не расскажешь».

Вот такой разговор происходит во время трогательного спасения крольчат. Людей всегда поражало, казалось несовместимым: изверги рода человеческого бывали нежны с птицами, как правило — домашними, любили домашних животных — собак, кроликов,— обрекая на гибель миллионы, сами не могли зарезать курицу и даже, случалось, по гуманным соображениям не ели мяса убитых животных, обходясь растительной пищей. Эту свою особенность — животных жалею, а людей не ставлю ни во что — они обычно не афишировали. Бройлс не стыдится, он пишет: «Хайерс любил войну. И когда

я в метель возвращался из Вермонта, уложив спящих детей на заднем сиденье машины, мне пришлось признаться самому себе, что я все эти годы любил ее, причем даже больше, чем думал».

Но это — начало статьи, читатель не подготовлен, и в следующих фразах отдается дань приличиям: «И в то же время я ненавидел войну. Спросите меня, спросите любого, кто испытал войну на себе, и, вполне возможно, мы скажем, что не хотим говорить о ней, имея в виду, что мы так ее ненавидели, она была так ужасна, что мы уж лучше предадим ее забвению. В том, почему мужчины ненавидят войну, нет ничего таинственного. Война омерзительна, ужасна, гнусна, и у мужчин есть все основания ненавидеть ее за это. Однако я думаю, большинство мужчин, побывавших на войне, должны признать, если они честны, что где-то глубоко внутри они в то же время и любили ее ничуть не меньше, чем то, что было в их жизни до и после нее. А как объяснить это своей жене, детям, родителям или друзьям?»

Обоих томит эта вынужденная немота: «да ведь об этом никому не расскажешь...», «как объяснишь жене, детям, родителям, друзьям?..» Дань приличия отдана, пора через них переступить. Оказывается, мешают быть откровенными, сдерживали до сих пор стыд и воспитание: «Но я подозреваю, что мы были немы еще и из-за стыда. В нашем воспитании ничто не допускает возможности любить войну... Однако может оказаться куда опаснее и для людей и для нации скрывать причины, по которым люди любят войну, нежели признать их».

Вот первый вывод: для нации опасно не знать, что большинство ее мужчин любят войну и должны это признать, «если они честны». А потому отбросим стыд, пора изменить воспитание: «Люди любят войну».

Готовя народ к войне, милитаристы всех времен и веков прежде всего стремились подавить внутренний протест против убийства, свойственный людям. Первым делом попирались моральные, нравственные нормы, снимались и осмеивались те запреты, которые природой дарованы всему живому. В фашистской Германии гонению подверглось само понятие «совесть». Я отменяю эту химеру — совесть, кричал Гитлер. Убивайте! Воспевалась, воспитывалась жестокость, эмоциональная тупость. И орды молодых зверей, освобожденных от совести, не знающих пощады и жалости, хлынули на нас. До сих пор в нашей стране редко встретишь семью, где бы не кровоточила память.

И вот в канун сорокалетия окончания второй мировой вой-

ны, когда по решению ООН человечество будет отмечать 40-ю годовщину Победы над фашизмом, в респектабельном американском журнале тиражом около семисот тысяч экземпляров печатается статья, чуть ли не исследование, воспевающее войну. «Война — устойчивое состояние человека, и точка,— утверждает бывший лейтенант.— Я скучаю по ней потому, что я любил ее странно и тревожно».

Он говорит не о романтических представлениях подростков, зачарованных книгами Вальтера Скотта. «Я говорю о том, почему думающие, любящие мужчины могут любить войну, даже зная и ненавидя ее... Вначале я назову более достойные причины. (Так и сказано: достойные причины.) Частично любовь к войне порождается тем, что она представляет собой ощущение огромной силы; ее привлекательность в том, что она удовлетворяет коренное человеческое стремление как можно больше увидеть собственными глазами — то, что библия именует жаждой глаз, а морская пехота во Вьетнаме называла лопаньем глазами».

Библия и морская пехота... А сам Бройлс почти что в возрасте Христа. И вот — его откровение.

Я видел Соединенные Штаты Америки именно в ту пору, когда Бройлс был во Вьетнаме. Уважающий себя журнал вряд ли напечатал бы тогда такую статью. Америка бурлила, 15 октября 1969 года было объявлено Днем общенационального протеста против войны во Вьетнаме — Moratorium Day. Более миллиона юношей и девушек вышли на улицы городов требовать прекращения позорной войны. Сменяя друг друга, молодые американцы весь день и всю ночь с зажженными свечами в руках читали долгий список погибших во Вьетнаме американских солдат, и это транслировало телевидение. Журнал «Лук» писал о рядовом Кеннете Столте и рядовом 1-го класса Даниело Амике, которых военно-полевой суд приговорил к четырем годам каторжных работ каждого за проповедь «нелояльности и недовольства в войсках и среди гражданского населения». Они размножили в 150 экземплярах и раздавали солдатам свою листовку, в которой, в частности, говорилось: «Нам надоела ложь о войне, надоели фальшивые идеалы, пустые слова. Даже среди животных нет таких выродков, которые возвели бы междоусобную грызню в узаконенную систему. Человеку дано право выйти из тьмы средневековья».

В наручниках был уведен из зала суда приговоренный к трем годам заключения в тюрьме военный врач капитан Говард Леви: он отказался обучать санитаров, отправляемых во Вьетнам. Призывники сжигали повестки, газеты писали о ма-

тери погибшего во Вьетнаме американского солдата, которая бросила к Белому дому награды сына. Отец двух маленьких детей облил себя бензином и поджег вблизи Капитолия, протестуя против войны во Вьетнаме. О нем стихи американской поэтессы Доры Тельтенбойм: «Это горит совесть страны, горит, горит заживо». Люди эти были тогда совестью страны. «Даже среди животных нет таких выродков, которые возвели бы междоусобную грызню в узаконенную систему»,— писали в то время. «Война — устойчивое состояние человека, и точка»,— утверждает Бройлс сегодня, и в Вашингтоне установлен памятник ветеранам войны во Вьетнаме. «Для нас и для тысяч ветеранов,— пишет Бройлс,— памятник этот был особым местом. Война — это театр, а во Вьетнаме не было третьего акта. Он оставался за сценой с неразобранными декорациями; действующие лица были затеряны в нем, не имея ни выхода, ни продолжения роли».

Третьего акта — победы — не было и не могло быть. Эта война была позором Америки. Но таким, как Бройлс, требовалось продолжение роли: «Поэтому, приехав в Вашингтон к памятнику Вьетнама, мы дописывали наши собственные окончания, глядя на имена, выбитые на стене, протягивая руки, прикасаясь к ним, омывая их своими слезами...»

Это протягивание и прикосновение рук, эти омывающие слезы особенно трогательны в сопоставлении с тем, что он делал во Вьетнаме: «Я прошел со своим взводом по Вьетнаму, сжигая хибары (обратите внимание, какую свободу давал нам язык: мы сжигали не дома и стреляли не в людей, мы сжигали «хибары» и стреляли в «подонков»), убивая собак, свиней и кур, потому что, как говорил мой друг Хайерс, «нам в ту пору это казалось забавным». Как известно всякому, кто стрелял из базуки или пулемета М-60, есть что-то в той власти, что сосредоточена в твоем пальце и в мягком, соблазнительном прикосновении спускового крючка. Это — как волшебный меч, «эскалибур» морского пехотинца: достаточно лишь едва заметно шевельнуть пальцем — даже не полный контакт нервных клеток мозга, а лишь импульс желания, тенью промелькнувший в сознании,— и — бах! — грузовик, или дом, или даже люди исчезают, сметенные волной звука, энергии и света, все взлетает и затем оседает в пыль».

Это не показания военного преступника на суде, это реклама войны, которую в мирное время печатает солидный журнал. Он рекламирует войну, как увлекательную поездку на Гавайские острова, обещая ночные виды поразительной красоты, всевозможные развлечения и массу острых ощущений:

«Война действительно прекрасна. Есть что-то в ночной перестрелке и в механическом изяществе пулемета М-60. Они — все, чем они должны быть: совершенные образцы своего вида. Когда ведешь ночную пальбу, очереди красных трассирующих пуль уходят в черноту, как будто ты рисуешь световым пером. Затем в ответ начинают мигать маленькие точки света и очереди зеленых пуль АК-47 начинают сплетаться с красными, образуя яркие узоры, которые при своих огромных скоростях кажутся до странного вечными, словно выгравированными на фоне ночи. А затем, скажем, появляются боевые вертолеты... и открывают стрельбу из своих невероятных пушек, похожих на огромные шланги, из которых с неба льется огонь, подобный тому, что сотворил господь, если бы не на шутку рассердился».

А вот и теоретические положения, которые обосновывают, почему «думающие мужчины» любят войну:

«Большинство людей страшатся свободы; война же уничтожает этот страх»; «Война позволяет узнать бесчисленное множество экзотических ощущений, столько случаев, о которых говорят «Я ни за что бы не поверил!»; «Война заменяет трудные серые тучи повседневной жизни жутковатой безоблачной ясностью»; «Война — это бегство от обыденности в особый мир, где связи, заставляющие нас выполнять наши повседневные обязанности — семейные, соседские, служебные,— исчезают. На войне все ставки отменяются. Это — граница за последним поселением, это — Лас-Вегас».

Лас-Вегас, как известно,— центр ночной жизни в пустыне Невада. За многие сотни миль от Лас-Вегаса рекламы на автострадах и аэродромах призывают: «Наслаждайтесь ночной жизнью в пустыне». Здесь официально разрешены все азартные игры, здесь сняты все запреты, в том числе и те, что природа и стыд накладывают на людей. И вот какой Лас-Вегас на войне сладостно вспоминает Бройлс:

«Большинство мужчин, побывавших на войне, и большинство женщин, побывавших вблизи от нее, помнят, что никогда в жизни они не испытывали настолько сильного полового влечения. Короче говоря, война «заводит»... Самые безобразные проститутки специализировались на групповых развлечениях, переходя из рук в руки среди нескольких мужчин, а то и целых отделений; это походило скорее на причастие...»

Когда жаргон морской пехоты равнозначен библейским изречениям, когда вместо «Не убий» именем господа освящается убийство, почему публичному дому не стать местом, где массово причащаются?

Приведя еще ряд положений, призванных воздействовать на все органы чувств, Бройлс заключает: «По всем этим причинам мужчины любят войну. Но это несложные причины, первый круг, о которых мы можем говорить, не рискуя встретить осуждение» (выделим: «не рискуя встретить осуждение»), не углубляясь в дальние закоулки истины и самих себя. Однако существуют и другие, вызывающие куда большее смятение причины того, почему мужчины любят войну... На некоем ужасном уровне для мужчин это — нечто, чрезвычайно близкое к тому, чем для женщин являются роды: приобщение к власти над жизнью и смертью... И одной из причин любви мужчины к войне, вызывающих наибольшее смятение, является любовь к разрушению, волнующее ощущение убийства».

Ни один народ, ни одно общество не гарантированы от патологически извращенных людей, от выродков. Только расисты, ярые националисты могут говорить: дескать, он такой потому, что — черный; или потому, что — белый; или потому, что — американец; или, наоборот, потому, что он — русский. Патологические отклонения — физические, духовные — были, есть и еще не скоро исчезнут. Но когда извращенных людей не изолируют, не лечат, а предоставляют им трибуну, чтобы своим безумием они заражали остальных, тут приходится говорить уже о болезнях общества. И вот писатель — во всяком случае, так журнал представил Бройлса, хотя ни от одного из известнейших американских писателей, кого я знаю уже многие годы, имени этого я не слышал никогда, но журнал представляет его в этом качестве и статья как главный материал номера вынесена на обложку,— и вот, я говорю, писатель воспевает войну, а ученый — созданную им нейтронную бомбу:

«Это оружие гораздо более точное, чем любое из изобретенных когда бы то ни было. Это звучит как похвальба, но это действительно так. Ничего подобного еще никогда не было,— рекламировал по голландскому телевидению свое создание Самюэль Коэн.— Когда меня спрашивают, не аморально ли убивать людей, но щадить собственность, я всегда отвечаю: эти люди — солдаты противника, а пощадить гражданские материальные ценности очень правильно».

Но вот не о европейцах речь и не о нас с вами, для кого и приготовлялась нейтронная бомба, символ бесчеловечности XX века — «убивать людей, но щадить собственность»,— и речь не о вьетнамцах, убивать которых «мне так нравилось», не «эти люди», а его собственный сын — «солдат противни-

ка». «Ваш сын служит во флоте. Как вы будете себя чувствовать, если он станет жертвой бомбы?» — спросил Коэна перед телекамерой голландский журналист. «О нет, нет, нет, только не флот. Бомба не применяется на море. Если мой сын когда-нибудь попадет в военную зону, среди опасностей, с которыми он там столкнется, не будет нейтронной бомбы. Скорее, это будут торпеды или управляемые ракеты... Я бы, пожалуй, предпочел торпеду... Они уничтожают материальные объекты, но не человеческую жизнь. Торпеда топит корабль. Но в этом случае мой сын мог бы спастись на плоту или на шлюпке и остаться в живых. Следовательно, я бы предпочел, чтобы его корабль, уж если на то пошло, был атакован торпедами, потому что нейтронная бомба убивает людей и оставляет в целости корабль».

Видите — безумный сразу поумнел, заговорил вполне разумно, когда коснулось не нас с вами, а его сына. В том-то и дело, что они не настолько безумны. Аморальны, циничны сверх всякой меры, но не безумны полностью. Все обстоит гораздо проще и страшней: они просто делают свое дело, как делали свое дело в фашистской Германии создатели душегубок, в которые потом загоняли женщин, детей и удушали выхлопными газами, создатели газовых камер, в которых уничтожены миллионы людей. Они делали это продуманно, экономично, предлагая наилучшие технические решения, испытывая творческое удовлетворение и — никаких мук совести.

«Как же вы выдержали?! Как вы выдержали?! Как вы могли?» — с заинтересованностью ученого спрашивал некий профессор Цигельмайер, в прошлом руководивший Мюнхенским пищевым институтом; его, как крупнейшего ученого в области питания, привлек гитлеровский генеральный штаб, когда фашистская армия не смогла взять Ленинград с бою. «Я писал справку, что люди на таком пайке физически не могут жить. И поэтому не следует рисковать немецкими солдатами. Ленинградцы сами умрут, только не надо выпускать ни одного человека через фронт. Пускай их останется там больше, тогда они скорее умрут, и мы войдем в город совершенно свободно, не потеряем ни одного немецкого солдата».

По его рекомендациям уморили голодом в блокадном Ленинграде девятьсот с лишним тысяч мирных людей, но и после войны его интересовала главным образом научная сторона вопроса: «Я все-таки старый пищевик, я не понимаю, что за чудо у вас там произошло?» Вот во что превращается человек, лишенный нравственности, освобожденный от совести и стыда.

«Неужели вам... за последние 20 лет никогда не приходила мысль: что же я изобрел?» — спросил создателя нейтронной бомбы голландский журналист. В его вопросе — потрясенное человеческое сознание. И Коэн ответил весело: «Нет, никогда».

В фашистском концентрационном лагере Треблинка был охранник, который каждый раз, когда из прибывшего эшелона гнали людей в газовую камеру, выхватывал из толпы грудного ребенка и на глазах людей раздирал его за ноги. Он делал это в один и тот же заранее рассчитанный момент, когда люди начинали догадываться, что их гонят не в баню, а на смерть. Вот тут требовалось поразить сознание ужасом, сковать волю людей. И он выхватывал у матери младенца и раздирал его. Он был нужен, он был необходимой частью машины уничтожения, этот садист. Определенным силам в сегодняшней Америке оказался нужен ученый, не ведающий сомнений и стыда, нужен литератор, который способен прославлять войну в ее самых отвратительных проявлениях:

«После одной засады мои люди притащили тело убитого северовьетнамского солдата. Позднее я обнаружил убитого прислоненным к ящикам из-под пайков. На нем были темные очки, на коленях у него лежал раскрытый журнал «Плейбой», изо рта небрежно свисала сигарета, а на голове был уложен большой кусок дерьма идеальной формы. Я сделал вид, что возмущен, поскольку осквернение тел считалось чуждым американским обычаям и понятиям и деморализующим и вызывало официальное неодобрение. Однако чувствовал я отнюдь не возмущение. Внешне я держал маску офицера, а внутри... смеялся. Я смеялся — как я думаю теперь — частично вследствие некоего подсознательного одобрения этого непристойного соединения секса, экскрементов и смерти, частично — вследствие торжествующего сознания того, что он — кто бы он ни был — мертв, а я — единственный, неповторимый я — жив... Это был еще один из случаев, когда я остановился на краю собственной человечности, заглянул в бездонную яму и мне понравилось то, что я там увидел. Я отдался во власть опьянения, лишенного того решающего свойства сопереживания, которое позволяет нам ощутить страдания других. И я увидел там ужасающую красоту».

Они нужны, эти преступившие грань человеческого, потому что большинство американцев, абсолютное большинство американского народа, как показывают на протяжении многих лет всевозможные опросы, не хочет войны, боится войны, понимает, что атомная война означала бы всеобщую

гибель. В городе Лоуренс, штат Канзас, в семье преподавателя университета, где две девочки-школьницы, мне рассказывали, как они говорят, придя из школы: «Мама, зачем мы учимся, когда все равно все мы погибнем?» Именно в этом городе происходит действие не столь фантастического, сколь гипотетического телевизионного фильма «На следующий день» — о том, что станет с Америкой и американцами, если развернется атомная война. В Соединенных Штатах его смотрели сто миллионов человек. А еще раньше, двадцать лет назад, обошел экраны мира фильм Стенли Крамера «На последнем берегу». Впервые так страстно и сильно кинематограф сказал человечеству, что ждет его, если война не будет предотвращена.

Советские и американские врачи заявляют сегодня: медицина не сможет помочь миллионам жертв ядерной катастрофы, она окажется бессильной и перед теми эпидемиями, которые вспыхнут, и перед теми необратимыми генетическими изменениями, которые постигнут наследников немногих выживших,— иными словами, перед вырождением человечества.

Советские, американские и западногерманские ученые провели детальные, беспристрастные исследования и показали, что неминуемым следствием ядерной катастрофы станут глобальные климатические изменения, которые приведут к гибели всего живого.

Во время очередной встречи советских и американских писателей в Нью-Йорке в 1978 году я спросил моего знакомого, известного американского общественного деятеля: «Неужели действительно найдутся у вас люди, располагающие достаточной властью, которые решились бы развязать атомную войну?» — «Все дело в цифрах,— сказал он,— сегодня слишком велик процент американцев, которые погибнут в результате ответного удара. Этот процент сегодня очень высок. Если его удастся снизить, такие люди найдутся». Впрочем, знай японцы, что атомная бомба создана, они, наверное, могли бы вот так спросить в 45-м году: неужели найдутся люди, которые решатся сбросить ее на мирный город?.. Нашлись. Сбросили. Преступили, сделав немыслимое возможным.

Три недели в американских университетах я читал лекции по советской литературе: в Канзасском университете, в Берлинском, в Карлтонском, в Эванстонском университетах. Аудитории были и по сорок и по сто пятьдесят человек. Могу свидетельствовать: ни разу я не встретил проявления ненависти к моей стране, к нашему народу. Было желание понять, узнать, была общая тревога за то, что происходит в мире.

А в печати и по телевидению в эти дни велась продуманная антисоветская пропаганда. Это был тысяча девятьсот восемьдесят третий год.

Я помню, в какой атмосфере доброжелательства и сердечности в том году в городе Лоуренс состязались советские и американские спортсмены, как стадион на пятьдесят тысяч мест вставал, чтобы рукоплескать нашим спортсменам. На прощальном банкете между нашим и американским флагами, соединяя их, была помещена огромная фотография союзников, встретившихся и обнявших друг друга на Эльбе: американского и советского воинов. «Когда я впервые предложил идею участия советских спортсменов на Эстафетах Канзаса,— говорил на банкете один из инициаторов этих состязаний,— когда я встречал моих друзей на центральной улице города и делился с ними своей идеей, они улыбались, смотрели куда-то мимо и, вполне возможно, думали про себя: «Марк сошел с ума». А когда я заговорил о своей идее с одним из моих бывших коллег по университету, он сразу оборвал меня: «Ты сошел с ума»... И все же вот мы сидим в этот вечер рядом с командой звезд советского спорта. Они проехали полмира для того, чтобы принять участие в этом празднестве идеи мира и дружбы между нашими странами. Они приехали, прекрасно понимая, что все мы живем в крайне опасное время. Они приехали, зная, что все мы желаем реального мира, который позволит соперникам оставлять арену живыми».

В такой обстановке определенным силам в Соединенных Штатах Америки нужен ученый, который рекламировал бы нейтронную бомбу, как рекламирует последнее обезболивающее средство; нужен литератор, который слагает вдохновенный гимн войне: «Днем ничего настолько захватывающего не увидишь, но и здесь есть свои прелести. Многие из нас любили напалм, любили его молчаливую силу, то, как он может заставить взрываться ряды деревьев или дома будто от самовоспламенения... Я предпочитал белый фосфор, который взрывает с отталкивающей элегантностью, окутывая цель густыми клубами белого дыма, отбрасывая раскаленные красные кометы с яркими белыми хвостами. Я любил его больше, а не меньше — за его назначение: разрушать и убивать. Соблазнительность войны в том, что она предлагает такую яркую красоту, пусть оторванную от всех ценностей цивилизации, но все-таки красоту».

А мы во второй мировой войне были теми, на кого, быть может впервые в истории человечества, фашисты сбрасывали фосфорные бомбы. Мы были теми, кто принес немыслимые

жертвы, чтобы спасти мир от фашизма. Соединенные Штаты Америки никогда не вели войн на своей территории, если не считать войны между Севером и Югом и войны с Мексикой сто с лишним лет назад. Она велась тогда на мексиканской земле, которая в результате была отторгнута от Мексики и стала Калифорнией, Техасом. Американцы плыли воевать за океаны и моря, и этим многое определяется в психологии. «Я пришел к выводу, что данные о тяжких испытаниях Белоруссии выходят за пределы моей способности постичь и осознать трагическое,— писал после войны американский журналист Майкл Давидов, повидавший белорусские хатыни.— Четвертая часть ее населения убита, и восемьдесят процентов ее территории превращено в пепел. Как представить такое? Это аналогично труднопредставимой картине: более пятидесяти миллионов американцев убито и вся наша страна разрушена, за исключением ее восточного побережья».

Я искренне желаю, чтобы американскому народу никогда не пришлось пережить той трагедии, какую пережил наш народ в минувшей войне. Но если ядерная катастрофа разразится, последствия будут ни с чем не сравнимы.

«Почему же тогда... прекрасными летними вечерами, когда начинает смеркаться и вокруг меня играют дети, я возвращаюсь в мыслях на пятнадцать лет назад в войну, в которую я не верил и в которой не хотел воевать? Почему я скучаю по ней?» — спрашивает Бройлс.

Когда родились мои дети, я впервые понял с ужасом, что, если бы осколок снаряда, который сидит во мне, взял чуть левее, их не было бы на свете, как нет на свете детей моих погибших на войне братьев. Война и дети — нет ничего более несовместимого. Так не самоубийцы же они, в самом деле, эти люди! Ведь когда речь о собственном сыне, так сразу — «О нет, нет, нет...». На что они надеются? А вот на что: они надеются, что война ограничится Европой, откуда уже нацелены на нас американские ракеты первого удара, а их защитит океан; они надеются, что она будет вестись из космоса и Америка останется недосягаемой. «Странно, однако, что вы все время толкуете о Европе, о войне в Европе. А я вот живу в Европе,— сказал голландский журналист,— и ваши слова не доставляют мне особого удовольствия». И создатель нейтронной бомбы ответил с веселым цинизмом: «Логично. На это я могу сказать только, что вам не повезло в том отношении, что вы живете по соседству с советским блоком. Вам угрожают. Мы же отделены от них океаном».

Они надеются на безнаказанность: будет, мол, создан та-

кой космический противоракетный щит, что противник сразу станет безоружным, а наши ракеты, наши ядерные заряды... И тогда — «есть что-то в той власти, что сосредоточена в твоем пальце и в мягком, соблазнительном прикосновении спускового крючка. Это — как волшебный меч... достаточно лишь едва заметно шевельнуть пальцем... и — бах!.. люди исчезают, сметенные волной звука, энергии и света, все взлетает и затем оседает в пыль».

Всякий раз, когда создавался щит, немедленно изобретали оружие, против которого он был бессилен, и вновь создавался щит, и вновь изобреталось еще более разрушительное оружие, и этой гонке не было и не будет конца, если ее не остановить.

Председателя Союза писателей ФРГ Бернта Энгельмана спросил репортер американской телекомпании Эй-би-си, чьих ракет он больше боится — американских или советских. «Я ответил ему, что американских,— сказал Бернт Энгельман.— Потому что США переступили черту, которую никто не смел перейти: они поставили вопрос о допустимости ядерной войны в Европе. Это значит, что американские стратеги, которые занимаются такими планами, могут попытаться и осуществить их».

В «безумном, безумном, безумном» мире эти стратеги смерти — нормальны. Они способны и кнопку нажать, как нажимали сладостно спусковой крючок, ибо в конечном счете не ведают, что творят. Но для нормального человеческого сознания это — безумцы, опасные безумцы с ядерным оружием в руках и мышлением каменного века. Преступая нравственные законы, веря, что все просчитали и вычислили с точностью, они могут переступить тот порог, за которым — необратимая глобальная катастрофа. Она их тоже обратит в пар.

Как меняются времена! В этом самом журнале «Эсквайр», который ныне рекламирует статью Бройлса, печатал когда-то свои антифашистские статьи Эрнст Хемингуэй. В одной из них — «Заметки о будущей войне» — он писал за четыре года до второй мировой войны: «Единственный способ бороться с убийством, то есть с войной,— это разоблачать грязные махинации, которые приводят к ней, и тех преступных негодяев, что возлагают на нее свои надежды».

Юлия ДРУНИНА

ПИСЬМО ИЗ «ИМПЕРИИ ЗЛА»

Я живу, президент,
В пресловутой «империи зла» —
Так назвать вы изволили
Спасшую Землю страну...
Наша юность пожаром,
Наша юность Голгофой была.
Ну, а вы, молодым,
Как прошли мировую войну?

Может быть, через ад
К нам конвои с оружьем вели? —
Мудрый Рузвельт пытался
Союзной державе помочь.
И казалось, в Мурманске
Ваши храбрые корабли
Выходила встречать
Вся страна, погруженная в ночь.

Да, кромешная ночь
Над Россией простерла крыла.
Умирал Ленинград,
А во тьме Шостакович гремел...
Я пишу, президент,
Из той самой «империи зла»,
Где истерзанных школьниц
Фашисты вели на расстрел.

Оседала война сединой
У детей на висках,
В материнских застывших глазах
Замерзала кристаллами слез...

Может, вы, словно Кеннеди,
В американских войсках
Тоже собственной кровью
В победу свой сделали взнос?

Нет, собой рисковать
Не желал голливудский герой.
Лишь посвистывал хлыст,
Лишь звенели в ответ стремена...
А потом президента великую роль
Вам доверила ваша —
«Пусть бог ее судит!» —
Страна...

Содрогнулась планета —
Разверзлись в ночи небеса,
Над Гренадой и Ливией
Грянул неправедный «суд».
Плачут мертвые дети —
Вы не слышите их голоса?
Может, Гитлера лавры
Спокойно вам спать не дают?

Вы его пострашнее —
Другая на свете пора.
Оттолкнув «трубку мира»,
Отвечаете взрывами «нет!».
Только зря, президент,
Вы надеетесь на бункера,
Бункера для элиты —
Какой святотатственный бред!

Я живу, президент,
В пресловутой «империи зла»,
Там, где чтут Достоевского,
Лорку с Уитменом чтут.
Я грущу о Саманте,
Что так странно из жизни ушла,
Горько мне, что в Неваде
Мосты между душами рвут...

Ваши авианосцы
Освещает, бледнея, луна.

Между жизнью и смертью
Такая тончайшая нить!
Как прекрасна планета
И как уязвима она —
Как землян умоляет
Ее защитить, заслонить!

Я живу, президент,
В пресловутой «империи зла»...

КОГДА ЗЕМЛЯ ЗАЩИТЫ ПОПРОСИЛА...

И вышел на трибуну как-то боком
С немодною бородкой человек.
Поправил микрофон, потом заокал —
Как спринтер, прямо с места взяв разбег.

Его вполуха слушали вначале.
Но с первых слов понятно стало мне,
Что людям нес он не свои печали —
Его душа болела о стране.

О тех краях, что росчерком единым
Хотят на растерзание отдать
Не ведающим жалости машинам:
Заставить реки повернуться вспять —
Опять природу жаждем «покорять»...

Опять стада бульдозеров покорных
Рванутся в деревеньки на таран...
Морей нам, что ли, мало рукотворных,
Что превратились в лягушачий стан?

Зачем, кому такое было надо?
Иль Родина иным не дорога?..
Укором всем — затопленные грады,
В болота превращенные луга.

Нет зарослей веселых, камышовых:
Они, поильцы рек, осушены.
Теперь там свалки, целлофана шорох —
Пейзаж луны, захламленной луны...

Природа! Ты отплатишь нам жестоко,
Не постоишь ни за какой ценой...
Ушел с трибуны человек, что окал,
Как весь мой Север окает родной.

Ушел ершистый и не горбя плечи —
Как бы на марше, собран и угрюм.
Но тут же встал товарищу навстречу
Другой поэт, другой властитель дум.

И столько было в голосе накала,
В глазах такая затаилась боль...
О, как внимали рыцарю Байкала!
Байкал, Байкал — мы все больны тобой.

Мы все болеем родиной — Россией,
С нее влюбленных не спускаем глаз.
Когда Земля защиты попросила,
Забыли, что уволены в запас,

Фронтовики — святой эпохи дети.
Им, все познавшим, с теми по пути,
Кто хочет от грядущего столетья
Лавину равнодушья отвести.

У КОСТРА

Хороводились звезды.
Стреляли поленья.
Отступил в темноту
Энтээровский век...
«Жаль мне ваше
Наивное поколенье»,—
Очень искренне вдруг
Протянул человек.

То выглядывал, то
В тучу прятался месяц.
Наши спутники спали
И видели сны...
Был моложе меня

Лет, должно быть, на десять
Собеседник и, значит,
Не видел войны.

Он во всем преуспел.
А какою ценою? —
Для иных
Не имеет значенья цена...
Кто «умение жить»
Посчитает виною?
(Если только наружу
Не выйдет она...)

Насмешила меня
Суперменская жалость,
Я с полслова ее
Поняла до конца —
Только вера в людей
Мне в наследство досталась
От хлебнувшего лиха
Работяги-отца.

По горящей земле
Пол-России протопав,
Хлебанув свою толику
В общей беде,
Я, как ценный трофей,
Принесла из окопов
Только веру в людей,
Только веру в людей!

Жить бы дальше без драки:
Ведь не тронешь — не тронут
Те «умельцы»,
Кому помешать я могу,
Те, кто жаждут занять
Всевозможные «троны»,
С исполинскою плошкой
Спеша к пирогу.

Не желаю молчать —
Это сердца веленье.
Поднимаюсь в атаку
Опять и опять.

Жалко тех мне
Из вашего, друг, поколенья,
Кто умеет на подлость
Глаза закрывать.

СТАРЫЙ ПОЭТ

Вернулся из Войны. Уже не молод —
Остался за спиною перевал.
Вернулся из Войны. Блокадный холод
Его больное сердце не сковал.
Не рвался на высокие трибуны
И не мечтал блистать за рубежом.
Нет, не завидовал модерным, юным
Он — скромной гордостью вооружен.
Страдал. Писал, не требуя награды.
За строчкой строчку. Трудно. Не спеша.
В тени... В нем билось сердце Ленинграда,
В нем трепетала Питера душа.
Он помнил — Пушкин, Достоевский, Ленин
Дышали белым маревом Невы.
...Седой поэт, застенчивости пленник,
Идет, не поднимая головы.
В президиум, в последний ряд садится,
Прищурив близорукие глаза.
И освещаются невольно лица,
И благодарно замирает зал,
Когда поэт выходит на трибуну,
Когда берет, робея микрофон,
И далеко запрятанные струны
Невольно в людях задевает он.
Мы снова верим, что в наш век жестокий,
Который всяким сантиментам чужд,
Еще становятся бинтами строки
Для раненых, для обожженных душ.

СВЯЗНАЯ

Я порою себя ощущаю связной
Между теми, кто жив
И кто отнят войной.
И хотя пятилетки бегут, торопясь,
Все прочней эта связь,
Все тесней эта связь.

Я — связная.
Пусть грохот сражения стих.
Донесеньем из боя
Остался мой стих —
Из котлов окружений,
Пропастей поражений,
И с великих плацдармов
Победных сражений.

Я — связная.
Бреду в партизанском лесу,
От живых донесенье погибшим несу:
Нет, ничто не забыто,
Нет, никто не забыт —
Даже тот,
Кто в безвестной могиле лежит...

Николае ПОПА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Когда-нибудь выпьем
горячего чая с утра
и выйдем все вместе на поиски
металлолома,
и птицы привыкнут
к тому, что теперь семена
в карманах у нас вместо денег,
и ссоры не вспыхнут...
Когда-нибудь снег полетит,
прилипая к луне,
и здесь, на Земле,
будет так же, как в космосе, чисто,
и сквозь огороды,
светясь в золотистом огне,
вслед метеоритам
прокатится овощ росистый.
Когда-нибудь кончатся войны,
поднимется злак
и времени хватит, чтоб думать о жоке
и джазе...
...Но нынче кто мать мою
проинструктирует, как
меня она сможет оплакивать
в противогазе?

Людмила ЩИПАХИНА

ПОРА!

Грядущий день бедой набряк.
Военный, злой, смертельный знак
Восходит над судьбой...
Жнецы, трудяги, мастера,
Пора, товарищи, пора
Идти в последний бой!

Пора тебе, земная твердь,
Не прятать атомную смерть,
Под почвой не скрывать.
Пора подняться на дыбы!
Пора стучать в чужие лбы
И к разуму взывать!

И вам, святые небеса,
Уже пора раскрыть глаза
На стаи черных птиц.
В их клювах — стронций и уран.
Крушенье мира, гибель стран
И ужас — без границ.

Чужак, сосед и кровный брат,
Пора вселенский бить набат,
В звериный рог трубить!
Уж на сносях тела ракет.
И яростней вопроса нет,
Чем — быть или не быть?

Пора вам, лирики, пора
Сменить изящество пера —
На грубый барабан!

Способен ведь в лицо войны
Плеснуть пощечиной волны
И Тихий океан.

Беспечным многословьем фраз
Уж не обманет время нас,
Уже не та пора.
Сегодня мир — поручен нам.
От слов — переходить к делам
Пора, друзья, пора!

* * *

Мы живем страдая и любя,
Но живем совсем не для себя.
Разве что-то личное лелея,
Руки в небо человек простер,
Продолжая дело Галилея,
Обрекая тело на костер?
А его уста — смолчать могли,
Молодости светлой не губя.
Только он — совсем не для себя
Утверждал вращение Земли!
У него к корысти отвращенье.
Да и что за прибыль от вращенья?
А костер гудит, дымит, клубя...
Человек живет — не для себя!
Если для себя, тогда к чему
В собственную плоть вводить чуму?
Над ретортой хлороформ глотать?
В мрачных одиночках голодать?
Если для себя — зачем ладони
Подставлять под стронций и плутоний?
Кровь свою горячую сдавать?
На непрочных льдинах дрейфовать?
Человек делами перегружен.
И ему не выжить одному.
Да и сам себе зачем он нужен,
Если он не нужен никому!

ПРОСЬБА

Даруй суровость мне, зима,
Чтобы душа моя крепчала,
Чтобы поступки отмечала
Печать холодного ума.

Даруй мне, лето, солнцепек,
Лучей живительное пламя,
И страсть — копить тяжелый сок,
И жажду — вызреть семенами.

Даруй мне ветреность, апрель,
Веселый дух непостоянства,
Сменяй предметы и пространства,
Раскручивай, как карусель.

Свети мне синью, месяц май,
Благоговением пред высью,
Неиссякаемостью мысли
Над головой моей сияй!

Даруй, октябрь, мне красный цвет,
Чтоб не был жизни смысл напрасным,
Чтоб кровь переполнялась красным!
И горячее просьбы нет.

Анатолий ЖИГУЛИН

ПИСЬМО ЛЕСНИЧИМ НЕРИНГИ

Ваша литовская ива
Не переносит солености.
Сохнет, не приживается
На прибрежном балтийском песке.
Не огорчайтесь,
Это — не самые страшные горести,
Когда жизнь
Всего человечества
Качается на волоске.

И я сегодня все пристальней
Всматриваюсь в историю.
Думаю о Грюнвальде...
Слышу боль последней войны...
И вспоминаю ивы —
Кусты и деревья, которые
Растут на бескрайних просторах
Великой нашей страны.

Их перечесть невозможно —
Растения рода Salix —
Гораздо более сотни
Разного рода ив...
Из заросли сосен выпрыгнул
Чуть рыжеватый заяц.
Белый туман опустился
На тихий Куршский залив...

На Куршской косе вспоминается
О многих веках и потерях.
А ветер ломает сосны.
А в берег стучит волна.

Посадками ивы извечно
Мы укрепляем берег.
Но вот ведь — не приживается! —
От крови вода солона.

Мы снова умрем за Родину,
Как пращуры умирали.
Лишь бы зло не селилось
В наших братских сердцах...
Мне ясно припоминается,
Что где-то на Южном Урале
Есть маленькая ива, растущая
Даже на солонцах.

Я туда съезжу осенью,
Хоть этот путь неблизкий.
И мы одолеем вместе
И злую волну и пески.
Я вам привезу весною
От горькой ивы российской
Чуть розоватые, теплые,
Словно слеза, черенки.

Калининград — Неринга — Москва

ОСВОБОДИТЕЛЯМ БЕЛГРАДА

В этом парке белградском
Я видел впервые,
Как из разных столиц,
Из далеких сторон
Поклониться погибшим
Спешили живые,
Словно в горестный день
Похорон.

На рябинах алели
Кровавые пятна.
И притих в ожиданье
Скорбящий народ.
Вдруг сказали по-сербски,
Но очень понятно:

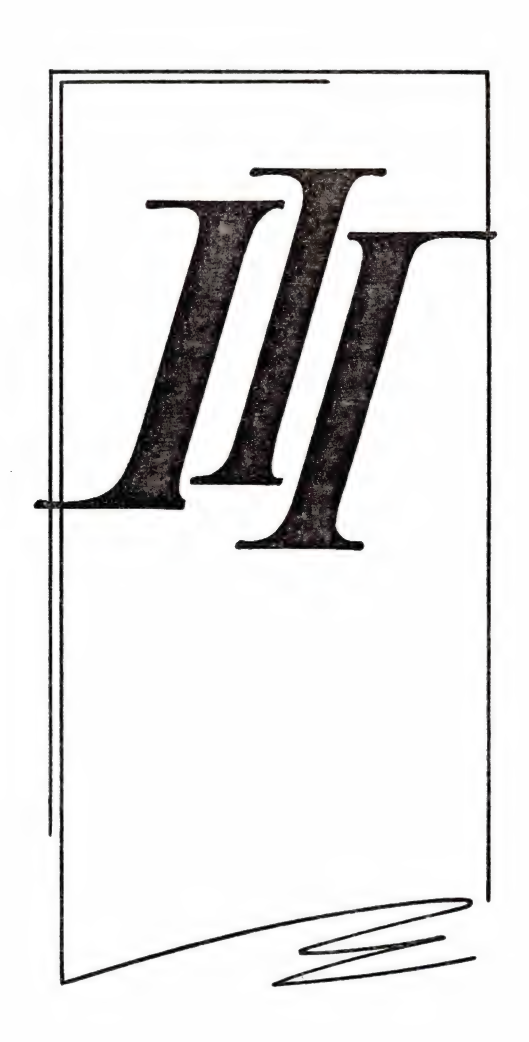
— Русских, русских
Скорее вперед!

И мы вышли вперед —
Я и Лазарь Карелин.
Лазарь здесь воевал,
Я встречался с войной
Вдалеке.
Югославские розы,
Как пламя, горели
На колючем от хвои
Венке.

А над нами — солдат
В нашей русской пилотке.
Весь из белого мрамора,
Словно в память
По русским снегам.
Мы к нему подошли
По-военному четко
И венок прислонили
К его сапогам.

И стояли минуту,
А может, и больше,
Подавая другим
Этот скорбный пример.
А потом подошли
Делегаты из Польши,
Представители Франции
И ГДР...

А потом в вышине
Над землей необъятной
Голосами турбин
Горевал самолет.
И звучало по-сербски,
Но очень понятно:
— Русских, русских
Скорее вперед!


III

Перед нами остро встает задача **охраны природы и рационального использования ее ресурсов.** Социализм с его плановой организацией производства и гуманистическим мировоззрением способен внести гармонию во взаимоотношения между обществом и природой. У нас уже осуществляется система мер в этом направлении, отпускаются средства, и немалые. Имеются и практические результаты.

И тем не менее в ряде регионов состояние природной среды вызывает тревогу. И правильно общественность, наши писатели ставят вопрос о бережном отношении к земле, ее недрам, озерам и рекам, растительному и животному миру...

Все мы, ныне живущие, в ответе за природу перед потомками, перед историей.

Из Политического доклада Центрального Комитета КПСС XXVII съезду Коммунистической партии Советского Союза.

Р. САЛЯЕВ и В. РАСПУТИН

СИБИРЬ: И ХРАМ, И МАСТЕРСКАЯ

ДИАЛОГ директора Сибирского института физиологии и биохимии растений, члена-корреспондента АН СССР Р. К. САЛЯЕВА и писателя, лауреата Государственной премии СССР В. Г. РАСПУТИНА

Р. Саляев. Валентин Григорьевич, я думаю, мы едины с вами в том, что нравственное отношение общества к природе складывается из конкретных повседневных действий каждого человека, из того, насколько здорова и прочна основа его взаимоотношений с природой, высока экологическая культура. И раз сегодня так остро, а в ряде случаев уже неотвратимо тревожат нас природоохранные «болевые точки», значит, видимо, не все ладно было и есть в нашем поведении в природном храме. Вспомним, ведь забеспокоились мы об охране природы сравнительно недавно, лет двадцать с небольшим назад. Именно в те годы возникли первые тревожные ситуации. А побудительной причиной серьезного осмысления экологической действительности, поисков решений уже тогда острейших природоохранных вопросов послужили не очень отрадные явления в европейской части нашей страны.

К примеру, как раз лет двадцать назад мне довелось наблюдать состояние Онежского озера. На его берегу, в районе Кондопожской губы, расположен целлюлозный завод. Прекрасный природный залив был сильно загрязнен его отходами. То есть уже тогда было видно, как может влиять человеческая деятельность на природу. И несмотря на то что проблема уже встала во весь рост, реальных шагов по экологическому воспитанию почти не предпринималось.

В школах, детских учреждениях все это процветало на уровне сбора гербариев (этим, кстати, также наносится вред природе). Курсы по охране окружающей среды не читались

даже в вузах. Много позже появились такие курсы на биологических факультетах, но в технических вузах, то есть именно там, где в наибольшей степени нужна экологическая культура специалистов, они не читались. И только в последние годы он введен во всех технических вузах, но, к сожалению, лишь факультативно.

В. Распутин. Вопрос даже не в том, основной или не основной курс, а как это дело будет поставлено, каким будет отношение. Как к равной дисциплине или как к чему-то второстепенному или даже третьестепенному? А то ведь и основной курс можно низвести до степени прикладного и последнего.

Экологическое воспитание, конечно, необходимо начинать с детского сада. Продолжить его в школах, в вузах, на предприятиях и в организациях, особенно в тех, что связаны с хозяйственной деятельностью.

Но в любых стенах оно будет иметь самую минимальную отдачу, если наши слова в защиту природы не станут подтверждаться широкомасштабной разумной хозяйственной деятельностью. Сколько бы мы ни говорили о том, что надо защищать природу, или о том, что каждый человек должен в своей жизни посадить хотя бы одно дерево, но когда ребята видят, что завод, тот же Братский алюминиевый, «выжигает» вокруг себя тысячи гектаров леса, толку от такого воспитания не будет. И сколько бы мы ни говорили о том, что надо защищать каждый малый ручеек, каждую малую речку (даже вот движение такое организовали), но когда человек видит, что, защищая малые ручейки, мы губим Байкал, в котором пятая часть мировых запасов поверхностных пресных вод, тут уже...

Не происходит ли здесь подмена скрытого масштабного губительства природы частностью малых восстановительных действий? Пока по берегам Братского и Усть-Илимского морей гибнут миллионы кубометров древесины, а Минлесбумпром продолжает выкашивать лучшую в мире ангарскую сосну, которая затем почти наполовину гибнет в отвалах, а вторая половина идет на Братский ЛПК, где годится обыкновенная щепа. Пока все это происходит, подлинное экологическое воспитание жителей этих мест невозможно. Ребята, подрастая, будут воспринимать его как экологическую демагогию, как демагогия оно войдет в их плоть и кровь, с тем они и пойдут по жизни, так и будут хозяйничать на земле.

Почему одни, отпикниковав, оставляют непогашенными костры, а другие, когда начинается неподалеку от поселка пожар, ждут команды, чтобы тушить, и, получив команду, не торопятся тушить? Эта цепочка равнодушия и небрежения

приводит к страшным результатам. Вспомним: прошлым летом на севере Иркутской области и в Якутии горели большие площади лесов, две недели в Иркутске из-за дыма не видно было солнца, на Байкале и на Лене остановилось судоходство.

Почему Минлесбумпром, Минцветмет, Минэнерго и другие министерства продолжают по старинке смотреть на Сибирь, образно говоря, как на крупнотоннажную баржу, подчаленную к России, чтобы скорей выгрузить с нее богатства и отпихнуть от берега? Разве Сибирь не часть России? Почему в том числе и сибиряк, ученый и неученый, тоже превращается в потребителя и ведет себя как завоеватель, судя по тому, как он хозяйничает на своей Родине? Дело в том, что потребительство сразу не изъять из системы взглядов человека, а частное потребительство — оно еще порой складывается из потребительства общественного, когда нам всем кажется, что всего вокруг нас много, что этому не было и не будет конца. Действительно, ведь 30 лет назад нам казалось, что Сибирь — это бездонный колодец. Теперь мы уже начинаем понимать, что колодец далеко не бездонный, и тем не менее практика «бери и бери» продолжает оставаться. Причем статьи и очерки под девизом «Мы не должны ждать милости от природы» нет-нет да и появляются на страницах газет.

Р. Саляев. Нельзя считать, что Сибирь — это огромная кладовая, из которой можно черпать ресурсы, учитывая только интересы тех или иных отраслей промышленности и не задумываясь о будущем. В комплексное развитие Сибири должна быть вложена значительная доля экономного, бережливого и природоохранного подхода.

Я помню случай, когда несколько лет назад в прибайкальской степи наша машина свернула с дороги. Через год или два я увидел тот же след. Он не зарос. А север Сибири еще более раним. Поэтому требует особо внимательного отношения к себе. Тот же Самотлор учит этому. Те, кто там живет, говорят, что нарушенная природа без помощи человека практически не восстанавливается.

В. Распутин. Да, многое меняется в Сибири. Конечно, есть чему радоваться! Университеты почти в каждом большом городе. Одно Сибирское отделение Академии наук СССР со своими филиалами способно вызвать потрясение человека, впервые приехавшего сюда. Огромные города, промышленность, развитая сеть железных дорог — словом, найдется чему удивляться.

Но бросается в глаза и другое. Степи Западной Сибири распаханы, а плодородные земли по Оби, дававшие богатые

урожаи, залиты водой. Где можно и нельзя, распахан и Алтай, а на метровых черноземах, образец которых возили с гордостью на Всемирную парижскую выставку, стоят огромные заводы и химические комбинаты и поливают чернозем отнюдь не питательной смесью. Две гидростанции на Енисее сделали неузнаваемой могучую красавицу реку в ее верхнем течении. Нынешняя Ангара — нет больше такой реки, а есть только соединенные между собой короткими течами водохранилища для гидростанций с нездоровой водой, красиво называющиеся морями. Всего же в Сибири уже сейчас затоплено более 60 тысяч квадратных километров лучших земель по долинам рек. Лес, который необходимо было убирать, брошен и тоже затоплен, а тот, который нужно было беречь, вырубается безжалостно. Чуть не под гребенку сведены леса вдоль железных дорог.

Р. Саляев. Мне кажется, многое из того, что мы наблюдаем в Сибири, являет собой пример сиюминутного отношения к делу. Ведь если подходить по-хозяйски, то можно было немного повременить и успеть убрать из ложа будущих водохранилищ лес. А лес был прекрасный! Сколько можно было сделать полезного из этого сырья! Нет, он пошел под воду, причинил колоссальный ущерб животному миру, судоходству, и по сию пору мы ощущаем плоды этой расточительности. Сибирские экономисты уже давно ставят вопрос о развитии так называемых вторых и третьих этажей экономики Сибири, то есть о перерабатывающей промышленности. Почему экономисты говорят об этом? Потому, что видят тенденцию опять-таки лишь сырьевого использования Сибири: брать сырье, грузить на поезда и везти его за Урал. Они считают, что это нерентабельные перевозки: излишняя загрузка дорог, дополнительные затраты. Надо здесь, в самой Сибири, развивать перерабатывающие отрасли промышленности. Именно об этом применительно к Дальнему Востоку говорил и Михаил Сергеевич Горбачев.

Еще один аспект проблемы: создаются промышленные центры, создаются новые поселки. В печати широкомасштабно ставится вопрос о том, чтобы развивать соцкультбыт. Этот самый соцкультбыт, а попросту говоря, нормальные условия жизни, в Сибири резко отстает в сравнении от западных территорий нашей страны. А это еще один показатель отношения к Сибири как к источнику сырьевых ресурсов. Пришли, создали только то, что нужно для получения сырья, а остальное на «потом». А «потом» через какое-то время оборачивается оттоком людей и тому подобными социальными бедами.

Мне представляется, что здесь во многом может оказать помощь наука, которая давно уже перешла на комплексное осмысление народнохозяйственных задач, включая и экологические проблемы. Например, в программе «Сибирь» предусмотрено решение целого ряда экологических проблем, вокруг которых объединены десятки институтов.

Сибирское отделение АН СССР стремится к тому, чтобы научная проработка тех или иных проблем развития производительных сил в Сибири опережала промышленную реализацию. С БАМом кое в чем успели, а кое в чем и нет. Сегодня на очереди КАТЭК, и уже целый ряд институтов включился в экологическую разработку проблем, связанных со строительством гигантского энергетического комплекса.

В. Распутин. Но ведь КАТЭК будет оказывать экологическое влияние, к примеру, и на Иркутскую область, его выбросы смогут дойти и до Байкала.

Р. Саляев. Может быть, и так, если угли КАТЭК будут сжигаться в топках. Но сибирские ученые поставили перед собой задачу разработать технологию «ожижения» канско-ачинских углей: при помощи катализаторов получать из углей жидкие углеводороды.

Первоначально мы не учитывали, что катэковские предприятия произведут огромное количество отходового тепла, которое пойдет опять-таки в атмосферу, и ее разогревание и запыление могут оказать неблагоприятное влияние на климат. И чтобы не сжигать в топках гигантское количество угля, не допускать огромного выброса газов, копоти и тепла в атмосферу, принято решение о поисках принципиально новых технологий освоения этих месторождений. Уже найдены приемлемые способы получения жидких углеводородов, но они еще пока недостаточно экономичны.

В. Распутин. Кстати, об ученых. Не в обиду вам, Рюрик Константинович, и науке будет сказано, но у нас в последнее время утвердился тип ученого, с удовольствием обслуживающего рискованные, а порой авантюрные природохозяйственные проекты. О роли некоторых академиков в судьбе Байкала уже известно. Речь идет не о ведомственной науке, корыстной служанке ведомственных интересов, а об академической, науке самостоятельной и высокоавторитетной. И сегодня в ее рядах находятся ученые, которые отстаивают проекты переброски северных и сибирских рек.

Тут, конечно, нужно говорить не об одном лишь типе ученого, а вообще о типе человека, возбуждающегося и опьяняющегося всякими грандиозными замыслами, «проектами века»,

которые появляются один за другим. Как и при всяком опьянении, о завтрашнем дне не думается. Этот тип есть и среди писателей. И среди нашего брата находятся люди, которые трубят громогласную славу любым мероприятиям из-за их грандиозности и небывалости, способные за возбуждающие воображение планы выложить и Байкал, и Севан, и Каспий, и северные в придачу с сибирскими реки.

Не кажется ли вам, что это тоже болезнь, не менее страшная, чем алкоголизм? Более страшная, чем алкоголизм, потому что рядится в благородные одежды и спасительные планы, прикрывается народной нуждой и на законных основаниях лезет в народный карман — и все ради того, чтобы, как это вышло с Байкалом, очнуться в горьком похмелье, но продолжать уверять, что и оно в государственных интересах. Кого мы обманываем?

Р. Саляев. Вот вы сказали об ученых, одержимых грандиозными замыслами, не думающих о завтрашнем дне. Видите ли, Валентин Григорьевич, даже очень умные люди могут не всегда правильно оценить ситуацию. Вы помните, в свое время в одной из центральных газет была статья академика П. Л. Капицы, на которую был вынужден дать резкий отклик академик А. А. Трофимук. Ведь П. Л. Капица в свое время поставил вопрос так: коли Байкал является очистителем воды, то надо только рассчитать, какое количество промышленных выбросов он способен очистить, и, исходя из этого, использовать Байкал как фильтр для очистки грязной воды и превращения ее в чистую.

В. Распутин. Кстати, этой статьей П. Л. Капицы до сих пор козыряют академик Н. М. Жаворонков и его сторонники. Наизусть помню слова из последнего по времени его письма в Государственную комиссию по Байкалу, членом которой состою и я. Вот они: «Для нас промышленное значение Байкала состоит в том, что он служит мощным очистителем воды, и наша забота — сохранить его способность очищать воду. Поэтому лозунг «Не трогайте Байкал» — это неправильный лозунг. Уникальное озеро можно и нужно эксплуатировать, но так, чтобы сохранить его очистительные свойства».

Вот так: не Байкал сохранить, не чистую воду и красоту, а сохранить способности фильтра. Дальше, как говорится, ехать некуда. Приехали. Вероятно, это уже не вина, а беда человека, имеющего подобные взгляды.

Как видим, физическая удаленность от Байкала сказыва-

ется и на «удаленности» научной, да и нравственной порой тоже.

Р. Саляев. Здесь, по-видимому, играет роль еще и близость к министерствам. Министерство свою точку зрения может пропагандировать в большей степени среди московских ученых. Вот и получается: там контакт с министерством, а здесь контакт с Байкалом.

Сибирская наука рассматривает байкальскую проблему комплексно. И несмотря на то что уже многие материалы исследований переданы в директивные органы, изучение продолжается; но чем дальше, тем становится яснее, что Байкал требует серьезной защиты.

Сегодня еще раз хочется сказать, что, если нет на нашей планете эквивалента Байкалу, значит, в силу его уникальности для Байкала не подойдут пусть даже самые жесткие ограничения предельно допустимых концентраций и вообще какие-либо другие обычные мерки. Для Байкала должна быть особая мера — байкальская мера. Уникальность озера как природного комплекса настоятельно нам диктует не предусматривать размещение промышленных комплексов на его берегу.

Я знаю мнение директора Восточно-Сибирского научно-исследовательского института геологии, геодезии и минерального сырья профессора П. М. Хренова. Он сам геолог, директор отраслевого института и тем не менее считает, что вокруг Байкала нельзя ничего разрабатывать. Считаю эту позицию очень правильной. Если к Байкалу с обычной меркой подходить нельзя, если главным богатством является он сам, то действительно нельзя трогать месторождения на берегах Байкала и рядом с ним. Пусть они останутся нашим потомкам, которые, может быть, к тому времени разработают абсолютно безвредные, экологически чистые технологии.

Посмотрим, к примеру, на проблему Ошурковского месторождения апатитов. Оно очень богато по количеству руды, но бедное по удельному содержанию апатитов. Это говорит о том, что нужно будет добыть взрывными способами гигантское количество сырья, затем обогатить его на фабрике. Причем на месте, вблизи Байкала, ее нельзя развернуть. Значит, она должна быть отнесена на Улан-Удэ. В результате обогащения образуется гигантское количество так называемых «хвостов» — отработанной породы,— которые будут заполнять естественные котловины той местности. Горы тончайшей пыли поднимутся в воздух байкальскими ветрами, которые часто дуют в направлении озера по долинам, и все это посып-

лется на Улан-Удэ, на Селенгу, на Байкал. Какая-то примесь апатитов обязательно будет в этой пыли. Значит, мы несем дополнительные «удобрения» в водную среду, может произойти нарушение экологического равновесия. Этого никак нельзя допустить. Позиция ученых, партийных органов, общественности и в Бурятии, и в Иркутской области совпадает в том, что сегодня нельзя разрабатывать это месторождение. Надо найти какие-то другие эквиваленты, в других, экологически более спокойных районах.

Столь же тверда наша позиция и в том, что нужно наконец решиться принять постановление о перепрофилировании байкальского целлюлозного завода на бессточное, экологически существенно более чистое производство.

Сейчас альтернативой этому мнению служит мнение отрасли. Институт экологической токсикологии, который располагается на Байкале и который финансируется этой отраслью, считает, что на сегодняшний день зона БЦБК — это, как они утверждают, зона экологического благополучия. Но достаточно посмотреть с другого берега Байкала, чтобы воочию увидеть эту зону «экологического благополучия», которая представляет собой «слоеный пирог» воздушных выбросов, в течение недель, а то и месяцев висящих над этим районом. Уникальные пихтовые леса берут на себя первый удар этих выбросов. (А у пихты хвоя обновляется через несколько лет.)

Значительная часть научной тематики этого института посвящена водным стокам в Байкал. Я должен сказать, что на БЦБК созданы действительно уникальные очистные сооружения. Но они возникли по мере нарастания проблемы.

Так вот, даже если их исследования показывают, что в тех концентрациях, которые сбрасываются сегодня, стоки не влияют на Байкал, никто не может дать гарантии, что они не будут оказывать вредного влияния завтра. Потому что для Байкала то количество солей, органики, которое все-таки проходит через очистные сооружения,— чуждый элемент. Мы просто сегодня не можем знать, чем ответит Байкал через 5, 10, 50 лет. И конечно, вести такой эксперимент не на модельном водоеме, а на Байкале, на совершенно уникальном творении природы, недопустимо, преступно перед будущим.

В. Распутин. От решения байкальских проблем сейчас зависит в целом долговременная экологическая политика. Мы бы не долгим воспитанием, а почти сразу, единым махом намного увеличили бы легион истинных и активных патриотов своей страны, если бы положительно и окончательно решили байкальскую проблему и признали свои ошибки, совершен-

ные двадцать с лишним лет назад. Это было бы проявлением действительного патриотизма. Людей бы это воодушевило, они бы убедились, что не напрасны наши слова. Видим мы это или не видим, признаем или нет, но Байкал, вернее, комбинаты на Байкале — одна из тех причин, которые делали людей равнодушными и бесстрастными.

Полумерами ныне уже не обойтись, слишком долго мы успокаивали себя, вопреки фактам, что Байкалу ничего не грозит. Чтобы спасти его, нужны решительные и неотложные меры. Если мы станем, как прежде, перекраивать по каплям, уменьшать нормы предельно допустимых концентраций промышленных выбросов, Байкал легче не вздохнет.

В истории создания этого комбината и в процессе его работы много тайн, о которых большинство из нас даже и не подозревает и которые начинают приоткрываться только в самое последнее время. Взять хотя бы тот факт, что решение правительства было принято тогда, когда комбинат уже вовсю строился. Когда-нибудь обо всем этом будет написана захватывающая книга, где не придется придумывать ни героев, ни события, именно документальностью своей и будет она сильна.

Р. Саляев. Мы говорили о сохранении природы, сетовали на бездумное использование ее ресурсов, сожалели об утрачиваемых реках, лесах, птице и звере. И все-таки я бы не хотел, чтобы читатели нас поняли как поборников «неприкасания» к природе, сторонников борьбы против технического прогресса.

Но именно сегодня, в век космических скоростей, мы в особой степени обязаны думать о том, чтобы наносить природе наименьший ущерб, чтобы пользоваться всеми ее благами очень бережно и рачительно. Тогда бы в будущем вокруг заводов не возникали лесные кладбища и на дне водохранилищ не стоял мертвый лес, укоризненно напоминая нашим потомкам о бездушных «покорителях природы».

И я обеими руками «за» предложение, уже неоднократно звучавшее со страниц печати, о создании в нашей стране специальной экологической службы.

В. Распутин. Вы правы. Рюрик Константинович, не секрет, что Комитет по гидрометеорологии и контролю природной среды со своими охранными обязанностями не справляется и даже в ряде случаев с необыкновенной щедростью раздает природные ценности под губительные мероприятия. Примером тому сегодняшняя ситуация с Байкалом, с пово-

ротом северных и сибирских рек, со строительством новых промышленных центров.

Р. Саляев. Необходим специальный авторитетный орган, наделенный большими полномочиями, может быть, на уровне комитета при Совете Министров СССР, который бы компетентно и взыскательно оценивал экологическую ситуацию того или иного района, привлекая экспертов из научных учреждений.

В. Распутин. Кстати, создать такой орган по охране природы предлагалось еще в 1970 году. И тогда уже говорилось, что необходимо такое решение. Рекомендации по этому вопросу есть и где-то лежат. Пора бы заглянуть в них.

Р. Саляев. Скажу еще, что необходимо также разрабатывать экологические прогнозы на ближайшую и дальнюю перспективу, особенно по районам с наибольшим промышленным потенциалом или подлежащим промышленному освоению.

В. Распутин. Меня как писателя больше всего интересует нравственно-гражданская сторона тех перемен, которые могли бы состояться в результате создания специального, стоящего над всеми министерствами и ведомствами органа по защите природы.

Исчезнет общественное потребительство, общественное браконьерство — исчезнет и частное. Не сразу, не просто, но исчезнет. Сейчас мы ведем себя по отношению к частнику даже несправедливо: он навредит на рубль, государство в том же месте руками своих министерств погубит сразу на миллион. Частника штрафуем и судим, но что-то не слышно, чтобы отдали под суд министра, чей алюминиевый или целлюлозный завод уничтожил вокруг сотни тысяч гектаров леса и сократил жизнь тысяч людей ядовитыми выбросами. Сколько теперь людей мы можем вернуть из того беспорядочного состояния, где живут по песенке: «А нам все равно», если возьмемся за решительную охрану природного лика своей Родины!

Записал диалог
Г. САПРОНОВ



Сергей ЗАЛЫГИН

ПОВОРОТ

Уроки одной дискуссии

16 августа 1986 года было опубликовано решение Политбюро ЦК КПСС, в котором говорилось:

«Рассмотрев вопросы осуществления проектных и других работ, связанных с переброской части стока северных и сибирских рек в южные районы страны, Политбюро в связи с необходимостью дополнительного изучения экологических и экономических аспектов этой проблемы, за что выступают и широкие круги общественности, признало целесообразным прекратить указанные работы. В принятом по данному вопросу постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР предусматривается сосредоточить главное внимание и сконцентрировать материальные средства прежде всего на более экономном и эффективном использовании имеющихся водных ресурсов и комплексном использовании всех факторов интенсификации сельскохозяйственного производства».

Так закончился многолетний спор между сторонниками и противниками проектов переброски.

И это решение есть не что иное, как один из важных и убедительных фактов общего процесса перестройки, которым живет нынче страна.

Отказавшись от надуманных, в узковедомственных интересах проектов переброски речного стока, или, как еще говорилось у нас, «проектов поворота рек», государство наше осуществило поворот в сторону общественного мнения.

Поворот столько же необходимый, сколько и необратимый.

* * *

Так кто же все-таки в этом споре был за, кто — против?

За были: министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР и СССР прежде всего с такими их подразделениями,

как Союзгипроводхоз,— за (более чем активно «за») был Институт водных проблем Академии наук СССР, причем — и это удивительно! — выступая в самых разных лицах — и как головная организация по комплексным исследованиям для обоснования объемов и очередности работ, связанных с переброской, и как активнейший ее пропагандист, и, наконец, как... главный эксперт по проекту. За были и некоторые ученые, немногочисленные, но с высоким служебным положением.

Во всяком случае не составляет особых трудностей перечислить всех, кто был за.

Ну, конечно, были и «туда-сюда», колеблющиеся, выжидающие, к ним прежде всего я отнес бы ВАСХНИЛ и Институт географии АН СССР.

А вот кто был против — этого мы никогда, наверное, так и не определим, потому что против выступала общественность — ученые (иногда от своего собственного имени, а иногда и в полном составе отделений, научных советов, институтов Академии наук СССР,) писатели — опять-таки каждый сам по себе и организованно, поскольку съезд писателей РСФСР в декабре 1985 года, подняв этот вопрос, включил пункт о необходимости пристального внимания к проблемам экологии в свою резолюцию. Против — в печати, в письмах, в разного рода откликах — выступали люди самых разных возрастов и профессий: врачи, агрономы, историки, филологи, инженеры, учащиеся, пенсионеры, рабочие, служащие, журналисты...

Сколько их было — никто не знает, наверное, не один миллион.

Вероятно, впервые в нашей истории народнохозяйственная проблема так широко, с такой гласностью, с такой же глубиной обсуждалась народом.

Когда шло обсуждение Основных направлений экономического и социального развития СССР на 1986—1990 годы и на период до 2000 года, в нем тоже заметное место занимали проекты переброски («проекты века», как говорили их авторы).

Когда XXVII съезд обсуждал Политический доклад товарища М. С. Горбачева, затем доклад товарища Н. И. Рыжкова, и тут возникла та же проблема.

Специалисты-перебросчики выражали недоумение: с каких это пор технические проекты обсуждаются общественностью? Но в Политическом докладе съезду ответ содержался ясный — с наших дней! Начиная с наших дней вот так и бу-

дет — общественное мнение отныне приобретает права гражданства!

И если бы не этот тезис — еще неизвестно, во что вылилось бы ведомственное «недоумение».

Итак, о чем же говорит опыт этой дискуссии, первой в своем роде за всю нашу историю? Каковы ее уроки? Каковы — масштабы? Каково ее происхождение?

* * *

Общественная жизнь страны в минувшем году была более чем богата событиями, а импульсом этих событий был XXVII съезд КПСС, прошедший в начале года. Не составляет исключения и дискуссия, о которой идет речь.

Она велась давно.

Собственно, сначала никакой дискуссии и не было, а было безудержное восхваление «проекта века» его авторами в отечественной и зарубежной печати, суть которого состояла в том, что проектировщики уже всех превзошли, все инстанции прошли и дело за немногим — осуществить проект в натуре; немногочисленные же по тому времени противники проекта вплоть до середины 1985 года вообще не получали слова, по крайней мере в печати.

Во время всенародного обсуждения проекта Основных направлений, как уже говорилось, общественное мнение вполне восполнило это молчание — и периодическая печать оказалась заполненной протестами против переброски. Медики предупреждали, что переброска опасна в санитарно-эпидемиологическом отношении, биологи, что пострадает флора и фауна сразу в нескольких речных бассейнах, геологи просто-напросто хватали проектировщиков за руку, поскольку они проектировали трассы каналов в заведомо неподходящих для этого грунтах, историки опасались гибели памятников нашей истории и культуры, агрономы, инженеры, экономисты, крупнейшие ученые приводили доводы против, против, против.

В результате пункт проекта Основных направлений, который предлагает развернуть строительные работы по переброске, был после съезда КПСС изменен — теперь предусматривалась лишь углубленная проработка проблемы.

Общественность успокоилась. Казалось, что и вправду для этого у нее имеются все основания.

Но не тут-то было!

Оказывается, материалы и решения съезда истолковывались далеко не однозначно.

«Углубленная» проработка вопроса? Очень хорошо! — заявили сторонники переброски. Это то, чего мы хотели. В порядке углубленной проработки и «эксперимента» мы и перебросим 6 кубокилометров в Волгу! Ну если уж не 6, так 2,2 кубокилометра. (Это уже совершенно абсурдная цифра.)

И тут же в завидном темпе началась подготовка к строительству. Прибегая к разного рода ухищрениям, Министерство мелиорации и водного хозяйства СССР добилось финансирования и открытия подготовительных строительных работ в Вологодской и Архангельской областях, а журналистам снова (как в прежние времена) «не рекомендовалось» об этих работах писать. Началось фактическое осуществление проекта, который так ведь и не прошел экспертизы в целом,— вот какие были пущены в ход ухищрения. Но и это не все.

Совершенно неожиданно появилось, по существу, директивное письмо за подписью первого заместителя председателя Госплана СССР товарища П. А. Паскаря, в котором говорилось: «В результате работы, проведенной многими научно-исследовательскими и проектными институтами Академии наук СССР, Минводхоза СССР и других министерств и ведомств, подтверждена необходимость первого этапа переброски части стока северных рек в бассейн Волги в объеме 5,8 куб. км».

И это в то время, когда уже пять отделений АН СССР представили отрицательные заключения по проекту, когда такие же заключения вынесли Всесоюзное географическое общество, Всероссийское общество по охране памятников истории и культуры и многие другие, когда решительно выразили свое несогласие с проектом Совмин Коми АССР, а также областные организации Вологды (хотя ранее они некоторое время этот проект и поддерживали).

Со стороны же общественности самую активную позицию заняли писатели. Напомним, что в резолюции VI съезда писателей РСФСР говорилось: «Делегаты съезда выражают серьезную озабоченность решением экологических проблем в некоторых районах страны. Съезд поручает новому составу Правления СП РСФСР довести эту озабоченность до компетентных органов и, если потребуется, привлечь широкую советскую общественность к участию в обсуждении и решении этих жизненно важных проблем».

И хотя кто-то иронически назвал этот съезд «съездом мелиораторов», в Политическом докладе товарища М. С. Горбачева XXVII съезду КПСС была выражена благодарность тем писателям, которые защищают природу,— это ли была не поддержка?

На VIII съезде писателей СССР эта тема была поднята снова, еще раньше, в мае 1986 года, российский Союз провел секретариат в Ленинграде, где вопрос о переброске встал с особой остротой. Секретариат просил депутатов Верховного Совета СССР товарищей С. Михалкова и Ю. Бондарева обратиться с письмом в Верховный Совет СССР, в котором они изложили бы резолюцию секретариата. Такое письмо было передано в Президиум очередной сессии Верховного Совета СССР. Самое активное участие в развернувшейся в Ленинграде дискуссии приняли вице-президент АН СССР А. Л. Яншин, академик Д. С. Лихачев и другие ученые. Министерство мелиорации и водного хозяйства СССР представлял первый заместитель министра товарищ П. А. Полад-заде, а Государственный Комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды — заместитель председателя товарищ В. Г. Соколовский.

Что касается проекта, говорил на этом секретариате товарищ Полад-заде, то в его научном обосновании решающее слово принадлежит Академии наук. Если она скажет, что прогнозы понижения уровня Каспия неверны и для его спасения переброска не нужна, то мы (министерство) первыми будем ходатайствовать перед правительством об отказе от проекта. При этом заместитель министра твердо знал, что его академический союзник (Институт водных проблем) не подведет; для руководства института отстаивание «своего», по существу, антинаучного прогноза стало «делом чести». Знал товарищ Полад-заде и о том, что пять отделений АН СССР высказались решительно против переброски. Знал, конечно, что уровень Каспийского моря стремительно повышается. Знал, но никогда и нигде об этом не говорил, не пытался мнения ученых опровергнуть или даже упомянуть о них. От этих мнений он уходил последовательно и по-своему очень умело.

Соколовский на тех же ленинградских заседаниях утверждал, что его комитет никакого отношения к проекту не имеет, не отстаивает его, если же кто-то именем комитета приостанавливает публикацию материалов, критикующих проект, так он об этом ничего не знает. Но за примерами лично мне и ходить далеко не надо — из моих статей по указанию Госкомгидромета был выброшен не один абзац.

И вот что интересно: когда почва под ногами Минводхоза и Института водных проблем АН СССР заколебалась, они, чтобы спасти проект, немедленно вступили с общественностью в своеобразный торг. Если на начальных этапах объем переброски определялся в перспективе цифрой 100 кубоки-

лометров в год, то позже об этой перспективе как будто забыли и последовали более «успокоительные» цифры — 40, 20, 6 и, наконец, как об этом уже упоминалось, 2,2 кубокилометра. Какое реальное значение имели все эти цифры? А вот какое: 6 кубокилометров могли бы повысить уровень Каспия на... 12 миллиметров. Это попросту смехотворная цифра, которая имела только одну меркантильную цель — во что бы то ни стало сохранить проект на плаву, утвердить за ним хотя бы минимальное финансирование. Дело в том, что Минводхоз уже был должен государству около миллиарда рублей, и расплатиться он мог только при новом финансировании под проекты следующего пятилетия (независимо от их целей и целесообразности). Какой смысл имеет переброска 2,2 «экспериментальных» кубокилометра, если самая совершенная гидрометрия может измерять сток Волги с точностью 8 ± 10 кубокилометров?

Однако не о технических показателях «проекта века» должна идти здесь речь — нынче они потеряли значение, а вот общественное значение дискуссии со временем возрастает, опыт этой дискуссии обществу, безусловно, еще пригодится.

Мы не можем думать, будто перемены общественной психологии происходят и произойдут только на основании неких умозаключений,— вот эта психология лучше, а эта хуже, так принимаем же лучшую! Психология общества меняется с изменением политики. В политически неизменном государстве общественного мнения либо нет совсем, либо оно ведет подпольный образ жизни. Изменилась политика нашего государства по отношению к обществу — вот почему и возникла та дискуссия, о которой идет речь. Итак, напомним еще раз, что в сравнительно узкой среде специалистов и тоже в самом узком кругу творческой интеллигенции, прежде всего — писателей, эта дискуссия возникла лет семь тому назад. Никто ни на каких этажах, ни в каких инстанциях не придавал ей сколько-нибудь серьезного значения, а по проекту тем временем одна за другой защищались кандидатские диссертации (реже — докторские), проектировщики быстро повышались в должностях, наращивалась и численность кадров. В специально созданном Всесоюзном головном проектно-изыскательском и научно-исследовательском институте по переброске и распределению вод северных и сибирских рек работали уже 6 тысяч человек, но и тут говорилось: «Мало! Надо гораздо больше!» И делали больше: в системе Минводхоза число исследовательских учреждений достигло ста шестидесяти, а общая численность проектировщиков — 68 тысяч человек.

Головной был отнюдь не одинок, как об этом уже говорилось выше, передавая хозрасчетные темы «высокой» науке, он ни много ни мало, по существу, прикарманил академический Институт водных проблем во главе с членом-корреспондентом АН СССР Г. В. Воропаевым, и это тем более интересный ход, что Г. В. Воропаев был выдвинут и на должность председателя Государственной экспертной комиссии Госплана СССР, которая должна осуществлять экспертизу проекта. Легко себе представить, какой могла быть эта экспертиза, если в Институте водных проблем АН СССР последовательно не допускалось никакой критики этого проекта.

Так бы оно и шло дело, и нынче уже перекапывали бы десятки миллионов кубометров земли на трассах запроектированных каналов по полтиннику, а зимой и в полтора — два раза выше за кубометр, ничуть не задумываясь над тем — а для чего? Каков будет конечный результат?

Но тут — перемены, апрельский (1985 года) Пленум ЦК КПСС, затем XXVII съезд КПСС, затем — последующая деятельность ЦК и Совмина. Если перемены — значит, и обновление и активное общественное мнение, если они есть — значит, в обществе происходит разделение на прогрессистов и консерваторов. Происходит не только по оценке дня сегодняшнего, но и предшествующего опыта — что из прошлого, нужно сегодня, а что не только не нужно, но и вредно. И это же факт, что нынче уже не в порядке пережитков прошлого, а в порядке собственного опыта у нас сложился свой доморощенный бюрократический советский социалистический консерватизм.

Как и в целом ряде подобных случаев, наш родной консерватизм тоже возник не на пустом месте, а из прогрессивных и революционных идей, вернее всего из идей и практики конца 20-х — начала 30-х годов, когда, решительно распрощавшись с нэпом, мы сосредоточились на главном (и единственном) направлении — на задаче индустриализации и коллективизации страны л ю б о й ц е н о й. Нам в то время не усложнение действительности нужно было, а ее упрощение, полная ее очевидность, полная безвариантность, потому что мы рассматривали свое положение как положение если уж не военное, так чрезвычайное. Любое отклонение — это был уже уклон левый, а чаще правый, любой уклон — это деяние антиобщественное, антигосударственное, антисоветское. Либо — либо! Или мы победим, или нас победят. Отсюда и «любая цена» во всем, и жертвенность, которую мы тогда проявили, и категоричность суждений («Если враг не сдается — его

уничтожают»), и энтузиазм, и нетребовательность в отношении материальном.

Эта однолинейность, этот курс дал нам Кузбасс и Магнитку, Турксиб и Днепрогэс с его «бешеными темпами» строительства, Челябинский и Сталинградский тракторные. Весь мир был удивлен нашими достижениями, и действительно это был опыт мирового значения, он доказывал, на что способен человек, на что способен народ, воодушевленный идеей переделки всей жизни. Динамика этого движения сыграла свою роль и в нашей победе над фашизмом в войне 1941—1945 годов, быть может, решающую роль.

Но вернемся к нашим дням, к «проекту века».

Не случайно в первых редакциях технико-экономических обоснований проектов переброски речного стока утверждалось, что их осуществление еще раз продемонстрирует всему миру неоспоримые преимущества социалистической системы хозяйства, не случайно главными достоинствами проекта почитались его масштабность и даже уникальность. Все та же магия масштабности должна была бесконечно воодушевлять его сторонников и уничижать противников: мы — больше всех, мы — самые грандиозные, а вы против нас — разве так может быть?! И в самом деле до поры до времени в нашей истории так быть не могло, но только — до поры и до времени. Грандиозное перестало (перестает) отождествляться с безупречным, перестает быть паролем для беспрепятственного продвижения в будущее; наконец-то мы убедились — и еще как убедились-то! — что грандиозное тоже нужно доказывать.

Какой бы путь развития ни был избран государством и народом, в самом начале он всегда более очевиден, чем где-то уже к середине, на полпути. И тут было так же. Еще в начале 30-х годов каждое вновь построенное предприятие существенно поднимало и общий промышленный потенциал страны, и процент годового прироста производства, потому что в абсолютных цифрах это производство было еще очень невелико, другое дело, когда производство возрастает в десятки раз, тут и каждая десятая доля процента — это, может быть, не одно, а ряд новых предприятий.

Но так или иначе, а чрезвычайное положение 30-х годов потому и было чрезвычайным, что долго оно продолжаться не могло, жизнь переставала в него укладываться; жизнь в нормальном состоянии требует сопоставления вариантов своего дальнейшего осуществления, но вот в чем дело — государственный аппарат оказывается неподготовленным к вариантному мышлению, к деятельности, требующей самостоятель-

ности и ответственности не только перед вышестоящим руководством, но и перед обществом в целом. И тогда-то и возникает «новый» консерватизм, он и есть первый признак этой неподготовленности.

Да, консерватор сохраняет лозунги минувших лет, оберегает их ото всех и всяческих посягательств и гордится этим, но, сохраняя лозунги, он давным-давно утерял чувство времени, в частности — дух того времени, которому эти лозунги принадлежали, он потерял его прежде всего применительно к самому себе.

Вполне вероятно, что он, новый консерватор, был в те 30-е годы еще мальчиком и не помнит их трагизма, их испепеляющей требовательности.

Не помнит коммуналок, в которых жили руководящие кадры, не помнит партмаксимума, чрезвычайных «троек» и «пятерок», ночных бдений на работе, наверное, не помнит и униформы того времени — гимнастерка, галифе (или полугалифе), сапоги, а галстук — это уже признак буржуазности. Ему понятна и желательна полная и безоговорочная самоотдача масс в строительстве социализма, он очень хотел бы и сейчас видеть ее в других. В других, но не в себе. Все общество он хотел бы видеть не изменившимся с тех пор сколько-нибудь заметно и только себя самого — вполне современным, вариантно мыслящим в отношении собственной карьеры, время от времени выдвигающим проекты века, которые только потому, что они величественны, ни обсуждению, ни сомнениям не подлежат, подлежат только исполнению. Они ведь, эти проекты, очень многое ему лично обещают, хотя он — слуга народа и поборник общественного интереса — никогда в этом не признается.

Великий проект, а его творцы маленькие люди, что ли? Нет уж — они тоже великие!

Впрочем, консерватор всегда таков — общество он хочет видеть мыслительно неподвижным, а себя самого мыслящим непогрешимо. И — грандиозно!

Именно такое мышление никак не совпадает ни с нашим временем, ни с той строго логической системой существования мира, которую мы подразумеваем под словом «природа». Не только не совпадает, но и вступает с ней в противоречие, разрушая ее изо дня в день.

При наших-то природных ресурсах — водных, земельных, лесных, минеральных, энергетических, а также и трудовых — если бы мы все эти ресурсы по-настоящему научились ценить, научились использовать надлежащим образом, да ни одна

страна в мире никогда не угналась бы за нами в экономическом развитии! Но мы не столько свои ресурсы используем, сколько совершаем над ними самые разные и самые невероятные «пере»: перебрасываем их, перераспределяем, перекапываем, пересматриваем, переделываем. А в результате теряем. И странно — общество теряет, а ведомство — приобретает, приобретает штаты, кабинеты, оклады, премии и престиж. Все тот же престиж масштабности и грандиозности своей деятельности.

Государство и общество интересует проблема охраны природы, а ведомство — максимальное (толковое и бестолковое) использование всех ее ресурсов.

Государство и общество интересуют проблемы повышения производительности труда, а ведомство — увеличение собственных штатов.

Государство и общество заинтересованы в том, чтобы средства были сосредоточены на важнейших строительных объектах, а ведомства плодят и плодят незавершенку.

Почему так? Причин и условий для этого много, часто это причины серьезные, объективные. Вот государство решает создать новое ведомство и разрабатывает для него широкую, государственную программу деятельности. Но в этой программе разные пункты, одни исполнить сравнительно легко и доходно, другие — трудно и в ущерб собственному бюджету. Каким пунктам программы ведомство будет отдавать предпочтение? Конечно, первым. И вот уже вся его деятельность получает крен, искажается. И в самом деле, почему в применении к любому хозяйству или предприятию принцип материальной заинтересованности признается вполне, а для ведомства он не существует?

И вот уже руководитель ведомства парирует обвинения в свой адрес таким образом: государство и общество требуют и говорят, а делаю-то я!.. а я могу делать только так, чтобы это было и в моих интересах, и уж во всяком случае не вопреки им!

И действительно, государственный аппарат, а Госплан прежде всего, наверное, должен перестраиваться и перестраивать свои отношения с ведомствами. Как? Пока не берусь судить. Берусь только ставить вопрос. Вот появятся в портфеле нашей редакции отклики на эту статью, всякого рода материалы и предложения, вот тогда и подумаем, не без пользы подумаем! Тут и государству и обществу предстоит приложить много сил. Другое дело — контроль над ведомством. Здесь дело проще прежде всего потому, что очевиднее:

контроль, а в более широком смысле воздействие на ведомство должно, как правило, вестись не с одной, а с двух сторон, должно осуществляться и государством и обществом. Вот к этому второму виду контроля (воздействия) наши ведомства не только не привыкли, но и относятся к нему с пренебрежением, не верят, что он возможен, а тем более — что он необходим.

При этом немаловажное значение имеет и то, что наши ведомства предпочитают больше заимствовать от департаментов и меньше — от наркоматов.

И так прошло полгода с момента отмены проекта переброски, и что же? Минводхоз вовсе не воспринимает это как факт, опровергающий стиль его работы, нет, это для него всего лишь эпизод. Может быть, неприятный, и только. Отдельный случай. Частная неудача — не более того. А все остальные его проекты — безупречны. И вот уже заместитель министра товарищ Б. Г. Штепа демонстрирует участникам Прикаспийской экспедиции, организованной Комиссией при Президиуме АН СССР по изучению производительных сил и природных ресурсов под руководством академика А. Г. Аганбегяна (начальник экспедиции — кандидат технических наук И. Я. Богданов), строящийся параллельно существующему канал Волга — Дон, а член-корреспондент АН СССР Г. В. Воропаев повторяет все те же опровергнутые наукой и общественностью ведомственные доводы на заключительном совещании экспедиции в Москве. Ведь и это строительство вызвало множество критических замечаний, а кто их принял в расчет? Невероятные просчеты и ошибки в деятельности Минводхоза СССР налицо. Поступают и поступают сигналы бедствия — Кара-Богаз, Сасык, земли Каракалпакии. Ведь с какой тревогой обо всех этих и еще многих-многих других объектах писала наша пресса — вот бы и организовать там проверки группам народного контроля, если на то пошло — и общественного контроля, представителей печати...

Вот бы еще узнать, почему вдохновитель проекта Г. В. Воропаев и до сих пор является главным экспертом Госплана,— видимо, его «опыт» особенно ценен?!

Узнать — кто же это столь неустанно заботится о перебросчиках, чтобы ни с чьей головы не упал ни один волосок? Чтобы им не пришлось объяснить общественности свои ошибки ни в печати, ни по телевидению — никак?..

Сколько и как общественность воздействовала на это министерство, а ведь ни одного сколько-нибудь вразумительного ответа так и не получила. И не получает. Проект переброски

правительством и партией признан несостоятельным, он ликвидирован, он закрыт — так ведь должен же Минводхоз объяснить общественности, всему народу, что произошло, почему произошло, кто виноват? По элементарной логике ответ должен быть обязательно. По логике самого министерства и Госплана — совсем необязательно, наплевать им на это дело, угробили миллионы и миллионы, только-то и всего. Ну, поволновалась общественность — и дело с концом...

А снова возвращаясь непосредственно к предмету нашего разговора, вспомним, что и здесь имело место все то же расхождение между интересами государства и общества, с одной стороны, и ведомства — с другой, общество интересовала проблема повышения урожайности, ведомство — объем земляных работ, предстоящих на строительстве новых каналов.

Чем этот объем больше, тем ведомству выгоднее — вот в чем дело.

Ведь нулевой цикл — «непыльный» цикл, он не требует многочисленных смежников и поставщиков, возможности приписок, особенно в зимний сезон, неисчерпаемы, работы просты и куда как выгодны — значит? Значит, копаем и перекапываем прежде всего, а потом уже и все остальное. (Включая в остальное и проблему повышения урожайности, и научное обоснование перекопки.)

Ведь это только на первый и самый поверхностный взгляд «проект века» — высокая и далеко не всем доступная наука, на самом же деле это подлинный примитив: не хватает воды в одном бассейне — перебросим ее из другого, что может быть проще? Разработать и осуществить систему экономии оросительной воды; внедрить в производство современные способы полива — куда как сложное дело, вот и отложим его на потом, а сейчас — переброска! Тем более что и наука в лице того же Г. В. Воропаева — за.

И, значит, проектируем переброску в бассейн Дона и Кубани 6 кубокилометров в год, а теряем там при орошении 9 кубокилометров и слышать не хотим о том, что объем не использованного в бассейне местного стока составляет десятки кубокилометров!

Проектируем канал длиной 2400 километров, шириной 200 метров понизу с перекачкой на 110 метров для переброски 27 кубокилометров из Сибири в Арал стоимостью (вместе с обустройством) в десятки миллиардов рублей, а теряем в Средней Азии в полтора раза больше, заболачиваем и засоляем в связи с этим миллионы гектаров ценнейших земель. И поливаем в Средней Азии так же, как и тысячи лет тому назад,— с

помощью кетменя. Ученые подсказывают, что в Средней Азии сосредоточены солидные запасы подземных вод, но эти запасы подождут, они под землей, а вода Сибири — на виду. Перегнать ее в Среднюю Азию, и вся недолга!

Разве тому же Минводхозу никто никогда не указывал на то, что он давно забросил так называемые сухие мелиорации и противоэрозионные мероприятия, проект которых тщательно разработан Росземпроектом? Сухие мелиорации не связаны с риском засоления, заболачивания и эрозии земель, которые в той или иной степени, но почти неизбежно сопутствуют орошению.

Поскольку сухие мелиорации в расчете на один гектар в 400—500 раз дешевле водных, ими можно было бы охватить весь наш земельный фонд, а не только «поливной клин», избранный Минводхозом для вложения огромных средств, но только на одной трети своей площади дающий проектные урожайности (хотя сами по себе — это самые лучшие земли).

Столетний опыт Каменной степи подтверждает, что в этой зоне можно получать очень высокие и стабильные урожаи без орошения, высокая агротехника — вот что для этого нужно.

Но Минводхозу они невыгодны. И потому...

— Ерунда! Только орошение, только Минводхоз может решить продовольственную проблему.

Проект переброски части стока северных рек обещает прирост валового сбора сельскохозяйственных культур в лучшем случае 2—3 процента от заданий Продовольственной программы, а при уборке и хранении мы теряем до 20 и больше процентов урожая; куда же выгоднее вложить деньги: в строительство каналов или — элеваторов, овощехранилищ и дорог?

— Полная ерунда: строительство элеваторов — это уже не наше, это другое министерство! У них свой план, а у нас — свой!

Проект исходит из того, что уровень Каспийского моря из года в год понижается, а он за девять лет повысился на 1 метр 20 сантиметров, что составляет 450 кубокилометров, или 75 объемов годичной переброски по первому этапу проекта. Теперь, по выражению одного ученого, не Каспий надо спасать, а надо спасаться от Каспия, и Дагестан уже запрашивает 200 миллионов рублей на строительство береговых оградительных дамб.

— Ерунда! Уровень Каспия рано или поздно будет снижаться! И спасем его опять-таки только мы!

Ну, а если «только мы», и никто другой, так для нас и все средства хороши, все средства оправдает наша благородная цель, и не грех подтасовать и цифры и факты, полностью отказаться от экономических показателей, если они «не бьют».

И в проекте это можно, и на заседаниях можно, и в телепередаче, и на защите диссертаций. Так оно и было, когда диссертацию на соискание ученой степени доктора географических наук защищал главный инженер проекта А. С. Березнер.

Защищалось ТЭО — технико-экономическое обоснование проекта переброски, но без... экономических показателей. Невероятно, но факт!

Аудитория возмутилась, к соискателю посыпалось множество вопросов, причем «неудобных». Соискатель обиделся, заявил, что ему не созданы надлежащие условия, от дальнейшей защиты отказался. Обидно!

Возникает вопрос: а где же была во время этой дискуссии наука? Та — настоящая, которая покоряет нынче космос?

В науке по этой проблеме возникли разные позиции. И обнаружилось разное поведение. Одни ученые и руководители институтов от участия в проекте уклонились, сознавая его неперспективность. Не случайны, например, сетования проектантов на то, что к обоснованию проектов не удалось привлечь ведущие экономические институты страны. Заметим сразу, что если это и удавалось, так результат неизменно был негативным. Иначе и не могло быть — экономически проект обосновать попросту невозможно. Проектировщиков это не смущало, у них испытанное средство защиты: стоило Институту экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения АН СССР под руководством академика А. Г. Аганбегяна сделать выводы о недостаточной экономической обоснованности проекта переброски части стока сибирских рек, как институт тут же был объявлен не справившимся с заданием.

Другие ученые (таких тоже оказалось немало) послушно занялись обоснованием проектов по заказу их авторов. Ведь лавры соавторов «проекта века» соблазнительны. Да и не только лавры.

По опубликованному признанию Г. В. Воропаева, научные исследования по проблемам переброски речного стока начались только тогда, когда основные проектные решения были уже предопределены. При попустительстве Госплана СССР

(вот он, бюрократический консерватизм, в действии!) из пятилетки в пятилетку, из года в год утверждались задания, единственной целью которых было (накануне экспертизы) научно обосновать уже разработанные проекты. Роль науки сводилась при этом к определению компенсационных мероприятий в связи с неизбежными ущербами, и в лучшем случае ей позволялось несколько изменить проект, скажем, изменить трассу переброски, а поскольку ущерб при этом пусть незначительно, но сокращался, это выдавалось за реальную экономию и рассматривалось как безусловное достижение научной мысли. Коренной же вопрос — быть или не быть переброске и нужна ли она в действительности — не ставился и не решался. Такая постановка вопроса считалась совершенно излишней.

Но были ученые и научные коллективы, казалось бы, очень далекие от конкретных проблем переброски, принявшие, однако, самое активное участие в разгоревшейся дискуссии. Прежде всего это были математики. Ознакомившись с методикой прогнозирования уровня Каспийского и солености Азовского морей, многие из наших выдающихся ученых — академики Л. С. Понтрягин, Г. И. Петров, Н. Н. Красовский, А. А. Дородницын, Ю. В. Прохоров, А. Н. Тихонов, В. П. Маслов и другие — были поражены более чем низкой квалификацией авторов той методики, которую разработал Институт водных проблем, они обнаружили в этой методике грубейшие ошибки и прямую подготовку с целью «обосновать» понижение уровня Каспия, а значит, и необходимость переброски.

Итак, наука участвовала в решении этой проблемы неофициально, по собственному почину, помимо утвержденных планов своей деятельности, и официально, а в то же время, говоря мягко, весьма своеобразно — когда отнюдь не она сама определяла общее направление проекта, а проектанты определяли, какая наука им нужна и какая не нужна. Снова «только мы»: мы заказываем науку, мы знаем, с какими учеными нам водиться, каких гнать в шею. Ведь в пору своего золотого детства проект был согласован с самим президентом АН СССР академиком А. П. Александровым — что другим-то академикам надо? Их не спрашивают, а они — вот ведь еще какая неприятность — на свой собственный страх и риск — туда же!

Да, связь науки с производством — это хорошо и необходимо, но часто это дело оборачивается совершенно неожиданной стороной — значительно раньше того, как научные

достижения внедрены в практику, многие атрибуты ведомственности оказываются внедренными в науку. А тогда и наука приобретает чисто ведомственные замашки и вместо того, чтобы доказывать, безапелляционно утверждает, пользуясь своим авторитетом.

Байкал? А кто сказал, что в Байкале обязательно должна быть чистая вода? — утверждает она.

Переброска? А мы утверждаем, что она нужна! Кто сомневается в нашем авторитете?

Если уж наука оказалась с самого начала в чем-то «завязанной» на этом проекте, тогда что же и говорить о Госплане, о Совмине, о других инстанциях?! Там многие отделы, подотделы и секторы в свое время дали проекту «добро», а позже не нашли в себе сил отступиться, признать свою ошибку.

А вот уже в этих-то связях и по вертикали и по горизонтали общественность разобраться никак не в состоянии, зная все то, что говорится в пользу проекта, она никогда не знала, кто же все-таки может дать ответы на ее вопросы и сомнения. И не мудрено: ведь в разработке проектов переброски участвовало... 185 «организаций-соисполнителей»!!!

Она знала, что ее поддерживает печать, знала, что можно обращаться в ЦК и в Совмин, но ведомство, которое все это дело затеяло, было ей недоступно, оно не отвечало на многочисленные статьи, всякого рода протесты были Минводхозу как об стенку горох, что они есть, что их нет — разницы никакой.

И ответственные лица, которые обязаны давать общественности необходимые объяснения — директора, главные инженеры, министр и его замы, соискатели ученых степеней,— на этот случай как бы переставали существовать.

Еще один вопрос: ну, а как же тот «народ», который — проектировщики? Ведь не один же Березнер, или Великанов, или Воропаев, или Полад-заде проектировал переброску, ведь проектные организации Минводхоза — это армия численностью в 68 тысяч человек. (Всего в системе Минводхоза занято два миллиона человек.) Неужели эти 68 тысяч были единодушны как один в оценке проекта? Они-то разве не общественность, а что-то другое?

Приходится согласиться — да, в большей или меньшей степени, но они оказались чем-то другим. Уже по одному тому оказались, что не приняли участия в дискуссии, отстранились от нее. Их мнение в пользу проекта тоже могло ведь стать общественным, но при одном условии — если бы они высказа-

ли его во всеуслышание, если бы доказательно опровергали доводы против.

Но они молчали. Вполне вероятно, что они были за проект, но защищать его перед общественностью не хотели, передоверили это дело своему руководству: начальство знает, что делает.

Известно, что человек и вслух и тем более молчаливо склонен отстаивать свои собственные интересы почти независимо от того, больщие они или малые,— лишь бы они были собственными. Тем более это так, если ему многие годы внушают, что эти его интересы полностью совпадают с интересами государственными. Внушают постоянно и самыми разными способами.

Вот проектировщик приходит на работу, а в вестибюле мигает электрическими лампочками макет-схема переброски, великий проект века... И так каждый день, каждый год, не захочешь — поверишь. К тому же сколько инженеров из этого величия уже извлекли диссертации, сколько всерьез повысили свою квалификацию, в другой какой-то худенькой конторе человек ни в жизнь не проектировал бы крупный гидроузел, а здесь — проектирует. Что этот гидроузел входит в общую схему, которая никому не нужна и даже вредна,— это уже не его дело. Опять-таки это дело главного, дело директора. Главный отвечает за схему в целом. Если же кто-то из проектировщиков когда-то все-таки выступил против проекта — его здесь уже нет, следовательно, коллектив здесь «дружный» и «сплоченный».

И снова надо еще сказать о том, чем же была та общественность, которая активно выступала против.

Вопрос-то трудный. Насколько ведомство очевидно по своему составу и порядку, настолько же общественность изменчива и неопределенна. Существует, действует, деятельность ее то разгорается, то затухает, но персональному учету она не поддается. А если бы поддавалась, так, пожалуй, тоже довольно скоро обратилась бы в какое-нибудь «ведомство общественного мнения». Да, так оно и есть, общественное мнение, общественность всегда находятся между полной неорганизованностью и заорганизованностью — и то и другое сводит дело общественное на нет, убивает его на корню. А ведь этого никак нельзя допустить, и мы в этом убедились — отсутствие общественного мнения прежде всего скажется на тех же ведомствах, которые тут же окончательно забудут свою первейшую задачу — служить обществу, а не самим себе и не друг другу.

Значение и настоятельная необходимость в общественном мнении определяются нынче еще и необходимостью видеть действительность такой, какая она есть, без ведомственного лоска и без ведомственной узости, наконец, видеть ее, действительность, не по отдельным частям, а в целом.

Что и говорить, без деятельности ведомственно-специализированной, без служебного взгляда на вещи, на все наши проблемы обойтись нельзя, но ведь обойтись только ими — нельзя тоже.

Этот взгляд всегда ограничен прежде всего потому, что он без конца расчленяет окружающий мир — единую природу — на самые разные природные ресурсы — водные, минеральные, земельные, лесные и так далее; общество — на профессии, народное хозяйство — на отрасли, государство — на учреждения. Эта стихия подразделений и разделений все возрастает. Разделяя же действительность и ее главные проблемы на части, на множество частей, ведомственность властвует над действительностью — принцип старый как мир.

И только общество общими усилиями может создать более или менее целостную картину и самого себя, и окружающей его природы, и мира, и своей страны. Его прямое назначение — воспринимать жизнь в возможно широком и всестороннем плане. И каждую проблему тоже.

В случае, о котором идет речь, форма организации общественного мнения, по крайней мере в области научной, определилась с самого начала: в соответствии с поручением Политбюро ЦК КПСС на базе научных советов АН СССР была создана Временная научно-техническая экспертная комиссия по проблемам повышения эффективности мелиорации под председательством вице-президента АН СССР академика А. Л. Яншина.

Именно потому, что комиссия была общественной, она проделала работу, не выполнимую ни для ведомства, ни для самой академии, ведь она обращалась за участием и помощью к любому научному учреждению, к любому добровольному обществу и к любому гражданину. И никогда, ни разу не получила отказа, наоборот, «предложение» многократно превышало «спрос». Не было у комиссии ни канцелярии, ни машинисток, ни стенографисток, но и тут находились добровольцы, они вели «дела», и дело шло.

Какие бы специалисты ни требовались по ходу дела — агрономы, экономисты, юристы, кинематографисты, биологи, медики, математики,— все они были к ее услугам. Колос-

сальный общественный резерв, недоступный самому крупному ведомству!

Рассмотрение проекта переброски в работе комиссии занимало не столь уж большое место. Причины низкой эффективности мелиорации в сельском хозяйстве страны — вот тема и направление ее работы, и ее труды еще предстоит серьезно изучать многим ведомствам. Но это тема отдельного разговора, который, надо думать, состоится в недалеком будущем, это совершенно необходимо, чтобы проблема ставилась снова и снова со всей остротой, иначе лет через десять — пятнадцать наши водно-земельные ресурсы придут в окончательный упадок и мы окажемся одной из самых малоземельных и низкоурожайных стран.

Итак, без самой широкой гласности, без участия печати экспертная комиссия ничего и никогда бы не добилась.

Но тут имел место пример общественной организованности, точнее — сорганизовавшейся общественности. И дело еще вот в чем: наше общество нынче вполне подготовлено к решению экологических проблем, оно уже имеет в этом практический опыт.

Многие помнят, как был закрыт проект Нижнеобской ГЭС, который предусматривал затопление 135 тысяч квадратных километров (территории, превышающей площадь Чехословакии), и как до сих пор при самом активном вмешательстве ей не удалось отстоять пагубного загрязнения Байкала. Все еще окончательно не удалось, однако и это тоже опыт и его тоже надо использовать в самое ближайшее время. Ведь проекты переброски отнюдь не единственные в своем роде. Увы — отнюдь!

Сколько газеты писали и пишут о колоссальных потерях воды (и земель) в оросительных системах Средней Азии! Ведь положение-то у нас в этом смысле такое, что впору подавать сигнал SOS! Но, очевидно, мы не устраним эти потери до тех пор, пока не установим цену на воду, не введем стоимостный земельный кадастр.

Ведь был же недавно осуществлен вредный, разорительный и безграмотный проект плотины, наглухо отгородившей залив Кара-Богаз от Каспийского моря! И разве дело прошлое — забытое дело? Нет, Минводхоз и Государственная экспертная комиссия Госплана СССР опять-таки должны ответить и на эти настойчивые запросы общественности — почему же этот проект все-таки был осуществлен, несмотря на протесты ученых, в частности АН Туркменской ССР? Кто здесь ответчик? Персонально? Почему этот вполне законный и

необходимый государству вопрос неизменно встречает гробовое молчание? Кто кого здесь покрывает — Госплан Минводхоз или Минводхоз Госплан? Где народный контроль, который хватает за руку всякого, кто идет на разного рода приписки, но равнодушно смотрит на миллионные, на миллиардные убытки, которые совершенно безнаказанно наносятся государству и народу?!

Нет ответчиков... Значит, и дальше можно проектировать все, что бог на душу положит, ведомственной выгоды ради.

В ряде случаев невозможно поверить тому, как мелиораторы реагировали на выступления печати.

«Комсомольская правда» от 13 мая 1986 года приводит ответ Союзгипроводхоза на свою статью «Пересол» от 13 февраля того же года, в которой говорилось, что в Молдавии в результате орошения минерализованными водами гибнут земли, что на вредные проекты расходуются огромные средства. (Первая очередь строительства, о котором идет речь, обошлась в 106 миллионов рублей, а вся его стоимость — около миллиарда.)

И вот Союзгипроводхоз отвечает газете: «Авторы же, не поняв сути дела и опубликовав статью, нанесли ущерб коллективу института и главному инженеру проекта т. Прохорову В. В.». Следует несколько подписей и среди них... Прохоров В. В.

Проектировщики (и товарищ Прохоров В. В. тоже) ссылаются на положительный опыт орошения из озера Сасык: «...на сопредельных землях УССР». Но вот что говорилось об этом опыте незадолго до того: «Из-за грубого просчета проектировщиков на поля орошения была подана вода с высокой минерализацией из соленого озера Сасык... Колхозы и совхозы получают здесь урожай... в два раза ниже, чем предусмотрено проектом». (И ниже, чем на неполивных землях.— *С. З.)* Где же это говорилось? А вот где — в документах октябрьского (1984 года) Пленума ЦК КПСС. Однако же и этот документ проектировщикам (и товарищу Прохорову В. В.) нипочем. И ведь так же, как и в случае с Кара-Богазом, проектантов здесь и серьезно и тревожно предупреждали ученые Академии наук Молдавии. Нельзя этого делать, ни в коем случае нельзя, уговаривали они.

Но — опять-таки не уговорили.

Тем временем и дальше вопреки предостережениям Академии наук Украины и ее президента академика Б. Е. Патона проектируется переброска из Дуная в Днепр, тем же временем

Гидропроект, всячески уклоняясь от гласности (испытанная метода!), и дальше разрабатывает страшный по своим экологическим последствиям проект полного зарегулирования стока реки Енисей каскадом из двенадцати плотин. Неужели колоссальные поймы Енисея и его притоков действительно пойдут под воду? А что станет с тепловым режимом Карского моря? С климатом огромного района?

Что станет с маленькой Латвией, какие потери ни за что ни про что понесет Белоруссия, если будет построена самая неэкономичная в каскаде ГЭС — Даугавпилсская?

Вопрос серьезный, общественность, специалисты двух республик волнуются, теряются в догадках, выступают в печати — Гидропроект молчит и молча делает свое дело.

И потому что в свое время не был достаточно проработан проект заградительной дамбы в Ленинграде, строительство ее вызывает нынче такие сомнения, такие тревоги.

И так же — без серьезных на то обоснований — остается и вызывает самые серьезные сомнения проект Ржевского водохранилища.

И так же...

Давно пора проектировщикам понять, что функции природоохранительные обществу нынче вполне доступны, по крайней мере на первом этапе. Следующий этап — разработка полноценной системы охраны природы, порядка экспертизы природопреобразующих проектов, создание природоохранного законодательства — это нашей общественности еще не под силу, этому нам надо учиться. Думается, что научимся. Тем скорее, чем скорее мы как общество осознаем свои возможности, осознаем и ту необходимость, которую государство испытывает нынче в активном общественном мнении.

Не будет этого мнения — разве государство решит проблему борьбы с пьянством? Борьбы со всякого рода злоупотреблениями? Народного контроля в целом? Усовершенствования государственного аппарата тоже в целом?

Выше говорилось, что комиссия по проблеме эффективности мелиораций была создана в соответствии с поручением Политбюро ЦК КПСС и лично товарища М. С. Горбачева. Но правильнее было бы сказать по-другому — она была не создана, а санкционирована, учреждена, и после этого никто и никогда не определял ни ее состава, ни ее деятельности. Председатель комиссии сформировал ее, а дальше она сама определяла характер своей работы.

Комиссия официально изложила в правительстве свое заключение по проекту переброски 19 июля 1986 года, и Президиум Совета Министров СССР, заслушав соответствующее сообщение академика А. Л. Яншина, тогда же принял решение, с которого мы и начали эту статью.

Дороговато же обошелся государству и обществу этот «проект» — что-нибудь порядка 500 миллионов. Впрочем, точно эту цифру может назвать министр товарищ Васильев. Но не называет. Должно быть, стесняется.

Или считает, что эта сумма в более чем десятимиллиардном годовом бюджете его министерства не столь уж значительна?

Ни одно строительное министерство не располагает такими колоссальными средствами.

Это ведь общественная экспертная комиссия академика Яншина никому не стоила ни копейки, а каждый шаг, каждый жест ведомства стоит денег да денег.

И это тоже одна из причин, по которой общественное мнение надо с самого начала включать в «расчетные нагрузки» крупных проектов, прежде всего — природопреобразующих. С самого начала в то время, когда проблема только еще утрясалась в верхах — академических и ведомственных,— уже была необходима гласность, уже тогда и надо было выявлять и обсуждать все слабые стороны будущего проекта, а не прятать их от «посторонних» глаз (в том числе и от глаз многих государственных экспертов), не выступать с безапелляционными заявлениями, со всякого рода интервью и в советской и в зарубежной печати по поводу великих достоинств великого проекта, не заявлять во всеуслышание, что вопрос окончательно решен и, следовательно, обсуждать его дальше — бессмысленно.

Надо было обстоятельно отвечать на критические статьи, а не отмахиваться от них.

Но что-то слишком уж дорого обходится нам отчужденность любого ведомства от общественного мнения. Слишком дорого всякий раз, как это случается.

* * *

Да, социализм оказался на редкость жизнеспособной и терпеливой формацией. Каким только агрессиям, интервенциям, блокадам и эмбарго он не подвергался извне — а вот устоял!

Каким только чрезвычайным положениям и происшествиям мы не подвергали его сами в силу необходимости, а иногда и безо всякой необходимости, по привычке мыслить безвариантно, по привычке не столько искать в нем, сколько требовать и требовать от него — он устоял. Социализм обрел нынче в мире прочное политическое положение, у него — непререкаемые достижения в области культуры, ему необходимо экономическое упрочение, а разве этому способствуют прожекты, подобные «переброске стока»?!

Так не настало ли наконец время с умом использовать все его возможности, в частности возможности природные и общественные, критически учесть их, а еще вернее — свои собственные недостатки, а то ведь поздно будет?!

Время наступило такое, о котором можно сказать: сейчас или никогда! Можно сказать: если не мы, тогда кто же?

На такие-то размышления наталкивает дискуссия по поводу проекта переброски части стока северных рек...

Как это ни грустно признать, но ведь выигрыша-то по существу не оказалось ни у кого, все в проигрыше — и ведомство, и государство, и общество. Плакали народные денежки, вложенные в проект. (И в другие подобные проекты.) А все те силы, которые мы называем общественным мнением и которые затратили столько энергии ради доказательства того, что дважды два — четыре,— они-то что выиграли? Дело ведь с самого начала было настолько очевидным, что диву даешься, каким образом Минводхоз, а вкупе с ним Институт водных проблем АН СССР путем одних только бюрократических процедур и проволочек могли столько времени удерживать свой проект на плаву?!

По существу, средств защиты у них никогда и не было — не было новых доказательств, которые могли бы возникнуть по ходу дискуссии, ничуть не укреплялись и исходные посылки проекта, наоборот, они только теряли, подвергаясь уничтожающей критике. Имея в виду резкое повышение уровня Каспия, можно сказать, что эти посылки были опровергнуты и самой природой.

Природа была против, общество — против, зато ведомство — за. И ничто так и не могло поколебать уверенности сторонников проекта в том, что в конце концов они возьмут верх. Ведь вопреки существующему законодательству они даже открыли строительные работы по проекту, который не

прошел экспертизы в целом. Это ли не нарушение государственной дисциплины? Это ли не предмет для расследования? Для далеко идущих заключений и выводов. Для того чтобы отнестись ко всей последующей деятельности Минводхоза и Института водных проблем критически, с особым вниманием и с той же степенью гласности, которая пока что лишь на одном — только на одном! — этапе остановила это министерство от безрассудных действий.

На общем собрании Академии наук СССР в октябре 1986 года Институт водных проблем АН СССР подвергся очень резкой критике.

В Академии наук произошло ЧП! — так академик Г. И. Петров охарактеризовал в своем выступлении деятельность института, связанную с переброской. Специалисты, и прежде всего руководство этого института, проявили не просто низкую квалификацию, но явную недобросовестность. Неужели и эта критика не даст результатов? Или же и до сих пор Минводхоз и Институт водных проблем остаются неприкосновенными и не подотчетными ни науке, ни общественности, остаются «зоной вне критики»?

И если бы не решения XXVII съезда партии и не перемены в нашем обществе — переброска развертывалась бы в эти дни полным ходом, как полным ходом вопреки общественному мнению и здравому смыслу развернулось когда-то строительство целлюлозно-бумажного комбината на Байкале. Этому мы тоже научились — в ударном порядке и куда как организованно доказывать ведомственную «правоту» там, где ее нет и быть не может.

Байкальская-то проблема тоже ведь развернулась при самом активном участии Академии наук в лице академика И. М. Жаворонкова, который и до сих пор остается при «своем мнении».

Так или иначе, а ведомство и сейчас не унывает: мол, ничего, потерпим, а лет через пять возьмем свое. «Щелкоперы во всем виноваты, журналисты и писатели. Ну и кое-кто из ученых. Потерпим. И свое возьмем!»

Но призыв партии и государства к переменам — уже перемена, причем важнейшая. И обращен этот призыв прежде всего к общественности. Не к самому же себе будет обращаться с призывами государственный аппарат, для этого у него есть другие средства — приказы, указания, постановления, взыскания, поощрения. Но наступает момент, когда всего этого оказывается мало,— нужны перемены принци-

циальные. Чем их больше, тем активнее становится общественное мнение, чем активнее оно — тем больше перемен.

Одно другим формируется, одно — причина другого, и то и другое — это уже новое время, время обновления.

Таков опыт этой дискуссии минувшего года — события исключительного общественного значения. Этот опыт ни для кого не должен пройти даром, он — достояние года и минувшего, и предстоящего, и многих последующих лет, поскольку процесс перемен — необратим.



Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ

СОН

Я шел вдоль берега Оби,
я селезню шел параллельно.
Я шел по берегу любви,
и вслед деревья мне ревели.

И параллельно плачу рек,
лишенных лаянья собачьего,
финально шел XX век,
крестами ставни заколачивая.

И в городах, и хуторах
стояли Инги и Устиньи,
их жизни, словно вурдалак,
слепая высосет пустыня.

Кричала рыба из глубин:
«Возьми детей моих в котомку,
но только реку не губи!
Оставь хоть струйку для потомства».

Я шел меж сосен голубых,
фотографируя их лица,
как жертву, прежде чем убить,
фотографирует убийца.

Стояли русские леса,
чуть-чуть подрагивая телом.
Они глядели мне в глаза,
как человек перед расстрелом.

Дубы глядели на закат.
Ни Микеланджело, ни Фидий,

никто их краше не создаст.
Никто их больше не увидит.

«Окстись, убивец-человек!» —
кричали мне, кто были живы.
Через мгновение их всех
погубят ядерные взрывы.

«Окстись, палач зверей и птиц,
развившаяся обезьяна!
Природы гениальный смысл
уничтожаешь ты бездарно».

И я не мог найти Тебя
среди абсурдного пространства,
и я не мог найти себя,
не находил, как ни старался.

Я понял, что не будет лет,
не будет века двадцать первого,
что времени отныне нет.
Оно на полуслове прервано...

Земля пустела, как орех.
И кто-то в небе пел про это:
«Червь, человечек, короед,
какую ты сожрал планету!»

...Потом мне снился тот порог,
где, чтоб прикончить Землю скопом,
как в преисподнюю звонок,
дрожала крохотная кнопка.

Мне не было пути назад.
Вошел я злобно и неробко —
вместо того, чтобы нажать,
я вырвал с проводами
кнопку!

ОЗЕРО

Я ночью проснулся. Мне кто-то
сказал:
«Мертвое море — священный Байкал».
Я на себе почувствовал взор,
Будто я моря убийца и вор.
Слышу — не спит иркутянин
во мгле.
Курит. И предок проснулся в
земле.
Когда ты болеешь, все мы больны,
Байкал, ты — хрустальная печень
страны!
И кто-то добавил из глубины:
«Байкал — заповедная совесть страны».
Плыл я на лодке краем Байкала.
Вечер посвечивал вполнакала.
Ну, неужели наука солгала
над запрокинутым взором Байкала?
И неужели мы будем в истории
«Эти, Байкал загубили которые»?
Надо вывешивать бюллетень,
как себя чувствует омуль, тюлень.
Это не только отстойников числа —
совесть народа должна быть чистой.
Вот почему, показав показуху,
борются наши прорабы духа,
чтоб заповедником стало озеро,
чтоб его воды не целлюлозило.
Чтобы никто никогда не сказал:
«Мертвое море — священный Байкал».

ДУМЫ О ЧЕРНОБЫЛЕ

1. Человек

Прости мне,
человеку,
человек,—
история, Россия и Европа,

что сил слепых чудовищная проба
приходится
на край мой
и мой век.

Прости,
что я всего лишь
человек.

Надежда,
коронованная Нобелем,
как страшный джинн,
очнулась над Чернобылем.
Простите, кто собой
закрыл отсек.

Науки ль,
человечества ль вина?
Что́ пробило,
и что́ еще не пробило,
и что предупредило нас в Чернобыле?
А вдруг — неподконтрольная война?

Прощай,
расчет на легкое житье.
Опомнись, мир, пока еще не поздно.
И если человек — подобье божье,
неужто бог — подобие мое?

Бог — в том, кто в облученный шел
объект,
реактор потушил, сжег кожу и
одежду.
Себя не спас. Спас Киев и Одессу.
Он просто поступил,
как человек.

Бог — в музыке,
написанной к фон Мекк.
Он — вертолетчик,
спасший и спасимый,
и доктор Гейл,
ровесник Хиросимы,
в Россию
прилетевший человек.

2. Больница

Мы потом разберемся:
кто виноват,
где
познанья
отравленный плод?
Вена ближе Карпат.
Беда вишней цветет.
Открывается новый взгляд.
Почему
он в палате
глядит без сил?
Не за золото,
не за чек.
Потому
что детишек
собой заслонил,
Потому что он —
человек.
Когда
робот не смог
отключить беды,
он шагнул в зараженный отсек.
Мы остались живы — и я и ты —
потому что он человек.
Неотрывно глядит,
как Феофан Грек.
Мы одеты в спецреквизит,
чтоб его собой
не облучить,
потому что он — человек.
Он глядит на тебя,
на меня,
на страну.
Врач всю ночь,
не смежая век,
костный мозг
пересаживает ему,
потому что он — человек.
Доктор тоже не шиз
раздавать свою жизнь.
Жизнь одна —
не бездонный парсек.

Почему же он смог
дать ему костный мозг?
Потому что он — человек.
Он глядит на восход.
Восемь душ его ждет.
Снится сон —
обваловка рек.
Верю, он не умрет.
Это он — народ,
потому что он — человек.

Юрий ВОРОНОВ

УСИЛЬЕ

Еще одно усилье —
И рекорд,
И совершится новое открытье,
И прозвучит
Неведомый аккорд,
Которым вы полмира покорите,
И строчка,
Неподвластная векам,
Расправит
На листе бумаги
Крылья...

Все просто.
Только этого усилья
Как раз и не хватает
Часто нам.

* * *

Сгинет мечта,
Будто снег прошлогодний,
Без диктатуры труда.
Если не сделаешь это
Сегодня,
Значит,
Уже никогда.

Если ты вовремя
Это не понял,
То не помогут года.

Жизнь может течь
Веселей и спокойней,
Но от тебя —
Ни следа.

Глупо хотелось
От труда быть свободней:
В этой свободе —
Беда.
Я это сделаю
Или сегодня,
Или уже никогда...

* * *

Среди всего,
Что в нас переплелось,
Порой самодовольство нами правит.
Казаться или быть? —
Вот в чем вопрос,
Который время
Человеку ставит.

Считаться кем-то или кем-то быть?
Стать смелым
Или делать вид, что смелый?
Ты жертвовал,
творил,
умел любить
Или об этом лишь вещал умело,
Робея
Самому себе признаться,
К чему стремишься —
Быть или казаться?

Что стоит жизнь
В довольстве и покое,
Когда ее пытаются лепить,
Фальшивя
Перед делом иль строкою?..
Легко казаться,
Очень трудно — быть!

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Он чувствовал:
Приходит миг,
Когда предел — последним силам.
И вдруг
Услышал детский крик,
Гудок
Охрипшего буксира,
Неторопливый плеск весла.
И женщина
В траве по плечи
С букетом маков поплыла,
Как облако,
К нему навстречу.

Тогда,
Чтоб это все опять
Въявь
И увидеть и услышать,
Больной решил,
Что должен встать,
Хотя казалось всем —
Не дышит.

Когда поправился,
Ему
Врачи усердно жали руки.
Но их терзало «почему»:
Ведь было все
Не по науке.

ХИРОСИМА

Больные хиросимского госпиталя, где их лечат от последствий ядерного взрыва, делают из бумаги маленьких журавлей, которые считаются в Японии символом долголетия...

В Хиросиме —
Там, где птицы
До сих пор не строят гнезд,
Есть
Просторная больница,
Ошалевшая от слез.

Лучше броситься
С обрыва,
Чем больным прийти сюда.
Ветер
Атомного взрыва
Здесь в палатах —
Как тогда.

Он в ночах
Колышет шторы,
Дышит из-под половиц,
Будто свечи,
Тушит взоры
И сметает
Краску с лиц.

И больные,
Кто — неважно:
Дети или старики —
Из журавликов бумажных
Здесь плетут,
Плетут венки.

Вам наденут
Тот венок
Через голову на плечи.
Он — как пух,
Но валит с ног
И, как глыба,
Давит плечи.

В этих
Каменных венках
Из журавликов бумажных
Ропот тех,
Кто ныне — прах,
И надрыв
Сирен протяжных,

И молящий крик Земли
Обуздать
Смертельный атом,
Чтоб не смолкли журавли
Над землей,
Как здесь когда-то...

НОЧНОЕ МОРЕ

Дремлют звезды,
                    чайки,
                              ели.
Лишь ветра,
Друг другу вторя,
Как ребенка в колыбели,
Убаюкивают
Море.

Сколько песен
Перепето,
Но старанья их
Бесцельны!
Вновь у моря
Нет ответа
На призывы колыбельных.

То вздохнет,
То разбежится,
То плеснет волной,
Как лавой.
Морю синему не спится,
И оно, пожалуй,
Право!

Вы представьте,
Что бы было,
Если б люди вдруг узнали,
Что вода в морях
Застыла,
Как в каком-нибудь канале?

Мы б спросили:
А жива ли
Наша старая планета?
И, наверно бы, сказали:
Нет,
Раз в море
Жизни нету.

Я касаюсь волн рукою:
То слышней они,
То тише...
Бейся, море!
Я спокоен,
Если гул прибоя
Слышу.

Михаил МАТУСОВСКИЙ

СЕВАН, 1985

(Из стихов об Армении)

Почти прозрачные на вид,
Ложатся горы план на план...
Не знаю, что у вас болит,
Но у меня болит Севан.

Где берег оголен на треть,
Как знак немыслимой беды,
На скалах можно рассмотреть
Паденье уровня воды.

Отыгрывается жара
С утра на кустике любом.
Где остров был еще вчера,
Там полуостров встал горбом.

Вот тень мелькнула подо мной,—
То не последняя ль форель?!
И небо так белесо в зной,
Как выцветшая акварель.

Вне всех тропинок и дорог,
Без помощи поводыря,
Как странники иных эпох,
Шагают два монастыря.

И в узких щелях древних плит
Ютятся вереск и бурьян.
Не знаю, что у вас болит,
Но у меня болит Севан.

МИНУТА РАЗМЫШЛЕНИЯ

Просторный зал в молчанье погружен.
Да что там зал, молчит сейчас вселенная.
Перед началом сессии ООН
Есть ритуал — минута размышления.

Вдруг мир остановился на момент,
Как будто туча застит все угрюмая.
Притих за континентом континент,
О чем-то самом главном в жизни думая.

В безмолвии застыл за рядом ряд,
Наверно, чье-то чувствуя веление.
Министры иностранных дел молчат
Под тяжестью минуты размышления.

Молчат кварталы городских громад,
И фольварки, и фермы, и селения.
И даже океаны не гремят,
Боясь спугнуть минуту размышления.

Что у планеты нашей впереди?
Неужто быть ей стужею закованной?
Какие угрожают ей дожди,
Периоды какие ледниковые?

Как могут люди быть насквозь видны
От черепной коробки и до печени,
При первой вспышке ядерной войны,
Гигантскими рентгенами просвечены!

Ужель придет на землю царство зим,
Бесчисленные нанося потери ей,
И станет навсегда необратим
Чудовищный распад самой материи?!

Народы, государства, племена,
Всех возрастов людские поколения,
Подумайте,— на это вам дана
Особая минута размышления.

Николай СТАРШИНОВ

* * *

Мир, подошедший к беде,
Полон слепого доверья.
Лебеди спят на воде,
Клювы запрятаны в перья.

А лебедят на пруду!
Вот они стайкой у края
Носятся — и на ходу
Щиплют друг друга, играя...

Мир накануне беды
Полон прекрасных идиллий.
Нежно глядят из воды
Звездные венчики лилий.

Мир, что пока еще цел,
Стал ненадежнее вдвое:
Взято уже на прицел
Все на планете живое...

Угомонив лебедят,
Лебеди рядышком дремлют...
Но ведь моря бороздят,
Но «Посейдоны» глядят
Через прицелы на Землю.

Ну-ка сорвутся с цепи.
Ну-ка обрушатся разом...
О, заклинаю, не спи,
Всечеловеческий разум!

* * *

Была над рекою чаща —
Березничек молодой.
Стрекозы, глаза тараща,
Планировали над водой.

Кувшинки цвели местами.
Лилии и трава.
Под свесившимися кустами
Разгуливала плотва.

В июле, когда повсюду
Царил нестерпимый зной,
В речушке — какое чудо! —
Вода была ледяной.

Мальчишки бросались в воду
С бревенчатого моста...

...Приехал я через годы
И не узнал места.

Здесь побыли лесорубы.
Куда теперь ни взгляни —
Торчат, как гнилые зубы,
Невыкорчеванные пни.

И, выбрав на речке место,
Которое погрязней,
Барахтается семейство
Блаженствующих свиней.

И душно от испарений,
От пыли луга седы.
Хотя бы полметра тени,
Хотя бы глоток воды!

Не выйти к речным излукам
И тело не освежить...

А здесь сыновьям, и внукам,
И правнукам нашим жить.

* * *

Нам жить в одной семье,
Нам петь в одном кругу,
Идти в одном строю,
Лететь в одном полете...
Давайте сохраним
Ромашку на лугу,
Кувшинку на реке
И клюкву на болоте.

О, как природа-мать
Терпима и добра!..
Но чтоб ее
Лихая участь не постигла,
Давайте сохраним
На стрежнях — осетра,
Касатку — в небесах,
В таежных дебрях — тигра.

Коль суждено дышать
Нам воздухом одним,
Давайте-ка мы все
Навек объединимся.
Давайте
Наши души сохраним,
Тогда мы на Земле
И сами сохранимся...

* * *

Как голубые ангелы,
Куда ни погляди,
Над Францией, над Англией —
Дожди, дожди, дожди.

И милостию божиейю
Затянут небосвод...
В кафе спешат прохожие,
В подъезд бегут.
А вот...

С зонтами неизменными
Плывут во всей красе
И леди с джентльменами,
И с дамами месье.

Ах эти чудо-зонтики,
Какая красота!
У этих чудо-зонтиков
Прекрасные цвета!

Как радуга, как зарево,
Они и там и тут...
И сами-то хозяева
Улыбками цветут.

Какое благодушие!..
Но, просмотрев печать
Или приемник слушая,
Я не могу молчать.

Товарищи и граждане,
Друзья и господа,
Да ведь сегодня каждому
Из нас грозит беда.

С какими панацеями
Ни прячься ты в углы,
А на тебя нацелены
Стволы, стволы, стволы.

Европу сотнями ракет
Напичкал Пентагон.
И для него ты, Старый Свет,
Всего лишь полигон.

Того гляди, обрушится
Их смертоносный шквал...
Доколе же вам слушаться
Военных зазывал!

Их черною армадою
Охвачен шар земной.
Вон как они с Гренадою —
Что стало со страной!

С их помощью зловещею
В прах обращен Бейрут...
А завтра снова женщины
Под бомбами умрут.

Чужие внуки, дочери...
Но ведь не ровен час —
А не дойдет ли очередь
Когда-то и до вас?

Но ведь потом наплачешься,
Намаешься потом.
От бомб нигде не спрячешься,
Ни под каким зонтом!..

Товарищи и граждане,
Друзья и господа,
Чтобы к любому-каждому
В дом не пришла беда,

Чтоб не померк навеки свет
На лучшей из планет,
Скажите — нет!
Скажите — нет!
Войне скажите — нет!

Чтоб в ожиданье новостей
В полях и в городах
Вовек ни взрослых, ни детей
Не мучил больше страх.

Чтобы, куда ни погляди,
Во всех краях Земли
Сияло солнце, шли дожди
И зонтики цвели...

ЗАОКЕАНСКИМ ПОДЖИГАТЕЛЯМ

С лица земли сметая города
И выступая вроде бы мессии,
Вы нам еще грозите...
Господа!
Припомните — когда бы не Россия...

Известно, что народ вы деловой:
И вы ушли в торговлю с головой,
Когда как будто было не до торга,
Когда у нас в сраженье под Москвой
Решалась участь вашего Нью-Йорка,
И Лондона, и всех земель, и стран...

А волны били на берег с размаха.
Казалось — беспределен океан,
Но и за ним вы не ушли от страха.

В те дни, когда берет за горло враг,
Не до иллюзий и не до утопий —
Фашистский бронированный кулак
Прошелся по беспомощной Европе.

О, как вы были ошеломлены,
Как будто вам грозили муки ада,
Хотя на вашу землю в дни войны
Ни бомбы не упало, ни снаряда.

И были вы сговорчивей тогда,
Тогда вы о совместности усилий,
О дружбе толковали...
Господа!
Припомните — когда бы не Россия...

Не счесть страданий наших и утрат.
Но встали насмерть, как стоят солдаты,
Два брата — Ленинград и Сталинград.
И армии врага пошли к закату.

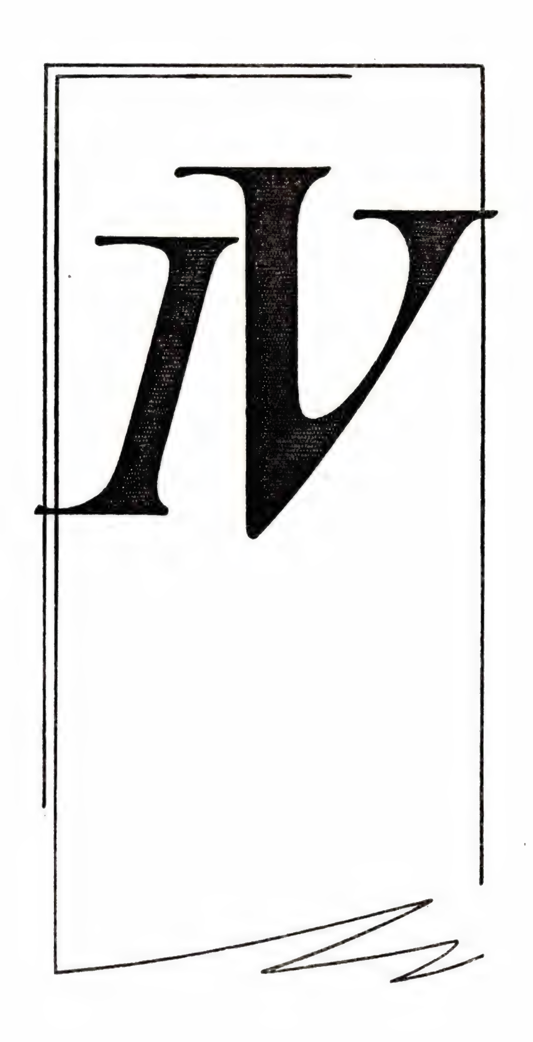
И мир настал.
И снова день хорош,
Весенний день без облачка тумана...
И снова сплетни ваши и галдеж
К нам полетели из-за океана.

Они не умолкают сорок лет
И слышатся то явственней, то глуше,
Собою отравляя белый свет
И оскверняя черной злобой уши.

Да что там сплетни!
Видно, господа,
Вам в мирной жизни вовсе нет покоя:
То здесь, то там поднимется вражда,
Посеянная вашею рукою.

А как хотели б вы разжечь пожар,
Разжечь такой пожар неугасимый,
Чтобы весь мир у ваших ног лежал
Испепеленной вами Хиросимой.

Вот был бы сущий праздник вам тогда,
Вот было б торжество звериной злобы...
Одно неясно: где вы, господа,
Застраховали ваши небоскребы?



Самое существенное, на чем сегодня необходимо сосредоточить всю силу партийного воздействия,— это достижение понимания каждым человеком остроты переживаемого момента, его переломного характера. Любые наши планы повиснут в воздухе, если оставят равнодушными людей, если мы не сумеем пробудить трудовую и общественную активность масс, их энергию и инициативу. **Повернуть общество к новым задачам, обратить на их решение творческий потенциал народа, каждого трудового коллектива — таково первейшее условие ускорения социально-экономического развития страны.**

Из Политического доклада Центрального Комитета КПСС XXVII съезду Коммунистической партии Советского Союза.

Борис ОЛЕЙНИК

ИСПЫТАНИЕ ЧЕРНОБЫЛЕМ

Со времени аварии в Чернобыле минуло достаточно времени; некоторые уроки уже получены. Город, до трагических событий известный разве что в пределах республики да еще специалистам по Древней Руси (впервые упоминается в документах в 1193 году), ныне знает весь мир. И на всех языках слово «Чернобыль» звучит однозначно — как знак тревоги и беды, которая может разразиться не только в каком-то регионе, но и в масштабах всего мира, если человечество наконец не осознает, что станется с самой планетой Земля, когда атом взбунтуется уже не в реакторе, а в ядерных боеголовках.

На своем специальном заседании Политбюро ЦК КПСС прямо указало на причину происшедшего на ЧАЭС: «...авария произошла из-за целого ряда допущенных работниками этой электростанции грубых нарушений правил эксплуатации реакторных установок. На четвертом энергоблоке при выводе его на плановый ремонт в ночное время проводились эксперименты, связанные с исследованием режима работы турбогенераторов. При этом руководители и специалисты АЭС и сами не подготовились к этому эксперименту, и не согласовали его с соответствующими организациями, хотя обязаны были это сделать. Наконец, при самом проведении работ не обеспечивался должный контроль и не были приняты надлежащие меры безопасности».

Убедительно, прямым текстом, без эвфемизмов типа «наложения серии непредвиденных отказов». Открыто, честно. Без обиняков. По-партийному.

Конечно, со временем могут выплыть и дополнительные причины, приведшие к аварии. Но одну из них я уже сегодня берусь назвать. Более чем уверен, что среди движущих на пути к взрыву было и пылкое стремление первому перед кем-то отчитаться, если не к очередной дате, то просто

первому. Отчитаться, а там хоть и кукуруза не расти... Потом доделаем, подгоним, подкрасим.

Но с атомной энергией подобная философия не проходит. Она оборачивается апокалипсической реальностью: не только кукуруза или трава, но и все живое — до человека включительно — не растет после радиации.

Вот к чему приводит разрыв между словом и делом, оплата за слова до их воплощения в реальность. Наконец, карьеризм, который за миг удовлетворения амбиций преступит не только отца-матерь, но даже технику безопасности на АЭС, нарушение которой грозит бедами многим людям.

Немало есть причин для раздумий. И прежде у многих возникало сомнение в правильности выбранного для станции места. АЭС запланирована была на берегах Припяти, крупнейшего по площади бассейна и водности притока Днепра. С ее низкими берегами, что немаловажно при четырехмесячном весеннем водополье, когда она затопляет значительные площади. И сейчас, когда предпринято столько усилий, затрачено столько народных средств на защиту водной среды, вопрос этот возникает снова и звучит уже не только уроком, но и предупреждением на будущее.

Конечно, неправомочно списывать вину только на начальство, ведь в ночь с 25 на 26 апреля, то есть с пятницы на субботу, некоторые рядовые, долженствующие дежурить на станции, ничтоже сумняшеся, видимо, как обычно, отправились кто в лес, кто по дрова...

Бесконтрольность, вальяжная расслабленность, этакая купеческая щедрость за счет общества в последнее время стали весьма распространенным явлением не только в некоторых верхних эшелонах, но и среди, так сказать, масс, которым ничего не стоило устроить затяжной перекур среди бела рабочего дня или отправиться в «командировку за горючим», а уж по части прогулов — тут низы, как правило, давали фору верхам.

Курс на перестройку и ускорение развития нашего общества уже самой своей сутью нанес ощутимый удар по этой психологии вседозволенности, всепрощенчества и бесхозяйственности. Случившееся на четвертом реакторе еще раз показало нам: вот к каким последствиям могут привести наше общество нарушения как законов технологии, так и наших нравственных и социальных принципов.

Попробую уточнить. Как и я, многие читатели помнят те годы, когда у нас по любому поводу собирались многочисленные совещания, активы кукурузо-, хлопко- и свекло-

водов, механизаторов и прочее. Всесоюзные, республиканские, краевые, областные...

На некоторых совещаниях и активах принимались обязательства на год грядущий — скажем, вырастить столько-то центнеров кукурузы с га. Случалось, что эти обещания издавались увесистыми томами. А поскольку мощности нашей полиграфии оставляли желать лучшего, то эти тома выходили как раз в ту пору, когда новый урожай, мягко говоря, не подтверждал обещанного. Но это как-то забывалось в суете очередных активов, где принимались новые повышенные обязательства, как правило, выше невыполненных предыдущих.

Нет, я не иронизирую. В некоторых совещаниях и активах сам принимал участие и выступал искренне, от сердца. Да и тот несколько патетический стиль выступлений вырастал из благородных традиций митингов периода гражданской войны и первых пятилеток. Мы еще помним, как прямо с митингов и парадов шли в бой солдаты Великой Отечественной. Как после летучих собраний участники их дружно брались за возрождение своей страны из послевоенных руин. На таких сходах люди говорили предметно, ощущая ладонями диск автомата или черенок лопаты. Они говорили по существу происходящего. В их словах звучали боль и радость не в пересказе, а лично.

Но на каком-то витке бытия, как мне представляется, наши социологи, философы, да и мы, грешные, упустили из виду приход поколений, рожденных не только после гражданской, но и после Великой Отечественной. То, что для отцов и дедов было личной реальностью, для них уже звучало пусть и впечатляюще, но все же в пересказе.

Если же учесть, что среди говоривших красиво случались и дремучие обыватели, и авантюристы, подобные одному нашумевшему в шестидесятых свиноводу, а подчас и просто стяжатели, то у части молодых появился определенный скепсис относительно красивых слов. Более того, они видели, как, скажем, орденоносный председатель колхоза припрятывал гектары, урожай с которых плюсовался к легальным, и снова получал орден.

Мне могут возразить: мол, в семье не без урода. Какое-то там одно село или колхоз — нетипично. Можно бы и согласиться, но куда нам деваться от «практики» обмана государства в масштабах целой республики, как это произошло, скажем, в Узбекистане? Это уже, знаете ли, не какое-то одно село, район или даже город. Обман совершался на

сотнях тысяч гектаров и на глазах у сотен тысяч людей. Так можно ли наивно полагать, что подобные вещи проходят бесследно?

Нет, побратимы, не проходят. Тем более что подобное совершалось не год и не два, а до того продолжительно, что упомянутый скепсис в молодом человеке мог перерасти в цинизм.

Я не драматизирую ситуацию: большинство наших советских людей трудилось и трудится честно. Но при всем этом не стоит забывать и о психологии восприятия, суть которой (да простится мне парафраз) почти адекватна формуле: плохое видится на расстоянии. Ибо хорошее, честное у нас стало нормой, сиречь будничным.

Неудивительно, что определенная часть людей решила, очевидно, что главное — понять и принять «правила игры», а все остальное приложится. Правила же эти, по их мнению, предполагали: говорить побольше и покрасивше, дабы понравиться начальству. Действовать же можно как тебе удобнее, пусть даже дела твои полярны словам твоим. Вот из чего родилось своеобразное «соревнование», в котором сражались не за первенство в деле, а за то, кто первым, обогнав ближнего, возьмет высокое обязательство и погромче провозгласит его с трибуны. Причем особо ценными считались обещания, приуроченные к какому-нибудь из торжественных праздников. (В свое время на Украине даже бытовал термин «датские стихи» — то есть куплеты, сработанные на скорую руку к определенной дате.)

Чернобыль помог нам предметно ощутить и тот зазор, на который мы раньше лишь стыдливо намекали,— зазор, образовавшийся между некоторыми выдвиженцами и выдвигавшими их. Длительное благодушное потакание «обещальникам» сформировало своеобразных непотопляемых «ценных и нужных» работников, которые очень умело совмещали в себе два полярных лица одновременно. Одно — для подчиненных, пренебрежительно-барское, нетерпимое к малейшей критике, в котором требовательная суровость часто подменялась оскорбительной грубостью. Другое — для начальствующих: корректное, с внешними признаками интеллигентности, мило улыбающееся — до угодливости. О подобных работниках ярко и образно сказал на встрече с партийным активом Краснодарского края М. С. Горбачев: «...прямо исполняют польку-бабочку вокруг руководителей...», «...краковяк с ними вытанцовывают».

Сколько раз мы сталкивались со случаями, когда целые коллективы годами сигнализировали о незавидных и непотребных делах, скажем, директора завода или совхоза, об их неуважительном отношении к работе, о стяжательстве их. А тем временем бурбон и ворюга оставался на занимаемом посту или, хуже того, подвигался вверх.

Можно ли во всем винить тех, кто брал на эти посты подобных янусов, ведь им рекомендовали не бурбонов, а весьма благопристойных, культурных людей с блестящими характеристиками? Откуда им было знать, что здесь всего лишь маска, если при образовавшемся зазоре информация о настоящем лице выдвиженца к ним просто не доходила? Но, с другой стороны, известно, что «рыбак рыбака...». Чаще всего срабатывало именно это. Со временем укоренившийся бурбон подтягивал себе подобного, тот — третьего и т. д. — до такой степени накопления, когда уже и высокое начальствующее лицо попадало в зависимость от подобных янусов.

Иногда такие образования, вырастая одно из другого по вертикали, создавали своеобразные закрытые корпоративные системы, где уже, в общем-то, и пристойный, честный начальник терял чувство времени и меры, принимая плотное кольцо янусов за народ, за общественность. Со временем подобная «общественность» настолько прибирала его к рукам, что он уже путал свое с государственным, а взятки — с элементарной благодарностью. И защищал «своих» от критики всеми недозволенными методами, вплоть до гонений на журналистов с применением неконституционных слежек.

Радиация от враждебного отношения к критике вселяла уверенность в безнаказанности. Коль скоро на критические выступления, по сути, не было ответов, то надо ли вообще на них реагировать? Может, действительно эти писаки (сюда прежде всего причислялись писатели) от неча делать мутят воду? И стоит ли в таком разе читать их писанину?

...Случилось так, что ровно за месяц до аварии в нашей писательской газете «Літературна Україна» за 27 марта был опубликован материал Л. Ковалевской о состоянии дел на строительстве, в частности, пятого энергоблока ЧАЭС: технология строительства не соблюдается, срываются поставки почти всех заказов, оборудование прибывает или некомплектное, или — хуже того — с явным браком. Причем, уточняла автор, эти проблемы, усугубляясь, переходили с блока на блок.

Далее Л. Ковалевская пишет: «Приводя эти факты, хочу заострить внимание на недопустимость брака при сооружении атомных электростанций, где несущая возможность каждой конструкции должна отвечать норме».

Не будем переоценивать выступление газеты, уповая на то, что если бы вовремя было обращено внимание на этот и подобные сигналы, то, возможно, и не случилось бы... Я все о том же — о невнимании к выступлениям прессы, о пренебрежительном отношении, особенно со стороны «технарей» и ученых, к критическим замечаниям и советам гуманитариев, в частности журналистов и писателей. О том, что никто из причастных к сфере атомной энергетики «не заметил» материала в нашей «Литературке», хотя через несколько дней после аварии раздались десятки звонков в редакцию из различных инстанций с просьбой предоставить им мартовский номер.

Ныне, особенно после XXVII съезда КПСС, дела по этой линии улучшаются. Но вот что я заметил. Создалась удивительная ситуация: самые верхние верха призывают говорить откровенно, нелицеприятно о своих недочетах; а низы хоть и говорят, но все же еще с оглядкой. Думается мне, что здесь срабатывает не только инерция безразличия — начальству, мол, виднее. Позволю себе предположить, что на некоторых руководящих и просто работных людей подсознательно «давит» практика прошлого, когда сразу за критикой следовали не только оргвыводы, но и меры посуровей.

Нам надо еще раз, и теперь уже навсегда, внедрить в сознание, что критика ошибок того или иного товарища (если, конечно, они не носят криминального характера) — это помощь ему для осознания и искоренения просчетов в дальнейшей работе. Уверен, что эта атмосфера справедливости в значительной мере активизирует жизненную позицию каждого гражданина, укрепив в нем чувство хозяина своей страны.

Твердо стою на том, что при всей внезапности удара последствия его были бы значительно меньше, если бы наша готовность к любым неожиданностям на деле соответствовала той, которая нередко только на словах. В действительности же случилось нечто, тревожно напоминающее ситуацию сороковых, когда за несколько часов до войны мы еще пели: «если завтра — в поход, мы сегодня к походу готовы».

Нет, к сожалению, далеко не все были готовы и в Чернобыле, и в Припяти, и — выше. В противном случае наши пожарные, беззаветно бросившиеся в огонь, были бы облачены

в соответствующие по штату защитные одежды... Да и милиционеры, вплоть до начальствующего состава, получили бы значительно меньше бэров, если бы их экипировка была на уровне уставного требования.

Это прямые, зримые, физически болевые уроки Чернобыля. Они, повторю, уже известны, о них говорили и писали на разных уровнях и в разных жанрах, а пока готовилась эта статья, появились и попытки художественных обобщений. Хотя с последними, на мой взгляд, стоило бы повременить из соображений этики, ведь пожар в чернобыльском доме еще не полностью ликвидирован. Нам сейчас надо как следует осмыслить случившееся. И в этом призвана помочь прежде всего документалистика, глубокая, сурово правдивая, создаваемая писателями, которые владеют не только словом и пером, а и научными знаниями в области ядерной физики и медицины. Причем не холодно фиксировать трагические исходы, а подвижнически искать выходы из создавшегося положения, чтобы всем миром построить саркофаг и навеки похоронить в нем беду, да будет она первой и — последней!

Морально-этические аспекты чернобыльского предостережения, казалось бы, не главное, но тем не менее и они остро ранят и сурово призывают честно взглянуть на некоторые странные явления, просматривающиеся в последнее время в нашем общежитии.

...Поезд Киев — Москва прибыл почти без опоздания. Дело было в мае, после известных событий. Настроение, прямо скажем, не весьма... На привокзальной стоянке такси собралась порядочная очередь. Пристроился в хвосте, не реагируя на подмигивания «доброхотов»-частников, как обычно, вращающихся возле очереди. Наконец один из них, не выдержав, слегка коснулся моего плеча, и, вперив взгляд в беспредельность, бросил: «Куда?» Я невесело ответил: «В гостиницу «Москва».— «Сколько дашь?» — «Сколько просишь?» — «Червонец».

Потянулся было за чемоданом и вдруг вспомнил, что моя мать, отработав в колхозе, получила пенсию в размере что-то рублей двадцати шести. Мне стало до боли стыдно и перед памятью матери, и перед теми, кто имеет зарплату в пределах сотни. «Да ты что? — огрызнулся я.— Ведь туда на счетчике набивает рубль!»

Видимо, что-то в моем выговоре остановило его посреди не весьма благозвучной фразы. Он повнимательнее присмотрелся и вдруг вывел меня по-дружески из очереди: «О, узнаю кепочку... Это не ты из Чернобыля... по телику?» —

«Ну, допустим...» — «Ох, беда какая... Тем более не жалей червонца».

Только в гостинице я доискался, что же меня в нем больше всего поразило. Наглость? Жадность? Алчность? Нет, что-то доселе мне неизвестное... Какая-то аномалия, нарушение чего-то искони святого.

Да, от возникновения рода человеческого неписаным правилом было особое отношение к «погорельцам»: разделить с ними кров, хлеб-соль, помочь материально и, главное, морально принять участие. И самым тяжким, непростительным грехом считалось поползновение погреть руки на чужой беде.

А он как раз и пытался это сделать. Причем размашисто, весело, мол, на кой черт тебе эти деньги, когда и жить-то, возможно, не так уж много осталось?

Я вспомнил год 41-й, длинные вереницы изможденных беженцев. Вспомнил, как мои односельчане, прихватив все съедобное, выходили навстречу страдальцам и оделяли их кто чем мог. А совсем ослабших забирали в хаты и вместе с ранеными красноармейцами, рискуя своей жизнью, прятали, выхаживали, хотя оккупанты подобное карали смертью.

Доныне я считал эти изъявления солидарности с потерпевшими естественным движением человеческой души. А тут...

Но, может быть, это единичный случай, да еще усугубленный сумрачным настроением?

Но вот читаю письмо в «Литературную газету» от Холоденко Ольги Алексеевны из Киева: «В дом отдыха «Харьков» из Киева были направлены на оздоровление несколько сот детей (в основном дошкольников) с родителями. Стоимость путевки на 24 дня для матери с ребенком — 250 рублей (более 10 рублей в день)... Разместили нас в многоместных комнатах в деревянных домиках без всяких удобств. Характер и качество питания неприемлемы для маленьких детей. Известно, что стоимость путевки в домах отдыха с таким уровнем комфорта составляет обычно 60—80 рублей. **Такой она была еще в прошлом году и здесь** (тут и далее подчеркнуто мной.— *Б. О.)*. Расчет, видимо, простой. **В связи с событиями на Чернобыльской АЭС** киевляне стремятся оздоровить детей за пределами Киева. **Зная, что в такой ситуации никто торговаться не будет, кто-то из курортных начальников решил (воспользовавшись чужой бедой) улучшить показатели своей работы.**

В статье Ю. Щербака, опубликованной в «ЛГ» 21 мая с. г.,

отмечалось, что в «южных районах отдельные рвачи, воспользовавшись общей тревогой, взвинтили цены на квартиры, сдаваемые киевлянам». **Похоже, что в данном случае в роли таких рвачей выступают работники, призванные по своей должности заботиться об отдыхе трудящихся.**

Вот таким простым спекулянтским способом «улучшили показатели работы» — повысили цену на путевки. Хотя на 400 отдыхающих с детьми всего четыре (!) душевые кабины, работающие с 10.30 до 14.00, и то не каждый день, да еще при постоянных перебоях с водой; не было воспитателей, не было врачебных осмотров, зато музыка гремела до 22 часов».

Этих и подобных им фактов, к счастью, сравнительно немного. Но даже и один такой факт не может быть терпим, ибо речь идет в данном случае о грубом попрании священного принципа социальной справедливости.

Принцип этот насколько древний, настолько и универсальный. Но если в эксплуататорских формациях он декларировался как сугубо моральная заповедь: «Да воздастся!», нарушаемая, впрочем, самой же системой, то в нашем, социалистическом обществе принцип социальной справедливости составляет саму природу, я бы сказал, молекулярную структуру общества. Ведь и революция совершалась во имя торжества справедливости.

В последнее время мы по инерции пытаемся кивать на сухость, жестокость и прагматизм молодежи. Но ведь не кто иной, а именно юноши в пожарных робах бросились сбивать огонь с четвертого реактора. И некоторые из них заплатили всем. Не кто иной, а именно молодые солдаты и офицеры, рискуя жизнью, вели свои вертолеты на адский столб, пытаясь забросать жерло реактора мешками с песком, цементом, свинцом. Да и среди тех, кто ныне сражается с взбунтовавшимся атомом,— преимущественно молодые.

В то время как партия, правительство, миллионы советских людей, принявшие боль пострадавших как свою собственную, всеми силами стараются облегчить их участь, иные чиновные люди, имеющие гербовые печати и таким образом представляющие государство, поднимают цены на путевки и гоняют «по инстанциям» эвакуированных из родных домов людей. Вот что пишет в письме бывший художник-оформитель Чернобыльской АЭС Станислав Васильевич Константинов: «А мы тем временем катимся, как перекати-поле, по всему Союзу, устраиваясь на свой страх и риск — кто в

пионерлагере кочегаром, кто в профилактории садовником, кто на пивзаводе грузчиком...»

Рассказав о своих мытарствах в поисках работы и жилья, о бездушии и безразличии работников «Киевэнерго» и руководства пионерлагеря, где он временно работал истопником, автор письма заключает:

«Но бог с ним, авария реактора — дело уже прошлое, остались последствия. А авария в душах людей взрослых и, что самое главное, детей продолжается.

И не думайте, что я сгущаю краски. Не до этого. В один миг мы потеряли свой дом, свою работу, друзей, окружение, привычные заботы — весь свой микромир, все нажитое и выстраданное, ощупанное своими пальцами, согретое своим дыханием, свой, родной уголок, ставшую своей скамью у ворот!

Представить это нельзя. Только пережив, можно понять...

Площадь тридцатикилометровой зоны выключена из жизни не на день и не на год. Вряд ли кто рискнет сегодня назвать конкретные сроки возрождения к жизни этой земли, этих лесов и полей, двух городов и многих десятков сел. Пусть же не будет в душах людей, пострадавших от чернобыльской катастрофы, таких безжизненных на десятки лет пустошей. Пусть души заполняются теплотой истинного участия к конкретным живым людям и настоящего понимания всей глубины нашей боли и нашей беды. Я продолжаю верить в разум и доброту. Ибо зачем тогда все?»

Подумайте: даже в самую трудную минуту человек не теряет веры в идеалы нашего общества. И, вероятно, это помогло ему выдержать. Сейчас, после долгих мытарств, С. В. Константинов получил квартиру и работу по специальности в Горловке, где к нему наконец отнеслись с настоящей заботой и вниманием.

Да, уважаемые друзи! Пустоши в душах, особенно в трагическом свете чернобыльского пожара, еще просматриваются. И не стоит к ним «привязывать» только молодых. Ибо, как подчеркивал Шарль Монтескье, «лучшее средство привить детям любовь к отечеству состоит в том, чтобы эта любовь была у отцов». И я добавлю: чтобы привить сострадание, милосердие, участие в чужом горе, надо, чтобы отцы сострадали, милосердствовали, соучаствовали. Надо во все сферы нашей жизни — от искусства до школы — возвратить такие понятия, как стыд, честь, совесть, правдивость, прин-

ципиальность, порядочность, милосердие, которые, по свидетельству тестов среди молодежи, занимают ныне в шкале ценностей предпоследнее место.

А мы даже эти высшие духовные и душевные чувства нередко пытаемся перевести в общий, абстрактный словесный ряд, отчитаться в своей добродетели «по валу», отчуждаясь от конкретного, живого человека, от его судьбы, моральных страданий. А подчас и в карьеристском устремлении спеша «первыми» поведать обществу о том, что все уже в порядке.

Слишком продолжительное время карьеризм, демагогия, двоедушие считались у нас сугубо моральными категориями, развенчивать которые должны в основном литература, театр и кино. Ну какой же тут криминал: да будь он трижды карьеристом и демагогом, а раз дает план, следовательно, делает свое дело.

Вот и вырастили деляг в таком количестве, когда они уже стали критически опасной массой. Не случайно же партия в своем основном, стратегическом документе — новой редакции Программы КПСС — к самому большому злу, тормозящему продвижение нашего общества по пути усовершенствования, приравняла и карьеризм, и демагогию, и лесть. Следовательно, и вести борьбу с этим злом надо на уровне государственном, всеми имеющимися средствами — от литературы до прокуратуры.

И самым мощным оружием должны стать демократия и гласность, чтобы, не откладывая на завтра, не прибегая к эвфемизмам, называть зло поименно, персонально, «на миру», какое бы высокое кресло оно ни оккупировало. Сразу же по его выявлении, а не на третий или, скажем, седьмой день. Дабы общество тоже, не откладывая, самым решительным образом искоренило его, и опять же «на миру»!

К этому зовут нас уроки Чернобыля. К этому зовут нас наивно открытые, чистые глаза наших детей, из которых мы хотим вырастить свою надежную смену в делах праведных, честных и достойных. А посему мы, отцы, должны помнить, что «любовь к отечеству порождает добрые нравы, а добрые нравы порождают любовь к отечеству». Помнить и исповедовать добрые нравы в самом великом и в самом малом.

События на берегах Припяти, испытав нас на взрыв, нас же и убедили еще раз в неисчерпаемой жизнестойкости и жизнедеятельности нашего общества. И все же не хотел бы заканчивать материал на убаюкивающей ноте: уроки

мы извлекли, теперь-то не допустим... Нет, успокаиваться нам не позволяют и погибшие пожарные, и тяжело пораженные радиацией, и те, кто остался без родных обжитых гнезд.

...Вот они сели за парты, наши дети, юные чернобыльцы, припятцы, киевляне. Давайте же, отцы, сделаем сегодня все, чтобы в двухтысячном наши дети не краснели за нас.

ДОРОГА НА ЧЕРНОБЫЛЬ

1

Честна во всем, свободная от пыли,
Она для всех открыта, всем ветрам —
Для тех, что, срам приемля, жизнь купили,
И тех, что имут... вечность, а не срам.

...Цветет весна, полна надежд мажорных.
Парует ярь, дымится оболонь,
Как будто робы на плечах пожарных
Тех — самых первых, кто шагнул в огонь.

Весне простите, матери и жены,
За то, что выше муки и тоски
Звенел вовсю ее набат зеленый
И звал: «Люби!» — и души и ростки.

Простите крик счастливого рожденья
И роженицы долю и юдоль,—
Восходит жизнь! И вечного движенья
Не остановит ни огонь, ни боль.

Ничем не сгладить вырванной утраты,
На свете не найти таких врачей,
И только смех наивного дитяти
От скорби воскрешает матерей.

Всем миром мы избудем горе, чтобы
Накрыла зло бетонная ладонь!
И будем жить, и будем помнить робы
Сынов Земли, низвергнувших огонь.

...Склонись, мой город, веком опаленный,
В кручине отчей и внешне молодой.
Сорвись, мой голос, ветром оперенный,
С высот небесных вешнею водой.

И вымой все в Чернобыле пороги,
До чистоты, как исповедь, святой.
И уступи дорогу по дороге
Идущим в вечность — как недавно в бой.

I

Запоминай, дорога, их следы.
Они чисты, да так, что детям можно
Мчать босиком вослед им бестревожно,
У спецмашины не прося воды...
Запоминай, дорога, их следы.
По ним на Припять, к стульям
летописным,
Вернутся люди в гнезда утром чистым.
И возвратятся аисты в сады.
...Не забывай, дорога, их следы.

Не спутай только их, дорога, ты
Со следом тех, кто с линии форпоста
Так удирал... непринужденно просто,
И про чины забыв, и про посты.

Ты их и на последнем рубеже
Узнаешь без дозиметра — по клеймам
От черного распада ставшей тленом
Души, неприкасаемой уже...
...И на последней не прости меже.

IV

А тем, кто, невзирая на посты
Кто из глубинки и с высот инстанций
Спешит в Чернобыль под крыло акаций,—
Ты подари бессмертников цветы.

И сбереги навеки их следы:
Они чисты, да так, что детям можно
Мчать босиком вослед им бестревожно,
У спецмашины не прося воды...
Ты поцелуй, дорога, их следы.

Юрий ГРИБОВ

ГДЕ НАЙТИ ТАКОЕ СЛОВО...

До заседания бюро оставалось несколько минут, и Александр Иванович Агеев, мельком глянув на строчки вопросов, которые предстояло обсуждать, почувствовал знакомый холодок под сердцем. Десять лет уже «ходил» он в первых секретарях райкома, но так и не привык поспокойнее относиться к персональным делам. Да и как привыкнешь, если за каждым таким делом стоит человеческая судьба, за которую и он, руководитель района, в немалой степени отвечает. А сегодня и случай особый: придется, возможно, двух коммунистов исключать из партии...

Вот уже несколько вечеров подряд Агеев задерживался в райкоме, вызывал к себе Плуталова, председателя партийной комиссии, работника опытного, из отставных военных, «поседевшего на честности», и, принимая из его рук папку с документами, спрашивал со вздохом:

— Ну что, Сергей Ефимович, нового ничего не поступало?

Есть в их районе небольшой завод. Так вот, два коммуниста этого предприятия и один беспартийный организовали пьянку. Если бы это сделали молодые рабочие, и то бы наказали их строго. А тут ведь руководители: исполняющий обязанности директора, главный инженер и главный механик. Прямо в кабинете, вызывающе. Шоферы потом развозили пьяных начальников по домам. Конечно, на заводе все об этом узнали, и парторганизация объявила коммунистам по строгому выговору с занесением в учетную карточку, а беспартийного главного механика «прорабатывали» на профкоме. И все трое, прозвучало на собрании, должны были оставить руководящие должности...

— Да, не очень все это приятно,— морщился Агеев, перелистывая бумаги.— Не старые еще, оба вон кандидаты наук...

— Но ведь эти ученые начальники, Александр Иванович, совсем обнаглели,— начал «заводиться» Плуталов.— Пьянки на заводе потому и не прекращались, что пример сверху был. Укрывательство, понимаешь ли, всепрощенчество. Я вас, дескать, не видел, но и вы меня не замечайте... Люди после съезда подтягиваются, а эти, видите ли, стрессы водкой снимают!..

Перебирая в памяти эти разговоры с Плуталовым, Агеев, собрав бумаги, закрыл ящик стола и пошел на заседание...

Все члены бюро единогласно проголосовали за исключение. Решено было объявить об этом в местной газете. Пьянка, да еще на рабочем месте, несовместима со званием коммуниста...

Райком давно опустел, а Агеев все еще сидел в своем кабинете, набрасывая конспект выступления перед механизаторами. Завтра у него встреча в сельском клубе. В голове теснились не очень веселые мысли. Так ли он все делает? Четвертое исключение из партии за какие-то две недели. Не жестоко ли? Нет ли тут перехлеста? Директор универмага вместе со своими подчиненными припрятал партию дефицитных курток, чтобы сбывать их по блату, среди «нужных» лиц. Население возмутилось этим. Сколько можно терпеть разные махинации в торговле? Нет, наказания справедливы. И за пьянку, и за куртки. Сейчас иначе нельзя. Никакой перестройки не добьемся, если руки перед этой липкой заразой опустим. Стоит только послабление дать, и начнет опять все тонуть в необязательной обтекаемой говорильне.

Давно уже об Агееве идет хорошая молва. По всей Московской области. То, что сейчас называют человеческим фактором, он всегда ставил в основу основ. Умение слушать, сердечная зоркость и вообще повышенное внимание к человеку — все это присуще Агееву.

А когда я познакомился с Александром Ивановичем, поразглядел его в деле, то и сам убедился, что с людьми он сходится легко, умеет быстро схватить главное, понять состояние души и разговор поэтому начинает без натуги, без дежурных фраз, а просто и естественно. Собеседник не чувствует перед собой барьера, он раскован и равен, не замечает коротких наводящих вопросов. Это уже идет от таланта. Иные партийные работники из кожи, как говорится, лезут вон, чтобы «опроститься», выглядеть «понароднее», но так и остаются получужими, нужный контакт у них не возникает. А Агеев мягким таким рязанским говорком,

всем своим спокойным, доверительным видом сразу же притягивает к себе человека, располагает...

Вскоре после войны Агеев, окончив десятилетку, пошел из родного села в Рязань учиться на агронома. Отец его, израненный фронтовик, бригадир в колхозе, в выборе профессии ему не мешал и склонял только к одному: держись, мол, Саша, поближе к родному дому...

Возможно, так бы в агрономах Агеев и остался, дело это шло у него хорошо. Получив диплом, поработал он на целине, в своей Рязанской области, в Московской. И вот приметили в нем умение убеждать, вести за собой, обязательно добиваться цели и предложили перейти на партийную работу. Какую-то роль, наверное, сыграли в этом и другие его личные качества: порядочность и скромность, точность во всех делах, чувство совестливости и сострадания. Всем своим образом жизни вызывал Агеев симпатию у большинства людей. А это уже немало для партийного работника...

Взяли Александра Ивановича инструктором в столичный обком. Принялся он за новое дело по привычке рьяно, но вскоре сам стал осознавать, что выпирает из него пока типичный агроном, не хватает теоретической широты и смелости. Он так прямо и сказал об этом. И его послали в Высшую партийную школу. А уже после этой школы, которую он окончил с отличием, партийная работа захватила его целиком...

Предложение принять Ленинский район было для Агеева неожиданным. Он слышал, что метят его в первые секретари, но чтобы в такое место...

— Разрешите подумать,— попросил он.— С семьей поговорить...

И ночью почти не спал, ворочался с боку на бок, пытаясь представить новую работу. Первый секретарь, он и есть первый, на самом виду, значит, под взглядами тысяч любопытных глаз. Если нет своей головы на плечах, помочь тебе трудно, потому что ты первый. Да и район-то какой, заповедник священный, где Ленин жил, куда со всей планеты гости приезжают, туристы. Марку надо высоко держать. Хватит ли ума и сил на это?..

Стоят сейчас в райкоме самые авторитетные знамена, некоторые из них присуждены навечно. За первые места по урожаям, по надоям молока, за уровень рентабельности. Легко сказать: стоят... А сколько надо было всего переделать, чтобы эти знамена внесли и вручили. Пожалуй, только Валентина Ивановна, жена Агеева, экономист по

образованию, знает, что это такое — долго держать передовые места. Ее «заведенный Агеев», как пастух в деревне, исчезает из дома в рань страшную, нет его каждую субботу, а часто и в воскресенье, в праздники. Партийный работник в дело свою жизнь вкладывает, других капиталов у него нет. Больше вложишь — больше получишь. Хозяйственника не подменяй, но все хозяйство держи в голове и в руках. Конечный результат — вот что тебя оценит...

Ленинский район — это, считай, окраина столицы, тянется он узкой полоской вдоль окружной дороги километров на тридцать. Полезных земель здесь не так уж много, каждый клочок на учете. Это, собственно, «большой огород», и дает он все самое свежее: тепличные овощи, плоды и ягоды, цельное молоко, парное мясо, диетические яйца, шампиньоны, цветы. Но главное — молоко. Сто пятьдесят тонн увозят его со здешних ферм. Ежедневно, зимой и летом...

В городе Видном в райкоме висит большой щит, на котором обозначены основные плановые цифры этого года и пятилетки. Сделано это продуманно и броско. И вообще здесь за считанные секунды можно получить необходимую информацию. Это так удобно для агитаторов и пропагандистов! В специальных кабинетах оборудована автоматика, подобраны фильмы, пленки, звуковые записи. Нажимай нужную кнопку и получай, что надо. Работники райкомовского аппарата внимательны, по-деловому подтянуты, много здесь молодых улыбчивых лиц. Во всем чувствуется, конечно, агеевское влияние: ведь каков, как говорится, первый, таков и весь райком...

Агеев учит своих работников предельной конкретности. Иди прежде всего в коллектив, выявляй слабые, болевые точки, стоящих за этими точками людей, ищи такое сильное слово, чтобы убедить, переломить старые привычки. Мало слова — делом помогай, опытом своим, знаниями. Сиди там хоть день и ночь, но своего добейся. Перестройка требует глубоко перепахать целые пласты нашей жизни. И делать это надо в пути, не останавливаясь...

— И вот еще что, товарищи дорогие,— говорит Агеев на райкомовских планерках.— Сначала сам перестройся, а уж потом других призывай. Глянь на себя со стороны, прикинь, так ли ты все делаешь, так ли живешь. Постарайся завтра же во всем быть лучше, чем сегодня. Партийный работник должен быть безупречен. Во всем решительно!

Рано утром в субботу, как и было условлено, Агеев

заскочил за мной, и мы поехали по району. Я не спрашиваю о сегодняшних его целях, ездить с ним всегда интересно — вот что для меня главное...

Солнце еще только поднималось над деревьями, а уже пригревало, как в полдень. Тянулись по сторонам доцветающие сады, травы на обочинах вымахали в пояс. Урожай ожидался неплохой, но Агеев об этом говорил скупо. Горожане будут судить о работе агропрома по продовольствию на прилавках, а не по отчетам и цифрам. Александр Иванович иной раз стесняется заходить в Москве в овощные магазины: не очень они забиты всем необходимым. А рынки дорогие. Чувствует он и свою вину за снабжение, хотя и планы выполняются. Подмосковье вообще пока в большом долгу перед столицей...

Занимали Агеева как первого секретаря и делегата партийного съезда и другие проблемы. Отбирают у района четыре тысячи гектаров земель: неумолимо наступает на поля город, не всегда разумно, научно обоснованно. Захламляются водоемы, леса, посевы вытаптываются, появляются свалки у дорог. Пятьдесят тысяч жителей работают в Москве, но их там в очередь на жилье не ставят: вы, мол, не наши, а областные. А область тоже от них отказывается. И люди жалуются, много недовольных, работают без настроения. Это недопустимо. Ну,жилье ладно, народ понимает, что всех сразу не обеспечишь. Но ведь немало недовольства, рожденного разгильдяйством, бюрократизмом, ленью, медлительностью, обманом...

— Не перевелись еще у нас руководители-налимы,— говорит, вздыхая, Агеев.— Прямо на виду из рук выскальзывают. Только за «зебры», как писал Чехов, брать их надо. За зебры и скорей на сушу...

Что-то сегодня Александр Иванович критически настроен: всё проблемы да проблемы. Но вот начались его встречи с людьми, и преобразился Агеев, повеселел. В селе Остров беседовал он с животноводами, спорил с Василием Яковлевичем Мамровым, главным агрономом колхоза, о теплицах, долго говорил со сторожихой у комплекса, с девушками возле клуба, с мальчишками, с воспитательницей детского сада, в дома заходил, в мастерские. И только в деревне Молоково я догадался об основной его сегодняшней задаче. Он не на знаменитую молочную ферму пошел, а в сельский магазин. Он вынашивал одну мысль, направленную на помощь обществу трезвости. Надо было эту мысль «обкатать» среди населения...

Спиртным здесь не торговали уже давненько. Водку не завозили, а план выполняли.

— Как же изворачиваетесь? — спросил Агеев завмага.— Ведь говорили, что пропадете. Помню, при мне тут ревмя ревели в три голоса...

— Так, Александр Иванович! — подхватились женщины.— Жизнь-то шевелиться заставила! Нас теребят, и мы стали теребить насчет подброса-то. В сельском магазине все должно быть, как и в городе. И продукты, и товары...

До вечера мы ездили по району. Он рассказал о своей рязанской деревне, о детстве, возвращался к дню сегодняшнему, к встречам и разговорам, и я чувствовал, что он доволен поездкой. Что-то полезное и нужное, видимо, отложилось в его душе. Партийному работнику все пригодится. Все, что с человеком связано.



Анатолий АНАНЬЕВ

СЕРЕДИНА ПУТИ

В жизни каждого наступает период, когда человеку хочется остановиться, осмотреться и вглядеться в будущее. Видимо, для всех нас, я имею в виду не только писателей, а всех советских людей, рискну сказать даже — для всего прогрессивного человечества минувший XXVII съезд КПСС явился такой вехой в жизни. От него, с его высоты мы лучше видим пройденную даль и отсюда же, с этого рубежа, смотрим в будущее. Глубоко убежден, что всякий человек или общество в целом, то есть народ или государство, всегда должны ощущать себя в середине пути. Есть прошлое, настоящее и будущее, и между этими понятиями, определяющими жизнь, существует связь, которую прерывать нельзя. Из понимания связи времен, преемственности поколений вырастают самые святые чувства — чувство Родины, патриотизм.

Во время войны, например, в 1943 году, когда ввели погоны, мы особенно почувствовали себя корнями связанными с прошлым нашего государства, с его патриотической историей, в которой были и Куликовская битва, и Полтава, и Бородино, Суворов, Кутузов, Нахимов...

Конечно, было бы неверно сказать, что мы одержали победу только потому, что надели погоны; но что это помогло нам одолеть врага, бесспорно и неопровержимо. Думаю, не случайно были введены и ордена Суворова, Кутузова, Александра Невского: уже одни имена эти напоминали нам о славе русского оружия, о сражениях, в которых русские люди отстаивали свое Отечество. Говоря иначе, мы осознали себя в середине того нелегкого пути, какой выпал на долю нашего народа, и причастность к этой общей, живой и могучей силе удвоила, утроила, удесятерила наши.

Этот и множество других примеров, которые можно было бы привести здесь, еще и еще раз убеждают меня в том,

как важно постоянно ощущать себя в середине пути, учиться у прошлого, извлекать уроки из него, думать о будущем и соизмерять, соединяя эти два крыла настоящим, то есть тем отрезком жизни, который дано пройти нам и в котором нам предстоит оставить свой добрый или недобрый след

Перед войной мы жили в Намангане. Я учился в сельхозтехникуме. На лето мы уезжали на производственную практику в учебное хозяйство. Помню, что в нашем подсобном хозяйстве были кони, прекрасные, с армейским клеймом. Они считались призывными, их в любой день могли взять на строевую службу. Мы ухаживали за ними, ездили на речку купать их. А рядом был колхоз, окруженный хлопковыми плантациями, на которых мы и работали все лето — пололи, чеканили, а потом убирали под знойным азиатским солнцем.

Я помню людей (по сохранившимся юношеским впечатлениям) — это были добрые, хорошие люди. Они с любовью относились ко всякому делу: к земле, к своей работе, к дому и к нам, молодым: куда бы мы ни приходили — на бригадный стан или на бахчи, например,— нас всюду встречали с теплотой, старик сторож приносил дыню, мы садились вокруг нее, ели, разговаривали. Что-то во всем этом было невероятно доброе. Вынес я оттуда, от того времени, впечатление обилия — если можно так сказать: обилия жизни самой; обилия души, добрых чувств.

Очень хорошо помню нашего начальника учебного хозяйства. По тем временам он казался нам человеком старым, хотя ему не было и сорока. По специальности агроном, он зимой преподавал, а лето проводил на учебном хозяйстве и руководил нами. Это был очень интересный, добрый человек. Любил рассказывать, играл с нами в волейбол, в футбол и выходил с нами на плантации. А ведь у него была семья. Были дети, требовавшие присмотра, но он отдавал нам и свое время, и душу.

Был среди преподавателей техникума еще один человек — военрук, которого мы любили и который многому и многому хорошему научил нас. В моем представлении он и теперь словно вот только вернулся из лихой буденновской атаки и весь еще поглощен боем, возбужден и счастлив своей (так переменчивой для солдата, теперь-то я хорошо знаю) удачей. Кем военрук был в армии, не знаю, может быть, рядовым, может, командиром взвода, эскадрона, но что прошел гражданскую, было видно по одному

только взгляду на него. Он носил усы. Пушистые. Красил их. Сам седой, а усы черные, молодые.

Он по-своему организовывал нас и втягивал в атмосферу времени. Мир тогда готовился к войне, у власти в Германии был фашизм, и хотя в газетах не писалось, что вот-вот грянет война, но гроза ощущалась, и, видимо, старшее поколение хорошо чувствовало это. Вечерами, иногда и по ночам мы вместе с военруком разыгрывали бои. Бились «красные» с «белыми», с «басмачами». Нам было интересно, нас, в сущности еще мальчишек, это вдохновляло, и мы как бы исподволь готовились к величайшим событиям.

И события эти пришли, грянула Великая Отечественная война.

Вся предвоенная обстановка запомнилась мне как нечто доброе, сулившее хорошее будущее. Как будто не было зла, не было обмана: мы верили, что жизнь чиста, что мы входим в нее с открытой душой, что мы найдем полное взаимопонимание с окружающим нас миром. И война, хотя это и жестокое дело, не приучила нас к злу. Мы только еще больше узнали силу товарищества, доброты и дружбы. Но послевоенная обстановка, та гражданская жизнь, к которой мы вернулись, предстала перед нами совсем не такой, какой мы помнили и воспринимали ее. Более сложной и многозначной.

Демобилизовался я в декабре 45-го. У меня были ордена, медали — первая «За отвагу». Но пришел, снял погоны, и — ни образования, ничего. Я не представлял себе размах тех разрушений, какие нанесла нам война, тех страданий, усилий, что ли, какие затрачивались нашим народом в тылу. Думаю, что и многие не представляли себе этого. И до сих пор не могу унять сердечной боли: великому народу, одержавшему великую победу, нужно было после войны начинать устраивать свою жизнь почти с нуля и такими усилиями, какими, видимо, не приходилось никогда никому устраивать.

Вместе со всеми я горжусь послевоенными нашими достижениями: восстанавливали Днепрогэс, отстраивали города — Сталинград, Минск, Киев, Смоленск, перекрывали реки. Но у меня — может быть, я не прав — закрадывается теперь такая тревожная мысль: а может быть, могли бы мы сделать это с меньшими усилиями и более добротно, чем мы это сделали, если бы общество с большей энергией боролось против тех, кто пытался взять побольше и отдать поменьше, жить за чужой счет.

Так вот. Я вернулся в Наманган. Пошел в техникум — надо же было заканчивать четвертый курс. А для нас, фронтовиков, там лежали готовые дипломы. И нам торжественно вручили их, а вместе с ними направление на работу.

Говорю о себе, но думаю, что подобная судьба, близкая, похожая, у всего моего поколения.

Меня направили работать в Джамбулский райземотдел. Районный центр в то время представлял собой одну длинную улицу с плоскокрышими глинобитными домиками. Параллельно этой улице протекала речка Талас. Небольшая, быстрая. Она начиналась далеко в горах, и вдоль нее, по долине, располагались деревни, поля, луга, сады.

Квартиры, разумеется, не было, да и в райцентре найти ее было нельзя. Мне посоветовали поискать рядом, в колхозе имени Сталина, который размещался километрах в десяти от райцентра, в селе Гродиково. И каждый день я в течение двух лет ходил из села в райцентр, вставал в пять, в половине шестого и возвращался лишь к полуночи. В снег ли, в дождь по выбитой гравийной дороге, по грязи, но как-то (от общей ли атмосферы жизни) даже и в голову не приходило, что все могло быть иначе, достойнее, человечнее, что ли. Да, могло быть. Но не было.

Меня посадили за сводки, я переписывал, сочинял их, звонил, передавал — с утра до вечера. И понял, что для этого не нужно было иметь никакого диплома. Достаточно было быть просто грамотным.

Начальника райземотдела мы видели нечасто. Он не воевал, как говорили, из-за туберкулеза. Ему было около сорока лет. Лицо круглое, да и весь он был словно налитой, розовый. Он приезжал на прекрасных дрожках, запряженных парой, и был недосягаем для нас, как генерал для солдат.

Потом я стал присматриваться к жизни в селе. Председателем колхоза там был некто Калентьев, очень хорошо его помню. Тоже лет около сорока и тоже не был на фронте. Он въезжал в деревню только на скаку. Под ним огромная, овсом откормленная, сытая лошадь. А все мы в то время получали хлеб по карточкам. Он спрыгивал у своей избы, бил лошадь плеткой по крупу, и та бежала, играя, через всю деревню, к специальной конюшне возле правления, где стояла еще и двойка председательских выездных. Седло блестело хромом, поскрипывало, а Калентьев, в распахнутом полушубке, победителем, на виду у всех входил к себе на крыльцо.

У меня такое ощущение, что с тех пор я все время сталкиваюсь с этим странным явлением — в большей ли, в меньшей ли степени. Что это? Как назвать его? Каким-то барством, чем-то забытым, помещичьим самодурством отдает от него.

Могу сказать, что страшно это и странно, что не одному мне, наверное, пришлось после фронта столкнуться с таким явлением: требовались невероятные усилия, чтобы с чем-то новым и нужным пробиться сквозь самодурство калентьевых. Но выяснилось это потом, через несколько лет, когда Калентьева сняли и судили: не вся жизнь его была на виду. Оказывается, вместе с компанией таких же руководителей (замешаны были и наши, райземотдельские) он ездил «инспектировать», как подавалось тогда, колхозные стада, которые паслись на джайляу, то есть на отгонных пастбищах. Уезжали верхами, на лошадях, а за ними отправлялась телега с водкой, и они неделями там гуляли, а потом возвращались опухшие, красные. На виду у всего села жена Калентьева встречала своего супруга руганью, била валенком по голове, и тоже на виду у всех.

А народ работал. В полях. Помню старика Евсеева, основателя этого колхоза, бывшего председателя. В свои семьдесят лет он не оставлял колхозной работы. Помню, как он возился с лошадьми после «инспекционных» поездок Калентьева. Сокрушался, лечил, потому что придут лошади, а у них под седлами сбиты бока, кожа содрана, кровавые раны. Он с утра до вечера ездил по полям, смотрел, как обрабатывали землю.

В то время трактористы МТС не все были заинтересованы в колхозных делах. Гоняли трактора по полям, а как пахать — мельче, глубже — не обращали внимания. И старик Евсеев вызвался в добровольные контролеры, уговаривал трактористов, ругал — он был из тех, кто в действительности держал на себе хозяйство. Он был коммунистом.

Довелось мне после войны поработать и на заводе. Учился в институте и работал на Алма-Атинском заводе ферментации табаков.

Мы переносили тюки с табаком в складские помещения и в камеры ферментации. Не было тогда ни элеваторов, ни автопогрузчиков, и я предложил небольшую механизацию. Сделать совки, чтобы со второго этажа на первый подавать тюки. Незамысловатое рацпредложение, но помню,

какое сопротивление встретило оно. И прежде всего от руководства, которое было против любой реорганизации. Реорганизация меняла условия труда, оплаты, то есть надо было переходить на новые формы. На новые расценки.

Почему же не были заинтересованы руководители, которые должны были думать о том, как повысить производительность, уменьшить потери ценного сырья? Да потому, что пригрелись на теплом местечке, а дальше — хоть трава не расти. Был на заводе коммерческий директор, Гусев, и, может быть, меня упрекнут, но я опять скажу — не фронтовик, не знаю, по какой причине. Он разъезжал на двухцилиндровом мотоцикле, лихо, как Калентьев, подъезжал к воротам, они перед ним мгновенно распахивались, и он влетал во двор. На крутом вираже как бы отпускал свой мотоцикл — его подхватывали двое-трое рабочих, ставили в гараж, там чистили, смазывали и прочее. Зачем такому Гусеву было что-то перестраивать, кому-то облегчать труд, о ком-то заботиться?!

Со временем завод превратили в цех табачной фабрики, и оказалось, что не нужен ни директор, ни коммерческий директор, и вся «руководящая» надстройка, которая столько лет существовала и ничего не делала, оказалась лишней.

Мы сорок лет после войны твердим о рационализации, о новых формах организации производства, но и сегодня снова вынуждены говорить это же.

Анализируя критические выступления, прозвучавшие перед съездом и на съезде, удивляюсь, что и поныне, оказывается, существуют подобные заводики, о каком я рассказал. Они выпускают, скажем, не табаки, а шьют рубашки или делают кастрюли, еще что-то — маленькие, плохо оборудованные, несовременные, но на них полный штат: директора, плановики, коммерческие директора — руководства чуть ли не больше, чем рабочих, на этих предприятиях.

Конечно, хорошо, что мы сейчас взялись, засучив рукава, менять все это, переводить производство на качественно новый уровень. Но горько и больно, что мы этого не сделали или мало что сделали в прошедшие годы.

К сожалению, к великому сожалению, и в литературе во многом сегодня сложилась такая же почти обстановка, как и в тех, других сферах жизни, которые подвергаются сейчас острой партийной критике. Все ли в порядке в нашем главном деле, в издательском? Не слишком ли обросли (за долголетия своей службы) приятельскими узами наши редакционные советы и особенно так называемые

активы рецензентов (кормящихся на этом хлебе!), иначе чем же объяснить поток серости, о котором мы теперь говорим почти со всех возможных трибун, но который (магия, фантастика — и только!) продолжает разрастаться и наводнять прилавки книжных магазинов? А наше отношение к молодым? На словах — распахиваем ворота, а на деле (из-за боязни, что ли, что придется потесниться для них) — оставляем такую щель, что в нее и не пролезть настоящему таланту, не оторвав пуговиц. Между тем вслед за «военной», или «лейтенантской», как ее еще называют, вслед за «деревенской» (позволю себе эти условности только для наглядности) уж в полный рост встала литература так называемых «сорокалетних». Приняв лучшие традиции русской и советской классической литературы, писатели этого поколения вместе с тем несут свое вйдение мира; о многих из них можно сказать, что они знают, о чем писать и как писать; их творчество — глубоко партийное и глубоко народное. Но за этим поколением просматривается и уже начинает заявлять о себе более молодое, которое тоже требует внимания. Однако не такого, которое, к сожалению, во многом вошло у нас в практику, когда писатели, в сущности, изначально уже ставятся (и если бы только по таланту!) в неравные условия и разделяются на любимчиков и нелюбимчиков.

Неужели мы не поймем и не исправим это? Исправлять придется. Ведь высший партийный форум потребовал «решительно обновлять методы деятельности творческих союзов».

Вот сейчас мы начинаем внедрять эксперименты во все сферы нашей экономической, а следовательно (так как социальное и нравственное всегда лежит вместе), и нравственной жизни. Мы как будто только теперь узнали, что жизнь не догма, что она выдвигала и всегда будет выдвигать проблемы, и хорошо, что начинаем осознавать, что, кроме тех законов, которые мы себе написали, существуют еще, может быть, естественные законы, которых мы не нашли, но благодаря которым движется общество, возникает интерес к обработке, скажем, земли, или к строительству, или еще к чему-то. Может быть, мы упустили из виду нашу интеллигенцию, которая всегда мыслила стратегически? Наука, искусство, политика, философия — как много они могли сделать для общества еще тогда! Ведь мы превратили агронома (вот я когда начинал) в переписчика и собирателя неких сведений. Мы превратили инженера в незаин-

тересованного работника — получает он мало и бежит продавать яблоки или пивом торговать, потому что там он заработает. Мы не учитываем то обстоятельство, что человек рождается утвердить себя на земле; утвердить в высшем смысле — добром, работой.

Первой ячейкой, где происходит это самоутверждение, я бы назвал семью. Но как может утвердить себя инженер, который получает так мало, что не чувствует себя хозяином в семье и потому не удовлетворен жизнью? Раньше мужик, самый простой, обыкновенный мужик, зная, что от его трудолюбия зависит благосостояние семьи, встанет пораньше, пораньше выйдет в поле — он утверждался в глазах семьи, в глазах окружающих его людей, а семья, как известно, первоячейка государства, и благополучие семьи есть благополучие страны.

Теперь же работа иного колхозника или рабочего настолько регламентирована, что он и не может больше заработать, чем ему определено, он приходит в семью, которую не может вполне обеспечить, и его охватывает чувство беспомощности. И тогда он бросается во всевозможные и невозможные стихии, в любые отдушины, в том числе и в пьянство. Начинает «забивать козла», начинает хулиганить. А глядя на него, и дети. А ведь исстари известно: дочь по матери, сын по отцу. Мы почему-то совершенно упустили это из виду и думаем, что только ясли, детский сад могут дать все. Не могут они заменить крепкой, основательной семьи. Школьные учителя, люди компетентные, мне говорили, что дети, вышедшие из яслей и детских садов, нередко отстают в развитии от детей, которые росли и воспитывались в семье.

Позволю себе еще раз вернуться к деревне. После войны, когда жизнь в колхозах начала постепенно налаживаться и на трудодни стали выдавать хлеб, а вернее, зерно, то есть платить натурой, общая жизнь в деревне складывалась все же по-иному, чем она выглядит сейчас. То есть она была ближе к тому пониманию деревенской жизни, которая привычна народу вообще, чем прекрасна и привлекательна для русского человека в частности.

Село Гродиково стояло на упоминавшейся уже здесь речке Талас. В верховьях Таласа, выше села, была мельница с запрудой, изба мельника и амбары. День и ночь крутила эта мельница свои жернова. Приезжали туда из разных хозяйств, чтобы смолоть муки для общих нужд, и просто

колхозники, которые тогда еще сами пекли хлебы, калачи и всякие сдобы. Для разных приготовлений нужен был разный помол, и деревенский мельник хорошо знал свое искусство. Не говоря уже о том, что каждая сельская семья могла живо, то есть зримо, пользоваться плодами своего труда, но она могла оценить (на собственный вкус) то, что производила, то есть выращивала для общего стола. Из одного сорта пшеницы бывал хлеб хорош, а из другого — плох, из третьего пекли блины, оладьи, ватрушки — чего только не стряпали! Делали вареники, пельмени. То есть не могу даже и передать, какое было разнообразие блюд, приготовленных из свежих, выращенных и собранных с поля плодов. Существовал, если так можно выразиться, круг, который начинался и замыкался на одном и том же человеке — на мужике, и мужик, вернее, колхозник мог, что называется, вкусить плоды своего труда. Суть же этой замкнутости такова, что она связывала человека нравственно, духовно с землей и с тем, что он выращивал.

Сейчас в деревне не пекут хлеб. Все эти маленькие мельницы с запрудами разрушены, их не существует. Вместо них построили огромные мукомольные заводы при элеваторах, которые должны были заменить, но не заменили сельскому человеку его прежних «удобств». Обезличенная, по единому стандарту упакованная в кульки, мука привозится в райцентры. Это в лучшем случае, а в худшем — и в раймагах не всегда можно найти ее. Разбавленная (по ГОСТу) кукурузой, она не всегда пригодна на то, что нужно хозяйке. Из нее уже не выпечешь хлеб. Оладьи если и получаются, то получаются не те, ватрушки тоже не совсем те. Исчезли и сельские сепараторные, в которых можно было для семейных нужд перегонять молоко. Молоко теперь в огромных цистернах увозят на молокозаводы, а обратно оно возвращается уже в упаковках и не имеет вкуса. Войдите сейчас в любой дом в деревне — вас накормят тем же жестким, тяжелым кирпичным хлебом, какой тоннами иногда скапливается в городских булочных. Его выпекают, опять же по ГОСТу, в райцентре, и, пока довезут до села, особенно отдаленного, тем более до бригадного стана, он не только черствеет, но теряет все свои качества.

Так ли, иначе ли, но выходит, что деревенский человек лишился многих прежних преимуществ своего жития. На селе уже не пекут ни ватрушек, ни калачей — все стерлось: люди не могут вкусить от плодов своего труда. Стерлось то крестьянское, деревенское, что привлекало и горо-

жан к сельской жизни и что, несомненно, служило одним из стимулов к обработке земли.

Есть ли пути восстановления этой нравственной, а я бы сказал, и духовной связи с землей, с работой на ней — и именно через «вкушение» плодов своего труда? Думаю, пути эти сейчас намечаются. Бригадный подряд, звеньевой, семейный, наконец,— много говорится об экономической выгодности этих форм труда. А я думаю, здесь и пути к утерянной одухотворенности крестьянской работы. Один из путей. И надо искать и другие.

Вот, скажем, народное творчество. Для развития его как составной части культуры общества у нас есть много: образованность народа, интерес к духовным ценностям и доступность их, глубокие традиции народного искусства.

Мы традиционно считаем народное творчество богатым, самобытным. И верно, мы многое сохранили от дедов и прадедов. Правда, то, что прежде было наполнено грустью, тоской и мечтой о лучшей жизни (предки-то были крепостными), исполняем иногда с залихватской веселостью, ухарски, как если бы тогдашняя жизнь народа была не жизнь, а малина. Столько радости, что где уж нынешнему времени до прежнего! Но это об исполнительстве. А по сути? Народное творчество выражается не только в песнях, плясках или сказках. Оно с большой силой влияет на весь уклад нашей жизни и вытекает из нее. И тут у нас, как мне кажется, не все ладно. Взять хотя бы ритуалы новых свадеб, которые никак не могут привиться и бесконечно меняются. Или праздники, которые все однотипны, как будто у нас уже нет фантазии.

С чем все это связывается и с чем не связывается, не могу с точностью сказать. Но как-то не очень верится мне, что людям достаточно тех только песен, что сочиняют профессиональные поэты и композиторы, или обрядов, придуманных штатными культработниками. И не грустно ли, когда целыми семьями, селами, городами сидим у телевизоров и только потребляем культуру?!

Народ, если обратиться к истории, не может не творить, не может брать только то, что ему подают на блюдечке. Народ-потребитель — это не жизнеспособный народ. Если появляются симптомы этого, уже надо бить в рельсу. Да и, мне кажется, не в характере русского человека инертность. Чтобы творчество получило ход, нужно открывать какие-то те новые двери, о которых, может быть, мы еще не имеем понятия, но которые существуют в жизни.

Говорят, что самодеятельность дает возможность для творчества. С этим можно согласиться, но с оговоркой. В самодеятельности все равно ставятся пьесы профессионалов, поются песни в основном тоже профессионалов. Самодеятельность — это лишь скрытая форма все того же потребления готового, профессионально сочиненной культуры. В самодеятельности та же песня, что по радио, по телевизору. И получается, что иной концерт сегодня — это либо мешанина современного со стародавним, либо подражания каким-то образцам псевдопопулярной музыки и исполнительства.

Меня всегда настораживает, когда что-то похожее выдается за истинное. Но не меньше настораживает и, я считаю, приносит вред, когда настоящее, истинное вдруг подается облегченно, происходит смещение не только понятий, но и существа дела.

Как-то пригласили меня на встречу со школьниками-выпускниками, которые по окончании собрались идти работать в животноводство. Встреча проходила в огромном концертном зале «Россия». И вот выходят на трибуну взрослые, говорят разные слова ребятам, потом выходят сами ребята, и я чувствую, что в речах их звучит какая-то фальшь. Девочка, к примеру, говорит, я люблю труд животноводов, потому что лучше этого труда нет ничего. Ей хлопают, а она стеснительно жмется. Ей неловко. Неловко потому, что она знает, что сказала неправду и что есть куда более привлекательные профессии. Стать ученым или актрисой, чем же плохо? Нет, не плохо. Но она не может сказать этого, а в сущности не может объяснить — ни себе, ни другим — свой патриотический поступок. А ведь дело заключается не в красоте той или иной профессии, а в нуждах страны в данной, скажем, профессии на этом историческом отрезке времени. Мы в свое время тоже хотели стать агрономами, животноводами, учеными, артистами, а нас позвала война, и мы стали солдатами. Перед государством и народом стоит сейчас проблема — решить Продовольственную программу, и не по любви, а по долгу должна идти в сельское хозяйство молодежь, и сознавать, и гордиться, что отдает свои силы, знания и молодость общему делу, общему благополучию.

Если ты входишь в жизнь с желанием отдать себя общему делу, совершить, не думая, сколько тебе заплатят (конечно, при этом должна быть общая уверенность, что настоящий труд будет и оплачен по-настоящему), жить работой, которую ты не просто избрал, а которая выпала тебе и твоему

поколению в силу определенных исторических обстоятельств, тогда не придется тебе искать единомышленников по этому духовному состоянию бескорыстности, ты окажешься среди них, и, как на лакмусовой бумажке, проявится зло, против которого надо бороться. Тогда выработается в тебе позиция, партийная по отношению к каждому явлению — нравственному и социальному. Позиция — это первая ступень, которая позволяет стать гражданином.

Думаю, что каждый из нас, формируя свой характер — а я убежден, что человек в очень большой степени строит себя сам,— каждый из нас тем не менее должен осознавать себя и выразителем народного характера. К сожалению, невольно (по количеству исследований о нем) возникает представление, что народный характер — это творение литературы, а не самой жизни. Что народный характер можно найти в литературном произведении скорее, чем в жизни. А с точки зрения литературы народный характер — это некая субстанция, единица измерения чего-то. Но в жизни, по моим писательским и неписательским наблюдениям, это не единая и неизменная субстанция, как она существует в литературе. Более того, народный характер проявляется в зависимости от социальной обстановки жизни в тот или иной данный момент. В одном случае народ взрывается и творит революцию или выходит на Куликово поле, чтобы разбить орды поработителей. Или встает на Бородинском поле. Или, как в этой войне,— под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге. Он способен проявиться и так — на пустом заснеженном поле в три месяца вырастает завод и выпускает танки.

И этот же народ может как-то поникнуть духом, опустить руки, годами не проявлять себя с той энергией, как это можно было бы ожидать от него. Созерцать, как писал об этом Достоевский. В последнее десятилетие, мне кажется, мы где-то были близки к такому созерцанию. Созвучие этим своим мыслям я нашел в словах Политического доклада ЦК КПСС съезду. Отмечалось, что в течение ряда лет «проблемы в развитии страны нарастали быстрее, чем решались. Инертность, застылость форм и методов управления, снижение динамизма в работе, нарастание бюрократизма — все это наносило немалый ущерб делу. В жизни общества начали проступать застойные явления».

Нет, нельзя говорить о народном характере как о чем-то

раз и навсегда определившемся, единой и недвижимой субстанции. Он постоянно в движении и зависит от форм жизни, от социальной обстановки и проявляется именно в зависимости от этих обстоятельств; и литература в изображении народного характера не может идти по одной колее — надо не бояться сойти с нее, а раскрывать все проявления народного характера, чтобы затем из множества этих проявлений выкристаллизовался тот нужный сегодня тип человека, который бы сейчас активно включился в переустройство общества.

Я думаю, сегодня общество достигло той степени зрелости, которая позволяет каждому осознать свое место. И молодым тоже. И в связи с этим хочу еще раз вернуться к своей молодости. Не своей лично, а поколения. С одной стороны, наше поколение проявило прекрасные качества — любовь к Родине, умение работать и желание работать. Честность, справедливость — все это было у нас. Но, с другой стороны, перед лицом калентьевых мы как-то спасовали. А вернее, мы вовремя не разглядели в них социальной опасности. У нас было много дел — надо было восстанавливать народное хозяйство, надо было учиться, растить детей. Проблем хватало, и не все и не всегда они решались быстро и наилучшим образом. И в этих трудных условиях, сначала как бы в тени, развивались калентьевы. Может быть, если бы не калентьевы, мы бы не запустили так наше сельское хозяйство? И если бы мы вовремя рассмотрели инертность таких «руководителей», как Гусев, их сопротивление любой перестройке, не стоял бы сегодня так остро вопрос о научно-техническом ускорении?

Понадобилось всему обществу, и нашему поколению тоже, немало времени, чтобы возмужать, чтобы зрело и действенно воспротивиться проявлениям калентьевских черт. Эту силу — выступить против носителей негативных явлений и пороков — общество наше накопило не в один день. Мы всегда были против всяческих проявлений зла, но чтоб вот так, как сегодня, выступить против конкретных носителей зла, потребовалась, как видим, особая гражданская, я бы сказал, революционная зрелость.

Все мы хотим, чтобы это наше достояние крепло и развивалось. Настоящее, осененное двумя крылами — уроками прошлого и стратегией будущего,— рождает надежды.

Юрий РОСТ

КОНСПЕКТ ОДНОЙ СУДЬБЫ

Такого героя, наверное, можно найти, но не правильнее ли нам поближе узнать тружеников, которые так жили всю жизнь, не дожидаясь, когда другие люди объяснят нам, что можно (и нужно) бороться с разными тяготами быта и работы и побеждать их, что оставаться честным и нравственным человеком можно (и нужно), несмотря на различные препятствия судьбы.

...И поехал я в совхоз «Дубовое» в Белгородскую область за примером такой жизни, а как вернулся — получил вдогонку письмо:

«...у нас в клубе состоялся отчет бригадиров-животноводов. Отчитывалась и я. Были районные руководители. Мы за месяц недодоили по четырнадцать килограммов молока на корову против прошлого года. Стыдит меня секретарь райкома: как вам, Римма Борисовна, не стыдно. Такой-то вы подарок съезду приготовили, а еще член райкома.

А мне и правда стыдно, только не за то, что мы меньше надоили, а за то, что все у нас «по-старому», хоть и говорим «ветер перемен». Оставили коров без кормов и думают, что мы одним коммунистическим энтузиазмом надоим больше 4 тысяч... Стыдно стоять перед всем районом опустив голову...

...Муж и дети здоровы, все, а мой Санька и правда хороший парень. Вчера зарплату перечислил в Фонд. Сам. Я очень рада. Это для меня очень дорого.

Извините за почерк, я его испортила занятиями по стенографии...»

Если кого-то интересует только сюжет, то я быстренько его изложу, чтобы зря не интриговать читателя. Городская жительница Римма Оглоблина переехала в деревню, где поселилась навсегда, став дояркой, а потом и заведующей фермой (или, поскольку речь о совхозе, начальником живот-

новодческого цеха). В последние годы была членом райкома партии и даже членом бюро. Коровы при ней стали давать больше молока и выглядеть много лучше прошлого. Все телята выживают. Муж Борис Иванович Корлыханов — добрый семьянин. Внуки растут, и дети при ней. Дочь — медсестра, младший сын учится. Старший — на ферме скотником. Римма любит справедливость, современных поэтов и в свободное время изучает стенографию.

Вот и все. Обычная вроде жизнь, отмеченная одной только особенностью: в то время как миллионы сельских жителей двигались из деревни в город, она, имея городскую специальность, направилась в деревню.

Вроде как против течения.

А теперь с подробностями, как если бы Римма Борисовна сама рассказывала о своей жизни, глядя на нас со стороны.

Итак, родилась она в городе Уфе перед войной незадолго и, что война идет, узнала, когда подросла. Хотя военные действия происходили далеко от Башкирии, мира она не знала с первых своих дней, потому что отец с матерью были сильно пьющие и развлекали себя однообразно, но шумно. Частые споры решали, применяя простые аргументы — что под руки попадет. Отец, Борис Иванович Оглоблин, литературным языком себя не обременял, обходясь десятком однокоренных слов, которыми пользовался с большим искусством.

Старшие дочери при его появлении исчезали из дому, а младшая, Римма, спасалась в комнате у тети Тани, которая была инвалидом от травмы с детства и самостоятельно занимала вторую половину старой бани, где жили Оглоблины.

Уход хозяина на фронт в любой семье поселял тревогу, а оглоблинской принес облегчение. Но все-таки, когда он вернулся с войны, дети были рады. Мать же находилась на своей мирной работе в детской кухне, и отец, огорченный ее отсутствием, учинил скандал. Римма ушла к тете Тане, где и жила, помогая ей вязать теплые варежки для фронта и вкладывая в них записки, чтоб с фронта возвращались с победой.

Тетя шила и вязала без остановки. Свои изделия, за которые платили смешными деньгами, она с помощью Риммы относила в центр города, где была контора и выдавали пряжу.

После войны этих денег тоже не стало, и они жили вдвоем, обходясь малым. Получив пенсионное пособие, покупали подсолнечное масло, крупу и вермишель (картошка и кое-какой лук были свои) и, распределив питание на месяц, сводили концы с концами. Иногда соседка приносила им костей, которые брал с работы ее муж-мясник, или еще какой-нибудь случайный в те годы провиант, и они разнообразили им стол.

Тетя много читала, потому что мудрые руки во время вязания освобождали ей глаза, и она потом вместо сказок пересказывала Римме прекрасную и интересную книжную жизнь. Поэтому, поступив в школу, где во время войны был госпиталь для раненых (в нем, по совпадению, лежал и мой отец), Римма стала прилежно заниматься изучением наук и преуспела, получив по окончании семи классов похвальный лист.

Тетя была верующей, но, когда Римму приняли в пионеры, она, чтоб не смущать растущую социальную совесть племянницы, убрала из комнаты все иконы, оставив себе одну маленькую под подушкой.

До окончания школы было еще два события, которые заняли место в воспоминаниях Риммы Борисовны. Сестра Галя, определившись курьером в банк, получила первую зарплату — 300(30) рублей — и купила Римме на базаре яблоко. Это было первое купленное ей яблоко, и она не откусила от него, а сразу понесла к тете, нюхая по дороге непривычный запах фрукта. Дома они яблоко разделили и съели. А через год произошло другое событие — Римму принимали в комсомол. Это был большой праздник, и, чтобы он запомнился надолго, тетя сварила рисовую кашу, а соседи тетя Фрося и дядя Коля Скорых подарили девушке фильдеперсовые чулки и форменное школьное платье.

Такое слабо раздраженное событиями детство предполагало и дальше неспешную жизнь, но наступило время выбирать направление самостоятельной жизни, и оказалось, что Римма обладает редкой к этому способностью.

Началом она определила электромеханический техникум, где учиться было не особенно просто, поскольку в школе из сострадания к сироте при живых родителях ей ставили оценки покрупней.

В день первой стипендии ее повстречал отец, который велел деньги отдать ему, но поскольку Римма уже отдала их тете, то он, недовольный этим, опять всех побил, и после

такого буйного вечера на утренних занятиях она отвечала скверно. Преподавательница, не вникая в житейские проблемы, посоветовала ей вместо учения ехать куда подальше и пасти коров, а не быть техником-связистом. Эта наставница, как теперь видно, насчет коров как в воду смотрела, но Римма об этом еще не знала и, окончив техникум, поступила на завод.

На том заводе с ней произошел случай.

В цехе горел план, и она с подругой Майей захотела плану помочь, оставшись после вечерней смены мотать катушки индуктивности. В полночь они решили отдохнуть от работы и прогуляться по коридору, где дул свежий сквознячок, но там оказалось дымно, и отдыха не получилось, потому что, спустившись на этаж ниже, они обнаружили пожар в другом цехе — там активно горела электропроводка у станков. Римма прицепила шланг к пожарному крану и сильнодействующей водой пыталась скрасить разрушительную картину, забыв знания, полученные в техникуме. Ток, пробежав по струе от горящей электропроводки, тут же намекнул, однако, о проводимости воды, ударив высоким напряжением. Она сразу все вспомнила про проводники и диэлектрики и, скинув с себя блузку и юбку, обмотала ими брандспойт, создав изоляцию. Майя помогала ей сначала, а потом вызвала пожарных, которые нашли Римму в одной нательной одежде со шлангом в руках и, похвалив за смекалку, отпустили ее дальше доматывать необходимые плану катушки индуктивности.

Начальник цеха утром нашел катушки не вполне намотанными и обругал работниц, а они, не объяснив причину из скромности, пошли спать и спали, пока днем не пришла директорская машина для поездки на завод. К этому времени там разобрались в причине ненамотки катушек и, найдя эту причину героической, выпустили «Молнию» с приветствием.

Вскоре Римму приняли в партию, и тетя Таня пришла к райкому с букетом цветов, которые в ту пору не росли в Уфе.

Тут же, на заводе, Римма полюбила молодого слесаря, и они пешком пошли с ним вдвоем за четырнадцать километров знакомиться с его родителями.

Будущая свекровь, видимо, предполагала другую невесту для сына и поэтому, решив испытать Римму на хозяйскую сметку, дала ей задание с подвохом — изжарить яичницу, словно знала, что сырых яиц та никогда не видела, по-

скольку соседи если иногда и дарили им с тетей, то крутые. На кухне Римма взяла яйцо и разбила его о край стола, а а когда оно вытекло, смекнула: мол, надо бить над сковородкой, налила туда подсолнечного масла и кое-как справилась. Свекрови блюдо не понравилось, и она сказала: мать, что ли, не научила? Римме стало себя жалко (тем более тетя к этому смотру умерла) и захотелось сказать, что родители ее бросили,— на что свекровь тут же сказала сыну, что нечего подбирать брошенное. Но он оказался самостоятельным, и они, поженившись, поехали в Рязань, где есть электромеханическое высшее образование, которое молодому мужу хотелось получить. В аванс будущих трудовых свершений ему выдавали сорок рублей стипендии. Остальные деньги на жизнь Римма зарабатывала сама в цехе связи нефтеперерабатывающего завода. Вскоре у молодых родился ребенок. Ему неудачно обрезали пуповину, и начался сепсис, но он все-таки выжил, хотя очень страдал от всякого шума из-за головных болей. Поэтому, когда родилась дочка Лариса, она с первых минут знала, что шуметь нельзя, и не шумела. А у мужа однажды не выдержали нервы, и он накричал на сына, который по совпадению через две недели умер, и, хотя муж не был виноват, Римма затаила обиду и горечь. А тут еще некстати у нее на заводе украли деньги. Свекровь, переехавшая со свекром к ним в Рязань, не пустила Римму обедать, рассудив, раз она промотала деньги — пусть идет из-за стола. Она ушла и попросила директора завода направить ее в какой-нибудь филиал предприятия подальше от Рязани. Директор знал за ней хорошую работу и помог устроиться в Серпуховское СМУ связи, куда Римма, забрав из детсада Ларису и оставив открытку, чтоб не искали, отправилась в одном только платье.

В Серпухове, едва получив линейные приборы, она заболела, и ее увезли в больницу, а монтер Сережа забрал одинокую Ларису в дом, где снимал комнату у Ольги Матвеевны Поповой. Та оставила Римму и Ларису у себя, и они подружились с ее внучкой Валей и весело дрались перед сном за подушки, которых у Ольги Матвеевны было недостаточно для всех. Римма в этом доме почувствовала семейное тепло, хотя была до недавнего времени незнакомым Поповым человеком, и от этого тепла ей бывало не только хорошо, но и грустно. Ольга Матвеевна на лето забрала девочку в южный город Баку, где ее бездетные сестры нашили Ларисе красивой одежды и баловали пахлавой.

В Серпухове строительство объекта связи направлялось к

концу, и подходящее место для сознательной работы Риммы Оглоблиной оказалось в Никополе. Переехав туда с дочерью, она поселилась сначала в общежитии, а потом на квартире у другой хорошей женщины. В будние дни Римма, как всегда, работала, а в воскресенье ходила в парк. Там она, пока дочь каталась на педальной машине, взятой напрокат за десять копеек в час, читала книгу. В этом парке Лариса по детской непосредственности познакомилась со взрослым человеком Борисом Ивановичем Корлыхановым, который без труда и весело приделал на место оторвавшееся колесо, что свидетельствовало о его умелых руках и добром сердце.

Имея образование от автомеханического техникума, он работал на производстве, не зная привычки пить или курить и оценивая продукты не только по их вкусу, но и пользе. Два года он ходил в гости к Римме с Ларисой, принося на гостинец лимоны и яблоки, а потом они зарегистрировались, хотя Римма опасалась снова начинать желанную семейную жизнь.

Они сняли другую, большую комнату и оба перешли работать на завод ферросплавов, поскольку Борис Иванович считал, что семья — это когда вместе, а не когда жена ездит по командировкам, как было на прежней ее работе.

Уже по этому введению в жизнь видно, что у Риммы Оглоблиной в детстве и ранней молодости радости было не много. У человека всегда могут найтись оправдания для бесполезной жизни. Тогда он отделяет себя от общества и замыкается в своем мире. Он становится «обитателем». И все гражданственное, требующее усилий и преодолений, тихо замирает, потому что гражданин — это не звание, а процесс. Проследим за ним на примере этой женщины.

Немного пожив в тепле, Римма получила телеграмму из Уфы от мамы, которая сообщила, что у нее отнялись ноги и некому ухаживать за ней в больнице. Римма всю жизнь хотела чувствовать, что у нее есть мать, и потому обрадовалась даже этому горестному сообщению. Собрав вещи в контейнер и взяв расчет, семья поехала в Уфу, хотя Борис Иванович полагал, что Римме надо сначала съездить одной и убедиться в необходимости ломать наметившуюся жизнь в Никополе.

В Уфу они прибыли в марте и, зайдя домой, увидели запустение, поскольку отец вынужденно пребывал в Читинской области, а мать лежала в неизвестной больнице. Римма,

Борис Иванович и Лариса наскоро убрали квартиру и собрались искать больницу, но тут своими ногами пришла домой мама, которая и не думала болеть, а телеграмму послала, поспорив со своими подружками и выпив бутылочку-другую какого-нибудь дешевого вина.

Впоследствии, правда, у матери отняли ногу, но пока она расстроилась из-за своей шутки, которая сковала ее веселую, как ей представлялось, жизнь, и отказалась прописать на своей жилплощади неожиданную семью, днем работавшую на заводе, а вечером читавшую книжки.

Борис Иванович мечтал о сыне, чтобы передать ему все свое понимание жизни и умение работать руками с помощью головы, но сын не рождался, и он лишний раз не говорил Римме о своих мечтаниях, чтобы она не чувствовала себя виноватой.

Римма ходила на работу мимо детского дома и носила лишенным душевного тепла детям разные сладости, чтобы скрасить им раннюю общественную жизнь. Дети кричали ей: «Мама пришла!» — и хотя эти радостные восклицания ранили ее сердце, как любой нормальной женщине, она продолжала ходить мимо приюта, пока однажды не увидела, как воспитательница турнула с невысокой деревянной лестницы двухлетнего мальчика и тот упал, заплакав.

Тут Римма, забыв, что опаздывает на работу, возмущенно закричала на женщину, и директорша, выйдя на шум, сообщила, что этот ребенок самый агрессивный, понимая, впрочем, что даже такое враждебное слово по отношению к малому человеку не оправдывает воспитателей... Римма вместо дискуссии, посоветовавшись с Борисом Ивановичем, взяла Саньку к себе, хотя условия не очень подходили, и они решили покинуть Уфу, чтобы мальчику, когда он вырастет, не испортили жизнь сообщением, что Корлыхановы — неродные родители.

Так они и сделали, уехав в Михайловский район Амурской области, в совхоз «Ярославский». Ехали десять дней с другими переселенцами, и не было в вагоне ни одной, с точки зрения Бориса Ивановича, нормальной семьи, а все словно прятались от кого-то или, наоборот, образовывали недолговечные браки непосредственно в железнодорожном составе в надежде, что проживут на новом месте недолго. Корлыхановы же ехали навсегда, тем более что накануне отъезда из Уфы у них наконец родился еще и третий ребенок — сын Боря, и они собирались растить детей Ларису, Сашу и Борю на земле.

Амурские старожилы разгадали их серьезные намерения и, встретив радушно, носили в дом для поддержания детей яйца, мясо и пироги. Борис Иванович пошел работать завгаром, а Римма, нянчась с грудным дитем и воспитывая Ларису с Санькой, в первый же день записалась в библиотеку в художественную самодеятельность — читать стихи.

Там же в совхозном поселении Римма встретила на улице впервые корову и, очень испугавшись рогов, заскочила в лужу и долго стояла, пока на выручку не подошел местный тракторист. «Вы, дядя, уберите корову»,— попросила она, а он рассмеялся, сказав, что животное — бычок. Скоро, впрочем, она уже хорошо разбиралась, кто есть кто.

На партсобрании сказали, что с животноводством в хозяйстве неважные дела, поскольку переселенцы неохотно вставали в три утра и не любили пропадать до вечера на ферме. Поэтому коров передавали из рук в руки, а часто до них даже случайные руки не доходили, так что лови любую корову, садись и дои. Вследствие этого скотина была безымянная, и Римма, став по призыву того собрания дояркой, дала коровам всякие имена: Ромашка, Горошина, Веснушка... Скоро она проявила себя заинтересованным, хотя пока и малознающим в этом деле человеком, и ее поставили как бы на время заведующей маленькой фермой.

Жизнь у них наконец наладилась и вошла после бурной весны с паводками в спокойное русло оседлых дней, когда неожиданно пришло письмо из-под Белгорода от сестры Гали.

Галя писала, что двое ребят ее здоровы, и сама она здорова, а третья их сестра, Тамара, умерла, оставив сиротами троих детей, а муж ее сошелся с шабашницей-гуцулкой, и теперь ищи его. Потом, правда, выяснилось, что искать его негде, так как он, поживя сколько-то времени в стороне и не балуя детей алиментами, пошел на охоту за утками и утонул. Но живая сестра Галя этого не знала, зато она знала точно, что ее собственный муж Женька, узнав, что она решила пригреть сирот, сам куда-то дезертировал с местной Леной и теперь, не проживая в Дубовом, мало что может добавить утешительного к Галиной зарплате. Так что не приедет ли Римма помочь поставить на ноги детей.

Амурскому совхозу было жаль терять хороших работников, и директор предложил, чтобы сестра Риммы Борисов-

ны ехала с детьми к ним на Дальний Восток для окончательного проживания. Но у сирот в Дубовом остались могила матери и жилье, к тому же у Гали не было мужней подмоги, а у Риммы была, да и детей надо было бы тревожить пятерых против троих. Поэтому Корлыхановы, не успев нажиться тихой жизнью, потянулись в Белгородскую область, в Белгородский район, в совхоз «Дубовое», где поселились вместе с остальными детьми и сестрой, общим счетом одиннадцать человек.

Теперь мы приблизились к тому моменту, ради чего затеяли рассказ,— к современной жизни Риммы Борисовны. То прозрение, которое происходит со многими работниками на наших глазах и о котором они спешат оповестить мир, коробит хорошо трудящегося всю жизнь человека. Если тебе действительно стало очевидно, что делать, то становись к станку, иди в поле, садись к столу, а не торопись к микрофону кукарекать о рассвете. Сами увидим, глаза есть. Для Риммы Корлыхановой и раньше не было вопроса, хорошо надо работать или худо. Так же как не было альтернативы — работать или жить. Это — одно дело. И в нем участвовали все, кто был рядом с ней.

В Дубовом их, в отличие от прошлого, встретили не так радушно. Местные претенденты на лучшие места заподозрили, что Галина Борисовна устроит Римму Борисовну по части связи или в контору, поскольку у пришлой сестры — техникум, образование, а местная — заведующая машбюро в бухгалтерии. Это образование возбудило дубовские умы настолько, что обсуждение вопроса проводилось в магазине, в присутствии самого предмета, без учета тонкости и ранимости женской души.

Чтобы успокоить себя и общественное мнение, Римма направилась на ферму дояркой, где ей выделили группу первотелок и определили план — 3600 литров молока от каждой коровки. К тому моменту относится начало ее новой жизни, которая, впрочем, была продолжением старой, в свою очередь вытекающей из вечной. В этой вечной жизни есть задачи, которые не претерпевают изменений: человек должен продолжить свой род, обеспечить его насущным хлебом и хлеб этот добыть пóтом, не уронив чести.

В первый год она надоила по 3500 литров и услышала в свой адрес непривычные слова о том, что она, будучи

членом партии, тянет ферму назад, раз недодала 100 литров к плану.

Считая, что пренебрежение своими правами такое же зло, как и невыполнение обязанностей, Римма Борисовна поехала в район и, выяснив, что максимальный план на первотелок 2800 литров в год, стала передовиком и получила шестьдесят рублей премии. Заодно она сообразила, что «лишние» ее литры приписывают другой доярке, которую собирались засветить совхозным маяком для всеобщего примера, и соображения свои изложила на собрании, чем не вызвала всеобщего одобрения. Но это ее мало смущало, поскольку она знала, что говорит правду, а если правда — то ничего страшного.

Вообще обман государства, даже если кто-то поощрял его высокими наградами, не прельщал Римму Борисовну. Честно работая на производстве молока, она обратила внимание, что доярка-орденоносец может заскучавшую буренку ударить палкой по ногам, и тогда она не будет вставать с подстилки и ее отдадут на мясо, а вместо нее дадут корову побойчее.

Поскольку у Риммы Борисовны, кроме надоев, росли дети, которых хотелось воспитать порядочными гражданами, то она посчитала необходимым продолжить борьбу за линию честной жизни.

Она написала в газету статью про то, что авторитет передовика надо зарабатывать честно, чем прибавила себе авторитета тоже, хотя многие и посчитали, что лучше замести сор в угол избы и прикрыть подходящей ко времени фразой.

Между тем многочисленные дети вырастали и становились хорошими людьми. Сын умершей Тамары Володя стал художником в совхозе, а обе дочери, получив посильное образование, вышли замуж — одна, Марина, за порядочного следователя, а другая, Таня, за племянника Бориса Ивановича Корлыханова. За собственных детей Корлыхановым тоже не стыдно, потому что и они заняты делом, соответствующим их возрасту и умению. Младший, Боря, учится в школе и каждый день ездит в город тренироваться на способного борца-самбиста, средний, Саша, работает на ферме в пленочном сарае, куда невозможно найти человека, потому что летом там при неважной вентиляции жарко, весной и осенью стопроцентная влажность, а зимой такой холод, что симпатичные симменталки обрастают защитной шерстью, как медведи (хотя, добавив денег, можно было бы пост-

роить нормальное помещение для скота), а старшая, Лариса, пребывая в медицинских сестрах, воспитывает в любви с мужем двух сыновей. Эхо прошлой жизни все-таки напоминает Римме о невзгодах, но она с домочадцами вместе справляется с ранящими душу отголосками, как это было в школьной истории с Сашей.

В свое время Корлыхановы просто-таки замели следы своей поездкой в Амурскую область, чтобы сын не узнал про детский дом, о котором не помнил по малолетству, и не травмировал крепнувшую психику раздумьями о своем раннем сиротстве. Поэтому для семьи неожиданным горем обернулось неумное (а может, есть и другое слово, поточней) поведение школьной директрисы Валентины Николаевны, которая, войдя в класс, сказала: дети, не обижайте Сашу Корлыханова и Леночку Черкашину — у них родители неродные.

Это сообщение расстроило Сашу, и он упрекнул Римму и Бориса Ивановича, зачем они его сделали сыном, возможно, он родился в генеральской семье. Но это уже семейное прошлое, и Саша сам смеется над тогдашней своей детской обидой. Он сейчас работает на ферме, помогая матери, а отец пошел, соскучившись по своему рабочему классу, на близкий от дома завод.

Став заведующей фермой, Римма основательно улучшила молочные показатели и порядок на ферме. Количество продукта и его жирность повысились, а работники, которые слабо отличали государственное имущество и корма от своих, получили трудную жизнь и стали писать письма, ссылаясь на трудности характера заведующей. Эти трудности выразились в том, что однажды, потребовав от одного скотника выполнения работы, которой он не имел в виду, и услышав в ответ много однокоренных слов, знакомых ей с малолетства от отца, она, не выдержав и не ответив ему понятной скотнику фразеологией (что не обидело бы его), сказала, что он ведет себя, как фашист, в чем, разумеется, была не права.

Это сорвавшееся с языка слово выработалось в ней отчасти и другой историей, которая произошла летом, когда Римма Борисовна, устав бороться с трудными подростками, угонявшими из конюшни лошадей и доводившими их до изнеможения, поняла, что не надо с ними бороться, а лучше найти к ним уважительный подход, раз им так хочется скакать на лошади взад-вперед. Она написала отпетому Вите Зайцеву, пребывавшему в постоянном поиске анти-

общественных приключений, по имени-отчеству: уважаемый Виктор Анатольевич, очень прошу к шести часам утра прийти на ферму.

Получив записку, Виктор Анатольевич положил ее под подушку от уважения к бумаге, которая донесла до него человеческое обращение, и пришел к половине пятого на ферму, где услышал предложение получить лошадь в законное пользование и отправиться с другими товарищами на ответственную работу — пасти и стеречь коров на летнем пастбище. Они поселились там в вагончике и мешали, по-видимому, сторожам, продающим иногда совхозную клубнику, как свою, настолько, что те потребовали забрать подростков, или они столкнут их вагончик в овраг. И хотя угрозу выполнить не успели, проявление добра в Вите Зайцеве на этом закончилось, поскольку, пригласив подростков пособирать бросовой ягоды на еду, сторожа одновременно пригласили и милицию, обвинив мальчишек в воровстве, чем нарушили у них зарождающееся доверие к взрослому человеку.

Понятно, что Римма не оставила без внимания такой случай, и у нее прибавилось недругов, но это, хотя и волновало ее нервы, не отразилось на отношении к делу и производству общественного продукта, хотя у некоторых создалось впечатление, что она не вполне обучена грамоте, поскольку понимает слова из газет и партийных решений в их прямом только смысле и готова их выполнять, а не только подразумевать, о чем однажды своими словами рассказала на пленуме райкома, членом бюро которого была в течение пяти лет. Вернее, она рассказала о том, о чем теперь говорят и с более высокой трибуны, а тогда говорили только дома, на кухне, когда дети улягутся спать.

Она рассказала, как приехала лаборантка и, взяв пробы молока, порекомендовала Римме Борисовне подарить ей пару-тройку ящиков клубники, раз совхоз выращивает фрукты-ягоды, и тем обеспечить первый сорт основной продукции фермы.

Но у Корлыхановой не было своей клубники, а взять совхозную не позволяли ей определенные взгляды, поэтому она спросила у собравшихся на пленуме: может быть, не имеет смысла биться за высокие надои и жирность, если можно их повысить таким способом?

И хотя многие в зале были согласны с Корлыхановой, слух их в значительной степени был оскорблен,

и они сказали: ты бы пожаловалась на этот и другие случаи с глазу на глаз. Но она в этом смысле оказалась слабо понимающим человеком, тем более что у нее в кармане двадцать пять лет лежит партийный билет и она с ним сроднилась.

На этом месте и кончить бы сагу о жизни Риммы Борисовны, но мешают звонок в дверь и девушка вся в слезах, которая оказалась невестой другого племянника Бориса Ивановича Корлыханова. Девушка протянула письмо и спросила, зачем Римма его написала, хотя Римма не писала его, и ни выражения, ни почерк не подходили к ней, а только подпись «Р. Корлыханова» — и то не ее. Письмо это имело целью расторгнуть счастье девушки с их родственником Юрой, чтобы внести горечь в семейные отношения, и было написано кем-то из людей, обидевшихся на Римму, но эта недобрая рукопись возымела после выяснения действие, обратное ожидаемому, и скоро предстояла свадьба. А накануне завфермой повезла забивать на мясо трех упитанных коров килограммов по семьсот — восемьсот каждая. Забойщик Ребров сказал ей, что раз у нее завтра торжество, то пусть едет домой, поскольку сегодня забоя не будет, а после приедет и получит квитанцию.

По дороге в Дубовое она с сожалением подумала, что меняет дело на праздник, и утром вернулась на мясокомбинат, а там в базу, где стояли ее кормленые симменталки, уже маялись в ожидании судьбы три другие коровы, которые при жизни, видимо, недоедали. «А мои где коровы?» — спрашивает Римма забойщика Реброва, на что тот не без юмора отвечает, что убежали, а если тебе быстро надо, то бери своих и иди.

Она пошла, только не на свадьбу, а, заподозрив будущее воровство мяса, привезла Аллочку-доярку, которую знали симменталки и на чей зов отозвались, прибежав из общего стада других, похожих коров.

На свадьбу она опоздала, но это никого не обидело, а обидело, что на следующий день по случаю приехавший на передовую ферму радиокорреспондент попросил Римму Борисовну рассказать о ее рабочем дне и незаметно включил магнитофон, и вся область услышала, что возможно обкрадывание и обман одних на фоне честного труда других людей. Но поскольку это ведь правда, то Корлыханову

это не побеспокоило, потому как она считает, что если правда — то это ничего.

Тут я, пожалуй, поставлю точку, хотя читатель, возможно, ждет благополучного конца в этой истории и резюме. Конца пока нет, потому что, хотя Римма и нашла радость в семье, в работе, жизнь продолжается. А резюме? Никакое отсутствие удобных условий жизни не может помешать человеку, если он хочет быть честным тружеником, счастливым в семье и делать то, что возможно.

Может это быть резюме?

Георгий МАРКОВ

ИЗ ЖИЗНИ ТАИСИИ СПАСОВОЙ

(Быль)

Как обычно, остановился я в гостинице Промзоны. А на другой день отправился в поездку по районам. Стоял знойный июнь. Землю заливала свежая зелень березовых перелесков и трав.

Через неделю я вернулся из районов пропыленный до последней нитки на трактах и проселках. Позади было почти две тысячи километров пути, десятки встреч и бесед с людьми, часто под открытым небом.

Помылся, почистил костюм, переодел рубашку. Спустился на первый этаж, где размещался ресторан. День клонился к вечеру, а я еще не обедал.

— А вас тут одна женщина ждет. Уж вы не откажите, выслушайте ее,— сказала дежурная, принимая ключ от комнаты и укладывая его в круглое отверстие стойки, возле которой она стояла.

— И такая она несчастная! — воскликнула вторая женщина, в белом переднике, с полотенцем в руке. Это была, по-видимому, горничная.

— О ком вы говорите? — удивился я и осмотрелся. Вокруг, кроме нас троих, никого не было; но не было две-три секунды. Вдруг послышалось шарканье ног, и я увидел вышедшую откуда-то из-за угла вестибюля еще одну женщину.

Несмотря на жару, она была плотно повязана платком, одета в черный плащ. Если бы в тот миг кто-нибудь спросил меня, сколько лет этой женщине, я бы без сомнений сказал:

— За семьдесят, ручаюсь!

Но вот женщина подняла закутанную голову, расправила страдальчески перекошенные под плащом плечи, ловко и быстро кинулась навстречу мне, стремительно опустилась на колени.

— Помогите! — со стоном проговорила она, и плечи ее вздернулись и затряслись.

В первое мгновение я не понял, что происходит. Просто был ошарашен. Она просит помощи и поэтому встала на колени — обожгла меня догадка, и я почувствовал, как острая боль молнией прошла через грудь.

— Что вы делаете?! Постыдитесь. И встаньте сейчас же,— перехваченным голосом закричал я и, схватив женщину за вздутые рукава плаща, стал поднимать ее. Она послушно встала, не испытывая ни малейшей надобности в моей подмоге. Теперь я увидел ее молодое лицо. Из больших, широко открытых глаз текли слезы, оставляя на запыленных щеках розовые полоски. Она что-то невнятно говорила, губы ее и подбородок подергивались, не подчинялись ей, причиняя муку.

— А пройдите в банкетный зал. Там пусто. Там она вам все спокойно и обскажет,— проговорила дежурная и открыла тяжелую дверь с массивной медной ручкой.

Мы вошли в просторную комнату, заставленную ажурными стульями и продолговатым столом без скатерти и посуды. Дежурная поспешила закрыть за нами дверь.

— Присаживайтесь, что у вас? — сказал я, придвигая к женщине стул и выискивая у стола подходящее сиденье и для себя.

Но женщина не только не села, она отступила еще на полшага от меня и заплакала навзрыд. Я попытался успокоить ее, но безуспешно. Она не могла совладать с собой.

— Знаете что, уважаемая, либо вы начнете рассказывать, зачем я вам потребовался, либо я распрощаюсь с вами до лучших времен,— проговорил я жестким тоном, понимая, что как-то надо остановить ее истерику.

По-видимому, это произвело на нее впечатление, она всхлипнула еще раз-другой и умолкла. Наконец мы сели друг против друга.

— Извините, у меня такая беда,— заговорила она.— Я гоняюсь за вами четвертый день... На мотоцикле с коляской. Сродный брат за рулем... Я в Поломошное, а вы уже в Кедровке; я в Кедровку, а вы уже в Истоке; я в Исток, а вы уже в Промзоне...

— Ну вот и нагнали... А кто вы? Что у вас за дело?

— Я... я... Спасова Таисия Иннокентьевна. Бухгалтер птицекомбината из Березовки... Бывший бухгалтер... теперь осужденная, лагерница...

Тут Спасова снова всхлипнула, но, заметив мое нетерпе-

ливое движение на стуле, крепко стиснула зубы и с минуту сидела молча.

История, в которую посвятила меня Спасова, оказалась и простой и сложной, какой и бывает обыкновенная жизнь.

Окончив педагогический техникум, Спасова получила назначение в родное село — Березовскую школу. Шла война.

В период ее перелома, после Сталинградской битвы, в село нагрянули раненые фронтовики — поправить здоровье и помочь народному хозяйству. Один из них и полюбился Таисии. Пожеинхались с годик, а потом сошлись, полагая, что навсегда, до гробовой доски. А еще спустя полгода мужа вызвали на комиссию в военкомат и снова отправили на фронт. До победы оставалось рукой подать. Кому Девятое мая принесло радость встреч с близкими, а кому полный крах надежд на это. Муж Таисии погиб в последних боях под Прагой.

Почернела от тоски-кручины Таисия. Если бы не сын, который появился на свет, когда отец уже лежал в братской могиле на чужой сторонушке, не вынесла бы своего горя учительница. Жила ради сына, старалась уготовить ему судьбу посчастливее своей.

О том, чтобы снова выйти замуж, найти сыну отчима, и в мыслях не было. И вдруг нежданно-негаданно в Березовку заявился парень-ухарь, залетная птаха, из каких-то дальних краев. Был он ладен собой, и мастер на все руки, и говорун несусветный, истый краснобай. Значился по ведомости сварщиком на монтаже второй очереди птицекомбината, а на самом деле снюхался с начальником снабжения, сел на грузовик, мотался со снабженцем по всей области, вез на стройку что попадало: и государственное, и краденое. И надо же случиться такому: втюрился в Таисию парень, прилип к ней как банный лист, прикипел намертво. Та пыталась остепенить его:

— Тебе что, девок мало? На девять годов я старше тебя.

— А по мне, чем баба старше, тем слаще. Сопливые девчонки мне не по ндраву.

И не устояла Таисия. Допек-таки ее парень. Расписались в сельсовете честь по чести. Переехал парень с легким баульчиком под женин кров.

С того дня пошла в ее доме не жизнь, а сплошная чехарда. Новый муж вез гостя за гостем, компанию за компанией. Еще с вечера муж наказывал жене:

— Ну, Тася, завтрева ты не ударь в грязь лицом. Будут мужики мировые. Так что сготовь и цыпляток и яичницу.

И, конечно, это самое, что сердце веселит. И не скупись, золотая. За ними не пропадет, а уж я себя не пожалею ради твоего счастья.

— Где взять-то? — горько выражала свое недоумение Таисия.

— А ты поднатужься, раскинь мозгой, золотая моя. Уж как я тебя люблю — сама знаешь.

Таисия понимала, на что он намекает. И деньги комбинатовские, и куры, и яйца, и всякие другие ценности в ее руках. Как ни суди, а жить тут, на птицекомбинате, ей стало сытнее. Недаром променяла учительскую голодную долю на бухгалтерскую должность. И ставка побольше, и натурой кое-что перепадало.

— Плохо, Тася, угощала ты нынче гостей. Чуть со стыда не сгорел. Подумай,— упрекнул ее однажды муж и исчез на целую неделю. А молва донесла: Таисин муж гуляет в Поломошинском совхозе с хмысталкой Зинкой Черноземовой, известной всему району пристрастием к бездумной воле.

Вообразила Таисия, что может случиться: муж перекинется к другой женщине, и останется она с сыном, а может быть, и с двумя сыновьями... Чуяла Таисия, зачала она от своего мужа-ухаря, зачала чуть ли не под конец бабьего века. Тяжелые думы охватили ее, навалились тяжкие бессонные ночи...

Первая подчистка в чековых документах прошла в банке незамеченной. Не рассмотрел кладовщик и разницы в накладных — отпустил курятины на пять килограммов больше, чем было обозначено в подлиннике накладной. И пошло и поехало с той поры, пока не заприметили люди: ходит Таисия сама не в себе, темнее тучи.

И грянула ревизия. И закричала Таисия на весь белый свет:

— Дура я, дура набитая! Куда ж я глядела!..

— ...Что же от меня-то вы хотите? — спросил я, как только Спасова закончила свою исповедь.

— Да ведь все ж и писатель вы, и депутат. Может, замолвите словцо. Искуплю... старанием, работой искуплю...

— А документы какие-нибудь у вас имеются? — спросил я.

— Все при мне,— сказала Спасова и, запустив руку под плащ, вытащила связку бумаг.

Развернул я бумаги, почитал, и заколыхались в моих глазах стены банкетного зала: Спасовой грозила суровая кара, грозила неотвратимо.

Документы были сколоты в образцовой последовательности: приговор районного нарсуда, кассационная жалоба и приговор областного суда, кассационная жалоба и приговор Верховного суда республики. И все об одном слово в слово, как сговорились: восемь лет лишения свободы, естественно, с изъятием малолетних детей под государственное попечение, конфискация имущества, недопущение после отбытия срока к должности с материальной ответственностью.

— А о помиловании просили? — спросил я, мысленно цепляясь за последнюю возможность что-то изменить в судьбе женщины.

— А как же. Вот эта бумага, прилипла к другой.

Я осторожно отодрал экономную — в четверть страницы — бумагу, прилипшую к другой бумаге, и прочитал четкие, как выстрел, строки: Президиум Верховного Совета республики рассмотрел прошение Т. И. Спасовой и не нашел возможным за тяжестью ее преступления применить к ней помилование.

— А почему же вы не взяты под стражу? — спросил я, с трудом выговаривая эти жестокие слова.

— Грудью кормлю моего разнесчастного. Отсрочка дана под подписку. Да уж скоро... меня за решетку... а их при живой-то матери... ладно, если попадут в заботливые руки...

Я был убежден, что тут Спасова непременно заплачет, но, по-видимому, она уже выплакала свои слезы до конца. Только лицо ее окаменело, и большие глаза показались мне отрешенными от всего сущего.

Я живо представил себе все, что предстоит еще пережить и ей, Спасовой, и ее детям, ни в чем не виноватым ни перед матерью, ни перед людьми, ни перед солнцем, и почувствовал, как защемило мне сердце...

— Вы бы в газету про все это... Пусть сестры, которые доверчивые, как я, поостерегутся этих... беспутных петухов... Он-то, негодяй, сбежал из района и следа не оставил... А, да не в нем дело! Сама во всем виновата. Одна-разъединственная. Сама.

Спасова не щадила себя, не искала оправдания своей вины, а у меня не уходила из головы сцена, нарисованная возбудившимся воображением. Две подводы разъезжаются — одна в сторону тюрьмы, а вторая в сторону детского дома. Что-то будет с теми, кто сидит в телегах, через восемь лет? Восемь лет — не одна неделя. Может статься, дети забудут мать, а материнское сердце за временем тоже очерст-

веет, пригаснут образы сыновей в дымке прошлого. Ах, как горько! Трудно придумать беду злее.

— Что же делать, что делать? Все у вас, Таисия Иннокентьевна, доведено до конца. Даже в помиловании отказано,— сказал я, испытывая крайнюю растерянность.

— А все же замолвите словцо... Не паскуда я... Искуплю... Ведь дети... Если бы не они, все равно, где жить. Не до радостей мне.

Спасова не щадила себя, говорила, говорила, а я мучительно слушал ее, цепляясь за одно предположение, за другое... Нужен был выход из трудной ситуации. Нужен!

— Скажите, пожалуйста, вас хорошо знают в селе?

— Выросла тут. И деды тут жили, и родители.

— Что говорят про вашу вину?

— Одни жалеют, другие клянут... Опозорила земляков. Такого у нас не бывало. Понять их можно.

— Вот что, Таисия Иннокентьевна, слушайте меня внимательно. Попробуем сделать так...

Спасова наклонилась ко мне и придержала дыхание.

...А через неделю, уже в Москве, я получил пакет со штампом Березовского почтового отделения. Вскрыв пакет, вытащил из него несколько листков, вырванных из ученической тетради. «Протокол собрания ветеранов села Березовки»,— прочитал я подчеркнутый жирной черной заголовок. И далее поперек страницы крупно было выведено: «Обсуждение проступка гражданки нашего села Т. И. Спасовой и принятие общественного приговора».

Семнадцать ветеранов приняли участие в этом обсуждении, а всего на собрании было сорок человек по списку. В протоколе после фамилии и инициалов в скобках было обозначено: возраст ветерана, его прошлая профессия, общественная деятельность, государственные награды.

Самым старшим из выступавших был девяностолетний пенсионер, однофамилец Таисии Дормидонт Киреевич Спасов, красный партизан в годы гражданской войны, председатель первой коммуны в области, а после ее перехода на устав сельскохозяйственной артели — председатель колхоза в течение двадцати лет.

А младших замыкала Прасковья Федотовна Неупокоева, директор Березовской средней школы, которая учила до восьмого класса Таисию, а потом вместе с ней работала в школе. Среди выступавших оказалось семь орденоносцев,

четверо из них были награждены за боевые заслуги на фронте, а трое за успехи в родном колхозе. Пришел и выступил на собрании ветеранов Герой Советского Союза, сын Спасова Дормидонта Киреевича Дмитрий, полковник Советской Армии, преподаватель военной академии, приехавший в Березовку навестить престарелых родителей. Дмитрий учился в Березовской школе вместе с Таисией, состоял с ней в комсомольской организации села.

Нет, не случайно люди собрались в Березовке, чтобы в суровой беседе взвесить, заслуживает ли их односельчанка Таисия Спасова кары, определенной ей судами.

Читал я краткую запись их речей и удивлялся, с какой обстоятельностью и мудростью велось обсуждение. Не давая никакого снисхождения своей землячке за ее проступки, опозорившие вековую историю села, они говорили о ее судах прямо, со всей откровенностью: одно, мол, в уме держали, а о другом обороте жизни не думали.

Протокол заканчивался постановлением, которое и было названо общественным приговором березовских ветеранов. Немногословный, занявший всего лишь полстраницы приговор гласил:

«Осудить проступки Таисии Спасовой как позорные, нанесшие ущерб чести и достоинству живых и усопших граждан Березовки.

Поверить Таисии Спасовой в ее слово, данное ветеранам, что она до глубины души сожалеет о своих проступках, оплакала их горючими слезами и обещает искупить свое прошлое недостойное поведение собственным примерным трудом и поведением и воспитать в таком же духе детей своих.

Просить Президиум Верховного Совета республики помиловать Т. И. Спасову, оставить ее при детях, так как нельзя за проступки матери коверкать жизнь детей, взыскивать с них, как с виноватых, разлучать юные души с родной землей и бесчеловечно отлучать от семьи.

Березовские ветераны берут на себя контроль за погашением Спасовой материальных утрат, нанесенных ею народной казне».

Протокол был заверен печатью Березовского сельского Совета, подписан председателем исполкома и имел вид документа, отвечающего юридическим нормам.

...Что ж, все шло правильно. Оставалось теперь добиться, чтобы дело о помиловании Спасовой возвратили для пересмотра. Порядок есть порядок, как во всем. Написал я на

депутатском бланке официальную бумагу, употребив, как мне казалось, самые убедительные слова о безусловной справедливости общественного приговора ветеранов, позвонил сотрудникам отдела помилований и стал считать дни.

Но считал их не только я. Их считала сама Спасова, их считал и судебный исполнитель. Время приведения приговора в исполнение приближалось неостановимо. Две недели... десять дней, семь дней.

Как-то утром прихожу в Союз писателей и от неожиданности чуть не падаю. В коридоре напротив двери моей служебной комнаты сидит Таисия Иннокентьевна Спасова, а на плече у нее, ручонками обняв мать за шею, спит безмятежным сном ее младшенький.

— Как вы могли? У вас же подписка о невыезде!

— Не вытерпела. Да и все равно уж — видно, от судьбы не уйдешь. Три дня осталось. Были уже из милиции, поторапливают: «Собирай, дескать, Спасова, вещички и свои и детей».

— Немедленно улетайте назад, и вот вам на всякий случай справка для судебного исполнителя. Дело ваше пошло на пересмотр. Может быть, притормозят исполнение приговора на день-другой. Если, конечно, человек с сердцем, не формалист.

Проводил я Спасову с ребенком на аэродром и сел за телефон.

— Вопрос включен в порядок дня заседания Президиума. В пятницу ожидается решение,— сообщили мне сотрудники отдела помилований.

— Нельзя в пятницу. В четверг кончается срок.

— Ничем помочь не можем.

— Что же делать?

— Уповать на счастливый случай.

В пятницу помилование Спасовой состоялось. Глас ветеранов был услышан. Срок заменен мерой условного заключения. В Березовку полетела сверхсрочная телеграмма.

Вот и все. Нет, не все. Есть небольшая добавка, без которой быль оказалась бы неполной. Таисия Иннокентьевна регулярно сообщает о своей жизни: материальные растраты она вернула казне в первый же год. Помогли земляки, особенно ветераны, выносившие ей общественный приговор. Дети? Растут. Старший служит уже на Тихоокеанском флоте. Военный моряк. Вот его фотография. Посмот-

рите, какой он бравый. А младший собирается в первый класс. Мечтает быть трактористом. Благо молодые механизаторы иногда балуют его, берут к себе на трактор, позволяют покрутить руль. Уж так доволен малыш! Сама? С той поры — доярка. Все годы ее имя на доске передовиков. И никто, никто ни разу не упрекнул в селе за то, что случилось тогда: умеют люди понимать чужое горе. Земной поклон им за это. А только сама она никогда не забудет тех дней. Остались рубцы на сердце. Вечные рубцы. Ничто не разгладит их. Ничто.

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

ОСТОРОЖНО — «КУКЛА»!

— Ты врешь! — кричит ребенок взрослому человеку. Тот краснеет от возмущения, мама мальчика — от стыда. Я, невольный свидетель, ежусь от неловкости. Процесс интенсивного воспитания длится минут десять, после чего усмиренный правдолюб выдает тоненьким голоском вполне интеллигентную формулировку:

— Дядя, вы ошиблись.

И хорошо. Все что угодно можно сказать вежливо.

Между тем все мы — и мальчик, и жертва его откровенности, и мама, и я — прекрасно понимаем, что дядя вовсе не ошибался, а продуманно и корыстно врал.

Все-таки здорово, что русский язык так богат. Иначе, чего доброго, пришлось бы постоянно называть вещи своими именами...

* * *

Некоторое время назад меня удивила, а иными своими деталями и поставила в тупик одна в общем-то банальная детективная история. История вот какая.

В июне 1984 года в красивом курортном городе Евпатории произошел некрасивый случай: из машины замдиректора одного из санаториев гражданина Р. исчезла сумочка с деньгами. Полгода спустя в той же Евпатории имел место не менее печальный инцидент — у гражданки К. прямо из дому пропало несколько золотых вещей. По обеим кражам никаких следственных мероприятий не проводилось, заявления потерпевших лежали без движения.

Но — на ловца и зверь бежит. Еще через полгода злоумышленники обнаружились. Ими оказались два подростка, семнадцатилетние выпускники евпаторийской школы № 6 Геннадий Пужаленко и Андрей Фалько. Правда, их ареcто-

вали совсем по другому делу, но, стремясь чистосердечным раскаянием облегчить свою участь, они заодно признались и в этих двух.

Однако юные преступники обнаружили не только искреннее желание сотрудничать со следствием, но и редкостную бестолковость. Добровольно признав сам факт противозаконных умыслов и деяний, они совсем запутались в деталях. Так, на первых допросах Фалько без утайки рассказал, как на его глазах Пужаленко украл деньги из машины, стоявшей на улице Маяковского. В свою очередь, Пужаленко столь же откровенно поведал, что на его глазах Фалько обчистил машину, стоявшую на территории пионерлагеря «Дружба». Дело слегка осложнилось еще и тем, что сам потерпевший, гражданин Р., упорно настаивал, что его машина подверглась преступному деянию во дворе санатория имени Крупской. И в сумме похищенных денег парни разошлись, и куда девалась сумочка из-под купюр, понятия не имели.

Об этих досадных неточностях я упоминаю только для того, чтобы читателю стало ясно, какую серьезную работу провел следователь евпаторийского городского отдела внутренних дел В. Д. Гулюк, прежде чем добровольные признания юных правонарушителей совпали наконец с заявлением потерпевшего и друг с другом.

Председателю городского суда Д. Ф. Лебедеву покаянные речи подследственных показались столь убедительными, что он без лишних отлагательств принял дело к слушанию. Впрочем, без нелишних тоже. Так, не был допрошен ряд весьма существенных свидетелей. Не попытались разобраться, почему в те дни и часы, когда совершались две кражи, Геннадий Пужаленко находился в школе, и не просто находился, а сидел на уроках, и не просто сидел, а даже получил отметки. Адвокат Геннадия прямо в зале суда впервые увидел и своего подзащитного, и само дело — на изучение довольно объемистой кипы документов ему щедро выделили двадцать минут. Наконец,— редкий в юридической практике случай нелюбознательности! — обильные отпечатки пальцев, найденные на месте кражи и заснятые на пленку, не были даже затребованы судом. Какие там пальцы, когда преступники признались и без них!

Но не все на этом процессе делалось второпях.

Суд начался утром 8 октября 1985 года. Заседали с одиннадцати до двух, потом прервались на обед. И вот тут-то, видимо, решили компенсировать прежнюю спешку —

обеденный перерыв длился непривычно долго, целых сорок четыре дня. Только 21 ноября суд продолжил работу.

Полтора месяца — срок большой. То ли в заключении подростки одумались, то ли сведущие люди объяснили им их права, то ли парни, не сговариваясь, одновременно решили схитрить — только в начале нового судебного заседания они преподнесли присутствующим сюрприз. Геннадий Пужаленко заявил, что не участвовал ни в одной краже, а признания его получены следствием с помощью методов, которые сами могут стать предметом следствия. Андрей Фалько сказал, что две кражи совершил в одиночку, а про две другие впервые узнал во время допроса и все показания о них написал со слов следователя. А поскольку признания подсудимых серьезными доказательствами подтверждены не были, обвинение, лишившись главной своей опоры, что называется, повисло в воздухе.

Я не юрист и не знаю, как должен в подобных случаях поступать суд. Я знаю только, как поступил судья Лебедев. Вот как: огласил приговор. Фалько получил четыре года, Пужаленко семь.

Бесполезно гадать, кто из двоих совершил кражи и совершил ли их кто-нибудь из двоих: из тысячи подозрений не сложишь одно доказательство, как из тысячи кроликов не сложишь одну лошадь.

Когда речь о людях, нарушивших закон, суд стремится выявить не только факт преступления, но и его мотивы: месть, зависть, корысть. Я же, узнав эту историю, стал думать о людях, чья обязанность защищать закон. Какими мотивами руководствовался следователь Гулюк, грубо подгоняя к простому ответу задачу со многими неизвестными? Какие мотивы заставили судью Лебедева принять на веру явную следственную «незавершенку» и решительно отмести в сторону все сомнительные детали — даже машину, ограбленную одновременно в трех разных местах,— хотя, по букве и духу закона, сомнения в пользу подсудимого?

Тут я и встал в тупик. Никаких мотивов! Месть? Но за что мстить? Зависть? Чему завидовать? Корысть? Ну какая тут корысть...

Сам судья свою позицию определил так: «Город небольшой, преступность не сокращается, и в борьбе с ней нужны суровые меры. У нас каждый случай на виду, нельзя, чтобы много краж оставались нераскрытыми».

Один бывалый евпаториец, присутствовавший на суде, не слишком сведущий в законах, но в силу опыта понимающий

жизнь, ту же ситуацию изложил прямей и простодушней: «Краж много, им начальство накрутило хвосты, вот они и решили подогнать цифру».

И вдруг мотив стал предельно ясен: приписка. Она, именно она. Самая банальная приписка, столь привычная в строительстве, в промышленности, в сельском хозяйстве, но трудно ассоциирующаяся с юриспруденцией.

По-житейски можно понять служителей евпаторийской Фемиды. Кража за кражей, слухи, сплетни, упреки горожан, растущее недовольство начальства. Нужен, просто необходим успех — быстрая поимка преступников, решительный и жесткий приговор. В деле есть неясности? Но ведь один-то из двоих наверняка виновен, вторично признался, а другой — приятель, тоже небось замешан, не так, так эдак. А две кражи или четыре — это парням без разницы, на приговоре не отразится. Зато горожане сразу убедятся в силе Закона, а начальство — в умении правоохранительных органов оперативно отвечать на критику сверху.

Увы, приписки бывают безобидными столь же редко, как и бескорыстными. Вот и эта не была ни безобидной, ни бескорыстной. Следователь и судья приписали себе не сделанный в реальности объем работ. Два подростка получили срок, который, возможно, ими заслужен, а возможно — страшная, непоправимая приписка. И наконец, не исключено, что кто-то, реально обокравший машину и квартиру, почувствовал себя спокойно и комфортно — его дело закрыто. А когда вору комфортно, честным людям вокруг очень тревожно...

* * *

Ну а вообще, что это такое — приписка? Почему возникло и что означает это уклончивое словцо?

В уже достаточно далекие времена на послевоенных толкучках был в ходу блатной термин «всучить куклу». Означало это вот что.

Допустим, человек что-то продавал: сапоги, велосипед, патефон. С ним торговались, щупали вещь, вертели так и сяк, долго отсчитывали деньги. Затем их складывали в плотную пачку и перетягивали ниткой или аптечной резинкой. А в подходящий момент эту пачку подменяли другой, где сверху червонец, снизу червонец, а посередке — резаная бумага. «Куклу» всучали не только продавцу, но и покупателю: он выбирал костюм, мерил пиджак, прикидывал брюки, завора-

чивал все это в газету, честно отмусоливал деньги — а дома вынимал из свертка кучу тряпья.

Короче, типичное мошенничество.

Когда речь идет о лицах руководящих, слово «мошенничество» звучит обидно. Вот и придумали деликатный, щадящий достоинство термин «приписка». Так сказать, упущение по службе, с кем не бывает. В крайнем случае отечески пожурят.

Но так ли уж велика разница? Ведь лукавые граждане, умело мудрящие с цифрой, по сути тоже пытаются всучить государству и обществу «куклу» — недостроенный дом, ненадоенное молоко, непроложенную дорогу. А премии за все это получают полновесными пачками, без резаной бумаги внутри.

О приписках в экономике сейчас говорят жестко, за них снимают с работы и судят. Но «куклы» встречаются не только в сфере хозяйственной и не только в явной форме. Порой за них не то что не судят, но даже толком не осуждают. Вот об этих нестандартных приписках, иногда жестоких, иногда анекдотичных, мне и хочется сегодня поговорить.

* * *

Начну со случая забавного.

Как-то ранней весной я, тогда молодой прозаик, кое-как кормившийся журналистикой, приехал в Кахетию писать лирический очерк. Я с готовностью ждал, что знаменитая долина поразит меня — она и поразила. План очерка сложился в голове почти мгновенно, я сразу понял, что именно мне необходимо: горы, весна, цветущие абрикосы, древние камни, новые школы, всемирно известное селение с пьянящим именем Цинандали и — долгожитель, мудрый колоритный старик, так много повидавший на своем веку. Блокнот мой заполнялся быстро: горы и абрикосы были налицо, камни и школы тоже, а селение Цинандали лежало вокруг — меня водил по нему мой опекун из Тбилиси, хороший человек, гуманно оберегавший неопытного москвича от крайностей местного гостеприимства.

Уже незадолго до отъезда на окраине селения мы смотрели, как закапывают в землю огромный глиняный кувшин для вина. Процедурой командовали двое: плотный, лет сорока, бригадир и сухой рослый старик в войлочной шапочке. Старик почти не понимал по-русски, но постоянно покачивал головой или улыбался, тем самым как бы тоже участвуя в беседе.

Тут-то я и вспомнил, что в блокноте у меня пока еще нет долгожителя.

Опекавшему меня хорошему человеку просьба показалась вполне закономерной: Кавказ, горы — как можно без долгожителей!

— Старики у вас есть? — требовательно спросил он бригадира.

— Есть,— заверил бригадир,— конечно, есть. Вот старик.

— Сколько ему? — энергично поинтересовался хороший человек, тут же сам обратился к старику по-грузински и перевел ответ: — Примерно девяносто.

Я уклончиво заметил, что девяносто — возраст почтенный, но для очерка хорошо бы малость побольше.

— Девяносто — тоже неплохо,— начал было бригадир, но мой опекун, не дослушав, деловито обернулся ко мне:

— Слушай, ты скажи — сколько надо?

— Ну... сто десять, сто двадцать...

— Сто двадцать надо! — твердо сказал хороший человек.

— Сто двадцать нет,— виновато шевельнул ладонями бригадир,— девяносто есть.

Хороший человек немного подумал и широким жестом указал на старика:

— Слушай, чего искать? Запиши его. Пусть будет сто двадцать. Уважаемый колхозник, передовой сторож. Немножко больше, немножко меньше... Кто станет считать? — Он обернулся к бригадиру: — Московской прессе надо — ты будешь в претензии?

Бригадир вежливо ответил, что если гостю так лучше...

Видимо, старику перевели тот же вопрос, потому что он дружелюбно засмеялся и жестом показал, что в претензии не будет.

Тогда я застеснялся, перевел разговор в шутку, и очерк мой вышел без долгожителя. Зато потом я много лет мучился завистью, встречая в материалах коллег замечательных стариков, которые в сто десять плясали в самодеятельности, в сто двадцать лазали по горам, а в сто тридцать ездили верхом. Особенно запомнился лирический репортаж — там приводилась беседа со стариком, который не только прожил сто пятьдесят с гаком, но и взял на себя обязательство прожить двести. Ну почему не я, а другой наткнулся на такую сенсацию? Везет же людям...

Из этого случая я впоследствии извлек для себя тот урок, что в приписках сплошь и рядом виноваты две стороны: и те, кто стараются ответить, как гостю лучше, и сам гость, слиш-

ком явно дающий понять, какая именно информация для него хороша.

Кстати, даже в такой приятной области, как долгожительство, приписки достаточно вредны: они дают неверные данные геронтологам, путают врачей-практиков, и в результате мы порой получаем весьма сомнительные рецепты несокрушимого здоровья, вроде стопки чачи натощак или кукурузной каши от пуза на свежем воздухе.

* * *

Недавно был на встрече с учителями. Вопрос из зала:

— Как вы относитесь к «процентомании» в школе?

Я только руками развел. Какая процентомания? Да она тридцать лет как разоблачена, двадцать как отменена, десять как запрещена... А в зале невеселый смех: мол, и разоблачена, и отменена — но все-таки рекомендуют, чтобы двоек не было. Их, в общем-то, почти и нет. За редкими исключениями.

А ведь «переводная» тройка — типичнейшая приписка. И страшна она, на мой взгляд, не столько тем, что учителю приписана непроделанная работа, сколько тем, что ученику приписаны несуществующие знания. Еще ни пушинки над губой — а уже знает, как из пяти ошибок в диктанте делаются три.

Но если бы школьная приписка школой и кончалась — это бы еще полбеды. Так ведь не кончается — ее лживый след тянется куда дальше. В институт или техникум приходит студент, уже уверенный, что нужную оценку ему в конце концов припишут. И ведь не ошибается — припишут! Ибо, трижды посылая невежду на пересдачу, преподаватель вместе с ним наказывает и себя лишней работой. А избавлять учебное заведение от хронических бездельников сложно и невыгодно: сократишь количество студентов — придется сокращать и число преподавателей.

Результат известен: в конце дорогостоящего учебного процесса государству всучается симпатичная молодая «кукла» с приписанным дипломом, успокоительной уверенностью, что химичат все, и полной нравственной готовностью к любой «целесообразной» лжи.

* * *

Приятель рассказал смешную и печальную историю.

На одном довольно авторитетном совещании докладчик сказал, что благодаря успехам местной фабрики область

по производству обуви на душу населения обогнала такие-то и такие-то страны, вместе взятые. Моего приятеля столь ошеломляющие успехи убедили не до конца, и он предложил:

— На ком обувь нашего производства, поднимите руки!

Не поднялась ни одна рука.

А недавно узнал из телепередачи, что торговая сеть вернула этой фабрике почти двести тысяч пар абсолютно неходовой обуви.

И опять возникает тягостный вопрос: почему так произошло? Неужели руководители фабрики не знали заранее, что выпускаемая ими обувь вернется назад ненадеванной? Да нет, не могли не знать — профессионалы. Так почему же выпускали?

С такой ситуацией любой из нас встречается не только в обувных магазинах. Стоят на полках, висят на вешалках вещи, рыночно безнадежные. Откровенно, стопроцентно бесперспективные. Почему их произвели на свет?

Причина, в общем-то, понятна: обувная фабрика, всех обогнавшая на душу населения, делала не туфли, а план. Именно это было главной и неотложной задачей.

А ведь продукция, с момента выпуска сориентированная на «уцененку» и утиль, практически та же приписка — без нее плана не было бы, а с ней есть. Более того, подобная приписка куда разорительней: в утиль-то пойдут не проценты, а кожа, металл, текстиль, электроэнергия. В утиль пойдет человеческий труд. Двести тысяч пар плохой обуви — это ведь, как минимум, миллионный убыток!

Вот ведь парадокс: не выполнить план директор фабрики не решился, а разорить государство на миллион — не испугался. Откуда такая смелость?

Говорят, план — закон. А качество — не закон? Вроде бы тоже закон. Но — помягче. Вот директор из двух беззаконий и выбрал менее наказуемое. Хотя банальная «бумажная» приписка тех же двухсот тысяч пар обошлась бы государству на миллион рублей дешевле.

Видимо, до сих пор за плохую цифру ведомственное начальство «крутит хвосты» больнее, чем за плохую обувь.

* * *

Бороться с припиской тем трудней, что в течение десятилетий она во многих случаях не только не наказывалась, но даже поощрялась, а то и вымогалась. Ведь делал ее и тем самым «брал на себя», как правило, руководитель низовой —

а дальше, переходя из отчета в отчет, поднимаясь по должностной лестнице, она шла в плюс все более высокому, уже практически не отвечающему за нее начальству.

Иногда приписку вымогали и бескорыстно, просто по глупости. Кто, например? Например, я.

В конце пятидесятых со скромной бумажкой внештатного корреспондента я попал в Коми-Пермяцкий национальный округ. Тогда возникла и широко пропагандировалась романтическая идея за несколько лет догнать Америку по производству мяса и молока на душу населения. Подсчитывалось, сколько продукции надо выдать на сто гектаров пашни, брались соответствующие обязательства. Мне как раз и предназначалось стимулировать этот прогрессивный процесс своим пером. Я был сугубо городской молодой человек, рожь от пшеницы не отличал, однако «рожь» писал с мягким знаком, а «пшеницу» без — предполагалось, что этого достаточно.

Немолодой председатель застенчиво разложил передо мной таблицы с обязательствами. Мяса и молока намечалось произвести ровно столько, чтобы догнать. Я же стал его уговаривать — перегнать. Корысти тут не было, к журналистской карьере я не стремился и за очерк больше бы не получил. Просто я был убежден, что перегнать — лучше, чем догнать. Председатель мягко упирался. В конце концов я предложил:

— Вы хотя бы подумайте!

Подумать он обещал.

Этого, в общем, было достаточно: в очерке я написал, что труженики такой-то артели решили за четыре года догнать Америку, но подумывают о том, чтобы еще и перегнать. Я не сомневался в могуществе призывного слова и был уверен, что, прочитав про порыв одного председателя, тысячи других не захотят от него отстать.

Мне повезло — очерк по случайной причине не напечатали.

Тогда я еще не знал, что словесная вода турбины не вращает, что приписка даже в обязательствах не вызывает у трудящегося человека ничего, кроме брезгливого раздражения...

Малость поумнел я месяца через два, когда поехал в ближнюю Сибирь писать о самой знаменитой в ту пору свинарке страны. Ее коллеги, откармливавшие в одиночку триста, четыреста, пятьсот свиней, добивались всесоюзной известности. А тут двадцатилетняя девушка одна обслуживает десять тысяч голов! Из героинь героиня.

Увы, приехав на место, я узнал, что рекордсменка откармливала свиней одна — но с пятнадцатью помощниками.

До сих пор помню свое мрачное недоумение. Как же так? Говорят — откармливает один человек. А остальные пятнадцать — они что, не люди? Почему приписаны к рекордсменке, как безымянные крепостные к поместью? И — как она смотрит им в глаза?

Кстати, сначала на роль такого суперпередовика собирались «выдвинуть» другую свинарку. Отказалась.

* * *

Помимо явных приписок существуют скрытые — они не лучше.

Издалека, из Приморского края, получил я письмо от рабочего с сорокалетним стажем, слесаря-монтажника, имеющего полдюжины смежных специальностей. Письмо откровенное, доказательное и злое. Приведу одну выдержку.

«Я всю жизнь добивался такого наряда, который бы не переделывался,— я такого наряда не видел, мне боялись его давать. Просит главный механик Облмолкомбината: «Аристид, выручай, сделай маслозавод, надо всю техчасть. Там одни алкаши, без конца пьют. Им закрывают по триста рублей, все сроки прошли, а дело не начато. Выручай!» Я ему: «Андрей Яковлевич, наряд вперед!» Он мне: «Ишь чего захотел! Опять восемьсот рублей заработаешь? Так не пойдет». Моя бригада из трех человек сделала весь (кроме освещения) монтаж этого маслозавода — котельную, отопление, всю технологию, холодильную часть, цельномолочный цех производительностью десять тонн в смену — и все за 18 дней! Под пуск, без недоделок. Как мы работали, по скольку часов в день, думаю, объяснять не надо. И зарплаты нам дали тысячу двести на троих. А тем алкашам, не сделавшим и тридцатую часть нашей работы, заплатили семь тысяч. И это называется — каждому по труду?.. А в другой раз мне надоело выколачивать трубы, кислород и так далее, и я специально один месяц абсолютно ничего не делал. Совсем ничего. «Закрыли» мне двести двадцать рублей и еще были очень мною довольны — не надоедает и не зарабатывает по триста пятьдесят в месяц!»

Вроде бы ситуация иная — не приписка, а «недописка». Но вдумайтесь: маслозавод-то был смонтирован. Значит, и весь объем работ оплачен. Только не тем, кто его проделал. Недописали одним — приписали другим. И фактически

вышло, что автор письма и два его товарища работали на компанию алкашей: своеобразная форма эксплуатации человека человеком.

Когда обделяют труженика, государство даже материально не выгадывает ничего — выгадывает бездельник.

* * *

А еще я думаю вот о чем.

Литература и искусство вторгаются в жизнь, клеймят пороки, помогают навести порядок в промышленности и сельском хозяйстве, в образовании и торговле. Святое дело! Но не худо бы приложить руки к еще одной сфере деятельности: навести порядок в нашем собственном деле, в литературно-издательском и театральном процессе, в кинопроизводстве. Тут ведь до порядка ох как далеко!

Привычнейшая картина. Человек входит в книжный магазин, обводит взглядом полки и спрашивает продавца:

— Опять ничего?

— Ничего,— понуро разводит руками продавец.

А полки между тем забиты книгами.

Что же это за печатная продукция, которая так легко объединяется печальным термином «ничего»? А это романы и повести, сборники очерков и стихов, изданные самыми различными, в том числе и нашими, писательскими, издательствами. По сути своей, тоже приписка, разве что своеобразная, как трюк иллюзиониста: книги есть, но книг нет! Порой берешь в руки элегантное изделие полиграфии, и становится жутковато — «кукла», типичная «кукла»! Сверху красивая обложка, снизу красивая обложка, а внутри...

Есть ли в этой массе неликвидов настоящая литература? Есть, к сожалению. Поток серых книг подрывает доверие к книге вообще, читатель, не раз и не два обманутый, начинает выискивать на полках только уже знакомые имена. Книжное болото опасно еще и тем, что в нем порой тонут вещи подлинные.

В одном из московских книжных магазинов, в Филях, я как-то наблюдал замечательную по нелепости ситуацию. На лотке уцененной продукции лежал однотомник пьес — а поблизости, в разделе новинок, стоял на полке новенький сборник того же автора, почти не отличающийся составом от уцененного! Поскольку претендентов на шедевр не находилось даже после уценки, дальнейший ход событий легко угадывался: книга пойдет в макулатуру, из нее сделают бумагу, на которой и напечатают ту же самую книгу.

«Кукла» в красивом переплете появляется на свет в результате целого ряда ненаказуемых приписок: в издательстве на редсовете приписали рукописи несуществующие достоинства, в книготорге приписали тираж — и вот лежит книга в «уцененке» и позорит автора.

Теперь вопрос: а он-то почему не воспротивился — ну хотя бы резко завышенному тиражу?

А зачем противиться? Еще небось кулаком в инстанциях выбивал цифру покрупней. Ибо уцененная книга автора позорит, но не разоряет. Наоборот, обогащает — гонорар-то идет не за то, что продано, а за то, что издано. И редактора нераскупленная книга по миру не пустит, как, впрочем, и распроданная не обогатит. Так что реальный ущерб плохая книга приносит только читателю да государству. Но читатель стучать кулаком в инстанции не побежит, а государство у нас терпеливое.

Кстати, теперь книги макулатурного достоинства очень часто в макулатуру не идут. Они попадают — горько говорить, да куда денешься — в народные библиотеки. Сколько раз на встречах с библиотечными работниками слышал я одну и ту же жалобу: хорошую книгу не достать, навязывают то, что за наличные не купят. Так не берите, говорю. А мне объясняют: не возьмешь три плохих, не дадут одну хорошую. То есть — «нагрузка». И вот библиотекарь, бескорыстный фанатик родной словесности, против воли втягивается в систему приписок: приписывает к фонду новенькие томики, которые и через двадцать лет будут как новенькие — как с магазинной полки их не брали, так и с библиотечной не возьмут.

Не хочу взывать к вкусу и совести заинтересованных лиц — сколько лет взывают, а что изменилось? Не пришло ли время заработок и писателя и издателя поставить в прямую зависимость не от изданного, а от проданного экземпляра? Тогда приписывать станет себе в убыток, и редсоветы быстро научатся отличать книгу от «куклы».

* * *

Как-то в приморском южном городе я зашел в старинный, очень красивый театр, как раз готовившийся к своему юбилею. Пьеса была скучная, постановка под стать пьесе, в зале с великолепной акустикой сидело человек семьдесят. После спектакля я посочувствовал главному администратору: тяжко, мол, при такой посещаемости вытягивать план. Но он с достоинством возразил:

— Да нет, на кассу мы как раз не жалуемся. Сегодня, например, аншлаг.

— Как аншлаг? Зал же пустой?

— Да,— сказал администратор,— правда? А билеты все проданы. Кто-то заболел, кто-то передумал. Это у нас бывает.

Позже я узнал, как это бывает.

Вот уже много лет городские власти спасали родной очаг культуры от полного безлюдья. То придумывалась система абонементов, которые распространялись на предприятиях, то настоятельно рекомендовали тем же предприятиям во имя эстетического воспитания масс закупать спектакли, то председатели пригородных колхозов расписывались за почти символические выезды, то местная драма бойко шла в нагрузку к приезжей эстраде. Такое меценатство и привело к аншлагам при пустом зале — наглой, циничной приписке.

Я совсем не за то, чтобы закрывать слабые театры: даже средний город без театра как человек без глаза. Город может, а порой и должен брать убытки коллектива на себя — вот только приписывать при этом не надо. Не надо врать, будто пустой театр полон. Такая помощь позволяет театру не просто жить — она позволяет годами жить бездарно. Проваленный план — это сигнал тревоги: значит, нужно искать режиссера поталантливей и пьесы поострей. Если же распадающемуся коллективу приписывают финансовый успех, это его губит вконец: такой театр рано или поздно действительно закроется — его «закроет» зритель просто тем, что совсем перестанет ходить.

Не следует думать, что театральные приписки — печальная специфика малых городов. И у столиц свои сложности.

Субботний вечер в Москве. Все театры полны. Значит — все равны? Как бы не так: это система цен на билеты приписывает проходной постановке равенство с театральным событием. Лучший спектакль лучшего театра — два рубля. Худший спектакль худшего театра — два рубля. А что в одном случае поклонники с ночи дежурят у касс, а в другом с ног сбиваются платные распространители — это в рапортичках не отмечается.

А ведь даже в посудном магазине за одну кастрюлю мы платим полтинник, а за другую — червонец.

Как это ни обидно, подлинную цену театрального успеха сегодня знает только спекулянт билетами.

* * *

Как известно, звание академика дается пожизненно. Это законно и справедливо: ни старость, ни болезнь, ни прочие невзгоды не вправе лишать человека того, что им заслужено. Однако по наследству это звание не передается — ни сыну, ни внуку, ни заму по службе. Надо ли объяснять, почему невозможна такая нелепость?

Впрочем, я, кажется, погорячился. Почему же невозможна?

Вот примерная ситуация. Группа талантливых и бескорыстных театральных деятелей ценой многолетних творческих усилий создает замечательный коллектив. В конце концов приходит заслуженное признание: театр получает звание академического. Бесспорное торжество справедливости!

Но вот «старики», прожив сложную жизнь в искусстве, постепенно покидают прославленную сцену. Их место занимают «дети» и «внуки» — второе и третье поколение. Талантливы они или бездарны, бескорыстны или расчетливы, фанатичны или ленивы — значения не имеет. Пришли из училища, оформились в отделе кадров — и все, порядок, академики. Казенная бумага разом приписывает начинающему актеру заслуги знаменитых предшественников.

В каждом человеке, как правило, уживается высокое и житейское. У молодого «академика», помимо творческих, остаются и практические стимулы для самосовершенствования: зарплата, звания. А у коллектива в целом? Его житейский стимул навечно впечатан в афишу театра.

Я не могу себе представить наше искусство без Большого и Малого, без МХАТа и Вахтанговского, без ленинградских Горьковского и Пушкинского, без Театра Маяковского и Омского драматического. Но и этим лидерам нашего театра полезен ли гарантированный наследственный «академизм»?

В футболе тоже есть своя «академия» — высшая лига. Но ее члены ежегодно игрой доказывают свое право в ней находиться. Когда популярнейший московский «Спартак» потерял класс, он на целый сезон вынужден был уйти в низшую лигу — откуда, надо отдать ему должное, со славой вернулся.

Конечно, театр не футбол. Но и там и там играют на глазах у зрителей. Может, не грех перенять кое-что у отдаленно родственного зрелища?

* * *

Читаю статью в тонком журнале — не слишком удачливый драматург решил попробовать себя в критике. Статья как статья, разве что тон обиженный да стиль натужный, с писарскими завитушками. А дальше подпись — фамилия, которую опускаю из соображений гуманности, вряд ли что-нибудь скажет читателю, и титул, будто в насмешку растянутый на пять строк: председатель такого-то отделения Союза писателей, член совета по драматургии и театру Союза писателей РСФСР.

К чему этот послужной список под рядовой журнальной статьей? Для авторитета? Но такая должностная приписка к известному имени выглядела бы лишней (что добавят чины Леонову или Бондареву, Евтушенко или Айтматову?), к безвестной фамилии — смешной: так ли необходимо читателю знать, в каких советах время от времени на общественных началах заседает автор? Думается, это как раз тот случай, когда, как нынче говорят, должность бежит впереди таланта.

Между прочим, сосед этого литератора по региону, имеющий не в пример больше званий и наград, подписывается кратко и скромно: «Расул Гамзатов»...

* * *

Всякий уважающий себя и профессию журналист презирает штампы. Тем не менее на газетных страницах эти штампы живут десятилетиями и прекрасно себя чувствуют. Видимо, потому, что к словесным шаблонам мы относимся с иронией, но мягко: мол, конечно, свежее слово лучше затертого, но и тупой нож хоть медленно, да режет.

Увы, это не так: многие наши штампы по сути своей те же приписки — стилистические, но приписки. И приносят они не маленькую пользу, а порядочный вред.

Возьму один из самых употребительных шаблонов.

Перед каждым праздником или юбилеем в газетах и эфире начинают регулярно появляться сообщения, что труженики такой-то области или отрасли с трудовым подъемом... Ну, и так далее. Затем «трудовой подъем» начинает обрастать эпитетами: «большой», «неослабевающий», «возрастающий», «все возрастающий»...

Разумеется, приближение красной даты вносит нечто новое в нашу жизнь: иногда радость, иногда тревогу за несделанное, иногда даже злость на себя за бездарно прожитый год. Но что касается трудового подъема...

Честный человек, любящий свою работу и свою страну, трудится с подъемом не от праздника к празднику, а каждый день. У бездельника слово «праздник» вызывает подъем, но отнюдь не трудовой. Зачем же приписывать одному неритмичность в работе, а другому несуществующий энтузиазм? Зачем объединять лентяя и труженика в якобы общий для обоих «подъем»? Кстати, кое-где приближение праздника вызывает не подъем, а спад: в редакциях начинают придерживать критические материалы, в театрах откладывают острые пьесы — дескать, отъюбилеим, вот тогда...

А главное, наши стилистические приписки создают шумовое прикрытие для приписок экономических, атмосферу поголовного отпущения грехов, всеобщей нравственной амнистии.

* * *

В начале прошлой осени прочитал отчет ЦСУ за полгода: то ли семь, то ли восемь министерств не выполнили план. Прочитал — и вдруг обрадовался. Тут же устыдился: что за дурацкая реакция, не радоваться надо, а огорчаться. Но потом понял — есть повод и для радости.

Если уж восемь министерств не дотянули в отчете до благополучных ста, значит, планы не корректировались. Значит, отчет настоящий, без приписок, без вранья. Значит, все остальные министерства реально, а не на бумаге выполнили план. Значит, есть основания надеяться, что и эти, отставшие, подтянутся — ведь их прорыв у всех на виду. Значит, и на дальнейшее не будет иллюзий, что можно сперва схалтурить, а потом приврать.

Честность в отчете обещает честность в работе. Вот это и радует! Ибо кроме честной работы и каждому из нас, и государству в целом рассчитывать не на что.

* * *

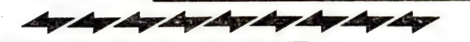
В стране идет перестройка. Освобождаемся от бюрократического самовластия, от халтуры, от вранья — от «куклы» во всех ее проявлениях. А какова роль в этом процессе пишущего человека?

Думаю, она даже больше, чем кажется нам самим.

Ведь люди не просто узнают из газет и журналов о происходящих изменениях — по уровню газет и журналов они судят о необратимости или временности этих изменений.

Когда писатель на праздничной полосе торопливо отделывается от темы стандартно-возвышенными фразами, читатель досадливо морщится: мол, ничего не изменилось на практике: как болтали, так и болтают. Когда публикуется «проходной» роман, выходит на экраны очередной фильм о нашем замечательном современнике, на который нашего замечательного современника силком не затащишь, — ложится серая тень на то, что мы делаем сегодня. Острая полемика на телеэкране пробуждает активность и оптимизм у огромной аудитории, а велеречивое пустословие с того же экрана приторным кляпом затыкает рот настоящей гласности.

В экономике глубоко разбираются немногие. Поэтому в глазах большинства людей именно литература и искусство определяют цвет времени. Конечно, не слово гонит ток по проводам и не слово в обед ложится на стол. Но и по искренности слова люди судят о честности дела.



Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАСТНИК

В суете равнодушных,
на глазах безучастных,
уставая от мыслей
забот и зевот,
рядом с нами
живет государственный частник.
И —
пора бы признаться —
неплохо живет.
Он в щеках округлился,
он в бедрах раздался.
И как будто
давая уроки судьбе,
он повсюду
(конечно, за счет государства!)
проповедует принцип:
«Ты — мне, я — тебе».
Он — на службе.
Но только,
плюя на законы,
может он,
подчиняясь себе самому,
не достроить завод,
не отправить вагоны,
если это
не выгодно
лично ему!
Он стремится урвать.
Он доходы считает.
Потому,
презирая и меру и такт,
он «за так»

разговаривать с вами
не станет.
Не подпишет «за так».
Не поможет «за так»!
Он сопит и ловчит,
грезит и маракует,
строит новые планы,
глотая слюну.
Он
своими обязанностями
торгует!
Широко и талантливо
грабит
страну!
В институтах,
на стройках,
в совхозах и трестах,
запасая себе и на нынче,
и впрок.
он блюдет
неприступность своих интересов,
с государства взимая
немалый налог!
О прочнейшая вязь
отношений особых,
потаенных путей,
где не сыщешь следов!
Круговая порука
невзрачных подсобок,
величавых приемных
и черных ходов!..

Стань, страна,
для хапуг
неродной и недоброй!
Стань железной,
как твой знаменитый Урал!
Поспеши!
Поспеши обязательно,
чтобы
государственный частник
тебя
не сожрал.

ОТВЕЧАТЬ!

Горе-обувь
бригада тачает,
гонит фабрика
горе-пальто.
Кто
за это все отвечает?
Вроде — многие.
В общем —
никто...
Вот —
зазря котлован отрыли,
вот —
не там завод возвели.
Гибнут в бездне,
ломая крылья,
государственные рубли!..

Я стихи эти
начал невесело.
Но —
приспело,
как ни крути.
Почему-то
среди ответственных
отвечающих
не найти.
Ситуация ошарашивает.
И уже
невозможно молчать!
Надо нам научиться
спрашивать.
А тем более —
отвечать!
Научиться —
и нощно и денно,
будто в самом последнем бою,—
отвечать
за конкретное дело,
отвечать
за работу свою!
Отвечать,
на любое мгновенье

ставя
собственную печать,
за порученное,
доверенное
и обещанное
отвечать!
Отвечать,
всерьез поднатужась
(знаю:
это не всем с руки!),—
за свою персональную
дурость,
за привычку
втирать очки!
Отвечать
по закону и правде,
пред которыми
все равны,
ради нашей Державы,
ради
краснозвездной
моей страны!
В ней —
надежда,
и совесть,
и почесть
без напыщенной шелухи.

Я кончаю.
И ставлю подпись,
отвечая
за эти стихи.

Александр ШАТАЛОВ

НАЧИНАЕТСЯ ДЕНЬ

Начинается день.
Посветлело.
Влажным снегом весь двор замело.
То, что ночью так жгло и болело,
наконец отошло, отлегло,

отпустило. И можно спокойно
снова в дальнее небо смотреть,
верить в то, что грядущие войны
не сумеют твой мир одолеть

никогда. Переулком московским
по московскому снегу иду,
словно в послевоенном, геройском,
самом первом победном году...

Боль как будто уже позабыта.
И летит грузовик налегке.
И рождается слово из быта
на сквозном городском ветерке.

Сокращаются расстоянья.
Я смотрю через окна на свет
и стараюсь горячим дыханьем
на стекле обозначить свой след.

И чем дольше живу, слава богу,
жизнь прекрасней, и легкая тень
лишь торопит скорее
в дорогу.
Начинается день.

* * *

Пока еще жизнь моя длится,
мне нужно, хотя бы на миг,
вглядеться в любимые лица
сограждан моих дорогих,

за их незатейливым видом,
за резкой морщиной на лбу,
за непритязательным бытом
увидеть чужую судьбу.

Тревожа загадочным светом,
чуть-чуть воспарив над землей,
они, как большие планеты,
плывут и плывут надо мной.

Их тайны, их жизни, их лица,
их судеб неясный пунктир
я должен любить торопиться,
пока не обрушился мир.

Я выпрямлю голос, чтоб резче
звучал он для милых моих,
став словом, став пламенной речью,
став жизнью невечною их.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Торопитесь помочь человеку,
не жалейте для этого сил,
в середине двадцатого века
вместе с вами он плакал, но жил.
Вместе с ним у окна
погрустите,
посмотрите,
как небо светло,
книжку медленно перелистните,
хлад осенний вдохнув тяжело.
Только пусть к нему вместо полчищ
неприятностей вдруг придут

ваша немощь
и ваша помощь.
ваш уют
и ваш неуют.
И тогда ваши личные горести,
ваши хворости — вмиг, не вмиг —
но исчезнут, забудутся вскорости,
словно вовсе и не было их.
И тогда ваши личные нéдуги
вас оставят в какой уже раз,
но зато ваши други
и недруги
никогда не оставят вас...

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

ХЛЕБ

Трудно родится хлеб.
Трудно хлеб достается.
Тот, кто душою слеп,
Может быть, усмехнется.

И похохмит над тем,
Как я, с достатком в доме,
Хлеб суеверно ем,
Крошки собрав в ладони.

Это живет во мне
Память о той войне...

Горькие времена!
Худенький мальчик, где ж ты?
В сутки — лишь горсть зерна,
Триста граммов надежды.

Бабушка нам пекла
Хлеб из скупой мучицы.
Жизнь,
Что давно прошла,
В сердце мое стучится.

Хлеб нас от смерти спас.
Он и сейчас бессмертен...
Все настоящее в нас
Этою мерой мерьте.

ВОСПОМИНАНИЕ О ДОМЕ

Глаза прикрою — вижу дом
И покосившуюся баню.
Туман над утренним прудом.
И нас, мальчишек, в том тумане.

В войну фашисты дом сожгли.
Лишь три избы в селе осталось.
Да пенье птиц, да зов земли.
И рядом бабушкина старость.

Как горько было на Руси!
Куда от памяти мне деться?!
Труба, черневшая вблизи,
Казалась памятником детству.

...Село отстроили давно,
Сады былые возродили.
Есть клуб,
                    где крутится кино.
И старый пруд — в убранстве лилий.

Теперь до нашего села
Легко добраться — есть дорога.
Не та, что некогда была,
А голубой асфальт к порогу.

Как быстро годы пронеслись...
Домой иду под птичье пенье.
Другой народ.
                    Иная жизнь.
Лишь в сердце прежнее волненье.

И что бы ни было потом
И как сейчас здесь ни красиво,—
Глаза прикрою — вижу дом.
И говорю ему: «Спасибо!»

МУЗА

А. Алексину

Муза моя,
Ты сестра милосердия.
Мир еще полон страданий и мук.
Пусть на тебя чья-то радость
Не сердится.
Нам веселиться пока недосуг.

Как не побыть возле горести вдовьей?
В доме ее на втором этаже
С женщиной той
Ты наплачешься вдоволь.
Смотришь —
И легче уже на душе.

Не проходи мимо горя чужого,
Рядом оно
Или где-то в глуши...
Людям так хочется доброго слова,
Доброго взгляда
И доброй души!

Горем истерзана,
Залита кровью, —
Наша планета опасно больна.
Муза,
Ты сядь у ее изголовья.
Пусть твою песню услышит она.

Знаю, что песня ничто не изменит.
Мир добротой переделать нельзя.
Все-таки пой...
Это позже оценит,
Позже поймет твою песню земля.

У МЕМОРИАЛА

У Вечного огня,
Зажженного в честь павших
Не на войне минувшей —
Павших в наши дни,
Грущу, что никогда
Они не станут старше,
И думаю о том, как молоды они.
Им жизнь не написала
Длинных биографий.
Была лишь только юность,
Служба и друзья...
И смотрят на меня
С печальных фотографий
Безоблачные лица,
Весенние глаза.
И возле их имен —
Живых, а не убитых —
Мы все в минуты эти
Чище и добрей...
И падает снежок
На мраморные плиты —
Замерзшие в полете
Слезы матерей.
Овалы фотографий —
Вечные медали
Не на седом граните —
На груди страны...
На прошлую войну отцы их опоздали.
И гибнут сыновья,
Чтоб не было войны...
Их мужество и жизнь
Для нас навеки святы.
Ракета смотрит в небо словно обелиск.
Легли в родную землю славные ребята
И подвигом своим над нею поднялись.

НИ О ЧЕМ НЕ ЖАЛЕЙТЕ

Никогда ни о чем не жалейте вдогонку,
Если то, что случилось, нельзя изменить.
Как записку из прошлого, грусть свою скомкав,
С этим прошлым порвите непрочную нить.

Никогда не жалейте о том, что случилось.
Иль о том, что случиться не может уже.
Лишь бы озеро вашей души не мутилось
Да надежды, как птицы, парили в душе.

Не жалейте своей доброты и участья,
Если даже за все вам — усмешка в ответ.
Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство...
Не жалейте, что вам не досталось их бед.

Никогда, никогда ни о чем не жалейте,
Поздно начали вы или рано ушли.
Кто-то пусть гениально играет на флейте.
Но ведь песни берет он из вашей души.

Никогда, никогда ни о чем не жалейте.
Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви.
Пусть другой гениально играет на флейте.
Но еще гениальнее слушали вы.

РАНЕНЫЙ ОРЕЛ

Н. Кабулу

Я к друзьям приехал в гости.
Горы, воздух...
Синий край.
И над быстрой речкой мостик —
Что твоя дорога в рай.

Здесь у речки утром ранним
Мы увидели орла.
Кем-то был он подло ранен:
В пятнах крови —
Полкрыла.

Не за то ль орел наказан,
Что так верен небесам?
Он смотрел зеленым глазом,
Полным ненависти к нам.

Мы с орлом вернулись к дому,
Оказав владыке честь...
Все он понял по-другому,
Отказался пить и есть.

Мы снесли его к подножью,
В голубую круговерть.
В небо он взлететь не может,
Может рядом умереть.

Но, взглянув на нас без гнева,
Он поднялся тяжело
И пошел пешком на небо,
Волоча свое крыло.

Шел орел осиротело,
Мясо клювом рвал с крыла,
Будто выклевать хотел он
Боль,
Что тоже в небо шла.

Только там он может выжить.
Иль погибнуть в синеве...

Он успел на память вышить
Строчку красную в траве.

* * *

Не смейте забывать учителей...
Они о нас тревожатся и помнят.
И в тишине задумавшихся комнат
Ждут наших возвращений и вестей.

Им не хватает этих встреч нечастых.
И сколько бы ни миновало лет —
Слагается учительское счастье
Из наших ученических побед.

А мы порой так равнодушны к ним:
Под Новый год
Не шлем им поздравлений
И в суете
Иль попросту из лени
Не пишем,
Не заходим,
Не звоним.

Они нас ждут.
Они следят за нами.
И радуются всякий раз за тех,
Кто где-то снова выдержал экзамен
На мужество,
На честность,
На успех.

Не смейте забывать учителей.
Да будем мы достойны их усилий.
Учителями славится Россия.
Ученики приносят славу ей.

Не смейте забывать учителей...



Маргарита АЛИГЕР

* * *

И все-таки настаиваю я,
и все-таки настаивает разум:
виновна ли змея в том, что она змея,
иль дикобраз, рожденный дикобразом?
Или верблюд двугорбый, наконец?
Иль некий монстр в государстве неком?
Но виноват подлец, что он — подлец.
Он все-таки родился человеком!

ЧИТАЯ ТОМАСА МАННА

Со времен Авраама — Иакова,
среди всех перемен и угроз,
пахнут в мире всегда одинаково
хлеб и море, дым и навоз.

Со времен Авраама — Иакова
благодатным и вечным огнем
светят в мире всегда одинаково
звезды — ночью и солнце — днем.

Со времен Авраама — Иакова,
без различья долгот и широт,
плачут в мире всегда одинаково
поколения вдов и сирот.

Со времен Авраама — Иакова,
словно перекликаясь в веках,
люди радуются одинаково,

люди мучаются одинаково
на различных своих языках.

Иногда мне в бессонницу чудится,
не давая вздохнуть и уснуть:
состоится, свершится, сбудется!
Пожелайте еще чуть-чуть!

Все так просто,
                        чего уж проще бы!
Но, как будто творя обряд,
где светло, пробираясь ощупью,
люди путают и мудрят.

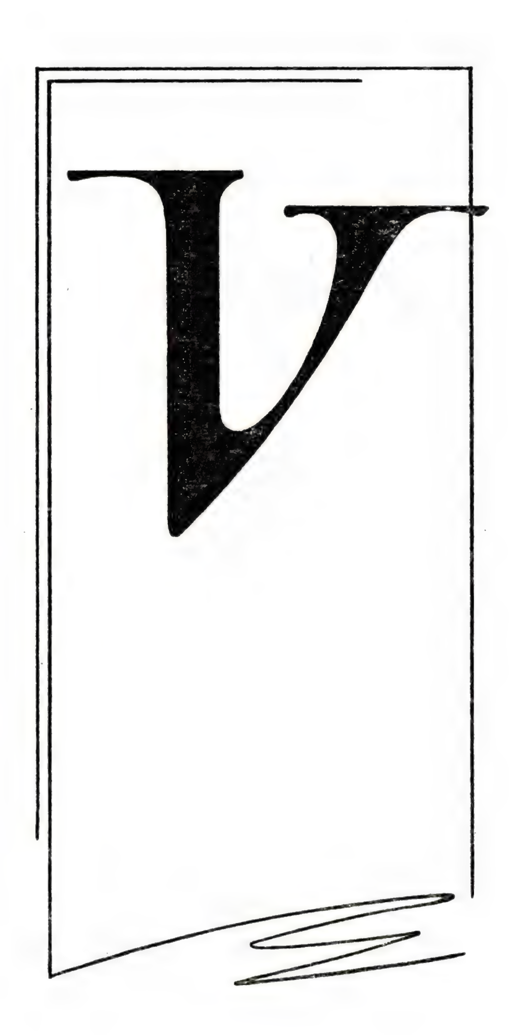
СВЕЧА

И. Черноуцану

Что за осень! Под ногами месиво.
Ни звезды, ни доброго луча.
Почему же мне тепло и весело,
словно бы горит во мне свеча?
И зима уже вот-вот надвинется,
какова-то в нынешнем году?
Что же я хожу, как именинница?
И откуда я подарка жду?
И какой такой я праздник праздную?
И какою радостью живу?
Люди называют их по-разному...
Я их вслух никак не назову.
И томит меня тревога странная,
как бы не погаснуть сгоряча...
Пусть она пылает, неустанная,
негасимая моя свеча.
Пусть она разгонит муть осеннюю,
греет сердце, озаряет путь.
Пусть не только мне несет спасение.
Пусть горит еще кому-нибудь.
Да простятся мне грехи и странности,
раз уж оказалось по плечу
через все угрозы и туманности
пронести горящую свечу.

* * *

Подживает рана ножевая.
Поболит нет-нет, а все не так.
Подживает, подавая знак:
— Подымайся!
                Время!
                        Ты — живая! —
Обращаюсь к ране ножевой,
в долготу моих ночей и дней:
— Что мне делать на земле, живой? —
А она в ответ:
                — Тебе видней.


V

Главную задачу своей культурной политики партия видит в том, чтобы открыть самый широкий простор для выявления способностей людей, сделать их жизнь духовно богатой, многогранной. Добиваясь радикальных перемен к лучшему и в этой области, важно построить всю культурно-воспитательную работу так, чтобы она все полнее удовлетворяла духовные запросы людей, шла навстречу их интересам.

Из Политического доклада Центрального Комитета КПСС XXVII съезду Коммунистической партии Советского Союза

Даниил ГРАНИН

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОДЛИННАЯ И МНИМАЯ

Не знаю, все ли мы отдаем себе отчет в историчности нынешнего времени, правильно ли видим масштаб событий, происходящих на наших глазах, да и при нашем участии. Надвинулось волнующее ощущение перемен, здоровых, исцеляющих. Где предчувствие, а где и возможности, которыми уже жадно и радостно пользуются на заводах, в научных учреждениях, в самых разных коллективах.

Большая очистительная работа, которую проводит сейчас партия, вызывает горячее одобрение всех трудящихся. Открываются новые возможности трудиться так, как требует от нас время, будущее нашей страны. Всколыхнулось нравственное чувство народа.

Естественно, наша литература всегда занималась нравственными проблемами. Можно назвать целый ряд произведений, в которых разоблачались, например, преступные явления в торговле, в сфере быта, в экономике. Но, признаюсь, события, последовавшие после апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС, породили у меня острое чувство неудовлетворенности нашей писательской работой, заставили пересмотреть устоявшиеся, казалось, представления, породили вопросы серьезные, трудные. Чувство неудовлетворенности нашей современной литературой обращено и к собственной работе, и к работе моих товарищей. Стали очевидны сглаженность, облегченность, уклончивость, примиренчество. На протяжении многих лет критика настаивала на создании образов положительных героев, героев нравственного подвига. Героев же отрицательных, героев безнравственной жизни старались тщательно уравновешивать, их придерживали за руку, им устанавливали строгие нормы поступков и высказываний. Их социальную опасность нередко занижали. Осторожные редакторы, притупляя критику, грозили клеймом «очернительства»; свои «нельзя!» они оправдывали фор-

мулой «сейчас — не момент!». Мы же проявляли уступчивость, верность правде жизни меняли на близкий срок публикации. Литература не исследовала зло в его изменчивых ликах перерожденцев, настоящих карьеристов, корысть в ее уродливейших, казалось бы, бессмысленных проявлениях. Примеры безнравственности, аморальности в наших книгах вряд ли могут помочь сегодня понять корни и значимость отрицательных явлений. Боюсь, что сегодня, в этот чрезвычайно важный момент жизни нашего общества, многие из написанных нами книг представляются крайне наивными, их обличительный пафос — мелкокалиберным, их злодеи — анемичными.

На руку эта литературная робость была прежде всего силам зла. Их конечно же устраивала робкая литература, литература очковтирательства, показухи, литература приписок и угодничества, литература несмеющая.

Могут сказать — появились, допустим, пьесы, остро показывающие устарелый порочный стиль руководства, людей, которые предали интересы партии и народа (вспоминается, сколько мук в свое время натерпелась острая пьеса В. Розова «Гнездо глухаря»); эти пьесы последнего времени, несмотря на некоторую злободневную поспешность, несомненно работают. Но речь идет о большем. Речь идет об ответственности литературы за состояние духовной и нравственной жизни общества. Ответственности, мне думается, не только за показ здоровых сил, строительство нового человека, но и за честное, бесстрашное отражение преступного, враждебного нашему обществу. И анализ, глубинное исследование причин зла.

Есть особый вид литературных приспособленцев, которые умеют мгновенно перестроиться, первыми выйти на трибуну и пылко поносить то, к чему вчера призывали, ничем при этом не терзаясь и никого не стыдясь. Есть ремесленники, которые бодро готовы разделывать новые темы, им эти сюжеты не боль и печаль, а, скорее, пикантная свежатина. Но не о них разговор. Скорее, о том, как важно художнику осмыслить происходящее, понять значение той борьбы и работы, которую разворачивает сейчас партия, как важны и для нас новые подходы к своему делу, взаимная требовательность и взыскательность.

В течение многих лет мы не занимались всерьез социологией чтения. Отчасти можно понять, почему не занимались. Существовал книжный голод, казалось, что тут не до иссле-

дований: какую книгу ни выпусти — ее все равно тут же схватят. И вдруг в последнее время стало обнаруживаться, что книги берут с разбором, и какие-то уже долго лежат в магазинах, а иные и вовсе не раскупаются... Начинает выясняться и другое обстоятельство: книги, которые покупают — а цифрами проданных томов мы гордились, книжный бум нам казался показателем культуры,— их не всегда читают, даже те из них, что были предметом дефицита, спекуляции. То есть нет прямой связи между спросом, продажей, числом купленных книг и чтением. Точно так же как нет прямой связи между лишней парой обуви и ходьбой — не обязательно, приобретая новые туфли, мы станем больше ходить. Недавнее социологическое исследование, проведенное Ленинградским педагогическим институтом имени А. И. Герцена среди десятиклассников Ленинграда, Петрозаводска, Шадринска, Саранска, в котором участвовало около четырех с половиной тысяч учащихся, пок ала довольно грустную картину. В ответах на вопрос анкеты: «Какие книги, прочитанные вами не по программе, а по собственному желанию, произвели на вас особенно сильное впечатление?» — не было названо ни одного произведения русской классической литературы, не упомянуты первоклассные вещи советских писателей.

Отлучению школьников от художественного слова способствовало продолжающееся, несмотря на все разговоры, сокращение и ухудшение преподавания литературы в школе, и нынешняя реформа этот процесс, увы, пока не остановила.

Но, кроме того, существуют и другие, не менее серьезные причины, отчего читать стали меньше. Раньше по вечерам, если не шли в кино или театр, брали в руки книгу. Интересная книга собирала за столом всю семью. Теперь семья — и стар и мал — глядит часами на телеэкран. К магнитофонам добавились еще и видеомагнитофоны. А жизнь-то человеческая ненамного удлиняется, количество свободных часов не прибывает, и к этому надо относиться трезво, понимать, что у современного человека меньше остается часов на чтение, чем у человека, допустим, тридцатых годов. Книг меж тем выпускается все болбше, и что происходит с их чтением, мы очень плохо знаем,— в этом смысле мы живем и работаем вслепую. Хотя не вооруженным социологической оптикой глазам видно, что круг чтения сужается, люди читают меньше, читают поверхностнее, наспех, предпочитают чтиво, все чаще удовлетворяются сублитературой. Развлекательное кино, легкая музыка во всякого рода упа-

ковках — готовые музыкальные консервы и легкое, без серьезной духовной работы чтение. Растет потребление субискусства — субмузыки, субживописи, и эта субкультура довольно пышно начинает расцветать среди социологического безмолвия. Нам не обойтись без социологического анализа, без четких критериев, точных ориентиров, открытого, гласного обсуждения, что мы читаем, а что мы не читаем, каковы вкусы, каковы интересы разных слоев населения. Это необходимо для нашей критики, для движения литературы.

Порой создается впечатление, что пафос нашей критики, то, что она превозносит и против чего направляет свои удары, нередко почти не имеет точек соприкосновения с практикой чтения народа, с повседневной читательской жизнью, а движется в каком-то замкнутом кругу нашей литературной общественности, может быть и достаточно большом кругу, но и все же бесконечно малом в сравнении с самой жизнью.

Социология чтения поможет многое поставить на свои места. И может оказаться, что писателей которые критикой числятся во второстепенных, которые ею критикуются или замалчиваются,— их-то и читают больше всего. И наоборот, некоторые литературные имена, «авторитеты», созданные критикой, читателям мало известны или о них не знают вовсе. Их, может быть, не читают, потому что читатели имеют плохой вкус или не доросли до серьезной литературы. А может, и правильно делают, что обходят их произведения своим вниманием. Социологические исследования чтения должны стать сегодня одним из главных элементов нашей литературной жизни.

Есть еще один важный аспект темы — ответственность художника и тех, кто призван помогать ему в его нелегкой работе, кто в силу должностных обязанностей первым или одним из первых знакомится с рукописью, художественным полотном, кинолентой и от кого зависит дальнейшая судьба произведения. Вряд ли надо доказывать, как важно, чтобы эти должностные лица руководствовались прежде всего идейно-художественными критериями, а не пресловутой логикой «кабычегоневышло».

Те, кто читал «Блокадную книгу», помнят, быть может, рассказанную в ней историю о спасении картин замечательного советского художника Павла Николаевича Филонова. Он погиб в Ленинграде от голода в декабре 1941 года. Его

сестра Евдокия Николаевна Глебова сумела в разгар блокады передать картины Филонова на хранение в Русский музей. Это был истинно героический поступок, один из подвигов ленинградцев того страшного времени. Еле державшаяся на ногах, она волокла по замерзшим улицам города пакет — огромную тяжесть! — с 379 работами и рукописями брата, 21 полотно на валу нес ее родственник. Более 40 лет прошло с военной поры. Работы художника, признанного ныне всемирно, так и хранятся в Русском музее, частично в Третьяковской галерее, несколько картин в других музеях страны. Сделанное и покойной Е. Н. Глебовой, и людьми, занимавшимися наследием П. Н. Филонова, не пропало, не кануло в Лету. И в то же время — кануло, ибо уже не одно поколение лишено радости видеть эту чудесную живопись. Картины так и не выставлены, они лежат в запасниках. В чем же дело?

Предпринималось немало попыток устроить выставки Филонова, рассказать о его творчестве, выпустить монографии о нем, и всякий раз эти попытки наталкивались на какое-то непонятное сопротивление. Филонов — художник, рожденный Октябрьской революцией, связавший с нею свою судьбу. Жизнь его — образец служения революционному искусству. Никаких возражений, по сути, не было, слышалось лишь невнятное, но многозначительное «мычание», которое издавали люди, облеченные правом разрешать или не разрешать. Их я, в общем, не очень и виню, потому что они опирались на мнение некоторых деятелей Академии художеств, Союза художников, и этого было достаточно. «Знатоки»-искусствоведы, выразительно закатив глаза, высказывались следующим образом: «Зачем вам это надо?», «Вы сами должны понимать...» или «Еще рано» и проч. и проч. Прикрываясь этими «доводами», они заботились лишь о своей репутации, чтобы их не упрекнули: «За что же вы ругали, поносили живопись Филонова?» Нет уж, лучше ее не показывать.

Несколько раз я пытался напечатать воспоминания Е. Н. Глебовой о брате. Упросил, буквально заставил ее их написать, поскольку она одна могла рассказать о детстве и юности художника. Мы с главным редактором «Невы» пытались опубликовать воспоминания в журнале, приложив несколько филоновских литографий. Не вышло. Я даже записал диалог по этому случаю:

— Да вы знаете, Даниил Александрович, не стоит, подождем.

— А чего «подождем»?

— Даниил Александрович, вы сами должны понимать.

— А я не понимаю.

И я действительно не понимал — ведь речь шла не об идейных изъянах, а о субъективном отношении к манере живописи.

— Ну как вы не понимаете? — тонкая улыбка авгура — как тайный знак соумышленнику.

Идет разговор, полный намеков, которые вроде бы должны что-то пояснять. Но ничего они не поясняют, кроме желания отпихнуть от себя дело, может чем-то рискованное, уйти от личной ответственности.

Несколько раз картины Филонова все же прорывались из темноты и тесноты запасников на свет божий. Так, они были показаны на выставке «Москва — Париж», имели успех и стали открытием. «Ну, то для заграницы, а для наших людей это не нужно» — вот какое простое объяснение сановного авгура. Почему? Как можно решать за людей, любящих живопись, желающих видеть ее, что им «нужно», а что «не нужно»? На каком основании отлучается творчество большого художника от народа? Спросите у любого из этих искусствоведов, какие аргументы он может представить против искусства Филонова. А если он даже и выскажет свои соображения, то почему именно его оценка должна оказаться решающей? Конечно, рано или поздно Филонов будет показан, будут выставлены работы Малевича, Ларионова, других мастеров, может, и не такого масштаба, но мастеров прекрасных. Но как объяснить то, что их полотна были спрятаны от наших глаз в течение десятилетий? А вопрос об ответственности, я считаю,— важнейший в судьбе искусства.

Конечно, каждый период нашего сложного времени предъявляет свои требования к искусству, и эстетические вкусы не независимы от этих требований. Но существование «запасников» в разных жанрах нашего искусства нередко вызвано равнодушием, некомпетентностью. И чаще другого перестраховкой «с запасом».

Известно, что талантливый Филонов, принадлежавший к числу острых и оригинальных экспериментаторов, в своих поисках порой отступал от обычных реалистических традиций и сближался с направлениями, иногда обозначаемыми термином «авангардизм».

На определенных этапах истории нашей культуры Филонов, как и некоторые другие схожие с ним художники-экспериментаторы, мог быть неправильно понят и истолкован. Сегодня такая опасность не грозит (хотя мы по-прежнему решительно отвергаем бесплодный модернизм). Следовательно, держать Филонова столько лет «в тайне» было уже ни к чему. А его по инерции держали.

Книга лучших стихов Владимира Высоцкого увидела свет, когда его самого уже на свете не было. Не найдешь сейчас, с кого спросить. А ведь, не преданные гласности, эти явления не становятся уроком, они уходят, уплывают, течение жизни относит их в прошлое.

Представьте себе, что готовый к пуску завод, призванный давать нужную продукцию, вдруг закрывают только потому, что какой-то начальник скажет: «Не по душе мне этот завод». Абсурд? Если даже нечто подобное произойдет, то виновные за это понесут строжайшее наказание. Но ведь поэт, художник, режиссер — тоже завод, «вырабатывающий счастье», как говорил Маяковский. Почему же такие заводы можно закрывать безнаказанно? Почему за многолетний простой таких заводов, за недоданное ими никто не несет ответственности?

Не дань ли перестраховке и тот факт, что издательство «Молодая гвардия» не включило в собрание сочинений Василя Быкова его повесть «Атака с ходу», которая вошла в собрание сочинений автора на белорусском языке?

Уже говорили публично и писали о неоправданно трудной судьбе картин Алексея Германа. Десять лет пролежала на полке и картина Элема Климова «Агония». Недавно вышел на экраны новый замечательный фильм этого режиссера — «Иди и смотри». Оказывается, к съемкам этого фильма Климов приступал еще в 1976 году. Однако работавший тогда заместителем председателя Госкино СССР Б. Павленок прикрыл его работу. Понадобилось восемь лет, чтобы возобновить съемки по тому же сценарию. Без переделок. Вот во что обходится художнику принципиальность.

В подобных историях не всегда ощутима роль наших творческих союзов. Порою они предпочитают не вмешиваться в борьбу, которую одиноко ведет с издателями автор. Четыре года никак не могли решиться напечатать интереснейший роман ленинградского прозаика В. Мусаханова. История с этим романом возмущала литераторов Ленинграда, о ней говорили на собраниях, однако правление нашей творческой организации ничего не сделало, не откликнулось, не встало

на защиту писательских прав. Сейчас наконец роман выходит в «Советском писателе». И никто не сможет объяснить, зачем нужны были эти четыре года мытарств.

Мы все с охотой повторяем, что художник призван служить своим талантом обществу, быть ответственным перед временем. Но эта ответственность должна иметь возможность осуществиться. И своевременно. И хочется, чтобы ответственность была полной. Чтобы не делить ее ни с кем и не ссылаться потом на редакторов, чтобы не было стыдно перед читателем, ждущим нашего слова не «после», а «до». Гражданское чувство ответственности нуждается не только в обязанностях, но и в правах. Оно должно быть поддержано практикой работы творческих союзов, иначе сегодня, очевидно, нельзя. Недаром ныне так остро ставится вопрос о персональной ответственности в народном хозяйстве, чтобы было кому отвечать, с кого спросить. Литература — дело тем более персональное, штучное, где понятие ответственности связано с глубоким, личностным и отнюдь не отвлеченным воплощением, с расширением и прав, и обязанностей писательского мужества. Все насущные, сложные вопросы нашего литературного бытия нуждаются в открытых, гласных обсуждениях.

Виктор РОЗОВ

НАЧАТЬ С СЕБЯ

Сейчас много критики. Просто и не снилось мне, что я доживу до таких времен. Читаю газеты, смотрю спектакли. Критика, критика, без эзопова языка, прямо в лоб, без фиги в кармане. Ушам и глазам не верю. И слова самые распрекрасные — правда, и ничего, кроме правды...

А мне хочется и кроме. Мне, как и всем, хочется дел. Я, конечно, приглядываюсь к пьесам, в которых «решаются проблемы» сельского хозяйства или промышленности, хотя, признаться, не могу сказать, правильно они решаются или нет, хорошо или плохо. прогрессивно или по старинке. Но меня не покидает мысль: ведь этими проблемами должны заниматься профессионалы, я же не знаю, когда надо сеять и когда убирать урожай. Даже слушая горячую речь Валентина Распутина на съезде писателей РСФСР в защиту сибирских рек и Байкала, честно говоря, все же до конца не знаю, надо эти реки поворачивать вспять или нет. Мне бы не хотелось, конечно,— привык, что они текут не на юг, а на север. Я чуть не плакал, когда мою дорогую Волгу начали резать на куски плотинами,— такая она раньше была красавица со своими заводями, отмелями, островами, песками!

Я даже не уверен, что сверлить дыры в космосе мне на пользу: вдруг через эти дыры что-нибудь выползет или, наоборот, уползет с Земли необходимое. Не знаю, не знаю!.. Я даже не могу помочь советом трудящимся, которые делают мебель. Сосед недавно приобрел «стенку», а у нее через месяц так перекосило все дверцы — одна не закрывается, другая не открывается, все скособочило, точно инсульт хватил.

А чем могу помочь? Жалобу написать? Но «Москва слезам не верит», многие другие города тоже. В крайнем случае о каком-нибудь безобразии статью напишу в газету. Напишу, а потом вспомню усмешку Некрасова:

И погромче нас были витии,
Да не сделали пользы пером...
Дураков не убавим в России,
А на умных тоску наведем.

Однако, перефразируя слова Булата Окуджавы: «Вы пишите, вы пишите, вам зачтется». Глядишь, и дела будут.

Но лично я не знаю, как в области машиностроения или планирования следует поступать. Видимо, должны появиться и там таланты. А то только нас ругают: мало талантливых пьес! А там, в неведомых мне сферах, таланты тоже нужны. Появятся они, на мой взгляд, только тогда, когда будут условия для их произрастания. Приведу немножко странный пример. Если бы не было войны, знал бы кто имена Конева, Баграмяна, Черняховского, многих, многих увенчанных славой наших полководцев? Даже Жуков и Рокоссовский не так были бы известны народу. Обстоятельства, условия выдвинули таланты. Что надо делать, чтоб у нас появились великие финансисты, экономисты, деятели промышленности, чтобы их имена были также у всех на устах? Этого знать мне не дано, не моя сфера деятельности. В последнее время много надежд появилось.

С недостатками и безобразиями надо бороться всем. Согласен, согласен! Но в первую очередь тем, кто этими делами занимается: машиностроителям — в своем деле, строителям — в своем. Я консерватор и думаю, что точка приложения сил драматурга — человек.

Сделаю отступление. В Театре эстрады выступал наш знаменитый актер — Аркадий Райкин. Как всегда, он высмеивал, издевался над мещанством, обывательщиной, пьянством, хамством. Зрители вместе с актером хохотом и аплодисментами бичевали людские пороки. Освещенный яркими огнями прожекторов, актер долго, долго кланялся залу после окончания концерта. Аплодировали стоя, как на торжествах. «Все дошло до глубин каждого сердца», — думал я и радовался этому доброму, всепонимающему залу. Но вот артист откланялся окончательно, огни рампы и прожекторов потухли. И произошло превращение. Тысячная толпа, как очумевшая, ринулась во все двери, будто кто-то крикнул: «Пожар!». Люди опрометью неслись по фойе, галопом скакали по лестнице, мчались вдоль вестибюля, каждый старался опередить другого и достичь желанного финиша — гардероба. В плотной толпе шапки и пальто летали по воздуху, передаваемые кем-то кому-то. Стояли

гвалт, толчея, рвачка. То, над чем победно смеялись секунды назад, проделывали сами.

Человек — существо неразгаданное. Для него и великие книги, и музеи, и полеты в космос, и искусственное сердце, а он, глядишь, и явится свинья свиньей. Грустно.

Искусство, на мой взгляд, имеет разные формы воздействия на человека — и просто познавательное, и воспитательное, и эстетическое. И еще неведомо какое, которое и не передашь словами, но именно это воздействие, может быть, самое важное, потому что при всей жизненной суете вдруг дает возможность почувствовать гармонию мироздания.

Я бы хотел сейчас поразмыслить только над воспитательным значением искусства. Но прежде сам для себя должен понять объект воспитания, то есть то, на что я воздействую. Тут все довольно таинственно. Ну, если плотник работает топором или пилой, желая что-либо соорудить, то он воздействует на дерево, которое поддается топору и пиле согласно желанию строителя. И бетон тоже, и кирпич, и железо. Глядишь, вырос дом, и именно такой, как замышлялся. Даже звуковые и световые волны покоряются человеку — и радио работает, и чудо-телевизор. Все, все материальное постепенно покоряется человеку. Только никак не может совладать человек с человеком. Уж, кажись, такой материальный, а не поддается. Но материален ли человек? Сейчас поразмышляю на этот счет.

Мне этот вопрос давно не дает покоя. Ведь я же пишу пьесы, их смотрит зритель. Значит, я тоже в какой-то степени несу воспитательную функцию и воздействую. Должен же я знать — на что?

Когда появился человек на земле, сейчас для моей мысли неважно,— пять или пятьдесят тысяч лет назад. И всегда у человека были две ноги, две руки, два глаза и уха, один нос и рот, печень находилась справа, сердце слева, а все остальные органы тоже располагались на своих извечных местах. Во всяком случае, если мы замахиваемся на создание нового человека, то я не думаю, что под этим подразумевается выращивание третьей руки для поднятия производительности труда. Здесь я намекаю, что отращивать внутреннюю «третью руку» — какой-то новый нервный узел, ведающий нашим духовным миром, чтобы человек вмиг сделался честным, совестливым, добрым и порядочным,— такое же безнадежное и бесполезное дело. Но об этом я буду думать еще дальше, а сейчас о другом.

Мои руки, ноги, глаза, уши, почки, селезенка — все, все, из чего я состою, есть мои органы. Даже мозг — орган человека. Но кого же, черт их побери, они обслуживают? Не обслуживают же они просто друг друга, чтобы биологически существовать. В этом есть что-то унизительное и даже мерзкое. Нет, думаю я, они обслуживают меня, а это «я» есть производное их действия, моя Личность — назову это так за неимением подходящего слова в моем обиходе. Личность — это не мой нос, походка, тембр голоса, цвет глаз. Подобное — только оболочка, в которой находится Личность. Но именно это — то, что я и не знаю, как назвать,— и является Человеком. Это-то и является объектом моего воздействия. Невесомо, невидимо, нематериально. Но реально. И в межчеловеческих отношениях мы преимущественно соприкасаемся именно с этой человеческой сущностью, а не с формой головы или размером кулака.

Средствами искусства, театра в особенности, мы воздействуем на эмоциональный строй Личности, так как язык театра не слово и форма, а эмоция. Извечность эмоционального строя человека подтверждается хотя бы той же драматургией. Более двух тысяч лет назад еврипидовская Медея мстит своему мужу за измену и совершает убийство. Почти две тысячи лет спустя из подозрения в неверности Отелло душит Дездемону. В честном и героическом воине Макбете пробуждаются чувства властолюбия, и развивающаяся пагубная страсть влечет его в бездну кровавых преступлений. А разве нынче мы не знаем людей, опьяненных властью, теряющих над собой контроль и совершающих тяжкие проступки? Любовь и ненависть, щедрость и скупость, подозрительность и доверчивость, коварство и простодушие, отвага и трусость, целомудрие и распутство, жестокость и милосердие — все, все чувства, свойственные человеку от века, живы и ныне. И чувств этих куда больше, чем клавиш в клавиатуре рояля. Дело в пропорциях, в долях: каких-то свойств в одном много, в ином — меньше...

В самом начале войны 76-миллиметровая пушка наша была на конной тяге, и к каждому бойцу был прикреплен конь, за которым требовалось ухаживать. Я любил своего жеребца, кормил его, чистил, ласкал, даже иногда давал кусочек сахара из своего скудного солдатского пайка. И конь любил меня. В часы отдыха командир разрешал мне поскакать на коне для моего собственного удовольствия. Это

большое наслаждение — скакать без седла с одной веревкой в руках, привязанной к удилам. Скачешь по неведомым полям, угорам, перемахиваешь одним махом речушки и чувствуешь волю!..

И вот однажды мы с ним скакали, скакали, и вдруг с жеребцом что-то случилось. Он стал забирать правее и правее, куда мне было не надо и нельзя. Я натягивал поводья, но он упрямо, остервенело и зло рвет в свою сторону... Идет бой — он за свое желание, я за свое. И конь уже несет меня помимо моей воли! Я еще лихорадочно сопротивляюсь, рву удила, вижу кровь у него на губах, пугаюсь, ничего не могу понять, делаю еще резкое, судорожное усилие. И вдруг Васька (так прозаично звали моего скакуна) выпрямляет ход и несет с такой яростной скоростью, что я едва успеваю увидеть большой сарай, проем, в который мчится конь. Инстинктивно падаю на Васькину шею, обхватив ее руками, и он проносит меня сквозь два сарайных проема на простор. Не упади я ему на шею, голова моя с треском разлетелась бы о деревянный брус перекладины. Постепенно конь утих, и я, взволнованный, уехал на свою батарею. Что случилось с конем, я сообразил позднее. Во время «битвы» углом глаза я на мгновение увидел пасущуюся вдали кобылу. Видимо, она и привлекла моего коня.

Не мной определен человек как мифическое существо кентавр — слитность коня и всадника воедино. Я понимаю это образное определение и согласен с ним. Конь — это именно наши страсти, чувства, желания, порывы. Конь этот может быть до поры до времени покорным, но способен делаться бешеным, мгновенно понестись во весь опор и снести голову всаднику, если у того нет сил и навыков, чтобы совладать с норовом коня.

Сколько в жизни разных соблазнов, которые дразнят скакуна, на котором мы сидим! Но именно сидящий на коне может держать поводья и править. Вот тут-то, по-моему, и кроются корни наших возможностей. Научить, научиться управлять конем. Для этого человеку даны разум, воля и особая форма знания — интуиция. На них воздействует искусство, их совершенствует воспитание.

Нельзя механическим путем сделать человека, допустим, только добрым и как бы изъять из него все злое. В Соединенных Штатах, например, делались попытки обезвредить, удалить некую агрессивную долю мозга у особо опасных личностей, но вместе с этой долей исчезала и сама Личность, человек становился как бы недоделанным. От эксперимента

пришлось отказаться. В извечном эмоциональном строе человека столько богатства, красоты, неизъяснимых возможностей! Я не предполагаю, что, когда мы произносим эту самую стереотипную фразу: «Создадим нового человека», мы покушаемся именно на целостность и извечность внутреннего мира человека. Покушение на подобную форму естественности, кроме уродства, как и в хирургическом эксперименте, еще ничего не давало.

Трудно иметь дело с этой нематериальной сущностью человека! Как просто обращаться с телом, как легко научить ребенка ходить, держать в ручонках ложку, пить из чашки, одеваться, мыть руки и лицо, обучить грамоте и т.п.! Сколько у нас яслей, детских садов, школ, институтов, библиотек, спортивных сооружений, кинотеатров, телевизоров. «Если хочешь быть здоров, закаляйся»; если хочешь стать умным, учись. По-моему, я уже где-то писал, что раньше мысль «В здоровом теле здоровый дух» звучала иначе: «Здоровый дух в здоровом теле». В самом деле, тело может быть здоровенное, но лучше при встрече с таким телом вечером на улице на всякий случай перейти на другую сторону. А глядишь, какой-нибудь щупленький, невзрачный мужичишка, а духом — великан, история знает тому множество примеров. И можно добиться больших внешних успехов, разными хитрыми путями стать важной персоной, получить награды, но это еще тоже не много говорит в его пользу. Помните, у Бернса:

При всем при том,
При всем при том,
Хоть весь он в позументах,—
Бревно останется бревном
И в орденах и в лентах!

Король лакея своего
Назначит генералом,
Но он не может никого
Назначить честным малым.

Видите, как давным-давно говорится все об одном и том же. Вот этот-то «честный малый» и есть та наиважнейшая фигура, столь желанная нашему обществу. Но, право же, легче построить гигантскую ГЭС, засеять целину, отправить корабль в космос, чем сделать человека Человеком. Над этим видом строительства человечество бьется тысячелетия. Как могло случиться, что в нашем обществе, где о сознательности твердится день и ночь, за последние годы столько

развелось пьяниц, воров, взяточников, допотопных чинуш, что пришлось объявить им настоящую войну? Увы, приходится вспоминать ироническую фразу А. Франса: «Человечество должно быть принуждаемо к добродетели...»

Так вот, вопросы воспитания я ставлю на первое место среди самых неотложных наших дел. Никакие распоряжения, никакие постановления, никакие решения всерьез не сдвинут с мертвой точки все неотложные дела, если люди, во всяком случае большинство из них, не будут «честными малыми». Воспитание — вопрос сложнейший, и не в газетной статье о нем писать подробно, но я только хотел бы высказать по этому вопросу несколько соображений.

Первое. Предполагая стойкость духовного, эмоционального мира человека, надо ли настаивать на мгновенных его превращениях то в одно, то в другое? Никому не придет в голову хрустальным бокалом заколачивать гвозди, никто не крикнет человеку, у которого связаны ноги,— «беги!». Но вольно или невольно наносить (окриком, запретом, пренебрежением) удары по хрупкому духовному устройству человека — дело плевое, отдать приказ, который невозможно исполнить,— раз чихнуть. Особенно это относится к детям, которыми мы заведуем. Пете всего пять лет, а он слышит от мамы окрики: «Петька, что ты вертишься, как бес, посмотри на бабушку, как она тихо сидит» В основном наши дети воспитываются методом окрика: не смей, не лезь, не трогай, не бегай, не вертись, не так думаешь, не то делаешь! И этот окрик идет со всех сторон.

Вот мудрое замечание Джона Локка, относящееся к этому методу обращения с человеком, сделанное еще в XVII веке: «Мы не должны забывать, что наши дети, став большими, совершенно походят на нас, имеют те же страсти и те же желания, что и мы. Но мы желаем считаться разумными созданиями и быть господами нашего поведения. Мы не любим подвергаться ежечасно выговорам и порицаниям, мы не выносим, чтобы те, с кем нам приходилось иметь дело, обращались с нами в суровом и повелительном тоне или держали нас на почтительном от себя расстоянии. Взрослый человек, замечающий подобное обращение, сейчас же ищет себе другого места и компании, где бы он мог чувствовать себя вполне свободно». Дети, добавлю я от себя, к подобному обращению с собой особенно чувствительны. А «другая компания», где они могли бы чувствовать себя «вполне свободно»,— это двор, улица, околачивание около кинотеатра, какая-нибудь «хатка». А потом мамы и папы,

учителя, комсомольские и пионерские вожаки кричат: «Откуда он у нас такой?!»

Недавно я встречался с учениками одной из московских школ. Ребята во время беседы сидели тихо-тихо, я бы сказал, чересчур тихо. Когда беседа закончилась, учительница, находившаяся рядом со мной, крикнула одной из девочек: «Орлова, подойди сюда!» Девочка, нет, уже барышня лет четырнадцати-пятнадцати, робко приблизилась к нам. И на глазах еще не разошедшихся учеников, при мне педагог поставленным, властным голосом разразилась тирадой: «Как ты смела войти в дверь, когда беседа уже началась! Какое ты имела право опаздывать! Как ты ведешь себя! Понимаешь ли ты свой поступок?..» И что-то еще в этом духе. Я готов был провалиться сквозь землю, чувствовал себя виноватым, так как в конце концов из-за меня все это случилось. Учительница закончила внушение фразой: «Я с тобой еще поговорю!» А я ушел с чувством горечи на душе. Давно известно правило: выговоры делаются наедине, поощрения — при всех. Замечу, кстати, учитель — это артист. Он входит в класс, и всем становится интересно, от него веет тайной и радостью. Он не имеет права тащить на «сцену» свои домашние заботы, неурядицы и даже горе. Зрителю нет дела, что у Ромео сегодня больна мать или что от него вчера ушла жена. Детям — тем более.

Приведу случай совсем вопиющий. Несколько лет тому назад я выступал в колонии для малолетних преступников. Была осень. Начальник колонии рассказал, что два подростка бежали в город. Цель побега: один мальчик хотел убить свою мать. Другой — для помощи. «Мы дали знать, их поймают, волноваться не надо»,— успокаивающе добавил он.

— А почему мальчику пришла в голову такая чудовищная мысль? — спросил я.

— Видите ли,— объяснил начальник,— у мальчика умер отец, мать нашла сожителя, а комната одна. Приходит мужчина — мальчик марш на улицу. В снег, в мороз, в дождь, в жару. Она загнала его в колонию. И, кажется, довольна. Даже не пишет ему.

Случай не шел у меня из ума и образовался в такой вывод: мальчик бежит убить свою мать, чтобы совершить акт возмездия!

Вот вам и древнегреческая трагедия в наши дни! Совершенное злодеяние вызывает ответное. Образуется порочный круг. На этот раз разорвать его удалось самым прозаическим образом: предупредить милицию.

Акта возмездия не произошло.

Но оставлю примеры, им несть числа. Сложность воспитания в том, что при всей общности человеческих чувств нет на свете двух одинаковых людей, природой все отмеривается каждому своей мерой, под каждым свой собственный конь. Как это ни покажется загадочным, но в одной и той же семье «при прочих равных условиях» вырастают совершенно противоположные дети: один хорош, другой негодяй.

Второе. В человеке также от природы заложено самосознание, важность своего человеческого «я», своей индивидуальности. Это его свойство охраняют чувства чести, личной гордости, самостоятельности мышления и поведения. Всякое подавление личности — преступление, так как только личность может дать обществу что-то такое, чем это общество может обогатиться. Как правило, сохранение чувства человеческого достоинства и дает «честных малых».

Может быть, именно по всем этим причинам я отдавал и отдаю предпочтение психологическим пьесам, в которых раскрывается именно мир чувств. Но в этот тайный мир проникнуть может только наделенный особым даром автор. Он постигает естественное, эмоциональное, духовное движение личности, а не придумывает по своему желанию. В этом отношении гении, как, например, Пушкин или Достоевский, достигали невероятных глубин, объясняя нам самих себя. Коротко и не расскажешь, что они нам открыли, нужно обязательно перечитывать их.

Наше стереотипное представление о человеке как о довольно нехитром механизме, который можно «заводить» по своему усмотрению, приводит только к тому, что этот самый человек, не желая или боясь вступить в конфликт, делается существом, живущим двойственной жизнью: естественной, удовлетворяя тайно свои страсти, и показной — будто бы он совершенная добродетель. Он делается ленив, хитер и даже коварен.

Есть очень стойкие натуры, к которым никакая пакость не прилипает. Но природа являет на свет людей разных. Объяснить человеку самого себя в своем естестве — это уже важный фактор воспитания, и главным образом самовоспитания, которому я лично придаю наиважнейшее значение. Но воспитательная функция искусства совсем не в поучениях, морализации и рассказе, умом люди понимают, «что такое хорошо, что такое плохо», но не так уж много от этого понимания толку.

В чем сила хорошего спектакля? Почему говорят: театр — храм искусства? Утром мы моем руки, лицо моем, с работы прибежали, тоже руки помыли — пачкаются. Тело моем в ванне, в бане. А душу? Душа за жизнь тоже пачкается, ее тоже нужно мыть, омывать — театр омывает душу.

Я мечтаю своими пьесами воздействовать на молодежь,— ну что я буду перевоспитывать взрослых, перевоспитывать их — дело почти неподъемное. И если я оказал влияние хотя бы на десяток человек, это уже неслыханное счастье, в которое трудно поверить. Но я все-таки надеюсь.

Выходит человек после хорошего спектакля: славно на душе!

Надолго ли?

Иногда ненадолго — на вечер, другой, а иногда и надолго. Хотя бы в театре пережив, перестрадав, человек понимает уже не умом, а, как говорят, сердцем, всей своей сутью. Такие уроки впечатляют гораздо сильнее. Ум может быть лукавым; чувства, какие бы они ни были, всегда натуральны.

Но раскрепостить человека эмоционально — это не значит дать волю всем его страстям. Вот тут-то роль «всадника» и должна сказаться властно.

Все, о чем я сейчас писал, как говорится, одна сторона дела. Другая — условия. Так сказать, атмосфера, в которой существует личность, среда. И под средой я подразумеваю не только дом и школу, пионерскую и комсомольскую организацию, но и ту компанию, которую непременно находят себе люди, особенно молодые. Если человека окружают люди бессовестные, грубые, то он невольно заражается всеми этими свойствами души. Лучшие же качества, данные ему природой или, может быть, домашним воспитанием, в нем ломаются, и человек, махнув рукой, говорит: «Э, буду жить, как все». Вот это «как все» и есть та среда, в которой он обитает.

В Ленинграде социологи опросили десятиклассников: кто кем будет? Каждый из них сказал, кем он предполагает стать. Опросили учителей. Ответили учителя. Опросили родителей. И опросили товарищей. Через десять лет всех «подопытных» нашли. Оказалось, самый точный ответ дали товарищи. Не мать, не отец, не учитель. И даже не сам человек. Вот почему я и говорю, что среда... Словом, с кем поведешься, от того и наберешься.

Дурные страсти заразительны. Чем большее количество людей ими поражено, тем легче капитулируют и другие. «На миру и смерть красна» — гласит пословица. Но можно

ли счесть «красной» духовную смерть? — так, глядишь, недалеко и до деформации всего общества. И одними наказаниями тут не отделаешься. Воспитание в человеке чести и совести, уважения к своему «я» может дать больше пользы, чем всевозможные приказания, указания, увещевания. Человек, если ему очень хочется, из-под любого принуждения вывернется. Я уж не говорю о тех приказаниях, которые и не нужны, и бесполезны, а то и вредны.

Порядочные люди есть везде. Те, кто хочет понять, в каком месте страны, в каком деле они больше всего нужны, больше всего полезны обществу. Но не котируются эти высшие ценности, пока кое-кто за неведомо какие добродетели живет материально лучше порядочных людей. Вернуть совесть только увещеваниями и приказами, даже воспитанием практически невозможно до тех пор, пока преуспеяние на стороне бессовестных. Чтобы этого не было, общество издает и должно издавать законы.

Люди хотят быть счастливыми — это их естественная потребность. Но где кроется самая сердцевина счастья? (Повторяю, я только размышляю, а не изрекаю истины, к которым сам только стремлюсь.) Кроется ли она в удобной квартире, хорошей еде, нарядной одежде? И да, и нет. Нет — по той причине, что, имея все эти достатки, человек может мучиться различными душевными невзгодами. Кроется ли она в здоровье? Конечно, да, но в то же время и нет.

Горький мудро и лукаво заметил, что жизнь всегда будет достаточно плоха, для того чтобы желание лучшего не угасло в человечестве. А Чехов писал: «Если хочешь стать оптимистом и понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай сам и вникай». Обратите внимание на начало фразы: «Если хочешь стать оптимистом». И еще — «вникай сам».

В госпитале я лежал загипсованный по грудь почти полгода на спине, но, когда прошли нестерпимые боли, был веселый. Сестры спрашивали: «Розов, что ты такой веселый?» А я отвечал: «А что? Это нога болит, я-то здоровый». Дух мой был здоров.

Счастье кроется именно в гармонии личности. Раньше говорили: «Царство божие внутри нас». Гармоническое устройство этого «царства» во многом зависит от самой личности, хотя, повторяю, внешние условия существования человека играют важную роль в его формировании. Но не

самую важную. При всех призывах бороться с недостатками нашей жизни, которых накопилось с избытком, я все же первым назову борьбу с самим собой. Нельзя ждать, что кто-то придет со стороны и сделает тебе хорошую жизнь. Надо вступать в битву за «честного малого» в себе, иначе — беда...

Вот небольшая часть моих размышлений, которые обуревают меня во время работы. Я написал эту статью с особым удовольствием, потому что, как мне кажется, сейчас наступила пора больших надежд. Так хочется, чтобы в нашей жизни было множество «честных малых», ради которых и совершалась Великая Октябрьская революция. Ради них общество идет через победы, радости и страдания, для того, повторю, чтобы «желание лучшего не угасло в человечестве».

«Литературная газета» № 19,
7 мая 1986 г.

Владимир КАРПОВ

УСТРЕМЛЕННОСТЬ

В прошлые века события развивались не так стремительно, как в наш, XX век. Обычно исторические дела свершали одни поколения, а описывали их другие, вслед за ними идущие. Советским людям за короткий срок выпало осуществить многие исторические дела: Октябрьская революция, гражданская война, коллективизация, индустриализация, построение социализма в одной стране впервые на Земле, Великая Отечественная война — разгром гитлеровской Германии и милитаристской Японии, напряженная, пока бескровная, борьба за мир после разгрома фашизма — вот уже более сорока лет оберегающая мирное небо над планетой. Сколько сражений, героических подвигов, трагедий и радостных побед! Какой необъятный и блистательный материал для писателей — летописцев своего времени!

Со дня рождения нашего государства советская литература, считая себя призванной и мобилизованной на службу Отечеству, верно стоит на страже исторических свершений, свободы и независимости советского народа. Примечательно, что одним из главных и любимых героев нашего времени стал «человек с ружьем» — вооруженный защитник Родины. И произошло это отнюдь не в силу некой воинственности, свойственной советским людям, напротив — с дней штурма Зимнего дворца, первого вооруженного отпора красногвардейцев войскам Юденича под Псковом и до разгрома поверженного фашизма в его логове — Берлине — наш народ брался за оружие только в силу необходимости — чтобы защитить от врагов свою страну. Об этом известно всем людям Земли, и именно поэтому они с таким уважением относятся к советскому народу. Да и как не уважать его, не знающего усталости в труде, мужественного, стойкого и отважного в сражениях за правое дело, последовательного и бескомпромиссного в отстаивании мира на планете.

Так уж исстари повелось у нашего народа, что в суровые лихолетья он, превратив страну в военный оплот, собирается воедино и дает сокрушительный отпор иноземным захватчикам.

Так было в далекие времена нашествий Чингисхана и Батыя, псов-рыцарей и в годы изгнания наполеоновских полчищ. Так было при отражении орд империалистов и кровавых гитлеровских захватчиков.

Так было во все времена, так будет всегда!

Традиция глубокой народности нашей литературы восходит к творчеству великого Пушкина и пронизывает животворными токами всю русскую классическую литературу, которая еще ближе стала к народу после Октября.

Жизнь и борьба породили целый отряд писателей, посвятивших свое творчество делам военным. Я один из бойцов этого отряда и поэтому буду говорить о делах более близких и понятных мне в силу многолетней творческой практики именно на этом поприще.

С Великой Отечественной войны начался новый этап в жизни советской литературы — литературы народного подвига. Рожденная в первые же дни гитлеровского нашествия, она прошла со своим народом через все испытания огнем, мечом, тяжким трудом, набирая на этом пути новые силы, открывая миру новые таланты, поражая всех своей оперативностью, способностью выразить художественным словом то, что нужно людям именно в данный момент, то, что на душе и сердце народа.

С первыми залпами Великой Отечественной войны в действующую армию ушло, надев военные гимнастерки, более тысячи писателей — треть всей писательской организации нашей страны того времени. Писатели были командирами и политработниками, воевали в солдатском и матросском строю, выполняли обязанности корреспондентов центральных, фронтовых, армейских и дивизионных газет. Их можно было встретить на всех сражающихся фронтах и флотах, в самых горячих точках войны, непременно там, где происходили самые важные события. Каждый третий из ушедших на фронт писателей не вернулся с войны. Быть может, это роковое число было бы меньшим, если бы писатели-фронтовики только писали, но, презрев опасности и смерть, они ходили в штыковые атаки в стрелковых цепях, как Юрий Крымов, бились в тылу врага, как Аркадий Гайдар, сраженный вражеской пулей, или как Михаил Гершензон, смертельно раненный в то мгновенье, когда поднял

в атаку батальон, заменив убитого командира, или как Алексей Лебедев, нашедший смерть в морской пучине вместе со своей подводной лодкой.

Художественная литература периода Великой Отечественной войны сама по себе, несомненно, уникальное историческое явление в культурной жизни не только нашего народа, но и в мировой литературе.

Литература сумела выполнить свой долг в тяжелейшие годы испытаний потому, что она опиралась на опыт и традиции героического эпоса революции, гражданской войны, социалистического строительства, то есть уже имела в своем активе опыт целеустремленного вмешательства в жизнь и ее глубокого осмысления.

Думается, было бы неверным пытаться сейчас установить, чье и какое именно произведение с началом войны было опубликовано первым. Это не суть как важно. Правильнее будет, на наш взгляд, назвать имена авторов и названия произведений, сыгравших особую роль в формировании умонастроений миллионов людей в годы войны. Возьму на себя такую смелость.

Думаю, это — «Непокоренные» Бориса Горбатова, «Радуга» Ванды Василевской, «Волоколамское шоссе» Александра Бека, «Нашествие» Леонида Леонова, «Фронт» Корнейчука, «Русские люди» и «Дни и ночи» Симонова, «Киров с нами» Николая Тихонова, «Похороны друга» Павла Тычины, «Жажда» Максима Рыльского, «Зоя» Маргариты Алигер, «Сын» Павла Антокольского, это — поэмы Якуба Коласа, Миколы Бажана, Веры Инбер, Александра Прокофьева, Ольги Берггольц, Леонидзе, Бровки, Максима Танка. Это — публицистика и рассказы Шолохова, Эренбурга, Алексея Толстого, Соболева, Садриддина Айни, Вадима Кожевникова, Чаковского. Это — стихи и песни Суркова, Михалкова, Матусовского, Лебедева-Кумача, Джамбула, Гуляма, Саломеи Нерис, Янки Купалы, Яна Судрабкална, Евгения Долматовского, Анатолия Софронова, Френкеля.

Конечно же и этот пространный список далеко не полон. Не так просто перечислить все заметное, что было создано певцами народного подвига в годы свершения этого подвига.

Самыми примечательными чертами нашей литературы тех лет были ее высочайший патриотический настрой и эмоциональная наполненность. Она воспевала мужество, героизм, воспитывала ненависть к иноземным захватчикам и проникновенно говорила о родном крае и бессмертных чувствах — любви к матери, детям, жизни. Глубоко лирич-

ная, щемящая сердце «Землянка» Алексея Суркова, оптимистические стихи «Жди меня, и я вернусь...» Симонова или его же пронзительные строки «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», равно как и строки из поэмы Маргариты Алигер о бессмертной Зое или образы не покоренных врагом русских людей Бориса Горбатова, будили у современников лучшие чувства, заставляли сильней биться их сердца, ибо являлись одним из выражений потребности народа верить, надеяться, любить. Война — жестокая, кровавая, страшная,— она может отнять у человека жизнь, но она не в силах убить чувства. И советский человек в дни войны жил всей полнотой чувств.

Расовому эгоизму фашизма, его культу «сверхчеловека», исповедующему волчий закон вседозволенности, наша патриотическая литература противопоставила образ социально активного героя, живущего всей полнотой чувств и эмоций, сознающего меру ответственности за судьбу своего народа, родной земли, всего человечества.

Именно в этом — свидетельство нравственной чистоты и глубины духовной культуры социализма, великое торжество нашей коммунистической идейности.

Словно живым мостом соединяют два периода советской литературы — военный и послевоенный — бессмертные произведения «Судьба человека» и «Они сражались за Родину» М. Шолохова, «Василий Теркин» А. Твардовского, «Молодая гвардия» А. Фадеева. Эти произведения — веха в развитии героико-патриотической литературы, ибо они означали появление существенно новых аспектов социалистического гуманизма, концепции обстоятельств и человека.

В послевоенные годы литература народного подвига пополнилась и новыми талантливыми авторами, и новыми прекрасными произведениями. Даже простое перечисление всех писателей, посвятивших свой талант воспеванию подвига героев, заняло бы, пожалуй, несколько страниц.

Но обязан заметить, что писатели эти, сами опаленные пламенем войны, привнесли в свои книги точное знание военной действительности, тончайшие оттенки ощущений, мыслей и чувств солдат и офицеров-фронтовиков.

Неумолимо движущееся время, казалось бы, отдаляет от нас события тех дней, пережитые тогда потрясения. Но, к счастью, тут вступает в действие феномен человеческой памяти, мышления, чувств.

Да, время отдаляет от нас события войны, но оно не уменьшает ни их исторического значения, ни содержания и глубины их уроков. Наоборот, сегодня мы еще пристальнее вглядываемся в прошлое, стараемся постигнуть его еще глубже, тщательней рассмотреть подробности и детали и открываем для себя все новые и новые черты характера советского человека, сражавшегося за свою землю и свободу, и те поистине животворные источники, которые придавали ему силы, стойкость, мужество и гуманизм, противостоящие фашистскому варварству.

Широко раздвинулись жанровые рамки литературы народного подвига. Определилось в прозе тяготение нынешнего романа к эпопее. Примерами могут служить, в частности, трилогия К. Симонова «Живые и мертвые», «Солдатами не рождаются», «Последнее лето»; «Судьба» Петра Проскурина, «Блокада» и «Победа» Александра Чаковского, «Вечный зов» Анатолия Иванова, трилогия «Пряслины» Федора Абрамова, «Война» Ивана Стаднюка, произведения Г. М. Маркова и А. А. Ананьева и многие другие. Названные произведения и до сих пор вызывают много споров и у критики, и у читателей, ибо все они различны не только по манере письма, языку, образам, но по своим концепциям, то есть взглядам авторов на те или иные явления жизни, события, исторические личности. Несхожесть этих произведений естественна и закономерна. Она объясняется в первую очередь тем, что их авторы ищут истину и в своем поиске высказывают различные точки зрения.

Да, успехи советской военно-художественной литературы о народном подвиге несомненны, но вряд ли я погрешу против истины, если выскажу мнение, что страна, народ ожидают от нашей литературы новых значительных произведений о Великой народной войне, способных по своему эмоциональному воздействию, по художественной силе и глубине стать вровень с «Войной и миром» Льва Толстого, «Тихим Доном» Михаила Шолохова.

Время стирает боль, переживания, страдания, которые мы перенесли в годы войны. Хорошо это или плохо? Наверное, хорошо, потому что жить в постоянных страданиях, с ощущением этой боли, жить в такой непрерывной, если можно так сказать, ностальгии конечно же нельзя. Жизнь продолжается, и надо восстанавливать и хозяйство, и каждому свой дом и свое душевное равновесие. Но, с другой стороны, никак нельзя забывать того, что нами пережито. Все это, говоря официальным языком, прекрасный материал для

воспитательной работы с нашими детьми, с новым поколением, которое придет нам на смену.

Глядя на это новое поколение, мы порой сетуем на его беззаботность, инфантильность; эти легковесные качества действительно есть, и это естественно, потому что молодые люди не пережили того, что довелось пережить нам, не знают трудностей и опасностей, которые подстерегают человека на его жизненном пути не только в годы войны, а вообще, в жизни ведь не всегда бывает все гладко и приятно. И вот наш долг, долг писателей,— рассказать обо всем пережитом, запечатлеть этот тяжелый, трагический, но очень необходимый людям опыт, то, что произошло, и на этом прежде всего убедить: надо приложить все силы, чтобы такие трагедии не повторялись.

Жизнь показывает, что душевные травмы, те раны, которые получили наши сердца и нервы в годы войны, затягиваются труднее, чем разруха послевоенная в стране. Не только восстановлены, а выросли новые прекрасные города. Уже не найдешь теперь, где проходили когда-то мощные оборонительные рубежи: затянулись, осыпались, запаханы старые траншеи, раны на земле залечены. Но раны в душе у нашего поколения, видимо, так и останутся до последних дней.

Одной из особенностей военной прозы является не только то, что она рассказывает, фиксирует и благородные, и трудные, и неблаговидные дела, совершенные людьми в годы войны, проза наша не только регистратор, проза наша еще и аналитик, она пытается разобраться в этих поступках: что двигало человеком, когда он шел на смерть, совершая подвиг, или, наоборот, что отягощало его душу, когда он совершал какой-то трусливый, неблаговидный поступок или даже решался на измену. Теперь в нашей литературе уже, казалось бы, рассмотрены все главные, основные, решающие душевные, психологические конфликты, чувства, эмоции и самые тонкие тонкости в переживаниях человека на войне.

Вспомните хотя бы книги Быкова, Бондарева, Бакланова, Симонова, Астафьева. По их произведениям видно движение, расширение и углубление военной темы. Они не повторяются; говоря все об одной и той же войне, они в каждой очередной книге вскрывают какие-то ее новые философские, нравственные, моральные аспекты.

С течением времени, с удалением от грозных военных лет военная проза не теряет своих позиций в советской литературе. (Правда, было несколько выступлений критиков о том, что якобы военная тематика постепенно зату-

хает. Но с этим нельзя согласиться, реальное состояние нашей литературы не подтверждает такого скороспелого вывода.) Проза наша военная продолжает и привлекать внимание читателей, и все больше расширять диапазон своих художественных исканий. Она расширяется и тематически, вторгаясь все в более широкие жизненные пласты военного времени. У нее растет и аналитический, более углубленный кругозор. Она проникает в общественные, социальные явления военных лет и в гуманистические, нравственные проблемы послевоенного времени; опираясь на опыт военных лет, очень часто выходит и решает проблемы современности.

Именно в этих пластах нашей прозы очень весомо и плодотворно поработала новая когорта писателей, из так называемой «лейтенантской прозы». Это люди, которые сами прошли через войну, были в небольших званиях и видели войну изнутри в самых ее страшных и опасных местах. Они были в те годы не писателями, а просто воинами и командирами. После войны, получив необходимое образование, осмыслив и осознав все пережитое, эти писатели твердо и уверенно вступили на литературную стезю, украсив ее художественными произведениями, которые, на мой взгляд, будут жить в нашей литературе очень долго.

В пятидесятые годы начался, а в шестидесятые разгорелся настоящий бум в документальной литературе. По этому поводу написано много исследований, обзоров и диссертаций. Как и все возникающее в нашем литературном деле, так и документалистика прошла определенную эволюцию, совершенствовалась, росла вширь и вглубь. От мемуаров видных военачальников и участников войны до художественной писательской литературы, а точнее, параллельно, не соперничая, а дополняя и стимулируя друг друга, росла наша документалистика.

Документальная проза вообще один из давно известных жанров. Остановлюсь только на новых проявлениях и достижениях в этом жанре. Сразу назову, что имею в виду: Константин Симонов «Разные дни войны», Брыль, Колесников, Адамович «Я из огненной деревни», Гранин, Адамович «Блокадная книга», Алексиевич «У войны не женское лицо».

В 1985 году мы отметили 40-летие нашей Победы. Этот светлый всенародный праздник окончания войны одновременно является и днем начала, зарождения послевоенной литературы. Много и плодотворно потрудились советские писатели за это сорокалетие. В юбилейный день состоялся парад

победителей на Красной площади. А вечером, после того волнующего дня, я стоял в кабинете напротив книжных шкафов, и подумалось мне: вот и книги, и имена писателей выстроились на полках тоже, как парадные шеренги.

Глядел я на этот писательский строй и думал с теплой радостью и некоторой грустью: постарели мои давние друзья. Иных уж нет, а их книги все еще в строю. И, как в армии, молодежь встала рядом в эти шеренги. А те, что поистерлись, поизносились, прошли со мной (или я с ними) через это бурное послевоенное сорокалетие.

Говорят, для того чтобы создать высокохудожественное произведение о современности или значительных событиях своей эпохи, литератору необходима некоторая дистанция во времени. Причем каждому писателю, в зависимости от интенсивности и глубины проникновения его внутреннего взора в прошлое и будущее, нужны различные временные «отступы» от события. Теперь это вроде бы считается доказанным теорией и практикой, хотя в свое время по этому вопросу много спорили.

В ходе размышлений о нашей военной прозе появились у меня некоторые наблюдения, не опровергающие вышеприведенный тезис о «временно́й дистанции», а несколько дополняющие его в том смысле, что нужны не только «отступы» от событий, но и определенные «подступы» для написания книги.

Приведу примеры, натолкнувшие на это суждение. Какая понадобилась дистанция Д. Фурманову для написания «Чапаева», изданного в 1923 году? Два года. А. Фадеев написал «Разгром» в 1926 году. Дистанция — шесть лет. М. Шолохов опубликовал первую книгу «Тихого Дона» в 1928 году. Считайте дистанцию сами.

Теперь посмотрим, как рождались книги о Великой Отечественной войне. К. Симонов написал «Дни и ночи» в 1943—44 году. М. Шолохов в 1943 году давал в «Правду» главы романа «Они сражались за Родину». А. Фадеев приступил к работе над «Молодой гвардией» осенью 1943 года, а 13 декабря 1944 года в его записной книжке появилась пометка: «Сегодня в 8 час. вечера закончил «Молодую гвардию».

Как же быть с теорией о дистанции? Временной «отступ», как видим, не понадобился.

Тут надо принять во внимание следующее: Фурманов работал над «Чапаевым» уже будучи литератором, то есть имея достаточное образование, зная технологию писательско-

го труда, поэтому и дистанции почти нет. К. Симонов тоже был на фронте профессиональным литератором, и ему большой дистанции не понадобилось. Красноармейцу А. Фадееву после гражданской войны нужно было шесть лет для того, чтобы прежде всего стать писателем, а потом уж создать «Разгром». А опытному писателю А. Фадееву не потребовалось ни одного дня дистанции, он сразу взялся за работу над «Молодой гвардией». М. Шолохову, который, как он сам пишет, «гонялся за бандами, властвовавшими на Дону до 1922 года, и банды гонялись за нами, все шло как положено», после этого пришлось целое десятилетие набираться знаний и творческих сил (талант уже был, но это, как видим, еще не все!). А опытному писателю Шолохову в 1943 году тоже, как и Фадееву при работе над «Молодой гвардией», уже не потребовалась дистанция, он сразу стал писать «Они сражались за Родину».

Вот так для некоторых писателей дистанция во времени становится и «отступом», и «подступом».

Акселерация, о которой в наши дни много говорят, видимо, не действует в делах творческих, и даже, наоборот, процесс созревания и становления писателя стал более длительным и трудоемким. И обусловлено это, прежде всего, ростом культуры советского народа, высокими требованиями читательских масс к современным творцам изящной словесности.

Длительность «созревания» писателей, бывших фронтовиков, вполне оправдывается высокой художественностью их книг, глубиной проникновения в психологию человека на войне и знанием тончайших нюансов фронтовой жизни.

Размышляя над творчеством писателей из окопного поколения, можно прийти к выводу, что знание военного быта, всех особенностей и деталей войны само по себе еще не дает возможности создать высокохудожественное произведение. Это подтверждается тем, что все вышеназванные писатели взялись за перо сразу же после войны, а кое-кто из них и во время войны, но не создали немедленно же произведения, которые были признаны и читателями и критикой. Только по прошествии многих лет после войны стали появляться творения по-настоящему высокохудожественные. Это еще раз свидетельствует о том, что кроме жизненного багажа, кроме драгоценнейших переживаний и наблюдений очевидца нужен еще и талант. И не только талант, а и постоянное его совершенствование, то есть обретение того мастерства, которое в сочетании с знанием жизни порождает истинно художественное творение.

Очень характерным и подтверждающим высокую талантливость писателей, работающих в военной прозе, является то, что каждый из них обладает своей творческой концепцией, своей точкой зрения на мир и на то, о чем пишет, своим объемом, масштабами, в которых он работает. Проиллюстрирую только двумя именами и творческими манерами: Бондарев создает широкое социальное полотно с выходами не только за пределы поля боя, но даже за пределы своей страны, его кругозор, его охват очень часто включает и жизнь, проблемы зарубежных героев. У Василя Быкова, наоборот, круг интересов всегда локализован. Количество героев в его повести — два, три, редко больше. Оба эти художника в своих исканиях в области психологии имеют каждый свою направленность, уровень, масштабность, что обогащает литературу нашу и дает возможность читателям познавать человека на войне под разными углами зрения, проникать на большую глубину в его душу и, главное, самому обогащаться более емким познанием.

И вот при таком разнообразии творческих подходов, художественных стилей, симпатий и антипатий все наши художники связаны и объединяются одним общим, советским мировоззрением, у них одинаковая опора в социальных вопросах, сходные нравственные критерии при оценке поступков героев.

Социальная зрелость, понимание необходимости служить на пользу общества — это высокие нравственные основы положительных героев, но проза военная не решает свои большие задачи только на положительных героях, и это правильно и естественно. Как в математике, так и в литературе есть способы доказательства истины и прямым путем, и «от противного». Роман Распутина «Живи и помни» рассказывает о дезертире, и на первый взгляд это далеко не тот герой, на примере которого надо было бы воспитывать и молодежь, и воинов, но это только при поверхностном подходе к оценке этой вещи. Роман, показывающий очень глубокие психологические и нравственные переживания дезертира, очень детально разбирающий основы этого поступка, помогает читающим его сделать для себя определенные выводы и избежать, не допустить подобного деяния. Все дело здесь в авторской позиции. Позиция Распутина очевидна. Излагая очень подробно психическое состояние, переживания своих героев, где-то сострадая им в чисто человеческом плане, всей концепцией своего романа Распутин все-таки показывает, что такой поступок приводит к краху семьи

и к гибели самих героев. А это и есть авторская позиция в конечном счете.

Общей особенностью для военной прозы последних лет стало не только стремление описать, рассказать красоту подвига и самого человека, совершающего этот подвиг, писатели пошли дальше, стали глубже искать причины, моральные и нравственные основы этих поступков. Творческой удачи достигали те, кто более широко объясняли эти поступки, опираясь опять-таки на философские, нравственные и психологические основы человеческих характеров. Открытые поучения, попытка растолковать, разжевать изображенное в художественной ткани произведения уже не удовлетворяют в наши дни читателей. Читатели, как и писатели, тоже выросли, опыт, полученный ими в общении с литературой, кино, телевидением, очень расширил их кругозор. В наши дни назидательность не просто не воспринимается, а становится в какой-то степени отталкивающей. И если герой, поставленный в самые сложные обстоятельства, должен сделать для себя выбор, как поступить: остаться на уровне высоких нравственных, социальных устремлений или смалодушничать, отступить, оказаться неспособным на высокий поступок,— то и читатель тоже в какой-то степени хочет сам сделать выбор — обсудить, оценить, исходя из своих симпатий, антипатий и опыта, этот поступок, и поэтому он не приемлет готовую, разжеванную духовную пищу, она ему не нравится.

Если в первом десятилетии после войны симпатии писателей при поиске героев своих произведений привлекали прежде всего личности, у которых была абсолютно откровенная, прямолинейная героическая устремленность, то в более позднее и в наше время эта абсолютная ясность и открытость характера уже считается пройденным этапом, а более точно, наверное, будет сказать, что не сама прямолинейность героя, а прямолинейность описания, объяснения его поступков считается пройденным этапом. Теперь у Быкова (сошлемся еще раз на этот пример) в самом простом, небольшом вроде бы поступке, если смотреть в масштабе всей войны, раскрывается герой, обретает психологическую масштабность, а еще точнее — ювелирную углубленность, какой мы в первые послевоенные десятилетия в нашей литературе не имели.

Лев Толстой сказал: «Одно из величайших заблуждений при суждениях о человеке в том, что мы называем, определяем человека умным, глупым, добрым, злым, сильным,

слабым, а человек есть все: все возможности есть текучее вещество».

Вот к такому широкому пониманию и охвату наша военная проза пришла, как видим, не сразу и, к нашему большому удовлетворению, продолжает идти этим путем. Почему я говорю «удовлетворению»? Потому, что есть и другой путь, им пошла часть литературы на Западе. И поскольку проблема современного человека, и особенно военного человека, оказавшегося сегодня в стихии сложнейшей техники и страшнейшего всеуничтожающего оружия, проблема сожительства, взаимовлияния встает на повестку дня и в нашей жизни, и в литературе. Прежде всего писателям предстоит разобраться, осмыслить и дать необходимый воспитательный акцент в этом очень непростом психологическом взаимоотношении человека и техники, почти выходящей уже из-под его контроля.

Свежие, обновляющие, поднимающие на новые подвиги задачи, поставленные партией, являются своеобразной энергетической силой для всех людей, в том числе, разумеется, и для писателей. Об этом состоялся большой и очень плодотворный разговор на VIII съезде писателей в июне 1986 года. Он прошел и в духе критических, и в духе освежающих идей XXVII съезда КПСС, и вполне естественно предположить, что литература наша накануне больших свершений. И, несомненно, свершения эти будут тем успешнее и масштабнее, чем скорее удастся преодолеть серьезные недостатки в организационной и творческой работе литераторов и Союза писателей в целом, о которых прямо и очень принципиально говорили делегаты съезда.

Писателей считают людьми дальновидными. Это верно, хотя бы потому, что многие проблемы, недостатки и упущения, вскрытые и намеченные к устранению, были подмечены, выдвигались для обсуждения и осуждения еще задолго до XXVII съезда партии.

В чем же должна проявиться дальновидность писателей теперь, после того как партия и народ разобрались во всех сложностях и упущениях? Должны ли писатели продолжать вскрытие нарывов, разгребать завалы в застоях, обличать рецидивы бюрократии? Да, и это должны они делать. Но сегодня это уже не главное. Пришло время для нашей литературы создать нового героя — смелого, умного, бесстрашного, идущего вперед и ведущего за собой других по пути обновления, оздоровления жизни, социального климата нашей страны. Ныне созданы все условия для рождения и

деятельности такого героя. Но это совсем не значит, что на пути его не будет преград! Наоборот — старое, отжившее, как это показывает история, не уходит добровольно, оно бьется за свое существование. Да кое в чем и в новом, родившемся в годы застоя и пробуксовки, немало явлений порочных, безнравственных.

Жизнь всегда была борьбой, и продолжается эта борьба и в наши дни, — борьба за лучшее будущее, за процветание нашей Родины, за счастье и благополучие наших народов, за мир на земле, за прогресс и процветание человечества.



Юрий НАГИБИН

О МОСКВЕ С НАДЕЖДОЙ И ЛЮБОВЬЮ

Меня всегда мучила мысль, что у москвичей нет того интимного ощущения своего города, которым отличаются, скажем, коренные ленинградцы, да и — пусть в меньшей степени — новожилы города, как-то удивительно легко усваивающие ленинградскую традицию. Москва необъятна, неохватна и к тому же слишком быстро меняется. Не успеваешь привыкнуть к одному облику города, а он уже стал другим. Сколько прошло лет, а я все ищу Собачью площадку, поглощенную Калининским проспектом. Когда вспоминаешь, сколько старины съел этот широкий, вялый, невыразительный проспект, так и не слившийся с арбатской Москвой, то начинаешь сомневаться, так ли он был необходим. В конце концов, транспортные проблемы этой части города можно было решить иным способом.

В последнее время в разрушении старой Москвы возобладал «зонный» способ. Примеры: Тулинская улица, Каляевская, Домниковка, Зацепа. Это не исключает «выборочной» ликвидации, что и делается на Таганской площади, улицах Каляевской, Сретенке.

За десять лет снесены: палаты XVI—XVII вв. на Кадашевской набережной, дом в стиле московского классицизма по ул. Гиляровского, где бывал Ленин, дом поэта Плещеева (Оружейный пер.), дом Афанасия Фета (Плющиха), дом Белинского (Рахмановский пер.), дом Щепкина (ул. Ермоловой), дом Рахманинова (Калининский пр.), в Сокольниках сгорела дача Дзержинского в Лучевой просеке. Под угрозой квартира Есенина в Померанцевом переулке; в бесхозном состоянии дом Брюсова на проспекте Мира; под угрозой и дом Щепкина на улице его имени. Интересно, чем так не угодил великий актер Щепкин московским добродеям, что хотят стереть память о нем? Несмотря на решение испол-

кома Моссовета, до сих пор не открыт доступ к могилам Осляби и Пересвета.

Ленинград легко любить, его ядро неизменно чуть ли не со времен Пушкина. А что осталось от Москвы моего детства? Красная площадь... Даже в исторический центр, в перепут арбатских переулков влезают безобразные башни и стандартные, безнадежно скучные громады. Кстати сказать, во всем мире берегут старинное ядро города. Я слышал, что в связи с расширением Музея им. Пушкина раздавались голоса за то, чтобы сносить старые дома на Волхонке и в прилегающих переулках. Как ни прекрасен этот музей, для народной души не менее важны старые дома.

Любовь к Родине начинается с любви к своей улице — банально, но это святая правда. Проблема новых районов — прежде всего проблема нравственная. Воспитать хорошего человека среди близких каменных коробок труднее, чем на берегу Чистых прудов или в сплетении старых арбатских переулков, где все пронизано важной памятью. Но люди, от которых зависела Москва, упорно не хотели этого понять.

Москва нестабильна именами улиц и площадей. Ее почти всю переименовали и азартно продолжают эту тоже по-своему разрушительную работу. А между тем и в центре, и на окраинах есть множество улиц и переулков, для которых никак не придумают имена, добавляя порядковый номер к одному и тому же названию. Для чего понадобилось переименовывать в улицу Рылеева старый Гагаринский переулок, на углу которого с бывшим Нащокинским (ныне ул. Фурманова) не раз живал Пушкин у своего московского друга? А правильно ли поступили, переименовав исконно сжившуюся с Москвой Зубовскую площадь? Ведь на Зубовской, а не на площади Шолохова разбил князь Пожарский войска гетмана Ходкевича и заставил их отступить на Поклонную гору: ее-то хоть не переименовали. А подарить имя великого пролетарского писателя можно было одной из молодых площадей.

Кроме всего прочего, дестабильность вредна, она разрушает нервную систему. В старых английских магазинах все остается таким же, как сто и более лет назад. У нас же в столице все непрочно, все в движении и переменах; ты никогда не знаешь, окажется ли нужный магазин, учреждение, почта, сберкасса, стоянка такси на том же месте, что две недели назад, а ведь есть еще и такие привычные неожиданности, как «закрыто на ремонт», «закрыто на учет», «закры-

то на переучет», «санитарный день», «некому обслуживать». Ты не ощущаешь город своим домом, он все время устраивает тебе каверзы.

И вот что еще, Москва — колдунья, она может заставить тебя вмиг забыть обо всем, что искажает ее черты. Она бывает так неописуемо хороша, ну хотя бы в мае, когда в московские белые ночи непрозрачный сумрак окутывает золотые купола и дивной свежестью тянет из Александровского сада. А разве не чудо наш город в дни погожей осени, когда мешаются багрец и золото, а Москва-река отражает густо-синее небо, и мосты кажутся висящими в воздухе, и все дома с медным пожаром зари в окнах заслуживают охраны государства? Бывают счастливые дни и зимой, когда город кружевеет инеем, а пушистый снег ручается своей нежностью и белизной, что никогда не станет кошмаром сугробов, непролази и гололеда.

Москва умеет обманывать. Она поражает на подъезде к ней морем огней, золотым заревом, вселенским нимбом, и надо оказаться в ущельях темных улиц, чтобы понять, до чего плохо она освещена. Правда, в последнее время света прибавилось. Но все же, все же... Есть ночные города: Токио, Нью-Йорк, Копенгаген, есть города, в которых очарование дня спорит с очарованием ночи, и все-таки они предпочтительнее днем: Ленинград, Лондон, Прага. Москва, конечно, дневной город. На центральных улицах то ли не хватает фонарей, то ли они горят вполнакала, то ли через один, боковые же улицы вовсе тонут в темноте, очень мало ярко освещенных витрин (впрочем, это хорошо), почти нет реклам, а неоновые — кроваво-красные и ядовито-зеленые — огни гастрономов, аптек и редких кафе удручающе худосочны,— словом, световой феерии неоткуда взяться. И меня всегда поражает хладнокровие хозяйственников, которые месяцами мирятся с такими огненными письменами: «...астроном», «прод...ственный маг...», «парик...ер...ая».

Современным городам много света дарят уличные кафе, которых у нас почти нет. Да и обычных кафе раз-два и обчелся. В пору моего детства на углу Петровки и Столешникова находилось летнее кафе «Красный мак», славившееся своим трехслойным, высоким, как башня, и невероятно вкусным пломбиром. И как было прекрасно сидеть в скрещении двух самых оживленных улиц городского центра над башенкой из мороженого, крема и взбитых сливок, глазеть

на прохожих, лениво перебрасываться замечаниями о проплывающих мимо красавицах и упиваться своей взрослостью. Тут не было и тени цинизма, семнадцатилетние оболтусы, мы были целомудренны и трезвы, наши загулы — это кафе «Мороженое». В одном из них, на улице Горького, показывали документальные фильмы, лампы на столиках были снабжены специальными колпачками. Впрочем, каждое кафе имело свое лицо, свой ассортимент и свою музыку. Теперешние немногочисленные кафе безлики, неуютны, холодны и «невкусны», чаще всего они сбиваются на второразрядные рестораны. До войны кафе «Националь» славилось яблочным паем и кофе со сливками; «Метрополь» — бриошами и пончиками, «Артистическое» в проезде Художественного театра — хворостом и какао; в каждом были свои завсегдатаи, и старый москвич знал, кого из знакомых где искать. Сейчас это скучные столовки.

А ведь кафе — серьезнейшая часть городской жизни, место деловых и дружеских свиданий, место отдыха или передышки посреди дневных забот, место роднения с городом, а также «информационный центр», где можно почитать газету, полистать журналы, обменяться новостями, даже сплетнями — и это потребно человеку, завалинок и колодцев в городе нет.

Особенно нужны кафе молодежи. Сейчас все очень разобщены, дефицитом стало «золото человеческого общения». Наши знаменитые дворы были своего рода клубами. В исходе двадцатых — тридцатых годов жизнь была куда труднее и аскетичнее, а люди общительнее, инициативнее. Каждую зиму мы заливали в садике посреди двора каток, днем тут катались взрослые и дети, а по вечерам (над катком висела гирлянда лампочек) рубились в «факе» — так нам звучало непривычное слово «хоккей». У нас был красный уголок, где показывали фильмы, а раз в месяц давали концерт самодеятельности — талантливо и остроумно, так мне кажется из дали лет.

Сейчас дворы исчезают, какие могут быть дворы при домах-башнях, а с ними уходит многое важное в детской жизни: дворовая дружба-вражда, сложные иерархические отношения дворовой вольницы, особый кодекс чести, необходимое на заре туманной юности молодечество, добрые товарищеские драки, дворовый бескорыстный спорт и дворовые танцы. «Во дворе, где каждый вечер все играла радиола», помните?.. Исчезнут дворы, и навсегда не станет Леньки Королева, а без него плохо.

Сейчас очень многое работает на разобщение людей и очень мало на сближение. В нашу пору, кроме общих квартир и дворов, сближало кино, на котором все мы были помешаны. Тем более что раньше в кино не забегали, а торжественно отправлялись задолго до начала сеанса послушать хороший джаз — в «Колизее» выступал ансамбль Варламова — один из лучших в стране, в «Ударнике» — Рачевского, в 1-м кинотеатре пел Вадим Козин,— выпить газировки с вишневым или шоколадным сиропом в буфете, посмотреть на таинственные лица знаменитых киноактеров — такая экспозиция была в каждом уважающем себя кинотеатре.

Нынешнему молодому гражданину Москвы привычней сидеть дома, или слоняться по тротуарам, или трястись в дискотеках в танцах, не создающих интимности, пары. Радость живого общения, способность что-то переживать сообща, упоение беседой исчезают из нашей жизни.

В начале шестидесятых возникли молодежные кафе, в них не танцевали, а разговаривали, спорили, читали стихи — свои и чужие, слушали песни в исполнении отечественных бардов, шумели... Однажды меня пригласили в это кафе поспорить о фильмах. Мне там понравилось — горячая атмосфера, запах молодости. В дальнейшем я что-то не слышал об этих кафе. Не знаю, что там случилось, но догадаться можно. Кого-то осенило пресловутым: как бы чего не вышло, и натянулись административные вожжи. Впрочем, не исключено, что рудименты молодежных кафе остались, но зачастую уже не на радость посетителям, а ради галочки.

А что пришло взамен? Дискотеки. С их оглушительным шумом и дурным вкусом рабской подражательности. Любопытно, что дискотечные танцы тоже не работают на сближение: кавалер сам по себе дергается посреди круга из нескольких, порой вовсе не знакомых ему — язык не поворачивается сказать — партнерш, живущих самостоятельной кинетической жизнью.

В свое время заводские дворцы и клубы хорошо служили молодежи. Там не было пышных балов и блистательных представлений, которые транслируются по телевидению, не было изысканных мастеров танго, каких не встретишь и в далекой Аргентине, не было и умело-развязных певцов, орудующих шнуром микрофона ловчее самого Леонтьева, все было проще, неуклюжее и милей. Ныне кружки пения — сольного и хорового — существуют во многом для тех, кто

одарен голосом и слухом от природы и после должной выучки может участвовать в смотрах, фестивалях, завоевывая призы, кубки, вымпелы на радость руководству. Такие певцы ведут почти профессиональную жизнь, ездят на гастроли по стране и даже за рубеж. Аж завидки берут, но молодежные клубы были задуманы не ради этого. В кружки шли люди, которые не отличались выдающимися голосами, но любили и хотели петь — для себя. Ну уж если очень хорошо получится, пусть послушают свои, заводские. И рисовать, и лепить, и вышивать хотели для себя, не на выставку. Ныне же одна забота — скорее вывести любителей на суд людской и получить некий официальный статут, с которым приходит всякая сласть. Если ты шашки двигаешь, так скорее получай разряд, если на балалайке тренькаешь, то будь хоть районным лауреатом. И получается, что участники заводской самодеятельности имеют такое же отношение к рабочему коллективу, как игроки футбольной команды «Торпедо» к ЗИЛу.

Но в некоторых новых микрорайонах нет даже скучных клубов, ничего нет.

С удручающим однообразием их все уже смирились, в том числе и обитатели громадных, неотличимых одна от другой серых коробок, оживленных красочно-облезлыми балкончиками. Похоже, смирились и с отсутствием культурных учреждений. Как говорится, лишь бы не было войны. Правда, на периферии Москвы за последние годы построено несколько двухзальных киногигантов. Но тревожно, что зрителей в этих роскошных кинодворцах маловато. Да и по всей Москве посещаемость кинотеатров год от года падает. Глобальная причина всем ясна — телевизор, это мировое явление. Я видел в Токио целый квартал заброшенных кинотеатров — огромные мертвые дома в обрывках старых афиш, с выбитыми стеклами, словно после бомбежки. Но у японского телевидения двенадцать программ, а в Москве всего четыре. Неужели эти четыре программы потрафляют всем вкусам? Кстати, токийское кино до последнего билось за свое существование, пустив в ход радио и световую рекламу, афиши на каждом шагу и даже уличных зазывал. Ну, а наши кинотеатры борются за зрителя? Впрочем, это, кажется, забота кинопроката, а тот, видать, как-то выкручивается «по валовому сбору» за счет всяких фантомасов и Челентано, ему и горюшка мало.

Самый простой и верный способ привлечь зрителя к фильму, да и к любому зрелищу — афиша, красивая, бро-

ская, буквально хватающая прохожего за рукав. А ведь афиша не только информирует и завлекает, она украшает город. Увы, и этого украшения лишилась Москва, афишные стенды редки и безрадостны.

Когда у Евгения Евтушенко была фотовыставка, он взял свои афиши, ведерко с мучным клеем, большую кисть, погрузил все это в машину и сам стал ездить по горячим точкам столицы и клеить. Сила Евтушенко в том, что он не ждет милостей ни от природы, ни от учреждений. «Профессия расклейщика афиш исчезает в Москве»,— сказали мне в дирекции Политехнического музея, где у меня была встреча с читателями, о которой оповещала одна-единственная афиша у входа.

Что, клеить нечего? Может, и нечего, но для каждого нового фильма создается броская, яркая афиша — не пропало мастерство наших художников-плакатистов, которое так блистательно показало себя в гражданскую войну (знаменитые окна РОСТА, где работал Маяковский), в труднейшую пору Отечественной войны — как подымали дух плакаты Кукрыниксов, Тоидзе, Иванова и других,— да и после войны советский плакат процветал. То, что сейчас появляется к праздникам и памятным датам на улицах Москвы, плакатом порой не назовешь — схематизм, бездушие. Так вот, афиши есть, но их нет.

Парки, общественные сады — тоже часть московской жизни. Когда-то радостью и гордостью столицы был Парк культуры и отдыха им. Горького. Здесь отдыхали под старыми деревьями Нескучного сада, на танцевальном круге, в комнате смеха, на «чертовом колесе». В «тихой» комнате можно было поиграть в шахматы и шашки, полистать журналы, а в Зеленом театре давали большие концерты, спектакли и даже оперы («Кармен»), происходили премьерные показы кинофильмов («Цирк»).

Кое-что из перечисленного и сейчас существует, беда в том, что нынешних посетителей трудно удивить «чертовым колесом» или кривыми зеркалами. Теперь многое стало рутинным, скучным, былое очарование исчезло.

Как прекрасно звучит духовая музыка в городском саду, она волнует, будит воспоминания — даже о том, что не с нами было. В прошлом году в Серебряном бору зазвучали трубы духового оркестра, и скучноватое место обрело поэзию и глубину. Не говоря уже о том, что старинные вальсы заглушили разнобой сотен транзисторов — летнего кошмара Москвы и Подмосковья. Может, с этого и начать?

Не надо вообще слишком легко верить, что чего-то нет, а на нет, мол, и суда нет. Еще недавно москвичи с великой кротостью смирялись с тем, что Москву перестали чистить от снега и льда. Сшибались машины на загроможденных сугробами улицах, пешеходы ломали руки и ноги на тротуарной наледи.

«Некому работать...», «Снегоочистительные машины стоят...» — мы сами услужливо придумывали оправдания нераспорядительности, равнодушию, разгильдяйству. И вот, будто родившись из воздуха, на улицах Москвы появились сотни снегоуборочных машин, ожили и схватились за скребки ушедшие в коммерческую деятельность дворничихи, к ним на помощь пришли москвичи, желтый песок усеял поля «ледовых побоищ», город стало не узнать. Впрочем, московские старожилы припоминают: такой некогда и была зимняя Москва — чистая, прибранная, безопасная для пешеходов.

Стоит коснуться одной московской проблемы, как она тут же тянет за собой другую. И все-таки есть одна главная, проникающая во все остальные: наш город в том виде, в какой его привели, не способствует сближению людей.

Сейчас при неизмеримо возросших средствах общения коммуникабельность снизилась. Это распространяется почти на все формы человеческого обмена. Недаром исчез в литературе эпистолярный жанр. Писать пространные письма считается неприличным. А в старое время жизнь мало-мальски образованного человека не мыслилась без переписки. Сейчас письма вытеснены открытками, телеграммами, телефоном. Тем важнее непосредственное общение. Но у него повсеместно возникло много недругов, а в таком громадном и разбросанном городе, таком сложном механизме, как Москва,— особенно.

Кто-то сказал, что истину в одиночку не отыщешь. Наверное, в науке какие-то истины ищут в одиночестве, хотя и наука стала коллективной, ну а общечеловеческие истины лучше искать сообща. Без живых соков общения человек ссыхается в индивидуалиста.

Поскольку во имя общения мы не вернемся в коммунальные квартиры и к трамвайным скоростям, не откажемся от телевизора, не заменим телефонно-телеграфную краткость длинными эпистолами, не населим голизну новых районов кущами Ватто, влекущими к поэзии и любви, то решим, что можно сделать уже сейчас, сегодня. Первое и самое простое: открыть двери дворцов и клубов всем, кому захочется прийти сюда просто так: поговорить, полистать жур-

налы, послушать музыку, сразиться в шахматы. Перестать думать о зачетных очках, победах на конкурсах, всяком «наваре», а силами самих посетителей сделать клубную жизнь интересной и теплой. Чтобы людям, особенно молодым, хотелось там бывать, а не подпирать стены подъездов, слоняться по улицам или торчать у домашнего телевизора. Чтобы клуб стал местом дружеских встреч, а не взлетной площадкой особо одаренных одиночек. Клуб не оранжерея для выращивания талантов, он для общей радости. И побольше игры, непринужденного общения.

Есть много способов сделать жизнь интересней, многообразней. Нужны лишь инициатива и упорство. Эти качества оказались у студентов и выпускников химико-технологического института, создавших самодеятельный театр. Недавно ребята своими силами оборудовали помещение на улице Чехова, под боком у Театра Ленинского комсомола, не испугавшись грозного соседства пленительно-оглушительных рок-опер, правдивей самой жизни бормотка Петрушевской и того неистового фламандского юноши, в чье сердце стучался пепел Клааса. За годы своего существования театр накопил мускулы, создал хороший репертуар, москвичам по душе его имя «Театр на улице Чехова», нравится и дерзкое название одной из пьес «Чехов на улице Чехова»...

Но мы всё о досуге, о развлечениях, самодеятельности и самообразовании. А ведь Москва не Диснейленд и не воскресная школа. Москва — могучий организм, призванный обеспечивать существование многомиллионного населения, бесперебойную работу огромной промышленности, на Москве лежит забота о всех государственных учреждениях страны, здесь находятся Академия наук, Академия медицинских наук, Академия художеств, крупнейшие музеи, книгохранилища, архивы, это центр туризма и всех международных связей, Москва воистину мировой город, связанный со всеми живыми точками планеты.

Для города особенно важны коммуникации. Трагедия всех современных больших городов — перенаселенность и переполненность автомобильным транспортом. В этом отношении Москва вполне на уровне мировых стандартов. Но вот что странно: Москва пожертвовала своим исторически сложившимся центром, сметя узкие кривые улицы и создав вместо них широченные магистрали, перекрестки превратила в площади, а площади в пустыри — такого расточительства

не может позволить себе ни один город в мире, ибо земля чудовищно дорога, и каждый метр городской площади стараются максимально использовать, кроме того, в Москве куда меньше легковых автомобилей, если сравнить ее со столицами такого же ранга, но пробки на широких улицах стали привычным делом, припарковаться в центре негде, на улицах обилие грузовиков и старых зиловских автобусов, исторгающих из перегоревших глушителей такой смрад, что, попади под струю живое существо, оно тут же бы околело. ГАИ цепляется к любой малости, когда дело касается частников, но совершенно равнодушно к тому, что губительно для здоровья граждан.

В хорошем современном городе грузовик в дневное время не увидишь. Локальные поставки осуществляются с помощью пикапов и трехколесных машин с мотоциклетным мотором; «суперлайнеры» появляются лишь в ночное время, с хорошо отрегулированным, не рычащим, как голодный тигр, мотором, исправным глушителем и трезвым водителем. Один мой знакомый профессор-француз, увидев на улице Воровского средь бела дня гремящий бортами, источающий клубы черного дыма самосвал, долго глядел ему вслед, затем сказал понимающе: «А-а, это съемки скрытой камерой!» Он думал, что снимается фильм, а за рулем каскадер. Не должно быть грузовиков на московских улицах днем, лишь в паре со снегоуборочной машиной.

Почему в Москве так трудно припарковаться, ведь места сколько хочешь. Например, по всей новой части Калининского — сплошь торгового — проспекта стоянки запрещены. Но от тротуара до мостовой тянутся широченные пустынные закрайки, как будто созданные для того, чтобы на них ставили машины. Так раньше и делали, и всем было удобно, но в милиции сообразили, что это самоуправство. Кто позволил? Запретить! Сказано — сделано.

Громадное пустынное пространство Манежной площади могло бы приютить весь личный транспорт, заехавший в центр, но опять водители мучаются, не зная, где оставить машину. По-крысиному расплодившиеся дорожные знаки запрета — часть общей тенденции к бессмысленному запрещению. Пора кончать с подобной практикой.

В морозные дни зимы до боли очевидна и горестна нехватка общественного транспорта в столице. Тяжело смотреть на бесконечные иззябшие очереди у автобусных и троллейбусных остановок, окутанные паром дыхания, просквоженным кровавым неоновым светом.

И еще один вопрос: почему таксисты так часто едут не туда, куда тебе нужно, или на обед, или в парк, или вообще никуда не едут, пребывая в таинственном ожидании какого-то чудо-пассажира? Неужели и они не заинтересованы в законном заработке плюс чаевые? Да, это так. Каждый уважающий себя, но не своих сограждан таксист метит в мини-автобусы, везущие разных пассажиров по одному и тому же маршруту за отдельную плату: все платят полностью то, что указано на счетчике. Если же он пробился на трассу Домодедово — Шереметьево и обратно или Шереметьево — Внуково и обратно, то он — мини-автобус с макси-заработком. Понятно, почему среди таксистов нередко встретишь бывшего инженера, запрятавшего подальше диплом, или скрывающего свою научную степень кандидата наук.

Я всегда с интересом смотрю на сотрудника ГАИ, который карает меня за отказавший сигнал поворота, перегоревшую лампочку, отсутствие бокового зеркальца (украденного, когда я смотрел спектакль в новом помещении МХАТа и страшно простудился, так дуло со сцены), за помятый бампер или крыло, за разбитый подфарник. Он ведь прекрасно знает, что нужных запчастей почти никогда не бывает в продаже, надо месяцами обивать пороги магазина, чтобы случайно застать дефицитную деталь. Он знает также, что своим карающим жестом толкает меня на мелкое преступление, я куплю эту запчасть у таксиста, который украдет ее в своем гараже, а то и у проходной завода. Я не стану писать о работе московских станций техобслуживания, ибо это материал для уголовной хроники. По той же причине не стану писать о московской торговле, которой всерьез занялись органы правопорядка. Долгожданный народом гром грянул.

Моя блуждающая мысль идет к теме вежливости, вернее, невежливости, а если прямо: к хамству. Многие приезжие едины в том, что Москва невежливый город. Спросите прохожего москвича, где находится нужная вам улица, переулок, учреждение,— даже не выслушав толком, он буркнет: «Я не здешний!» — и пройдет мимо. Почему в Москве все нездешние? Состав Москвы меняется, обновляется, но ведь обычно люди, получившие московскую прописку, остаются тут навсегда и не имеют морального права ссылаться на свою «потусторонность». Я уже надоел с Ленинградом, но любой тамошний новожил считает себя коренным ленинградцем и трогательно гордится своим скороспелым знанием города. А москвич и с многолетним стажем не стремится узнать свой великий город, вроде бы бравирует его незна-

нием. Это заразило даже тех, у кого Москва в крови, может, и раздражение против тьмы приезжих сказывается, но не обращайтесь к московским прохожим, вразумительного ответа вы не услышите.

А как ведут себя москвичи в местах людского скопления, как разговаривают в магазинах, на почте, в прачечной, сберкассах? И если в магазинах приоритет на хамство принадлежит продавцу, как власть имущему, то в остальных случаях первым заводится обычно клиент; правда, подвергшаяся агрессии сторона быстро берет верх в силу натренированности и лучшей защищенности. Что стоит за грубостью отношений? О, многое! С одной стороны — сорванная стремительным московским образом жизни нервная система, с другой — незаинтересованность в работе при острой нехватке кадров в сфере обслуживания. Приемщица в прачечной сказала: «За эти гроши да еще улыбаться!..» Наших туристов удивляет вежливость продавцов, официантов, гостиничных служащих «за бугром». Там существует правило: клиент всегда прав — и страх безработицы. Такая вот принудительная вежливость, под угрозой увольнения, не для нас. Нашим людям чужд страх увольнения. Обратимся к опыту Аэрофлота. Свое обслуживание пассажиров он определяет как «ненавязчивое» — прекрасная формулировка! Вот за такую ненавязчивую вежливость мы должны бороться, чтобы щадить друг друга, не собачиться по-пустому. Это продлит жизнь как обслуживающим, так и обслуживаемым. Да и нет между нами барьера: мы все обслуживаем друг друга.

А не переборщил ли я? Что же, в Москве все так плохо? Конечно, нет. Город живет! Но вспоминаются слова О. Мандельштама: «Мы думаем, что все в порядке, потому что ходят трамваи». Обобщите слово «трамваи», пусть оно объемлет все виды городского транспорта и городские службы, МХАТ, Малый театр, цирк, детскую оперу Натальи Сац и Театр кукол Образцова, ансамбль Моисеева, консерваторию, стадион им. Ленина, Музей им. Пушкина с его великолепными экспозициями и культурной программой, да мало ли сколько еще в Москве хорошего, значительного,— и вы уверитесь, что все в полном порядке. Нет, не в порядке, не надо себя обманывать, лучше смотреть правде в глаза.

Выработалась, мне думается, чрезвычайно дурная манера говорить о наших недостатках. Чтобы тебя не обвинили в очернительстве, надо прежде всего развернуть сияющую

панораму наших достижений, которые так великолепны, что на их фоне любые недостатки кажутся мелкими. А людям, виновным в этих недостатках, только того и надо,— если стрела и достигнет их, то уже на излете.

Я жалею не о том, что сказал, а о том, что сказал далеко не все. После войны в Москве построено два драматических и один музыкальный театры. Но основное здание МХАТа, исторический дом Чехова и Горького, ремонтируется вот уже восемь лет.

Да разве дело в зданиях? Мы гордимся Большим театром. Да, величественные стены в стройные колонны Бове стоят, и все так же мощно правит своей квадригой Аполлон, и сияет позолотой, алеет бархатом зал, озаренный светом гигантского хрусталя... Но оперный репертуар, на мой взгляд, случаен. Я не могу представить себе оперу без колоратурного сопрано и лирического тенора. Формально такие голоса, конечно, в труппе числятся, но это лишь «исполняющие обязанности». Поэтому не ставятся «Фауст», «Ромео и Джульетта» Гуно, «Богема» Пуччини, «Майская ночь» Римского-Корсакова, а на «Евгения Онегина» лично я рекомендую пойти лишь в том случае, если партию Ленского вновь запоет драматический тенор В. Атлантов, которого куда чаще слышат меломаны Вероны и Милана, нежели москвичи. Замечательный артист не виноват, он не раз с полным чистосердечием говорил, что охотнее пел бы дома, да увы...

Мы привыкли злоупотреблять словом «культура», применяя его ни к селу ни к городу. И все же, мне кажется, позволительно говорить о «культуре руководства». Это предполагает причастность руководителей города к духовному опыту народа, к его хрупким нравственным ценностям, умение видеть за толпой человека, а в человеке — личность, и беречь пуще зеницы ока это золотое человечье, дороже чего нет на свете. Здесь корень всех заботящих нас проблем.

Но давайте помнить и о своей ответственности. Да, жить в нашем городе стало трудно, и причин тому много, тут не справишься в один присест, нужно время, терпение, труд. Соборний — всех нас. Мы явили высочайшее достоинство в годину суровых испытаний, когда смерть висела над каждой головой, так нам ли разваливаться от бытовых неудобств, пусть досадительных, и зачем отрясать гроздья гнева друг на друга, не лучше ли обратить нашу силу против того, что нам мешает? Мы же любим Москву, нам тяжела даже короткая разлука с ней, так вспомним о нашей московской гордости и гражданском чувстве.

Вениамин КАВЕРИН

ВЗГЛЯД В ЛИЦО

Понятие культуры многозначно. Не будем пытаться выразить его какой-нибудь одной формулой. Можно сказать, например, что культура — совокупность общественных, умственных и производственных достижений человечества. Но в такой формуле бесследно исчезает как раз то, о чем мне хотелось бы поговорить,— исчезает развивающееся внутреннее состояние человека, которое является отражением его духовного мира. Мне кажется, пришла пора серьезно задуматься над духовным миром человека, живущего и действующего в нашей стране. Потому что страна переживает период, который требует от каждого большей воли, большей энергии, большей требовательности по отношению к самому себе, чем прежде. А воля, энергия и требовательность к себе не могут перейти на более высокую ступень развития, если они не основаны на нравственном сознании, то есть на правде, законности и чести.

Сталкиваясь с беззаконием, бесчестьем, трусостью, рассчитанной лестью, карьеризмом, обманом доверия, культура испытывает болезненный удар, а накопление этих ударов приводит к деформации нравственности, для восстановления которой требуются годы. Самый болезненный удар — причем удар, распадающийся на множество маленьких, подчас почти незаметных ударов,— производит могущественная властительница — «богиня ложь». Культура отношений как одно из проявлений духовной жизни не может существовать и развиваться в атмосфере лжи. Это доказывает вся мировая история. Если в обществе начинают развиваться не подлинные, не правдивые отношения, возникает мнимая нравственная атмосфера, которая в конце концов неизбежно приводит к политике, не останавливающейся перед крайностями. В моей долгой жизни были такие периоды, оставившие недобрую память. О культуре отноше-

ний в подобные времена не стоит и говорить. Впрочем, стоит, потому что такая политика исключает культуру отношений.

Но вернемся к вопросу, который не только меня заставляет взяться за перо. К сожалению, за последние годы я все реже встречаю подлинно культурных людей. Может быть, в моих словах есть доля необоснованной требовательности — все-таки я уже очень пожилой человек. Но ведь не случайны же эти настоятельные разговоры о необходимости «поднять культурный уровень», неоднократно повторяющиеся в прессе, в любом интеллигентном кругу.

Тут без примеров не обойтись. Любые слова повиснут в воздухе, если не будут опираться на факты. А фактов много — в моей жизни бесчисленно много.

Мне повезло: и в детстве, и в зрелом возрасте, и в старости я встречался с культурными людьми. Я встречался с ними и в провинциальном городе, где я вырос, и в Ленинграде, и в Москве, и в моих многочисленных поездках по стране, и на войне, и в тылу.

Мальчиком 9—10 лет я оказался свидетелем бесед, происходивших между моими старшими братьями и их друзьями. То были десятые годы, спорили о Гамсуне, Ибсене, Достоевском, Толстом. Слушая их, я чувствовал и значение этих юношеских споров, и значение литературы в их жизни. Недаром, кончая гимназию, они выбрали жетон с толстовским девизом: «Счастье — в жизни, а жизнь — в работе». Так в детстве мне впервые представились люди, неразрывно связанные с культурой, значения которой в целом я еще, конечно, не представлял. Но я видел, что они были, конечно, очень близки друг к другу, ручались друг за друга, помогали друзьям в трудных обстоятельствах, показывали образцы смелости и благородства. И всему этому я интуитивно учился.

Я очень рано познакомился с русскими классиками Тургеневым, Гончаровым, Толстым. Я тогда, разумеется, не понял, что литература — одно из самых отчетливых и выразительных проявлений культуры, в особенности русская литература, которая — об этом хорошо написал Д. С. Лихачев — возникла из скрещения духовной и светской традиций и, возможно, в силу этого не поучает, но всегда учит.

Юность моя сложилась счастливо. Я поступил одновре-

менно в Петроградский университет и в Институт восточных языков. Позже я понял, что поступление в Институт восточных языков было результатом полного незнания себя, полного отсутствия представления о своей внутренней жизни, которое подчас толкало меня на неожиданные поступки. Кстати говоря, самосознание, здоровая оценка своих возможностей и умение привести в соответствие им свои намерения — один из основных, бесспорных признаков культурного человека. Надо учиться с юных лет задумываться о себе, как делает, скажем, Николенька, сын Андрея Болконского, в «Войне и мире». Это дисциплинирует самооценку, приучает к критическому отношению к себе.

Итак, поступив в Институт восточных языков, я совершил ошибку. Но то была счастливая ошибка, потому что ей я обязан знакомством с И. Ю. Крачковским.

Арабский язык, которым я занимался, преподавал молодой преподаватель И. Кузьмин. Он рано скончался. Тогда за дело взялся Игнатий Юлианович Крачковский. Академик, ученый с мировым именем взял на себя труд рядового преподавателя. Он начал учить нас, первокурсников, азбуке и руководил нашими занятиями до окончания института. Это был поступок благородного человека, умеющего подчинить себя чувству долга.

Он был автором множества научных работ, многие из них и по сей день занимают ведущее место в мировой арабистике. Он написал необычайно увлекательную книгу «Над арабскими рукописями», в которой с поэтическим вдохновением нарисовал картину научного труда.

Высокая интеллигентность Крачковского сказывалась по отношению ко всему: к ученикам, к обязанностям академика, к книгам. Когда, еще до войны, зашла речь, где стоять памятнику Пушкину в Ленинграде — тот, что был на Пушкинской улице, не соответствовал значению поэта,— с вопросом ко мне обратился именно Игнатий Юлианович, и мы обменялись письмами в журнале «Звезда». Во время войны, в начале блокады, когда я был уже военным корреспондентом ТАСС, он неожиданно пригласил меня на свою лекцию. В аудитории его ждали четыре человека. Это не смутило академика, и он довел лекцию до конца. Он жил в блокадном Ленинграде до последней возможности, его увезли почти насильно, оторвав от уникальной библиотеки...

Другой пример — Юрий Николаевич Тынянов, мой друг и учитель. Я уже упоминал об этой истории в книге «Письменный стол», но стоит повторить ее еще раз. Тынянов написал

предисловие к поэме своего покойного друга Г. Маслова; Н. О. Лернер, пушкинист и эрудит, отозвался об этой поэме резко — неприлично резко по отношению к умершему поэту. Что же сделал Тынянов? Он стал тщательно изучать работы Лернера, устанавливать, насколько тот, торопясь, искажал истину. И написал статью — но не о Лернере, а о мнимом пушкиноведении. Вряд ли кто на месте Тынянова — и я, пожалуй, тоже — нашел бы в себе силы удержаться от того, чтобы ответить на резкость резкостью. Он удержался. Вот эта черта —умение себя вести, держать себя в руках, в определенных границах — драгоценная черта культурного человека.

Вспоминаю и случай с В. В. Вересаевым. У него дача в Коктебеле. Жена, очень нервная и раздражительная дама, побила маленькую соседскую девочку, которая забралась в сад за яблоками. Узнав об этом, Вересаев уехал с дачи и никогда больше туда не возвращался.

Я рассказываю об этих людях не для того, чтобы поделиться воспоминаниями. В обществе существуют эталоны культуры, и они создают ту нравственную атмосферу, значение которой нельзя переоценить. Причем они существуют в любых слоях общества — и в интеллигенции, и в армии, и в крестьянской, и в рабочей среде. В армии таким образцом порядочности для меня был адмирал А. Г. Головко. Я много писал о нем. В писательском кругу таким образцом был, разумеется, не только Ю. Тынянов, но, например, и М. Зощенко, мужеством, терпением и оптимизмом которого я не перестаю восхищаться. В подмосковном поселке Переделкино живет мой друг, И. А. Цветков, прекрасный маляр и умный человек. Он не читал ни Достоевского, ни Блока, но интеллигентность его не вызывает сомнений. В годы войны он пережил подлинную трагедию. Полк оказался вблизи его деревни, дети, два мальчика, бегали к нему повидаться, и во время одной из таких перебежек немцы застрелили их на глазах у отца. Мы встречаемся, вместе отметили День Победы. По-своему он опекает меня, отговаривает от новой работы, ему кажется, что я работаю слишком много, не по годам. Когда он болеет, я прихожу к нему, в иные дни он навещает меня. Садик у него крошечный, но он непременно дарит мне яблоки, когда они созревают.

Мне могут возразить, что понятие дружбы не связано с понятием порядочности, интеллигентности, культуры. В самом деле, дружить могут и подлецы, и предатели, и просто дикие звери. Но то физиологическая дружба, лишен-

ная драгоценного умения поставить себя на место другого. Лишенная самоотверженности, готовности при любых обстоятельствах принести свои интересы в пользу другу, а подчас и не только другу.

Я прекрасно понимаю, что пишу о характерах идеальных, редко встречающихся, что многие иронически улыбнутся, читая эти заметки, потому что они окружены людьми пошлыми, мелочными, думающими только о себе. Но найдутся и другие, может быть немногие, кто прислушается к словам человека, прожившего долгую жизнь и лицом к лицу встречавшегося с подлостью, трусостью, бесчестьем, предательством, с одной стороны, и с мужеством, добротой, благородством — с другой.

Не могу не вспомнить маленькую литературную группу двадцатых годов «Серапионовы братья». Ее горячо поддерживал Горький. Братские узы держались годами, но менялась литература, менялись обстоятельства — и в зависимости от них менялись отношения. Одни стали малозаметными писателями, другие заняли очень высокое, авторитетное общественное положение. Случилось так, что они стали администраторами, а администрирование по самому своему существу не очень совместимо с искусством. Дело в том, что подлинный художник сам по себе является общественным деятелем, который вольно или невольно участвует в борьбе с тем, что искажает контуры искусства, что навязывает искусству чуждую ему роль. Каждый произнес мысленно, а иногда и публично десяток речей, направленных против этого искажения. Речи не пропали даром. Они приучили — в данном случае я говорю о себе — оставаться наедине с самим собой, а ведь одна из тяжких сторон работы писателя в том, что он почти никогда не остается наедине с собой — с ним всегда тот, которого Твардовский метко назвал «внутренним редактором».

И здесь мне хотелось бы назвать еще одно непременное составное человека культуры — умение сохранить профессиональное отношение к своему делу.

Разумеется, я не призываю к отказу от общественной деятельности. Но я думаю, что между этой деятельностью и практической работой художника (в широком смысле этого слова) должна сохраняться необходимая граница, за которой творческая свобода позволяла бы углубиться в себя, искать новое, обдумывать пройденный путь, оценивать его достоинства и недостатки. Иными словами — взвесить свою нравственную позицию, ибо только она строго

предостерегает от ошибок, позволяет писателю остаться человеком искусства.

Когда меня спрашивают, бывали ли у меня разочарования в жизни, я отвечаю: неоднократно. И почти всегда они были связаны с тем, что дорогой мне человек отказывался от себя, от утвердившейся еще в молодости линии нравственного поведения и поступал не так, как должен был бы поступить. Умение держаться своей нравственной позиции тоже имеет прямое отношение к культуре. Культурный человек должен доверять своим нравственным ориентирам больше, чем мнению окружающих, даже если это мнение большинства. Верить своему нравственному чувству.

Конечно, любой здравомыслящий человек вправе спросить меня: откуда же берется нравственное чувство — наш душевный камертон? Его создают воспитание и образование.

Меня очень тревожит отсутствие подлинного интереса к вопросам культуры, к ее значению и назначению. В чем корни этих пугающих явлений? Беда начинается с детства. Положение многих семейств неблагополучно. Родители весь день на работе, на домашнее воспитание не хватает времени, благоприятная семейная атмосфера, значение которой бесценно, часто отсутствует. И школа именно в этом случае должна играть особую роль, но она ее не играет. Правда, она пытается внушить воспитанникам общечеловеческие правила: нельзя красть, врать — но все это носит неубедительный, поверхностный характер. Ведь научить можно только тому, что ребенок, подросток, юноша видит собственными глазами. А если подчас в жизни своих родителей они видят ложь, притворство, воровство — трудно научить их быть искренними, правдивыми, честными.

Я много писал и пишу о школе. Пишут и другие — педагоги, литераторы, методисты. Над школьными вопросами мудрят десятки лет. И продолжают мудрить, забывая о том, что старая гимназия, хотя и имела серьезные недостатки, но тем не менее давала образование несравнимо более высокое, чем современная школа. Почему? Потому что нас учили подготовленные преподаватели, знающие свое дело. Не было Академии педагогических наук, не было необходимости ставить одних учителей в пример другим, как теперь ставят Сухомлинского и немногих других. Не было бесконечных, каждые пять лет, перемен в системе школьно-

го преподавания, перемен, которые не дают возможности упрочить традиции. Более того, вопрос о значении традиций никому и в голову не приходит! Окончательно решить проблему должны государственные люди. А государственных людей у нас и много, и мало. Но, во всяком случае, я надеюсь, для решения школьного вопроса такие люди найдутся.

Я много раз писал о том, что педагогические институты выпускают неподготовленных педагогов. А ведь только педагог может дать школьнику то, чего он не получает в семье. Внушить интерес к процессам, происходящим в стране, показать историческое значение прошлого, объяснить необходимость искусства, которое незримыми нитями связано с технологической, производственной стороной нашей жизни, организовать кружки, общества внутри школы, которые расширили бы познавательные возможности детей в условиях все более напряженной программы. Наконец, научить мыслить, отказываясь от стандартных моделей, стершихся слов.

Чем занято сегодня наше юношество? В состоятельных семьях дети чаще всего избалованы и тратят дорогое время, гоняясь за заграничными кассетами и т. п. Разумеется, этих «счастливцев» немного. Подавляющее большинство юношей и девушек живут иначе, но несчастье в том, что и те и другие не думают о том, что за любые блага в жизни надо платить. Мне кажется, нужно так перестроить жизнь, чтобы дети рассчитывали лишь на минимальную помощь родителей. И, во всяком случае, не надеялись, что будут жить на родительский счет до 30 лет. Пока мы этого вещественно не почувствуем, пока наше устоявшееся, довольствующееся привычными понятиями сознание не придет к неизбежности крутых перемен, наша молодежь будет активно пополнять энергично действующее сословие нуворишей с их нездоровым стремлением к беспечному, подражательному существованию.

Сегодня перед нашим обществом стоит задача ускорения. Но мы ничего не добьемся в ускорении, если решать эту задачу станут малоинтеллектуальные люди. Они будут только мешать делу. За минувшие годы, когда многое тщательно скрывалось, когда инициатива была погашена, когда ни школа, ни вуз не играли той роли, которую обязаны играть в наше время, в общественном сознании образовались провалы, которые теперь нужно переступить. А это трудно. Очень трудно переключиться на другой тип мышле-

ния, в котором подобающее место отводится культуре и интеллекту.

Сегодня все заняты узкой специализацией. И разговоры о широте кругозора могут показаться ненужными, даже бесполезными. Сегодня нередки хорошие работники, плохо знающие произведения Ленина и не читавшие Маркса, хотя и берущие на себя дело огромной государственной важности. Но надо читать — и вдумчиво читать — и Ленина, и Маркса. Они-то как раз знали, что новое государство нельзя построить без помощи искусства как мощного инструмента культуры.

Да, технический прогресс необходим. Но его ускорение затруднено. И затруднение будет возрастать, если люди, которые занимаются им, будут бесконечно далеки от искусства. Это звучит парадоксально. Но я убежден если бы в жизни тех людей, которым непосредственно поручено это ускорение, свое место, хотя бы небольшое, занимало искусство, они легче решали бы задачи, которые ставит перед нами жизнь. Без помощи искусства, культуры нельзя ни построить жизнь, ни улучшить ее. Потому что только культура обладает силой, воздействующей на души людей,— могучим нравственным зарядом.

Широта интересов должна быть заложена с детства. И тогда в зрелости она даст хорошие результаты. В молодости я был близок к кругу ленинградских ученых. В их числе были А. Ф. Иоффе, Н. Н. Семенов. Это были люди, высоко ценившие гуманитарное образование и охотно участвовавшие в нашем научно-литературном обществе, созданном при Союзе писателей в Ленинграде. Позже, живя в Москве, я не раз по серьезным литературным делам обращался к физику П. Л. Капице, к геологу А. Л. Яншину. Они неизменно и охотно помогали, это истинно государственные люди, у которых любовь к культуре — в крови.

Я не думаю, что технологи или биологи (в широком смысле) должны замкнуться в пределах своей специальности. Я не думаю, что они не понимают того, что невозможно, с одной стороны, превратиться в дикарей, отказавшись от культурного кругозора, а с другой — продолжать создание современных сложных машин. Движение вперед возможно только за счет того кругозора, в котором — это тоже нужно понять — одно из первых мест должно занимать знание прошлого той науки, того дела, которому человек отдает свою жизнь.

Прошлое всегда раскрыто не до конца. И нередко слу-

чалось, что брошенная, не доведенная до конца мысль через 20 или 30 лет, когда к ней возвращались, оказывалась фактором, неожиданно двигающим науку вперед, обогащающим ее.

По меньшей мере знание прошлого своего дела, своей профессии, по большому счету — знание истории хотя бы в минимальной степени — непременное условие успешного труда современного интеллигентного человека.

Надо ли говорить, как важно знание прошлого для литератора!

К сожалению, в этом отношении дело, по-моему, обстоит особенно плохо. Профессиональные знания многих наших литераторов очень неглубоки: плохо знают нашу древнюю литературу, нашу необычайно богатую литературу XIX века. «Вершинных» русских писателей Тургенева, Достоевского, Толстого часто знают только по выдающимся произведениям. Что говорить о классиках — творчество многих первоклассных советских писателей тоже почти забыто. У нас издаются многотомные собрания второстепенных писателей, но нет до сих пор необходимых собраний Тынянова, Булгакова, Пастернака, Ахматовой...

Я уже не говорю о писателях так называемого «второго эшелона». Это огромная литература, которая остается совершенно за пределами критических споров, обсуждений и т. д. Не хватает у нас размаха, который был характерной чертой блестящих критиков XIX века. Белинский сумел в первых своих статьях охватить всю литературу и сделать выводы, повлиявшие на развитие литературы в целом. Скажут, у нас нет и Пушкина и Гоголя. Но ведь Белинский писал не только о великих.

Обзоры — тем более что у нас есть очень талантливые критики — я считаю необходимыми. В них нуждается и критическая мысль, и практическая деятельность литератора. Надо знать место, которое ты занимаешь в истории своей литературы.

У нас нет ни одного теоретического обзора, намечающего направления, рассматривающего всю литературу XX века в целом. А ведь сами собой намечаются периоды, выстраиваются взгляды. Кто будет отрицать, что с «Мастером и Маргаритой» свежий воздух ворвался в нашу литературу? В ней стала возможной фантастика, отмеченная современной остротой. Появилась возможность смотреть на обыденное существование как на чудо. Глубокие исторические параллели

волновали читателей и заняли в литературе свое место, принадлежащее им по праву. Появилась оригинальная оппозиция обыденному сознанию, развязались жанровые традиции. Вспомнились (и недаром) Сухово-Кобылин, Салтыков-Щедрин, Сенковский, Вельтман. Возобновилась традиция — появились последователи: Вл. Орлов, Нина Катерли, Татьяна Толстая...

Роман Булгакова обнажил необходимость заглянуть в себя: мы ведь годами жили, делая вид, что литература не уклоняется от правды. Между тем она становилась целенаправленной, но пустой.

Почему мы так плохо помним сегодня произведения некогда знаменитого П. Павленко? Почему в памяти ценителей литературы сохранились не его большие нашумевшие романы, а маленькие повести «Пустыня», «Степное солнце»?.. Потому что романы были написаны для самостоятельно существующей цели и лишь в редких случаях связаны с высоким искусством. А в повестях чувствуется внутренний взгляд художника, они написаны как бы «для себя». Но и для читателя, который сумеет увидеть и оценить этот внутренний взгляд.

И тут мы невольно приходим к главному, «узловому» вопросу культуры — ее соотношению с моралью. Это очень важный вопрос. Ведь существует мнение, что подлинно свободная культура — имморальна, то есть находится вне морали. Так думал, например, Артюр Рембо, считавший священным «расстройство» своих мыслей, пытавшийся противопоставить гуманизму культуры цинизм авантюриста. Он объявил себя конкистадором, бросил поэзию, стал агентом какой-то фирмы в Африке, пытался составить состояние, носил пояс, набитый золотыми монетами, и умер в Марселе, в госпитале, в котором никто не знал, что он — поэт.

И Жан Жак Руссо отрицал положительное влияние культуры на нравственность. В наше время, к счастью, кажется, никто не разделяет эту мысль, но вопрос нравственной позиции деятелей культуры — важный и современный вопрос.

Рембо продал свою поэзию за золотой пояс. Иные литераторы, художники, музыканты продают свое искусство за положение, за карьеру. Нельзя допускать, чтобы один бесцветный писатель, почему-то постоянно печатающийся, поддерживал другого бесцветного писателя. И оба, как говорится, «держались бы на плаву», убеждая общество в бесспорном значении друг друга. У нас нет Белинского, который одной

статьей опрокинул славу Бенедиктова. И я пока не вижу условий, при которых мог бы появиться современный Белинский. Повторяю, у нас много талантливых и даже первоклассных критиков, но мужества и прозорливости Белинского, смело показавшего истинную панораму литературы, сказавшего о ней полную, безусловную, бескомпромиссную правду,— мужества им не хватает.

А между тем именно к такой правде, не считающейся с высоким положением или подчас со всеобщим, но ложным признанием, зовет нас время. Время героических деяний и великих завоеваний — но и время мнимых авторитетов, обмана, предательства, фальшивых карьер, время досказанности, необходимости досказать то, что еще замолчано, утаено. Время прямого взгляда в лицо, откровенного разговора, без стремления угодить собеседнику, без стремления извлечь из него пользу для себя, а не для дела. Разумеется, я отдаю себе полный отчет в том, что подобная перемена не может произойти в течение двух или трех лет. Но нужны примеры, нужно начало, которое бы, согласно поговорке, «полдела откачало». Хочу надеяться, что нам удастся преодолеть причины, тормозящие процесс обновления литературы.

Время обязательно заставит нас задуматься над вопросами, настоятельно требующими ответа, над вопросами развития культуры. Каждый должен будет спросить себя: что ты сделал для общества, страны, государства? Этот вопрос — граница между теми, кто живет и работает для себя, и теми, чья жизнь связана с интересами страны. Сегодня у нас обнаружено бесчестье. Люди, занимавшие высокие должности, не соответствовали тому месту, которое они занимали. В культуре обнаружилось подхалимство, лицемерие, неумение оценить достоинство как непременное свойство порядочного человека. Обнаружилась неуверенность как прямое следствие страха перед произволом. Начать новое в таких условиях — совсем не просто.

Начинать надо с нравственной задачи. Какой? Левин в «Анне Карениной» бьется над формулировкой нравственной задачи. И решает в конце концов, что надо жить, не думая о ней, а просто делая добро и принося пользу людям. Но он проходит тяжелый путь неуверенности в себе, сомнений, самонаблюдения. Мне кажется, что в нравственной задаче важно именно не решение, а путь к этому решению. И не нужно думать, что я противник социально-тенденциозной литературы. Это совершенно законная художественная фор-

ма, может быть одна из труднейших, рискованных форм, но занимающая свое место как в мировом, так и в советском искусстве. «Будь это не так,— пишет М. Бахтин в предисловии к «Воскресению» Толстого,— добрую половину французского и английского романа пришлось бы выбросить за борт художественной литературы». Но дело в том, что эта форма дискредитирована у нас множеством плохих, «идущих прямо на предмет» произведений. По меньшей мере, так было в тридцатых, сороковых, пятидесятых годах. Но с тех пор мы многому научились. Организовать художественный материал на фундаменте социально-идеологической идеи, одушевляя его тесной связью с конкретной, вещественной жизнью, и создать таким образом новый современный роман — это тоже одна из задач развивающейся культуры.

Мне бы очень хотелось надеяться, что предстоящий съезд советских писателей именно так оценит наши задачи и перспективы и станет тем, чем должен быть столь представительный творческий форум. Нельзя ведь, в самом деле, продолжать уже изжившую себя традицию формальных докладов. Фактически они уже давно амортизировались. Важные вопросы литературы обходятся по касательной. О значении художественной формы почти не говорится. Причины возникновения «серой» литературы не обсуждаются. Стремятся никого не обидеть, хотя кое-кого обидеть полезно и даже необходимо.

У меня такое чувство, что даже в тридцатые годы мы, писатели, были профессионально гораздо ближе к литературе. Мы говорили о своих профессиональных задачах конкретно и нелицеприятно. Я помню, как К. Паустовский, руководивший объединением «Проза», прямо говорил о том, что мы должны защищать русскую речь, что литературное слово падает, что нам надо находить между нами и читателем связь. Он говорил о неслучайности успеха. Он говорил о ненадежности успеха. Обо всем этом сейчас почему-то молчат.

Никто из профессиональных литераторов не хочет задуматься: почему, например, романы Пикуля, которые представляют собой, по-моему, отрицательное явление, имеют такой успех? Ведь это говорит о падении вкуса! Конечно, они занимательны, но занимательны пошло. Это занимательность, которая не связана с глубиной замысла, это времяпрепровождение, а не самоуглубление, которое всегда русская литература предпочитала любому другому чувству. Это та самая массовая культура, которая дешево стоит.

Куда-то исчезла конкретность отношения к художествен-

ному произведению. Конкретность — это важное качество оценки, которое позволило бы нащупать, хотя бы приблизительно, скрытую борьбу направлений. Нет прежнего, характерного для времен моей молодости, практического отношения к делу. Теоретический анализ увял. Многие литераторы рвутся к известности, к славе, не думая о том, что слава оплачивается тяжелым трудом, неразрывно связанным с пониманием того, что происходило в литературе прежде.

Самое пагубное, что наблюдаю я сегодня в нашей культуре,— это поверхностность и разобщенность. Мы постепенно стали терять те черты духовности в культуре, которые существовали в ней исторически и которые невольно проявила и сделала вещественно ощутимыми Великая Отечественная война. Такой естественной связи между людьми, такого чувства локтя, как во время войны, у нас не было ни до, ни после. Все без исключения работали во имя победы. Фронт с неслыханной остротой обнажил внутреннюю жизнь человека. Об этом много писали и будут еще много писать, потому что панорама души, открывшаяся в годы войны, неисчерпаема. И если бы сразу после войны эти черты отваги, мужества, честности, любви к Родине и друг другу поощрялись и развивались, нам не пришлось бы сегодня беспокоиться о том, чему посвящена эта статья.

Но послевоенные годы принесли новые испытания. Сама жизнь складывалась так, что мы теряли понемногу те бесценные черты духовности, которые вольно или невольно подарила нам война. Именно в эти годы сложилась та общественная атмосфера, плоды которой мы никак не изживем до сих пор.

Сейчас, задумываясь о целесообразности существования, окидывая взглядом то, что я сделал за свою жизнь, я задаю себе вопрос: верно ли то, что я сделал? Нужно ли было это? И чувствую, что некоторые поступки были ошибочны, ложны, а некоторые хоть и ложны, но необходимы для того, чтобы я в конце концов это понял — понял разницу между одними поступками и другими. Может быть, потому, что у меня перед глазами всегда были зримые идеалы, нравственные эталоны, примеры безусловные, я остался верен своим нравственным позициям. Наверное, поэтому в какой-то мере мне все-таки было легче, чем современным молодым.

Сегодня в обществе ощутимо не хватает таких зримых идеалов. Людей, чьи поступки и чья нравственная позиция могли бы послужить безусловным примером для окружающих. Но я не теряю надежды на обновление, я знаю, что расширение гласности может ускорить процесс развития культуры. Когда гласность восторжествует, дурные явления — хамство, стяжательство, коррупция — перестанут разрастаться. Я прожил много лет и верю, что новый период, в который мы вступаем сейчас,— это период необходимый и необратимый.

«Литературная газета» № 25,
18 июня 1986 г.

Владимир СОКОЛОВ

* * *

На маленькой дачной станции
Сошла с электрички ты...
В России, Германии, Франции
Сегодня цветут цветы.

А много ли надо художнице,
Собравшейся на пленэр?
Под стрелками рельсы-ножницы
Не надобны, например.

Цветут цветы и в Румынии,
И в Польше, и на лугу.
Беспечно-белые, синие,
Как бабочки в их кругу.

По небу, меняясь обликом,
Куда-то облако шло,
Ты полюбовалась облаком
Рассеянно и светло.

Художница беспечальная,
Живущая, цвет любя,
Жиличка континентальная,
Что облако для тебя?

В окрестностях не обидела
Вниманием ничего.
И маленький храм увидела,
Сирени вокруг него.

Ты храм в стороне оставила.
Сирень занесла в альбом...
А облако все не таяло,
Огромным клубясь грибом...

РАЗДУМЬЕ

Я люблю эти кровли,
деревья, карнизы.
Я люблю, просыпаясь
ни свет ни заря,
Видеть, как проступают
наброски, эскизы,
Невзначай побелевшие
от декабря.

Я люблю это поле,
не крохотный выдел,
А бегущее вдаль,
исчезая из глаз...
Если б не было нас,
Кто бы звезды увидел,
Кто бы землю вспахал,
Если б не было нас.

Я люблю этой стружки
строительной сладость,
Эти юные встречи
у станций метро...
Что там думает тот,
кто приемлет за слабость
Утверждаемое
На планете добро!

Невидимка ученый,
он ценит пейзажи,
Лишь бы были они
без людей — без людей!
Потерявший себя, не заметив пропажи,
Изобретший оружье,
всех прочих лютей.

Веет звездами ночь...
И по-прежнему тянет
Даль космических встреч...
Даль лирических встреч...

Что он думает, тот,
Кто так сумрачно занят
Перековкой орала
На тягостный меч?

* * *

О мире, о мире, о лире
Писать, поминая войну;
Все стороны эти четыре
Сливая в округу одну.

И в этой округе, где плесом
Колеблется розовый цвет,
Идешь ты над желтым откосом,
А я за тобою вослед.

У птиц за моими плечами
Росистый рождается звук...
(Так часто бывает ночами,
Когда просыпаешься вдруг.)

Но в синь камыша и осота,
Где солнце твое настает,
Опять из заглохшего дзота
Очнувшийся бьет пулемет.

Я в эту живую натуру
Бегу, раздирая траву,
И падаю на амбразуру
Счастливей, чем был наяву.

* * *

Хватит словесности,
хватит застолья,
Хватит, мой старый малыш!
Снова пора превращаться
в раздолье
Этих деревьев и крыш.

Снова пора покрываться корою
И превращаться в листву.
Снова пора
предрассветной порою
Падать росой на траву.

Снова пора напрягаться быками
Старых и новых мостов.
Под поездами, грузовиками
Сделаться шпалой готов?

И как в услугу тому поколенью,
Что — от зари до зари...
Снова пора становиться сиренью,
Радугой, черт побери!

Только не в том ли
и счастье поэта,
Что он всегда и везде
Рад послужить,
обратясь в то иль в это,
Чей-то счастливой звезде.



Булат ОКУДЖАВА

* * *

Глас трубы над городами,
под который, так слабы,
и бежали мы рядами,
и лежали, как снопы.
Сочетанье разных кнопок,
клавиш, клапанов, красот:
даже взрыв, как белый хлопок,
безопасным предстает.
Сочетанье ноты краткой
с нотой долгою одной —
вот и все, и с вечной сладкой
жизнью кончено земной.
Что же делать с той трубою,
говорящей не за страх
с нами, как с самой собою,
в доверительных тонах?
С позолоченной под колос,
с подрумяненной под медь?..
Той трубы счастливый голос
всех зовет на жизнь и смерть.
И не первый, не последний,
а спешу за ней, как в бой,
я — пятидесятилетний,
искушенный и слепой.
Как с ней быть? Куда укрыться,
чуя гибель впереди?..
Отвернуться?
Притвориться?
Или вырвать из груди?..

* * *

Поздравьте меня, дорогая,
я рад, что остался в живых,
сгорая в преддверии рая
средь маршалов и рядовых,
когда они шумной толпою
в сиянии огненных стрел
влекли и меня за собою...
Я счастлив, что там не сгорел.
Из хроник, читаемых мною,
в которых — судьба и душа,
где теплится пламя былое
условно, почти не дыша,
являются мне не впервые,
как будто из чащи густой,
то флаги любви роковые,
то знаки надежды пустой,
то пепел, то кровь, а то слезы —
житейская наша река.
Лишь редкие красные розы
ее украшают слегка.
И так эта реченька катит
и так не устала катить,
что слез никаких и не хватит,
чтоб горечь утрат оплатить.
Судьба ли меня защитила,
собою укрыв от огня?
Какая-то тайная сила
всю жизнь охраняла меня.
И так все сошлось, дорогая,
наверно, я там не сгорел,
чтоб выкрикнуть здесь, дорогая,
все то, что другой не успел.

НАДПИСЬ НА КАМНЕ

Пускай моя любовь как мир стара,—
лишь ей одной служил и доверялся
я — дворянин с арбатского двора,
своим двором введенный во дворянство.

За праведность и преданность двору
пожалован я кровью голубою.
Когда его не станет — я умру,
пока он есть — я властен над судьбою.

Молва за гробом чище серебра
и вслед звучит музы́кою прекрасной...
Но не спеши, фортуна, будь добра,
не выпускай моей руки несчастной.

Не плачь, Мария, радуйся, живи,
по-прежнему встречай гостей у входа...
Арбатство, растворенное в крови,
неистребимо, как сама природа.

Когда кирка, бульдозер и топор
сподобятся к Арбату подобраться
и правнуки забудут слово «двор» —
согрей нас всех и собери, арбатство.

* * *

Всему времечко свое: лить дождю,
земле вращаться,
знать, где первое прозренье,
где последняя черта...
Началася вдруг война — не успели попрощаться,
адресами обменяться не успели ни черта.

Где встречались
мы с тобой?
Где нам выпала прописка?
Где сходились наши души, воротясь с передовой?
На поверхности ль земли?
Под пятой ли обелиска?

В гастрономе ли арбатском?
В черной туче ль грозовой?

Всяк неправедный урок впрок затвержен и заучен,
ибо праведных уроков не бывает. Прах и тлен.
Руку на сердце кладя, разве был я невезучим?
А вот надо ж, сердце стынет в ожиданье перемен.

Гордых гимнов, видит бог, я не пел окопной каше.
От разлук не зарекаюсь и фортуну не кляну...
Но на мягкое плечо, на вечернее, на ваше,
если вы не возражаете, я голову склоню.

Анна КАЛАНДАДЗЕ

МРАВАЛЖАМИЕР

Твоим вершинам,
белым и синим,
Дарьялу и Тереку,
рекам твоим,
твоим солдатам,
статным и сильным,
а также женщинам,
верным им, —
мравалжамиер, многие лета!

Твоим потокам,
седым потокам,
твоим насупленным ледникам,
предкам твоим
и твоим потомкам,
их песням,
танцам
и смуглым рукам —
мравалжамиер, многие лета!

Твоим героям,
делам их ратным,
их вечной памяти на земле,
твоим языкам и наречьям разным,
лету,
осени,
весне
и зиме —
мравалжамиер, многие лета!

Горам и ущельям,
низу и долу,

каждому деревцу во дворе,
Волге твоей,
и Днепру,
и Дону,
Сырдарье
и Амударье —
мравалжамиер, многие лета!

Твоим строителям неутомимым,
могучей
жизни
живой струе,
тебе, овеянной светом и миром,
тебе,
моей дорогой стране,—
мравалжамиер, многие лета!

Геннадий ГОЦ

ПОЭЗИЯ

1

Книготорговец озабочен:
Поэзию «берут»
не очень,
Мол,
книжный рынок,
между прочим,
Стихами затоварен весь.
Шумит поэт,
легко ранимый,—
Проходит покупатель мимо...
Я ж,
книголюб неисправимый,
За честь поэзии любимой
Готов и в спор,
и в драку лезть!

2

Неистребима, молода,
Живет поэзия,
когда
Пронизан солнцем зимний лес,
А летом — синева небес,
И песню начинает дрозд,
И глаз не отвести от звезд,
И труд пчелы неутомим,
Покой земли тобой храним.

Поэзия — ты мир глубин,
Мечты и яви
сплав один.

Эльбрус —
Кавказа исполин —
В хрустальном панцире вершин.
Приход счастливых дней,
когда
Чиста байкальская вода —
Ей больше
не грозит беда.

Когда одолевают твердь,
Когда отодвигают смерть
В атаке яростной
в седле,
На хирургическом столе,
И день, и ночь
в Чернобыле.

Поэзии счастливый дар,
Ты —
сердца вдохновенный жар,
Незатухающий пожар,
Неумолкаемый поток.
В жару,
в песках
воды глоток,
Желанный
у костра привал,
И грозный
с грохотом обвал,
И восхождения пора,
Кристалл
надежды и добра.

Времен связующая нить
С вопросом:
быть или не быть?
Любовь,
как небо, высока.
Уста младенца у соска.
И свет любимого лица.
Ступенька милого крыльца.

Уменье
до конца стоять,

Когда исписана тетрадь
И будешь завтра
ты убит
В тюрьме
с названьем Моабит.

Поэзии
удел таков:
Подвластны тайны ей
веков,
Освобожденье
от оков,
Движения материков.
Ее веления
легки:
Из-под стремительной руки
Рожденье чудное
строки.
И не на годы та строка
«Я вас любил...»,
а на века!

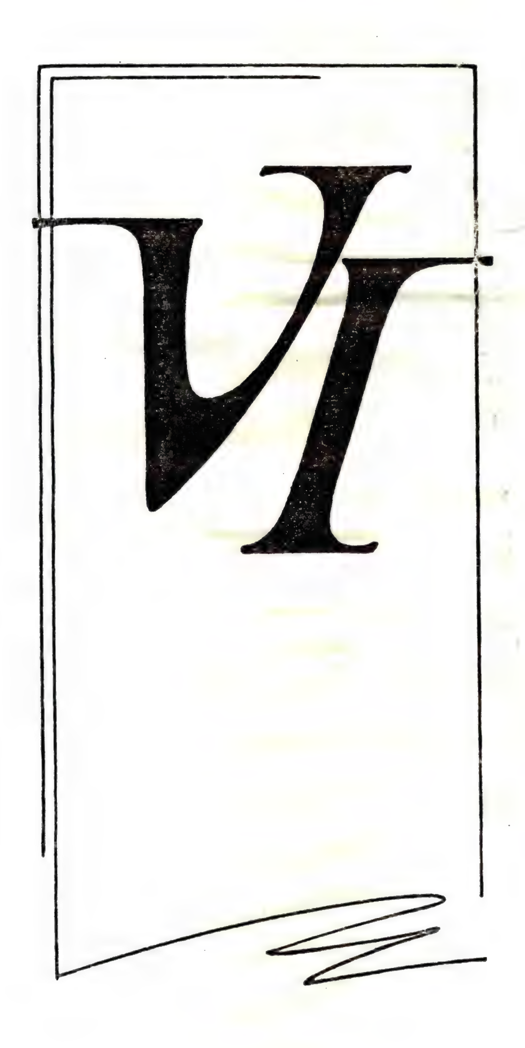
3

Книготорговец,
между прочим,
Коллегами уполномочен.
Он стихотворцу —
прямо в очи:
Долой
макулатурный хлам!
Что стих, мол,
нынче — худосочен...
Быть может,
в этом он не точен,
С читателем
мы верим очень:
Поэзия —
священный храм.

Как многолик он,
покупатель,
Наш привередливый читатель.

Он литвождей ниспровергатель
И возноситель
            их же — сам.
Талантов светлых собиратель
И россыпей стихов
                старатель,
О новом Пушкине мечтатель —
От храма
        отличает хлам.

Как хлеб,
        как соль,
                ему нужна
Всегда поэзия!
            Она —
В познанье мудрости
                успелость,
Чтоб стала мастерством
                умелость,
Гражданства пламенная зрелость,
Рудоискателей стезя.
Поэзия —
        прорыва смелость,
Она — колосьев звонких спелость,
Когда нельзя,
        чтобы не пелось,
Когда одной лишь правде — льзя!


VI

Сегодня первоочередная задача партии, всего народа — решительно переломить неблагоприятные тенденции в развитии экономики, придать ей должный динамизм, открыть простор инициативе и творчеству масс, подлинно революционным преобразованиям.

Из Политического доклада Центрального Комитета КПСС XXVII съезду Коммунистической партии Советского Союза

Анатолий СТРЕЛЯНЫЙ

ПОСЛЕДНИЕ МОРОЗЫ

В конце зимы прошлого[1] года позвонил мне один давний хороший знакомый, приехавший в Москву кое-что выбить для своей области и заодно полечиться. По моим понятиям, позвонил очень рано, в восьмом часу утра.

— Кинь в карман пару луковиц и волчьим наметом, пока не начался завтрак,— ко мне.

Я удивился. Больница была небедная, чины пациента немалые, он и депутат, и Герой, на нем целая область — неужели там не могут уважить такому человеку луковицей?

— Не допросишься. Вкатят на возке в палату что-то протертое, ни съесть по-людски, ни выпить.

После завтрака мы пошли гулять — он дорожит каждым случаем походить ногами. У него твердое правило: на работу и с работы, на обед и с обеда — только пешком. В первое время с этим было связано большое неудобство: его перехватывали люди с жалобами и просьбами. Он, не сбавляя шага (а ходит быстро, шагает широко — в селе, откуда он родом, его до сих пор прозывают Вербой за почти двухметровый рост), объяснял, что если будет каждого выслушивать, то никогда не дойдет до работы, а у него есть приемные дни; всякий может записаться, хотя лучше всего воспользоваться почтой, письма на его имя не теряются. Теперь он ходит без помех, с ним, правда, многие здороваются, но, как я мог наблюдать, делают это ненавязчиво, чуть заметно — не подумал бы, что хотят остановить.

На дорожке, вдоль больничного забора, нам никто не попадался, говорить можно было в полный голос. Все еще было впереди — и апрельский Пленум, и съезд партии, и все, что за ним последовало... Ввиду близких перемен моему товарищу особенно хотелось, чтобы было улучшено снабжение сельских

---

[1] *1984 г.*

жителей. Он считал, что дело тут не только в фондах, многое зависит от общей линии.

— Мою-то линию у нас все, кого касается, знают давно. Если ты встретил на дороге колхозника, который везет сено, солому, лес, кирпич или железо, не смей останавливать и спрашивать, где он это взял и куда везет. Если он без спросу взял сено или солому, то виноват не он, а председатель колхоза, который вовремя его не обеспечил. А «вовремя» у меня значит: с первого укоса и первого умолота. Сначала обеспечить корову колхозника, потом — колхозную. То же со стройматериалом. Если колхозник взял его незаконно, значит, виноват не он, а ты — начальник строительства, значит, этот цемент у тебя плохо лежал, а плохо лежал потому, что не позарез нужен, а все, что не позарез нужно в городе, должно быть в селе, потому что в селе, у мужика, ничего не пропадет!

Поговорив о снабжении, он перешел к замыслу, который выглядел грандиозным даже в свете самых радужных ожиданий:

— Хочу обратиться, чтобы моей области дали в порядке исключения поработать без плана.

— Как будете мотивировать?

— Как есть. Я же не против планирования как такового. Без плана никто в мире давно не работает. Но когда у нас начнется нормальное планирование, неизвестно, а теперешнее, «от достигнутого уровня», такое, что лучше жить совсем без плана. Как временный выход.

— Не зарывайтесь,— посоветовал я.— Просите самого малого. План до области пусть доводят. Просите только, чтобы вам разрешили не доводить его до районов. Не доводя — выполните?

— Пере!.. В том-то и дело. Если доведу — не выполню ни в коем случае. А если не доведу, перевыполню.

В больнице ему пришлось задержаться недели на две. Мы встречались еще несколько раз, гуляли по «психодрому», как он называл больничный двор, обсуждали это дело. Он, среди прочего, сильно рассчитывал на то, что, как только районы начнут жить по своим планам, меньше станет брехни, которая всегда вызывала у него чувство гневного недоумения. За десять лет его работы в области случаев проявить это чувство было немало, но мне лучше всего помнится его рассказ о самом первом.

Перед уборкой в область прилетел один крупный руководитель из Москвы, и они поехали по районам.

— Неделю не вылазим с ним из машины, и всю неделю я

его настраиваю на предстоящие мне трудности. Будет огромный объем перевозок: хлеб, кукуруза, свеклы не меньше семи миллионов тонн, а транспорта катастрофически не хватает. Если не подбросите хотя бы тысячу грузовиков, то осенью, говорю, будете меня снимать за провал уборки. Гость слушать слушает, но отвечает что-то неразборчивое. И вот последний день, последняя минута. Стоим на границе области: он, я и секретарь райкома, мужик из таких, знаете, зубров, лет двадцать стажа, умный, знающий, хитрый. Прощаясь, Н. спрашивает его: «Так за сколько дней управитесь с уборкой?» И вот этот мужик вытягивает руки по швам, выпучивает глаза да как рявкнет: «За десять дней как корова языком слижет!» Н. уехал, я поворачиваюсь к этому брехуну, а тот... Ничего, вижу, не соображает, руки вытянуты, глаза выпучены. Созываю по рации на это место чуть ли не весь актив, рассказываю эту историю, спрашиваю его при всех: «Кто вас за язык тянул, ну кто?..» А убирал он знаете сколько? Полтора месяца!

Заходя в палату, я видел заваленный бумагами стол и докрасна раскаленный телефон. Хозяин все время что-то считал, составлял таблицы и говорил, говорил с домом — со своими районами и колхозами.

— Дело, конечно, делом, но и скучаю,— признавался несколько смущенно.— А вернусь — и опять... Наездишься, насмотришься такого, что иной раз уже никого видеть не хочется. Уйдем с шофером подальше от дороги, в овраг какой-нибудь, раскроем наш «дипломат» да куском хлеба с салом и пообедаем. Однажды так вот забрели, а в овраге, гляжу, прелое зерно свалено, тонн тридцать. У кого-то на току согрелось, так его, значит, сюда, подальше от начальства. Овраг, оказывается, ничейный, в него упираются поля двух или трех колхозов двух районов. Поди разберись, чья работа. Собрал на это место всех. Ну, говорю, не сумел ты уберечь это зерно, не получилось, бывает. Так есть же у тебя свиноферма! Скажи, наконец, людям — разберут по дворам и скормят... Потом думаю: кого первого он боялся — тот председатель? От кого первого свой грех прятал? Меня он боялся, от меня прятал. Значит, я первый и виноват. Такое варварство допускают потому, что зависят не от урожая, не от выручки, а от меня, от начальства, боятся не убытка, а нагоняя. В основе — это. А что произрастает на этой основе...

Он схватился за голову и некоторое время раскачивался.

— На этой основе произрастает привычка... Привожу одного иностранного корреспондента к одному председателю. Председатель, естественно, из лучших. Как начал этому

иностранцу брехать, как начал!.. Ты зачем, говорю ему, брешешь? Он же тебе никто, никакое не начальство. Своим враньем ты не поднимаешь перед ним Родину, а, наоборот, опускаешь. Он ведь знает, кто у кого зерна прикупает... Что ты, чудак, можешь скрыть, когда у него все справочники всегда под рукой. Он, может, затем к тебе, дурачку, и приехал, чтобы посмотреть, как ты брехать будешь!

Следующая наша встреча была в начале лета, на сей раз ездил к нему я. Времени прошло немного, но поговорить было о чем. Перед отъездом в редакции одного журнала мне разъяснили новую обстановку. Дело, говорили, в том, что сейчас, после апрельского Пленума, наверху знают все недостатки и проблемы и все пути их решения. Если вчера можно было ограничиться простым описанием той или иной проблемы, то сегодня надо добавлять: руководство уже в курсе, пути намечаются, проблемы решаются. Хватит вызывать тревогу и возмущение. Сейчас читателя надо успокаивать. Все было понятно. Раньше можно было писать, что в отдельных магазинах не хватает отдельной колбасы. Теперь, чтобы напечататься, надо добавлять: но ее уже везут.

Мой Верба был загорелый и чуть-чуть осунувшийся: начиналась уборка ранних колосовых.

— Читаю тут сводку о происшествиях за сутки, а в ней,— рассказывал,— такое... В одном колхозе задержаны два комбайнера, взявшие по двенадцать килограммов ячменя. Я думаю: почему по двенадцать? Не по двести, не по триста или пятьсот, раз уж решили рисковать. Бросаю все, еду. Приехал — мужиков уже стричь собираются. Почему вы, спрашиваю, взяли только по двенадцать килограммов? А нам, говорят, больше не надо было. Понимаете, в чем дело: ячмень очень интересный, урожайный, мы такого сорта никогда не видели, вот и решили посеять у себя в огородах на пробу. Я собрал кого надо и говорю им — да так, чтобы всем слышно. Мы, говорю, радоваться должны, что еще есть комбайнеры, которым небезразлично, что они сеют или убирают, которые еще способны заметить интересный ячмень, которые хотят его иметь у себя в огороде, на этих, говорю, людей вся наша надежда, а вы их стричь собрались!

Первый мой вопрос был, конечно, о планировании.

— Разрешили вам?

— Пока нет. Но идею кое-где поддержали. Вот дашь, говорят, хороший хлеб, тогда и получишь право на свой план.

— Н-да,— сказал я, и мы надолго замолчали.

— А председатели что?

— Один мне хорошо сказал: «Вы просили воли для того, чтобы дать большой хлеб. А вам ее обещают за большой хлеб. Долго же им придется его ждать!»

Гуляя, мы несколько раз прошли мимо одного нового шестиэтажного конторского здания на площади. Поглядывая на это здание, мой товарищ хмурился.

— Облпотребсоюз отгрохали. Шесть лет я сопротивлялся, не давал. У людей квартиры еще не у всех человеческие. Такую махину отапливать, освещать, пылесосить — каких денег стоит, сколько рабочих рук требуется! Как взялись за меня со всех сторон, особенно сверху, как начали канючить: ничего, говорят, такого, типовое, говорят, здание, во всех, мол, областях построено, только я прибедняюсь. Дожали!

— Что ж не устояли?

— Нельзя вечно во всем сопротивляться, невозможно. И так бубнят: Верба все встречает в штыки. А таким, кто в штыки,— палки в колеса...

Заговорил о том, как ошибаются люди, которые думают, что у него много власти. В чем-то много, а в чем-то и никакой.

— И самое обидное то бесправие, то бессилие, которое происходит не оттого, что тебя сверху обесправили и обессилили, а неизвестно отчего. Структуру хозяйства нам, конечно, пока навязывают, и я вряд ли доживу, когда перестанут. Но тут и другое есть. Я каждый год перед севом говорю всем районам: учтите, товарищи, как мы ни зарегламентированы, ни законтролированы (один председатель у нас говорит: запротоколированы...), кое-какой маневр мы все равно можем иметь и давайте этим пользоваться. Для роста урожая, для экономии площадей под кормовые культуры нам вполне достаточно занять пшеницей не двести десять тысяч га, а сто восемьдесят. Все согласны, все готовы, все радуются и обещают. Закончился сев, беру итоговую сводку, а в ней — опять двести десять! Так — каждый год, ничего не могу сделать. Районные ли руководители перестраховываются и на колхозы-совхозы тайно нажимают, сами ли председатели и директора с запасом сеют, бригадиры ли заначки делают — не знаю, установить невозможно, а только тридцать тысяч га ежегодно теряем ни за что ни про что!..

В утешение ему я вспомнил пушкинскую мысль о «духе народа» и «силе вещей» — о никому не подвластных свойствах народа и обстоятельствах его жизни, направляющих ее совсем не туда, куда кому-то хотелось бы. Верба обдумал мои слова и угрюмо сказал свое всегдашнее:

— Был бы у нас план не по валу, а по прибыли, да состав-

ляли бы мы его сами, все было бы иначе. А пока, как ни верти, хозяйствуем не для себя, а для отчета. Это не сила вещей, это против силы вещей. Это не дух народа, это против духа!

— Тогда это полбеды,— сказал я.— Сила вещей в конце концов свое возьмет.

— Если успеет,— заметил он тоном горькой грубости.

До конца года я побывал еще в некоторых краях. Искал признаки подвоза. Старался изо всех сил, вытягивал, как мог, шею — до сих пор болит, напрягал зрение — перед тем его мне втрое улучшил сын покойного писателя Анатолия Аграновского, хирург-виртуоз Антон Анатольевич Аграновский, смотрел, не появится ли на горизонте дымок тепловоза или тупая морда рефрижератора,— нет, не было ничего. Уже и Евтушенко с Вознесенским доложили мне через газету, что везут, а я все не мог разглядеть, не мог обнаружить ни малейшего признака тех величайших перемен, которыми уже вовсю вдохновлялись поэты.

Правда, где-то с середины лета стали постепенно прекращать свою работу Министерство сельского хозяйства, овощное, Госкомсельхозтехника, их конторы на местах. В иные дни даже казалось, будто сбывается то, о чем мечтал когда-то Макар Посмитный.

— Эти конторы не надо отменять,— говорил он однажды на активе в Киеве.— Отменить их все равно невозможно. Надо одно: обрезать провода, которые тянутся от них в колхозы. А между собой эти конторы пусть перезваниваются сколько угодно.

К концу года они прекратили перезваниваться даже между собой, а того, о чем мечтал Макар, все равно не произошло. Мистика какая-то, или, как говаривали когда-то близ Диканьки, чертовщина: планы до областей, а от областей до районов, а от районов до колхозов были доведены как ни в чем не бывало. Зерновых посеять столько-то, бобовых — столько-то, мака — столько, коров доить столько-то, сторожей и уборщиц держать столько-то... Площадь паров моему товарищу срезали вдвое, или, как он выразился, когда я позвонил ему поздравить с Новым годом, «дали половину потребности». Мы начали было говорить об этом и — заскучали... Сколько можно?

После Нового года на зданиях, в которых размещались министерства сельского хозяйства, овощное, еще какие-то, стали появляться вывески агропрома. В конце февраля я толкнул первую дверь под этой вывеской в Москве, ничего особенного не обнаружил («Сколько вывезено навоза? — кричал кому-то по телефону знакомый работник бывшего мини-

стерского, а теперь агропромовского земледельческого главка, начавший теперь получать на четвертную больше.— А под свеклу? Под свеклу, спрашиваю, сколько?» — те же самые слова, которые на том конце провода от него слышали и в прошлом году, и в прошлом десятилетии) — и стал собираться на юг, к моему Вербе.

25 февраля открылся XXVII съезд КПСС. В этот день я пришел в одно учреждение. Пришел по делу. И что же я увидел? Рядовые сидят на своих местах, ковыряются в бумагах, принимают посетителей — короче, трудятся. А все начальство собралось в кабинете Главного у телевизора и слушает Политический доклад. Заглянул утром — слушают. Уехал домой, часа три поработал, приехал — слушают. Целый день! Наконец говорю: товарищи, а ведь, насколько я понимаю, трансляция идет для тех, кто в это время не работает, кто по тем или иным причинам находится дома. А вы ведь все на работе и получаете деньги за нее — не за сидение у телевизора. Мне отвечают: «Тебя вывести или сам уйдешь?» А один старичок добавляет: «Он дождется, что его увезут». Уходя, я думал: а ведь это не что иное, как саботаж! Съезд только начался, а его дух, его линию уже саботируют. Саботируют под видом жгучего интереса к Политическому докладу!

Кроме начальства, в том учреждении мне нужен был один рядовой. Человек с высшим образованием, двести рублей в месяц, плюс квартальные премии, плюс тринадцатая... Оказывается, его тоже нет на месте. Кидает где-то снег. По команде из райкома партии (а райкому ведь тоже кто-то командовал!) сколько-то человек отправлены на очистку улиц, тротуаров и подъездов. Составлен график на все дни работы съезда, указано: кто, где, от скольких до скольких. Обговорено и насчет отгулов. Представляешь? За рабочий день, проведенный служащим не на работе, ему полагается отгул. Звонки, проверки, секретарь парткома с кадровичкой ходят по кабинетам, проверяют, все ли, кто сегодня в списке, ушли с лопатами, не остался ли кто для выполнения своих прямых обязанностей.

— Все-таки ты не знаешь жизни,— сказали мне в кабинете Главного.— Не знаешь! Да две трети этих служащих на своих местах — лишние. Балласт. Пусть хоть снег покидают!

До дома пришлось ехать на полчаса дольше, чем обычно. До сих пор снег лежал валами на обочинах, ждал спокойно весны, чтобы растаять, а тут нагнали людей, машин — шум, гам, горы спрессованных глыб на проезжей части, пробка на весь день. Тут же бегает некто озабоченно-ликующий с крас-

ной повязкой, распоряжается. Я возьми и скажи ему — ну, про то, что работа съезда ознаменована отрывом от работы тысяч людей для очистки города. Ликование вмиг сменилось усталой скорбью.

— Откуда вы такие беретесь? — сказал он.— Все вам не так, всем вы недовольны. Вы когда гостей ждете, прибираетесь в квартире? А тут гостей принимает столица — и каких гостей! Неужели мы не имеем права прибраться?!

— Имеем,— отвечаю.— В свободное от работы время. Добровольно или за хорошие деньги.

— Да кто же пойдет в свободное время, хоть и за деньги?

На следующий день опять прихожу в упомянутое учреждение. Это — второй день работы съезда. В три часа весь коллектив собирают на митинг. Разговор — о Политическом докладе. Четверо выступающих. Время рабочее. Теряется около часа рабочего времени нескольких сот человек только в одном учреждении! Смотрю на сцену, на ряды аплодирующих людей и опять думаю: а ведь это тоже саботаж, тоже!.. Доклад большой, серьезный, экономическая часть его — чтение не только интересное и полезное, но и непростое, иному и словарь может потребоваться, чтобы узнать, что значат, к примеру, слова «товарно-денежные отношения» — слова, которых давно не было слышно. А на митинг были собраны люди, подавляющее большинство которых доклада еще не читали: не успели, не могли прочитать, тем более что газеты припозднились.

С Вербой в эти дни мы не встречались — он был занят в руководящих органах съезда. Увиделись только через две недели, опять у него в области.

— Ну как?

— А никак. Вот телеграмму в наш агропром из Москвы прислали. Принять все меры к улучшению семян зерновых и масличных культур. Дня три наши эту телеграмму перекладывали с места на место, потом пустили в низы.

— Зачем?

— Как зачем? Чтобы в колхозах и совхозах знали, что ничего не переменилось.

— Кем она подписана?

— Подписал Романенко, начальник отдела земледелия в союзном агропроме, чуть ли не министр по положению.

— Романенко? Уж не тот ли Геннадий Романенко, который был когда-то председателем колхоза «Искра» на Кубани?

Я встречался с ним году в шестьдесят четвертом, ранней весной. После долгого разговора в конторе мы обедали у него

дома. Запомнились светленькие занавески на очень чистых окнах, в них било уже горячее солнце. Он, помню, доказывал, что урожай в сорок центнеров — это вполне реальная цифра для Кубани, надо только заинтересовать людей и не дергать председателей, не оскорблять их дурацкими телефонограммами — ими в конторе была забита громадная амбарная книга, мы листали ее, я смеялся и выписывал из нее бюрократические перлы. Он тяжко молчал. Хозяйство пошатываясь выходило из голодной зимы. Ни зернинки фуража, все было выметено с осени — вывезено для рапорта. Ни клока сена. Кажется, именно в этом колхозе я видел, как свиней кормили лошадьми. Возле свинофермы на столбе было укреплено ружье. К дулу подводили лошадь, молодой чернобородый человек спускал курок. Никто из колхозников на эту работу не согласился, тогда вызвался этот отбившийся от табора цыган На ферме в пятисотлитровом котле кормокухни в желто-серой клокочущей жидкости тяжело ворочались, то всплывая, то уходя на дно, конские мослы и черепа. Над станицей в утреннем морозном воздухе стоял резкий запах горячего бульона.

Я вертел теперь в руках подписанную им, бывшим председателем, телеграмму, представлял себе, как дойдет она до нынешнего, как он будет ее рассматривать... Стоило, скажем, ради этого рушить шесть или сколько-то там министерств и создавать на их развалинах агропром?

— Создавать-то стоило,— сказал мой товарищ.— Сократились штаты, какая-никакая экономия. Потом они, конечно, расширятся, не в агропроме, так где-нибудь еще, масса управленцев — величина постоянная. Но на первых порах экономия будет. Что касается производства, тут, конечно, на результат рассчитывать не приходится...

В этой области заметное машиностроение, в том числе и сельскохозяйственное. Мне было интересно, что делается там.

— Все беды прежние, но добавляются и новые. Осудили практику корректировки планов. Досталось тому, кто как лев боролся и добивался снижения заданий. Это правильно, прибедняться нехорошо. Ну, а что теперь? Что взамен? Планирование-то не изменилось, оно по-прежнему идет сверху вниз, по-прежнему опирается на достигнутый уровень. Значит, завышения и неувязки неизбежны. Но я знаю людей — и больших людей! — которые отвечают за огромные вложения и до того перепугались, что не смеют возразить против завышенного, разорительного задания. Делают вид, что оно им по плечу, дергают подчиненных, психуют, наверх обещают черт

знает что, лишь бы пронесло сегодня, лишь бы оттянуть время.

— А в министерствах что?

— Все работают до упаду, но никто ни черта не делает. Никто ни за что не хочет брать ответственности по собственному почину. Все ждут, когда закончится перетряска кадров.

— А когда она закончится? И почему она должна заканчиваться?

— Вот именно. Но — ждут.

— То есть саботируют?

— Интересное вы вспомнили слово... Пройдет несколько лет, и знаете, кого мы будем называть героями? Их сейчас единицы, и они действительно герои: это те мужики, которые не боятся возражать против нереальных планов. Планы утверждены уже где только можно, а эти мужики твердят свое, хоть режь их, жги каленым железом, поднимай на дыбу,— твердят, и всё: задание даете нереальное, неподъемное, не обеспеченное ресурсами, не подкрепленное кардинальной хозяйственной реформой. Я не знаю, когда она, кстати, будет. Сначала должна быть реформа, а потом уже повышенные задания, контрольные цифры. Или хотя бы одновременно.

— А как насчет психологической перестройки?

— Да при чем тут психологическая перестройка? Если не идет хозяйственная, откуда возьмется психологическая? Пустословием о психологической перестройке отговариваются от перестройки экономической.

Один из умнейших наших современников, вспомнил я, литовский экономист Будвитис однажды сказал: прицеп никогда не обгонит машину, разве что при аварии. Психологическая перестройка — это всего-навсего прицеп, а его пытаются поставить впереди грузовика. Кстати, Будвитиса же както спросили, что, по его мнению, надо делать, чтобы ослабить влияние местного священника — кажется, ксендза, чтобы отвадить от него молодежь. Надо как-то исхитриться и передать ему наш, советский, опыт работы с людьми, ответил Будвитис. Пусть, например, ксендз заведет учет посещаемости — костел опустеет вмиг!

Сокращая штаты учреждений, из которых образован агропром, в области постарались, насколько возможно, освежить их. Первым заместителем председателя в агропроме стал молодой первый секретарь одного сельского райкома. Я был свидетелем, как он пришел к Вербе советоваться. Что его, человека доверчивого, но вместе с тем и практичного, больше всего разочаровало, так это порядки в снабжении. Все по-

прежнему, все по спискам. С другой стороны, если бы все действительно всегда распределялось по спискам, осторожно заметил он, давно остановились бы поезда и корабли, перестала бы течь вода по трубам, потухли бы котлы и печи, коровы перестали бы телиться. Производство замерло бы, настолько несовершенно это «списочное» распределение. Но пока жив человек, производство прекратиться не может. Поэтому и возникла система неформальных хозяйственных связей. Благодаря ей многое все-таки попадало по назначению — к самым предприимчивым, азартно влюбленным в свое дело хозяйственникам, которые только и способны извлечь из добытого всю пользу, у которых действительно ничего не пропадало. Разумеется, не обошлось и без злоупотреблений. Борьба с ними нанесла по неформальным связям серьезный удар, а взамен ничего не появилось — оптовой торговли как не было, так и нет. Значит, блат — этот пусть и уродливый, но рынок, где властвует не инструкция, а интерес,— скоро опять восстановится, начнет вносить свои поправки в мертвую схему карточного распределения. Это будут поправки самой жизни и потому благотворные, но вернуть потерянное будет трудно.

— Поэтому совет тебе будет такой,— сказал ему Верба,— присмотри несколько умных, инициативных хозяйственников в области и поставь себе две задачи. Задача-минимум: по возможности им не мешать и оберегать от других мешальщиков. Прикрывать, насколько хватит твоей спины. Задача-максимум: всячески им помогать. Не бойся, не стыдись отдавать им лучшие машины, удобрения и прочее. Поставь их в самое привилегированное положение. Уравниловка — наш бич. Машина должна быть у того, кто больше из нее выжмет, кому она нужнее всего.

— Как узнать, кому она нужнее? — вздохнул новый работник агропрома.

— Кто больше всех тебе надоедает, кто ищет к тебе подхода, кто готов залить тебя медом и засыпать гречкой — вот это он и есть — человек, которому надо помочь. В каждый данный момент делать максимум возможного — правило всякого серьезного и честного человека. Меда не бери, а борону дай. Ты ведь не можешь сам отменить фондированное снабжение? Нет, не можешь. Значит, старайся хоть как-то ослаблять вред этой системы...

Через некоторое время мы столкнулись в одном министерском коридоре.

— Ну как,— спрашиваю,— медом того парня председатели еще не залили? Гречкой не засыпали?

— Пока нет,— смеется,— но желающих берет на заметку.

— А вообще?

— Вам в Москву докладываем о вывозке навоза, председателя ставим на ковер за то, что отправил без спросу на мясо шестьдесят негодных коров...

В эти же дни у меня был проездом гость — колхозный агроном из Брестской области Барановичского района. Он рассказывал: оказывается, все-таки до каждого хозяйства доведен строжайший график сева. При нем председателю колхоза звонят из Барановичей: так, мол, и так, в район явилась комиссия из Бреста, шесть человек, готовят вопрос о севе льна, а вы еще не начинали. «Поглядите в окно»,— говорит председатель. «Да видим мы, видим, у нас тоже идет снег, но вы все-таки хоть сеялки по краям полей поставьте!» Через день ударили последние в этом году морозы... Брестская область — из лучших в Белоруссии, Барановичский район — из лучших в области.

Я рассказал об этой истории Вербе, но обсуждать это все, как и случай с его парами, мы не стали. Сколько можно?

— Между прочим, у вас в литературе тоже, как посмотришь, интересные дела происходят,— сказал он.— Критиков, например, призывают критиковать. Это то же самое, что певца уговаривать петь, сапожника — тачать сапоги, пьяницу — пить...

— А хлебороба — выращивать хлеб.

— Правильно. Если критик не критикует, а подлизывается, значит, что-то не так в самой организации дела. Если хлебороб выращивает не хлеб, а сурепку,— то же самое. Критикуй его не критикуй... Я вот начальник, а брат у меня рабочий, сейчас на пенсии. Есть у него участок, четыре сотки, выращивает с женой клубнику, продает, денег у него не меньше, чем у меня. По воскресеньям семейно обедаем — то у меня, то у него. Последний раз пообедали, взял он газету, пошуршал ею немного и говорит мне: «Ни хрена я вас не пойму с этой критикой... Вот мы с Наташкой выращиваем клубнику. Урожай, вкус, товарный вид — все высшего качества. А ведь никто никакой критикой нам не помогает. Нам критика не нужна, на кой она нам? У нас интерес».

Рассказывал про заботы жены — она у него учительница, председатель профкома в школе.

— Собрали их в районо и говорят: будете проводить собрания так, чтобы только критика была. «Слушайте, запоминайте и выбирайте,— грозит пальцем заведующая.— Приеду и проверю. Допустите мало критики — будете иметь много не-

приятностей». Вернулась моя к себе в школу, сели они втроем: она, директор, завуч — и рассуждают. Биологичку критиковать не за что, хотя и хвалить не за что. Таких, как везде, большинство. Историка — он у них голова, талант — надо, по совести, только славить. Математичку — дура набитая плюс ленивая — сам бог велел чихвостить, но попробуй ее тронь: склока будет на год. Договорились так. Директор будет критиковать завуча, завуч — мою супругу, а моя — их обоих, так, мол, это мероприятие, даст бог, и спихнем. Рассказывает она мне это, а я кипячусь, собираюсь завтра же разгон давать, заведующую роно на ковер перед собой ставить. А сынишка наш, девятиклассник, послушал и говорит: «За что ты им будешь разгон давать, папа? Они разве виноваты, что вся эта критика идет по команде?» Я потом думаю: как мы этого не поймем?.. Ну почему? Может быть, потому, что кое-кому невыгодно это понимать? В том числе и мне в какой-то степени...

Мы опять вспомнили покойного Макара Посмитного. Оба его хорошо знали, часто о нем говорим. Единственное иностранное слово, которое употреблял Макар, было слово «симулянт». Симулянтом назывался и племенной бык, вдруг впавший в меланхолию, и загулявший скотник, и активист, который всю жизнь только тем и был занят, что замерял чужую работу. В симулянты зачислялись не только отдельные лица, но и целые учреждения, организации — особенно проектные, подрядные, снабженческие, и даже иной раз населенные пункты, как Березовка — районный центр и Одесса — областной... С этими последними Макар и вел многолетнюю тонкую, опасную игру. Сначала — на выживание, потом — на процветание. Идея «обрезать провода» — из его поздних идей, а до этого он склонялся к другой мере.

— Надо,— говорил,— пригнать в каждый город по составу горбылей, и пусть несколько мужиков идут по улице и как увидели вывеску, так, не читая, ту дверь и заколачивают крест-накрест!

Обсуждали этот вопрос и мы. Как быть с симулянтами? Чем бить по симуляции? Сначала, наверное, надо точно определить, чего они больше всего боятся. Что им ненавистнее всего? В последнее время то из одной области, то из другой приходят любопытные сообщения о том, как местные руководители заботятся о гласности. Собирают журналистов, писателей и кроют их в хвост и гриву. За что? За то, что пробуют выносить сор из избы, пишут. Говорится везде примерно одно и то же. «Ну и что, что директор магазина — контрабан-

дист? — это во Владивостоке.— Приди и доложи. А в московскую печать надо давать только типичное. А типичное то, что вдохновляет. А вдохновляет положительный опыт!» Похерить саму природу печати, извратить сам принцип гласности, сделать газетчика чиновником, который бы не писал, а докладывал по инстанции, если уж ему невтерпеж,— вот чего больше всего хотят симулянты. Вольное слово — вот чего они больше всего боятся. Значит, это и есть главное средство против них.

Мы говорили о тех искренних, но наивных людях, о тех романтиках, которые призывают совесть, требуют порядочности, даже святости, тогда как это всё вещи только прилагательные. «Вещи, которые сами по себе не являются товарами, например совесть, честь и т. д., могут стать для своих владельцев предметом продажи и, таким образом, благодаря своей цене приобрести товарную форму»,— писал Карл Маркс в «Капитале». Именно это положение учителя мы с моим товарищем и примеряли к нашим дням. Охотники продавать свою «совесть, честь и т. д.» всегда были, есть и, наверное, еще, к сожалению, будут. Нужно, чтобы «упал спрос» на этот товар,— вот главное. Чтобы совесть было трудно продать.

В последнее время, например, говорят о трудностях с нефтью в Западной Сибири. Связывают эти трудности с тем, что руководители отрасли систематически вводили в заблуждение вышестоящее руководство — приукрашивали действительность. Надо, мол, извлечь из таких фактов уроки. Надо требовать от генералов и маршалов промышленности, чтобы впредь они посылали в центр правдивую информацию, не врали, не продавали свою «совесть, честь и т. д.». До сих пор внятно не сказано другое: ошибки в Западной Сибири были допущены не только потому, что министры скрывали истинное положение. Ошибки были допущены потому, что мне, старому газетчику, и всем остальным газетчикам мешали откровенно написать, что там делалось. От нас требовали «типичного», того, что вдохновляет одних и не мешает безбедно симулировать другим. А за нами не заржавело бы, за нами никогда не заржавеет.

— Да, за вами не заржавеет,— сказал мой товарищ.— Я тоже недавно собирал журналистов, тоже вправлял им мозги, тоже плел про типичное да про взвешенность критики. Что меня не сильно задевает, то и типичное. Что не против шерсти, то и взвешенное. Дал им это понять, ушли они с опущенными головами, а с одним разговорился наедине. «Что вы всегда такой невеселый? — спрашиваю.— Что у вас на душе?

Зашли бы, рассказали».— «А вы,— отвечает,— знаете, что женщин, которые в брюках, в ваше здание дальше вестибюля не пускают?» — «Но вы же,— говорю,— не женщина, вам переодеваться не надо». А сам думаю: черт возьми, десять лет тут работаю, а про эту дикость слышу первый раз!.. «Вас,— говорит он потом,— хвалят, что много ездите, ходите, с трудящимися встречаетесь, чтоб лучше знать, что где делается. А ведь это устарелые, примитивные способы. Это всё из тех времен, когда печати не было. Не затыкайте нам, газетчикам, рты — и каждое утро будете знать, где что делается и что думает народ. Экономия бензина, времени, здоровья». Прав парень, прав, особенно насчет здоровья...

На прощанье он попросил меня не писать про срезанные его области пары.

— Во-первых, скучно. Во-вторых — зачем? А в-третьих, я все-таки попробую тихой сапой их расширить.

Я вспомнил его слова про правило всякого серьезного и честного человека, не балаболки и не романтика. В каждый данный момент делать максимум возможного.

1986



Анатолий САЛУЦКИЙ

ПРОТИВ ИНЕРЦИИ

Не знаю, какими будут окончательные итоги нынешнего аграрного сезона, но по настроению людей на местах отчетливо ощущаю, что дела складываются неплохо, наверное даже, удачно. Хлопот и волнений, нервотрепки и суеты минувшим летом было хоть отбавляй, да и сейчас, поздне-осенней порой, продолжается на селе горячка. Однако по всему видно, что нет в сердцах мучительной тревоги за судьбу сельскохозяйственного года. Бывая в районах и областях, сколько раз вспоминал давние слова знакомого секретаря райкома партии Петра Ивановича Некрылова из Спас-Деменска, который наблюдательно приметил одну любопытную особенность в поведении председателей колхозов и директоров совхозов.

— Знаете, что такое озабоченный человек? — говорил Некрылов.— Идет, спешит, голову нагнул, целиком в себя погружен. Одна угнетающая мысль сверлит его мозг: чем он будет вечером скот кормить? А когда с кормами налаживается, человек думает совсем о другом, голову выше держит, словно вперед, в завтра заглянуть хочет. И походка у него меняется!

Так вот, походка сейчас у сельских руководителей энергичная, бодрая, уверенная, а это барометр верный: забот полно, зато нет портящей настроение удрученности.

И все-таки кое-что беспокоит.

Вспоминаю свою поездку в Демянский район Новгородской области, в колхоз имени Димитрова. Стоял июль-сенозорник — межень лета, горячая сенная пора, и по накалу дружных уборочных работ нетрудно было понять, что хозяйство на подъеме. Однако не столько первые скромные успехи димитровцев интересовали меня, не подсчет кормо-единиц, а новый стиль управления напряженной, скоротечной страдой. Пока ездили мы с молодым председате-

лем Василием Зубковым по дальним запольным покосам, дневной июльский жар свалил и наступил светлый вечер. А вместе с ним пришло время еженедельной районной радиопереклички. Вот ее-то я, признаться, и ждал: селекторная перекличка обо всем расскажет, все секреты районные раскроет. В гласном эфире все будет именно так, как есть на самом деле, тут уж ничего не утаишь, не спрячешь.

В полном соответствии с духом времени вел перекличку председатель Демянского агропромышленного объединения И. Т. Польский.

— Почему отказались от шефов? — строго спрашивал он у председателя колхоза «Ульяново».

— Это же картежники! Мне такие не нужны,— отбивался тот.— Протокол на них составили, штрафуем на пятьдесят рублей.

— «Селигер»! Почему первотелок не вводите?

— Ставить некуда, Иван Тимофеевич... Можно вопрос? Лопнул у ворошилки ремень, и нужна бочка автола.

— «Комсомолец»! Почему сегодня запрессовали сена меньше, чем вчера?

— Пресс сломался, Иван Тимофеевич! Помогите достать ремень для рулонного пресса.

— Шевелитесь, работать надо! — подстегивал радиоприемник.— Мы говорим: ускорение! Вчера ты 132 тонны запрессовал, а сегодня только 120 тонн. Почему не 140? Где ускорение?

В разговор вмешался председатель райисполкома Максимов:

— Надо ускоряться, перестраиваться, по 150 тонн каждый день готовить...

Да, повсюду сейчас только и слышишь: ускорение, перестройка! Это и понятно: главные лозунги времени. Но вот что иногда бросается в глаза. Любое маленькое улучшение, каждый мизерный «плюсик», куриный шажок немедленно спешат занести на лицевой счет ускорения. Более того, это слово уже начали использовать всуе, для привычного, стандартного давления на отстающих. Не только в Демянском районе на Новгородчине, но и в других местах все чаще применяют его в упрощенном, если не сказать опошленном, варианте, кое-где оно постепенно превращается в расхожее, дежурное понукание. Вроде давно осужденного подстегивания «Давай, давай — потом разберемся!», которое острословы-районщики еще лет пятнадцать назад

облекли в подобие геометрической формулы «дэ квадрат равно пи эр». Но стоит ли так принижать высокий смысл социально-экономического ускорения? Не выхолащивает ли это саму суть партийной стратегии?

Конечно, психологически нетрудно понять людей, которые жаждут свои сегодняшние, пусть скромные, успехи назвать ускорением. Но такая торопливость ведет к самоуспокоению. Да и вообще, можно ли говорить о стратегическом понимании ускорения в тех районах и областях, которые после резкого падения аграрного производства на рубеже семидесятых и восьмидесятых годов пока еще не достигли уровня десятилетней давности и вдобавок довольствуются малыми, очень скромными приростами? По-прежнему довлеет над нами неведомая, непостижимая, таинственная и могучая, словно силы природы, власть маленьких «плюсиков». Лишь бы назад не идти, лишь бы вперед, пусть на малость, на самую чуточку, на единый волосок! Но на необъятных просторах страны уже столько примеров широкого, размашистого шага, истинного ускорения, что настает пора новой, более строгой меры успехов и для плюсующих «скромников».

Завершал радиоперекличку первый секретарь Демянского райкома партии Иван Петрович Егоров. Говорил он минут пятнадцать. О многом: о товарности молока и подстилочном торфе, о сдаче сена государству и работе с людьми. Зачитал грозную телеграмму председателя облисполкома, требовавшего немедленно доложить о мерах по ускорению сенокоса. Слушал я его и вспоминал, как зашли мы с Егоровым в его секретарский кабинет, как снял он с головы глубоко надвинутую полосатую кепку-букле и положил рядом с собой на письменный стол,— давняя председательская привычка, которую в колхозах метко окрестили позицией «На старт!»: в любой миг можно сорваться с места и мчаться на ферму или в поле, где случилось очередное, требующее немедленного вмешательства ЧП.

Тринадцать лет председательствовал в колхозе Егоров, с этой хлопотливой должности сравнительно недавно и шагнул он в первые секретари райкома партии. Отличный хозяин, Иван Петрович сноровисто навел в Демянске порядок, сметливо взял резервы, лежавшие на самом виду,— и район, как любят говорить аграрники, из лежачего положения привстал на колени. Но подход-то тут председательский! Это неумолимо доказывала двухчасовая однообразная радиоперекличка, состоявшая в основном из призывов и

подстегиваний: нажмите, усильте темпы! Мелкие, частные вопросы, без попытки проанализировать обстановку на сенокосе в целом. А главное, очень уж мало ощущалась во время переклички новь партнерских отношений на селе, партнеры в ней даже и не участвовали. Совещания нынче не в моде, вот их формально и перенесли в эфир, по старинке накачивая председателей и директоров,— перестроились! А руководители хозяйств быстро раскусили хитрость и умело парируют замечания начальства жалобами на нехватку запчастей.

И получалось, что скромные успехи как бы прикрывают непонимание самой сути перестройки. Ведь Демянский район по масштабам страны едва-едва начинает нагонять середняков и не сможет двинуться дальше, не задействовав возможности, дарованные перестройкой управления на селе и нашим переломным, смелым временем в целом. Это, разумеется, не означает, что надо разом перечеркнуть весь прежний опыт. Хочу повторить, что Егоров очень умело использовал его, быстро вытащив район из прорыва. Но современные рубежи той же тягой не одолеть, на былых привычках не взомчаться навынос по крутой горе поставленных ныне задач, духу не хватит. Надо отчетливо осознавать, что требуются здесь новые подходы, новое мышление. Очень точно сказал, выступая во Владивостоке, Михаил Сергеевич Горбачев, что все мы сейчас только еще учимся жить по-новому. Суть перестройки открылась пока далеко не всем, движение вперед происходит методом проб и ошибок — какая учеба без промахов! Но первые уроки уже пройдены, и они настойчиво подсказывают, что нельзя упиваться начальными скромными успехами, это лишь «подготовительный класс», точка отсчета истинного ускорения.

Да, нынешний переломный период обладает многими психологическими особенностями, которые продиктованы сложными задачами перестройки. Один бывалый сельхозник недавно сказал мне:

— Некоторые про ускорение и перестройку через запятую говорят, словно про сено с соломой. А не возьмут в толк, что они парно идут, неразрывно. Ускорение во время перестройки — вот как надо бы говорить, ускорение на крутом повороте. Разумеешь?.. А перед крутым поворотом скорость обычно снижают. Мы же вынуждены, наоборот, разгоняться. Удержи-ка тут руль!

Припомнились мне эти слова, когда приехал я на районный партхозактив в старинный приозерный новгородский Валдай. Края знаменитые, красоты здесь редкостные, но с

точки зрения сельхозника особенность этих мест очень кратко и образно умещается в здешнюю поговорку:

— Много пейзажа да мало фуража!

Действительно, гористый рельеф, обильные леса и озера сильно затрудняют здесь ведение сельского хозяйства. Впрочем, район этот в Новгородской области далеко не последний, в верхней половине сводок пребывает.

Не буду вдаваться в подробности валдайского партхозактива, тем более посвящен он был другой теме — борьбе с нетрудовыми доходами: как раз незадолго до того вышло соответствующее постановление. А сразу перейду к его финалу. Когда закончили обсуждать главный вопрос, первый секретарь райкома партии А. И. Панов объявил:

— Товарищи! Для усиления политического руководства заготовкой кормов за нашим районом закреплен секретарь обкома Алексей Федорович Петрищев. Разрешите предоставить ему слово.

И тут началось!

Незадолго до этого, в перерыве, я разговаривал с Петрищевым, который произвел на меня впечатление спокойного, вдумчивого человека. Однако за столом президиума, у микрофона он был неузнаваем. Одного за другим вызывал на трибуну руководителей хозяйств, парторгов, председателей сельсоветов и с молодой, кипучей энергией устраивал им немыслимые разносы.

Начал Петрищев с директора совхоза «Валдайский» Станислава Васильевича Трофимова. Но едва тот раскрыл рот, как его сразу перебили. Глядя в сводку, Петрищев сказал:

— Технология не нужна. У вас скошено сорок процентов многолетних трав, а заготовлено только двадцать процентов сена. Кто вам дал право не выполнять государственный план?

— А мы выполним,— спокойно разъяснил Трофимов.— Поскольку урожайность трав из-за длительной весенней сухмени низкая, мы решили компенсировать эту негативную особенность сезона тем, что триста гектаров отвели под травяную муку.

— Сено, сено! Каша мяса не заменит!

— Мы учитываем погодные особенности...

— Хватит о погоде! А еще говорят о перестройке! Сколько лет работаете?.. Пятнадцать?.. Садитесь, стыдно. Секретарь парткома, на трибуну... Чем вы занимаетесь? Вы разделяете позицию директора?

Секретарь парткома Виктор Иванович Горалев спокойно и твердо ответил:

— Да, разделяю. Мы всё учли и к первому августа рассчитываем выполнить план по заготовке сена.

— Минуточку! Директор ваш — матерый хозяйственник, а мы-то с вами политработники. Что вы чепуху порете? Извините... Чем занимаетесь?

— Встаю в шесть утра и весь день с людьми.

— Когда косить начинаете?

— В восемь-девять утра, как роса позволит.

— Крестьяне до солнца начинали!

— Так ведь мы сейчас вручную не косим. У нас даже запасные косилки есть, можем навалить травы сколько хошь. Но вдруг дождь? Нам хорошее сено нужно, а не гнилаж.

— Садись, не позорься! Зарплату зря получаешь, за демагогию...

Видимо, нет нужды продолжать дословный пересказ этого допроса. Если бы я не слышал его своими ушами, честное слово, рассказам бы не поверил. Даже на переломе семидесятых и восьмидесятых годов, когда «руководящий пресс» на селе достиг, кажется, предела, мне не приходилось видеть такого, как говорят спортсмены, «прессинга по всему полю». А на партхозактивах бывал часто. Но парадокс состоял еще и в том, что совхоз «Валдайский» вот уже пятнадцать лет выполняет все планы — в сводке он стоял первым, вот Петрищев с него и начал. Уж за это хозяйство в районе голова не болит, говорил мне потом секретарь райкома Анатолий Иванович Панов, Трофимов слово сдержит, на его слове хоть терем ставь! Когда же приехал я непосредственно в совхоз, то с удивлением узнал, что прошлогодний надой составил здесь по 3760 килограммов от фуражной коровы, а за первое полугодие 1986 года взяли валдайцы, оказывается, по 2006 килограммов.

Лучшее хозяйство района!

И вот его-то руководителей, не разобравшись в ситуации, прилюдно, неуважительно, бессмысленно «пропесочил» секретарь обкома. По залу даже ропот недовольства пошел. А главное, не понял секретарь обкома по строительству умелый маневр опытных аграрников. Ведь в промфинплане посевы многолетних трав разбиты на группы: столько-то косить на сено, столько-то на сенаж, на силос. Но погода заставила на ходу скорректировать соотношение укосных площадей, в этом проявилась новая хозяйственная самостоятельность совхоза. Кстати, в шести районах Новгородчины

и Псковщины, по которым я проехал в сенокосную страду, в том числе на Валдае, эту гибкую тактику полностью одобряли райкомы партии. И партхозактиву было бы очень интересно послушать рассказ о «технологии» Трофимова. Но секретарь обкома по строительству, видимо, был не в курсе. Он формально читал сводку, сопоставляя голые цифры, и поверял хозяйства оторванной от реальности арифметикой.

Зато закончил знакомыми, уже примелькавшимися словами:

— Перестраиваться надо!

Помню, в семидесятые годы в руководящем ядре практически каждой области было принято держать хотя бы одну так называемую «волевую личность», которую острые на язык районщики немедленно окрестили «волкодавом». Таких людей использовали для силового давления в самые горячие дни страды, а особенно под занавес сезона, когда надо было любой ценой, даже в ущерб будущему, а также моральному климату, выбивать план. После ноябрьского Пленума ЦК 1982 года обкомы и облисполкомы постепенно стали избавляться от таких руководителей старого закала. Но сейчас вдруг, откуда ни возьмись, вновь замелькали на областных горизонтах знакомые фигуры. Правда, в ином обличье — молодые, внешне очень современные, пышущие энергией, но, как и прежде, выбивающие план любой ценой, готовые ради этого идти даже на всевозможные хитроумные уловки — на грани приписок — и в завтрашний день не заглядывающие. Они охотно перенимают былую манеру публичного «тыкания», а то и грозного матерка, до сих пор звучащего иногда в руководящих кабинетах, и особенно часто твердят о перестройке, об ускорении, как бы олицетворяя их собственной неуемной энергией.

Но на нынешнем крутом повороте в первую очередь заносит именно таких руководителей, о чем и свидетельствует пример валдайского партхозактива. А результатом становится до боли сердечной обидное, несправедливое, но понятное разочарование районщиков. Выходя из зала районного Дворца культуры, где проходил партхозактив, разминая пальцами сигареты в предвкушении долгожданной затяжки, люди негромко говорили друг другу:

— Видал, а? Вот тебе и перемены...

А кто-то даже грустно пошутил:

— Вишь как жмут, на кнуте едут. Как бы теперь не пришла честь и на свиную шерсть...

Вот вам и усиление политического руководства заготовкой кормов! Вот вам и новый, деловой стиль управления.

Правда, живет во мне надежда, что Алексей Федорович Петрищев, спокойный и рассудительный в беседе, сплоховал случайно, по ошибке. Решил, так сказать, высший класс ускорения во время перестройки показать, да не удержал руль. С кем не бывает, ведь год всего секретарствует...

Однако симптом серьезный именно потому, что исходил силовой стиль от человека, олицетворяющего в областном руководстве молодых выдвиженцев. Иначе говоря, речь-то идет о нашем завтрашнем дне — будет ли он просторным для народной инициативы, чего все мы страстно желаем, или окажется пронизанным волевыми методами управления, губительными для рачительных хозяев.

А в Палкинском районе на Псковщине столкнулся я еще с одним типичным по нынешним дням «руководящим» сюжетом. В райкоме партии шел серьезный разговор о социальном развитии села, об улучшении его инфраструктуры, об интенсивных технологиях, конечно — о хозяйственной самостоятельности. Уровень понимания современных процессов был такой высокий, что душа радовалась. И только одно с каждым словом становилось все непонятнее: почему же в районе постыдно низкие надои?

За ответом поехал в одно из самых худших и удаленных хозяйств — в совхоз «Горский», расположенный на границе района,— в прошлом году там взяли по 1890 килограммов молока от коровы. Поехал и... поразился хорошей дороге, благоустроенному поселку. В совхозе детский сад, аптека, отделение связи, школа, три магазина, два медпункта, приемный пункт бытовых услуг. Что за чертовщина! Вот в моем Тарусском районе Калужской области самый удаленный совхоз «Рощинский» действительно тяжел: дороги туда, считай, нет, соцкультбыт практически отсутствует. «Горский» же, можно сказать, процветает, а доит по-козьему. В чем дело?

Но вовремя вспомнил совет знакомой доярочки:

— А ты сунь руку в ведро с водой, которой перед доением вымя обмывают, и тебе сразу все ясно станет.

Отправился на вечернюю дойку в Губаново да так и сделал. Батюшки! Холодная вода, речная! А ведь электротитан — вот он, здесь. Доярки смеются: нас все равно никто не проверяет, новый зоотехник уже месяца три работает, а ни разу сюда, на летнюю дойку, не заглядывал, мы его только на совещаниях в конторе и видели.

Вот и получается, что мыслят в районе высокими категориями, большие средства в соцкультбыт вкладывают, но элементарную технологию доения, которая «автоматически», без затрат, на тех же кормах поднимает надои на 200—300 килограммов, в слабых хозяйствах не соблюдают. Как говорится, стоят в воде по горло, а пить просят.

Безусловно, перестроить сознание гораздо труднее, чем переиначить структуру управления или же перекроить штатное расписание. Это процесс постепенный, каждодневный. Если кто-то, проснувшись поутру, однажды воскликнет: «Я перестроился!» — не верьте ему, так не бывает. Есть у истинной перестройки верный деловой критерий. Четко и устойчиво вписываются в нынешний крутой поворот не те, кого снедают исключительно заботы о сиюминутной отчетности, а те, кто сегодня создает задел на завтра, кто трудится с заглядом вперед.

Именно такие и сегодня широко шагают.

1986

Виктор ИЛЬИН

КОДЕКС КАБАИДЗЕ

В шестидесятые годы в Иванове был построен завод расточных станков. Однако продукция станкостроителей текстильного края сбыта не нашла. Внутренний рынок уже был перенасыщен подобными изделиями. Завод вынужден был публиковать в «Экономической газете» объявления о том, что станки продаются без фондов. Желающих не находилось, а завод продолжал наращивать выпуск... Ситуация давняя и хорошо знакомая. Ведь и в самом деле, если полно универсальных станков с маркой московских, ленинградских и других известных заводов, к чему покупать изделие никому не ведомого ивановского предприятия? Как бы тут мог пригодиться опыт маркетинга, основой концепции которого является анализ спроса и свойств конкурирующих товаров, то бишь станков. Но кто должен заниматься этим? Министерство? Но в нем нет штатных единиц для этого. Госплан? А ему-то какое дело до сбыта? Не находят спроса станки — значит, не умеют предлагать.

Могут сказать: зачем ворошить прошлое? Это необходимо сделать хотя бы потому, что все же в 1983 году Ивановскому заводу было разрешено прекратить выпуск универсальных станков. Это стало возможным потому, что очень уж пристальное внимание обратил на себя завод своими обрабатывающими центрами с ЧПУ, за которыми выстраивались в очередь заказчики не только из нашей промышленности, но и из-за рубежа. После того как в 1977 году обрабатывающий центр ИР-500 заводской номер 2 приобрела западногерманская станкостроительная фирма «Махо», о продукции ивановцев заговорили во многих европейских странах. И не только заговорили. Внешнеторговое объединение «Станкоимпорт» получило немало заманчивых предложений от покупателей станков.

Что же произошло? Как случилось, что продукция за-

вода — станки, которые не находили сбыта внутри страны, стали пользоваться спросом за рубежом? Может быть, капиталистов подвел пресловутый маркетинг, оказавшийся, по мнению экономистов, такой же лженаукой, как некогда кибернетика? Или, может быть, в Иванове произошло небольшое чудо? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо немного истории и экономики.

До начала восьмидесятых годов у нас в стране выпуск металлорежущих станков постоянно увеличивался и достиг уровня 230 тысяч единиц в год. Это количество значительно превосходило производство станков во всех капиталистических странах Европы, вместе взятых. Но получалось парадоксальное положение: станков становилось год от года больше, а коэффициент их использования постоянно уменьшался. В некоторых отраслях промышленности дошло до того, что один станочник приходился на три станка. Дело дошло до того, что если бы сохранить производство металлорежущих станков в существующих объемах и в нынешней структуре, то пришлось бы весь прирост населения страны ставить к выпускаемым станкам. Совсем как поется в популярной песне: не кочегары мы, не плотники... А кроме того, за термином «универсальный» таилась малопривлекательная суть: каждый такой новехонький станок сулил заводу-потребителю вперед 15—20 лет технической отсталости.

Применительно к Ивановскому заводу можно было бы попытаться поискать объективные закономерности, которые привели к подобной ситуации, но, увы, их просто не существует. Зато налицо неумение работать и видеть перспективу у, как это говорится, отдельных руководителей. И поскольку эту ситуацию создали люди, оптимизировать ее могли тоже только люди, но другого масштаба, другого характера. Среди ивановцев такого человека не оказалось. Пришлось прибегнуть к помощи человека со стороны. Так в Иванове в 1970 году появился Владимир Павлович Кабаидзе.

Биография нового директора, когда Кабаидзе представляли станкостроителям, звучала так: в 1942 году добровольцем пошел в военное училище связи, участвовал в боях, вступил в партию на фронте, ранен, награжден. В сорок шестом поступил в Московский станкоинструментальный институт. После него работал в Рязани, вырос там до главного инженера.

Новому директору было ясно, что за высокими количественными показателями работы станкостроительной отрасли

таится опасность: отечественные заводы перестали обеспечивать машиностроение нужными станками. Страна была вынуждена закупать за рубежом станки, которые не могла производить сама. Складывался парадокс: производящие всех больше станков все больше их покупали за рубежом. Покупали у фирм ФРГ, Австрии, Швеции, Японии, Швейцарии. Вопрос из области экономики переходил в область политики, советское машиностроение начинало все в большей степени зависеть от иностранных фирм.

На международных выставках Кабаидзе в ту пору встречал многооперационные станки с числовым программным управлением, их называли обрабатывающими центрами. За броскими рекламными фразами опытный глаз инженера сумел увидеть самое главное: за такими станками будущее. Ведь в самом деле, в машиностроении счет деталей идет на миллиарды. И хотя их изготовление в значительной степени могут взять на себя автоматические поточные линии, детали великого множества машин унифицировать будет нельзя. Тем более не справятся с этим и универсальные станки с ручным управлением. Нужны новые машины для производства единичных или мелкосерийных деталей. Поставить ЧПУ к универсальным станкам? Да, они могут вдвое повысить производительность труда в серийном производстве, но малоэффективны при обработке мелких партий деталей. Иными словами, технология остается прежней, долголетней, жесткой, малопроизводительной.

А вот обрабатывающий центр позволяет в принципе изменить технологию. Закрепленная на рабочем столе станка деталь остается на месте, а к ней подается инструмент, с помощью которого по заданной программе станок растачивает, сверлит, фрезерует, зенкерует, выполняет другие операции. В магазине станка может быть размещено несколько десятков единиц самого разнообразного инструмента, который вступает в работу в последовательности, заданной программой. Обрабатывающий центр можно снабдить сменными столами, на которых заранее крепится деталь, поэтому оператор может обслуживать не один станок, а несколько. Более того, станок может работать вообще и без присутствия рабочего. Автоматика уберет стружку из зоны резания, транспортер отправит деталь на склад, контроль качества обработки осуществит специальный прибор, который тоже действует по программе.

Факты убеждали: применение многооперационных станков с ЧПУ при принципиально новой организации произ-

водства, в частности при их концентрации, дает рост производительности труда в шесть—восемь раз.

Перед Кабаидзе было два пути: либо продолжать занимать положение, которое сложилось, то есть оставаться второстепенным предприятием, тянуть лямку, предусмотренную директивами министерства и Госплана. И второй путь: попытаться выйти на принципиально новые рубежи в станкостроении, взяться за создание станка с ЧПУ типа «обрабатывающий центр». Но для этого нужно, чтобы в цехах были установлены станки с ЧПУ, ибо ведь нельзя делать новую технику на старом оборудовании. Министерство дает деньги на закупку за рубежом таких станков. Но где взять операторов? Токарь-универсал здесь не подходит, его почти невозможно переучить,— стало быть, нужна молодежь. А кто создаст проект обрабатывающего центра? Нужно расширять свое конструкторское бюро, но в главке не согласны: завод не ведущий, а всего лишь дублер станкостроительного.

И еще Кабаидзе понимал, что в одиночку сделать ничего невозможно, нужна опора на коллектив. Но поверит ли ему коллектив? Нужно не одномоментное напряжение сил, потребуется работа, которая займет несколько лет. А что в результате? Коллектив выложится, как бегун на дистанции, будет создан станок, и директор на этом станке въедет на новую служебную ступень. Может такое быть? Кое-кто об этом говорил вслух.

На собрании партийно-хозяйственного заводского актива, которое было собрано, чтобы обсудить вопрос о новом станке, Кабаидзе сказал:

— Если бы я пообещал вам легкую жизнь, вы бы меня сочли лгуном и не ошиблись бы. Если я скажу вам, что впереди нас ждет работа без премий и прогрессивки, что нам долго не будут давать жилья, что мы не сможем похвалиться новым Дворцом культуры и уютной турбазой,— это будет лишь часть правды, потому что это не зависит от меня как директора. Я вам скажу честно: мы сделаем новый станок и буду с вами до конца. Вот это будет вся правда...

Большинство поверило своему директору. Его поддержали в обкоме партии. Нашлись немногочисленные единомышленники и в министерстве. К работе завода было привлечено внимание Всесоюзного объединения «Станкоимпорт», специалисты которого помогли в закупке за рубежом комплектующих изделий, электроники и электротехники.

На мой взгляд, существует высший рубеж профессионального мастерства руководителя: умение преодолевать любую ситуацию, любое стечение обстоятельств, и делать это грамотно, безошибочно, единственно верно, и не считать это чем-то из ряда вон выходящим. Я бы назвал это будничным мужеством. Кабаидзе обладает этим качеством. В нем сохранилось еще одно редкое по нынешним временам свойство: называть вещи своими именами, что присуще людям смелым.

В беседе с журналистом один из директоров крупного станкостроительного завода заявил:

— Кабаидзе легче было рисковать — он ничего не терял. Ведь он принял отстающее предприятие. Наш завод на коренную ломку пойти не может. Не будем выполнять план — не будет премий, пошатнется репутация, обвинят в потере многолетних трудовых традиций. Мы предпочитаем двигаться постепенно...

Хмурым осенним вечером я сидел в комнате для переговоров Ивановского станкостроительного объединения и слушал, как утрясают детали будущей кооперации инженер Лев Масленников и представитель фирмы «Мицуи». Речь шла о совместной экспозиции на выставке в Осаке. Не успел я усечь, в чем закавыка у высоких договаривающихся сторон, в комнату заглянула секретарь генерального директора объединения и сказала, что Владимир Павлович готов побеседовать со мной.

— Только недолго,— предупредила секретарь и пояснила: — Тут его еще товарищ из экономического института дожидается.

С Кабаидзе до этого мне выпало встречаться два раза. Первый — во время съемок на заводе эпизода фильма для «Внешторгрекламы». Это было семь лет назад, когда завод был еще не очень известен в нашей стране и большая часть обрабатывающих центров, оранжевых, словно космонавты в защитных скафандрах, шла на экспорт. Вторая встреча произошла в Москве, в Центральном Доме литераторов, куда мы его пригласили для участия в заседании клуба публицистов «Летописец».

Кабаидзе в тот вечер вспомнил, как начинались экспортные поставки станков в бытность его главным инженером Рязанского станкостроительного завода. Станки были поставлены в Австрию и Бельгию. И вдруг — рекламация. Поку-

патели писали, что в станках слышен шум шестерен, есть задиры на направляющих, наблюдается течь масла из коробки передач.

— Собрались мы всем миром,— рассказывал в тот вечер Владимир Павлович,— и недоумевали, чем наши покупатели недовольны. Вещь-то заурядная. Начальник производственного отдела прямо кипятком брызжет. Говорит, да это же что такое? Они издеваются над нами. Ведь шестерня железная, когда крутится, железо по железу ходит, обязано шуметь. А течь масла?! Да возьми тряпку, смахни. Так им лень!..

Сидевшие в малом зале ЦДЛ смеялись от души, смеялись громко и весело. Но я обратил внимание, лицо у Кабаидзе было грустным. Он сказал, что сегодня это вызывает смех. И не потому, что тогда мы были глупыми, а сегодня стали умными. Досадно было другое — самоуверенная ограниченность невежества.

И еще вспомнил Кабаидзе в Доме литераторов, как однажды приехали на завод два австрийца. Их привели в механический цех. Цех лучший, современный, по нашим понятиям. Австрийцы между собой переговариваются, а Кабаидзе понимает немецкий еще с войны. Один из приезжих говорит: как же так, они спутник запустили, а станки такие плохие? Второй ему отвечает: андере фабрик. Это, мол, на других заводах. Стыдно сделалось и обидно, признавался Кабаидзе, зло взяло — почему же мы не можем станки делать лучше, чем у них? Ведь у нас же миллионы инженеров, ученых, какие умы в министерствах сидят! И еще подумалось: а сам что же ты?! На дядю надеешься? За тебя кто-то думать и делать должен?

Имя Кабаидзе попадалось на глаза много раз. Он был участником совещания в Цетральном Комитете партии по вопросам машиностроения. Об ивановских станках и их создателях писали в газетах, показывали сюжеты по телевизору. Группа создателей обрабатывающих центров во главе с В. П. Кабаидзе была удостоена Государственной премии. Генеральный директор В. П. Кабаидзе и бригадир шлифовщиков А. И. Пряхин летом 1985 года получили Золотые Звезды Героев Социалистического Труда.

Запомнилось выступление В. П. Кабаидзе с газете «Социалистическая индустрия». Там, в частности, генеральный директор писал, что на каждом предприятии есть своя специфика, но принцип организации производства, идеология

метода, существующего у них на заводе, применима повсеместно, а уж тем более в машиностроении. Между тем есть целые министерства, в которых ни одно предприятие не поинтересовалось ивановским опытом. Например, Минтяжмаш, Минэнергомаш, Минлегпищемаш. Почему такая пассивность?

Не все, разумеется, придерживаются такой позиции. «Когда нашей работой,— писал В. Кабаидзе,— заинтересовался генеральный директор ГАЗа Н. Пугин, он сам прилетел в Иваново, чтобы во всем разобраться, и приказ издал, чтобы всем специалистам изучить наш метод и еще кое-что из организаторской работы. Потом, повоевав дома, позвонил мне и попросил прилететь хотя бы на несколько часов, чтобы растолковать наши идеи своим специалистам. Честное слово, я все бросил и улетел в Горький на два дня. Ходил по заводу, критиковал, трехчасовую лекцию прочел и слышу: спасибо! Почему такой контраст? Потому, что Пугину это действительно надо. И генеральному директору ЗИЛа В. Т. Сайкину до того, как он стал председателем исполкома Моссовета, тоже надо. У них тысячи и тысячи людей работают, однако время для изучения опыта у директоров нашлось. И все же одного только нашего желания недостаточно. Бывая на заводах, которые внедряют наш опыт пытаясь разобраться в возникающих при этом трудностях, я все больше убеждаюсь, что главное препятствие в освоении нашего метода работы, как это ни покажется странно,— недостаток здравого смысла. Здравый смысл говорит: нельзя осваивать производство новых станков 5—7 лет, они за это время стареют. Нельзя насыщать народное хозяйство малоэффективной техникой, она поглощает трудовые ресурсы. Нельзя опекать каждого руководителя, вязать инструкциями его инициативу. Риск — нормальное дело...

Прошу извинить за цитирование. Хочется, чтобы дальнейший ход рассуждений мог опираться на эти высказывания генерального директора, которые передают его озабоченность не только экономической стороной дела, но и дают представление о его нравственном понимании сути дел, сложившихся в отрасли.

В его статье, если предельно сконцентрировать ее содержание, звучит вопрос: можно ли так дальше работать? Явственно ощущается сердечная боль человека, угнетенного теми, кто не желает или не умеет трудиться. Такими деятелями попирается талант, совесть, инициатива и хозяйствен-

ный расчет. Они унижают достоинство социально активной личности, они мешают тем, кто трудится не жалея сил. Эти равнодушные умники умело пользуются чужими победами, а в случае осложнений увертываются от могущего последовать наказания.

У нас не принято рядом со словом инженер употреблять эпитет — отважный. К деятельности инженера Кабаидзе его применить правомерно. Он не только стремится работать в полную силу, но и не боится говорить правду своему руководству. И хотя мы знаем, что работаем и живем не для начальства, но чувство, что тобой управляет не здравый разум (если бы!), а чужая прихоть, чужое невежество, действует угнетающе. А ведь директор — на виду у тысяч людей, его поведение и настроение, хотим мы этого или нет, действует на отношение людей к своему труду.

Короче, когда в тот поздний осенний вечер я входил в кабинет генерального директора Ивановского станкостроительного объединения В. П. Кабаидзе, у меня уже было о нем сложившееся мнение.

Еще с первых встреч мне запомнилось лицо генерального директора Кабаидзе: худое, очень подвижное, с темными глазами, в которых где-то на донышке высверкивает ирония. Говорит он практически без кавказского акцента. Речь перемежает паузами, чувствуется, знает цену словам, которые не должны опережать мысль. Много и часто курит.

Вот и сейчас, едва уселся, достал из пачки сигарету, вооружился массивной бронзовой зажигалкой, похожей на спиртовку и отчасти на туристский бензиновый примус. Пока он занимается зажигалкой, я думаю: откуда берутся директора заводов? Талант, случай, расчет?

На директора завода в институте не учат. Как правило, характер директора формируется по мере приобретения опыта работы на тех должностях, с которых он начинает свою карьеру. Он должен быть объективным, иметь спокойные и здравые суждения. Должен уметь оценивать обстановку, быть достаточно эрудированным, чтобы правильно действовать в той или иной ситуации. Должен иметь широкие знания в экономических вопросах — в первую очередь, но и не менее сведущим в производственных. Он должен приучить себя говорить простым и понятным языком. Ему необходимо умение рассматривать проблемы с различных сторон, консультироваться с коллегами и избегать необду-

манных обязательств и решений. Да мало ли что еще должен иметь человек, чтобы быть настоящим директором! И все же, наверное, должно быть самое главное — призвание.

Я спрашиваю об этом Владимира Павловича. Он молчит, внимательно смотрит, прижмурив глаза от сигаретного дыма. Говорит негромко:

— Насчет призвания — это художественная литература, а я — инженер. Самое главное — найти себя и свое дело и оставаться таковым в любых условиях и ситуациях...

Наш разговор сперва явно не ладился. Устал человек. Только что с завода уехала съемочная группа из Центрального телевидения, только что побывал корреспондент из столичного журнала, одно из московских издательств затеяло написать книгу о станкостроителях. И все норовят к генеральному. Но ведь и мне хочется послушать Кабаидзе. Надо разговорить директора.

Повспоминали общих знакомых из «Станкоимпорта», посетовали на невесть что творящееся нынче с погодой, принялись за чай, сходили в музей, где стоит уменьшенная копия гибкой производственной системы, недавно поставленной ивановцами одному из отечественных заводов, вновь вернулись в кабинет. И тут я с отчаянья задал Владимиру Павловичу вопрос, что называется, в лоб:

— В осуществлении нового кто играет главную роль: конструктор или рабочий?

— Я бы не выделял. Должен быть оркестр. Мы знаем много случаев, когда конструктор хвалится: смотрите, какой прекрасный проект я создал. Но если он не реализован, какая ему цена? А реализует все производство, включая рабочий класс. Иное дело, что рабочий сегодня другой нужен, чем несколько лет назад. Для обрабатывающего центра, для гибкой системы нужен качественно иной уровень рабочего. Посмотрите, в квалификационных справочниках ничего не говорится о новом поколении рабочих. Никто пока что не может написать, каким должен быть сегодняшний рабочий.

Владимир Павлович оживился, голос его зазвучал громче, в нем появились знакомые по прежним встречам ироничные нотки.

— Наверное, будет написано, что читает перфоленту, на которой записана программа работы станка... Многие утрированно видят процесс работы обрабатывающего центра. Вот,

мол, рабочий нажал кнопку, и станок без него работает. Видят в этом какой-то высший смысл. Чепуха! Тогда рабочий — придаток у машины? Это хреновина! У сегодняшнего рабочего высочайшая квалификация совершенно другого плана, ее нельзя сопоставлять с бывшей высокой квалификацией токаря-универсала, того самого, что с микрометром и штангенциркулем. Так что кнопочная технология — это чепуха. Идет переоценка ценностей. Там, где этого не понимают, пытаются неверный подход применить. Поставят станок с ЧПУ или обрабатывающий центр, а подход к рабочему старый...

Собеседник принялся прикуривать сигарету, а я тем временем сумел встрять еще с одним вопросом:

— Что нужно, чтобы новые разработки быстрее входили в производство?

— Хотеть нужно,— лаконично ответил Кабаидзе и, подумав, добавил: — Больше ничего.

— Я с вами согласен. Но почему же социально активная личность — генеральный директор Кабаидзе испытывает сопротивление людей, которые, казалось бы, должны всячески помогать ему, потому что он решает самое главное? У вас в приемной должны стоять десятки людей, которые должны говорить: «Владимир Павлович, что нужно? Может быть, вам требуется то-то и то-то, так мы готовы немедленно и т. д.». Почему этого нет?

— Все зависит от мышления, начинается с общих философских категорий. Идет научно-техническая революция. Мы много лет вели разговоры на эту тему. Но ведь хоть сто раз скажи — халва, во рту сладко не будет... В жизни должна быть цель. А какие иногда встречаешь масштабы у тех, кто порой занимает ответственные посты? Хорошо, что сейчас наступили новые времена, когда за словом идет дело.

Владимир Павлович глубоко затянулся сигаретным дымком, притушил окурок и продолжал:

— Возьмем методы организации производства. Сегодня весь мир работает по широчайшей кооперации и специализации. У нас тоже толкуют: шире внедрять кооперацию, а что получается в жизни? Министерство поощряет, чтобы каждый завод сам себя обеспечивал всем необходимым. Так проще работать. Литье — свое, заготовки — свои, механообработка — своя. Давай, директор, отвечай за все! Но есть у этой проблемы и другая сторона. Нельзя же все централизовать. Ведь и так уж дичайшая номенклатура, которой

ведает Госплан. Невозможно стало работать. Никогда прежде такого жестокого прессинга не было. Нельзя, чтобы Госплан сидел и рисовал, сколько каких контакторов нужно сделать. Нужны новые организационные меры. Без кооперации нельзя работать. Взять наш завод, мы же сами организовали кооперацию с двадцатью заводами. Почему так получается? Это выгодно нашим заказчикам, с которыми мы кооперируемся.

По словам Кабаидзе получалось, что люди на местах вынуждены искать пути, чтобы выбраться из хаоса планирования, который мешает работе предприятий. Раньше в ходу было изречение — блат выше Совнаркома. У ивановцев говорят по-иному: договор дороже Госплана. Как я понял, речь идет о том, что горизонтальная кооперация между заводами на основе неформальной взаимной договоренности действует значительно эффективнее, нежели «вертикальная» кооперация, утвержденная соответствующими инстанциями.

— Не боитесь, что подведут?

— Ничуть,— не колеблясь ответил директор.— Ни один уважающий себя руководитель не нарушает соглашение, на которое он пошел без всякого принуждения.

В дверь заглянула секретарша и укоризненно посмотрела на меня. Я принялся произносить принятые в таких случаях слова благодарности и сказал, мне кажется, что он — Владимир Павлович Кабаидзе — из числа людей, про которых поэт писал: кто-то должен выпрямиться в рост, чтобы начиналось наступление.

— А я про себя иногда по-другому думаю... Знаете, на фронте в окопах, где находились итальянские солдаты, получили приказ об атаке. Командир выскочил на бруствер и командует: «Аванте, солдаты, аванте!» А солдаты аплодируют и кричат: «Браво, капитано, браво!..»

Генеральный директор грустно усмехнулся.

Мы распрощались.

Не раз мысленно я возвращался к нашей беседе с Кабаидзе. Мне помнятся его слова о том, что неважно, какие названия и индексы будут у будущих ивановских станков. Главное другое: завод сам расширяет номенклатуру своих изделий. Делают большие центры и маленькие, средние и гибкие производственные связи. Вышли на шлифовальное оборудование. Такими станками в Союзе никто не занимается. Между тем это новый этап научно-технической революции в станкостроении. Конструкторы начали разрабаты-

вать проект шлифовального обрабатывающего центра с ЧПУ. И это не всё. Прорабатывается проект станка, где вместо резца будет работать луч лазера по команде электронного устройства. На очереди проект механизации труда контролеров.

Нужно хотенье, заметил Владимир Павлович, когда шла речь о самом главном, без чего нельзя двигаться вперед в станкостроении. К чести Кабаидзе следует сказать, он прекрасно отдает себе отчет в том, что один завод, даже такой, как Ивановское производственное объединение, в масштабах отрасли погоду не сделает. Поэтому он находит время подумать не только о будущем ивановских обрабатывающих станков и гибких производственных систем «Талка». Масштаб личности инженера Кабаидзе, его огромный опыт и убежденность в истинности избранного курса, помноженные на коллективный разум коллег и друзей, позволили Владимиру Павловичу выдвинуть предложения, дающие наибольший экономический и социальный эффект. Это своего рода кодекс Кабаидзе, кодекс, который нужно решительно и быстро осуществлять в целях серьезной перестройки отечественного станкостроения:

сосредоточить усилия и средства двадцати наиболее передовых и решающих станкостроительных заводов на выпуске конкурентоспособного оборудования высокого технического уровня, в том числе обрабатывающих центров и ГПС;

освободить несколько заводов от изготовления станков и переключить их на производство комплектующих узлов для решающих заводов;

обеспечить опережающий рост инструментального производства и выпуск оснастки по сравнению со станкостроением;

решать вопросы электронного обеспечения станков на уровне первоочередной общегосударственной программы.

Большая цель рождает большую энергию. Но большая цель возникает только у людей, которые смотрят вперед, видят перспективу.

И вновь мне слышится голос Кабаидзе. И в его словах стремительность мысли, решимость человека двигаться вперед:

— Стоящая перед нами задача определена с предельной полнотой и ясностью. Чего нам при ее реализации в первую очередь следовало бы избежать — так это, прошу извинить

за резкость, симуляции кипучей деятельности: когда на словах все — «за», а само дело продвигается весьма не шибко. Боишься в этом случае не трудов, а знакомого всем механического «делегирования» поручений: Госплан министру — тот ВПО, оттуда — заводам. Мы — в цехи... От рабочего до министра — всем сегодня предстоит настроиться на иной лад... И давайте не упирать на слово «технический» — вроде забота эта для одних технарей. Нет, речь идет о проблеме всенародной.

Иван ВАСИЛЬЕВ

ДЕФИЦИТ ОБЩНОСТИ

(Обращение писателя к землякам)

В один из теплых пасмурных дней поздней осени, когда в пустынно-гулких полях была разлита особенная печаль увядания, обходил я вокруг своего села, и от того, что видели мои глаза, сердце печалилось вдвойне. Что творишь ты, земляк! Я столько потратил слов, и устно и письменно, пытаясь достучаться до твоего разума,— все напрасно. Ты слышишь, но не воспринимаешь. Не хочешь обременять себя думой. Живешь, абы день прошел. Встал, влез в свою упряжку, протянул воз от сих до сих, выпрягся и — к кормушке. Извини, но так живут лошади. Человеку положено думать.

Почему ты не думаешь? Не думаешь о том, что будет завтра с твоим домом, с твоими детьми, с землей, которая тебя кормит? Неужели тебе настолько заглумили голову «производственными задачами», что ты уже ничем другим не живешь, что тебе недосуг поднять голову и поглядеть на дело рук своих? Ну скажи, пожалуйста, на что тебе будут миллионы куриных яиц, которые ты собираешь сегодня на фабрике, если завтра не станет вот этого леса, если болота и озера превратятся в зловонные лужи и ты не отыщешь чистой водицы, чтобы утолить жажду, если зеленый покров земли сдерешь колесами и ветер поднимет тучи песка и понесет в твои окна и двери? Ведь ты бросишь все и подашься куда-нибудь. А там что же, опять за свое, опять бездумье? Земля велика, но и у нее предел есть.

Грустно глядеть на твои следы. Не видишь? Хорошо гляди: вот в десяти шагах от крайнего дома — болото. Оно было сухое, росли на нем березы и сосны, заслоняли деревню от огромного, расплывшегося на десятки гектаров зловон-

ного поля, так называемого навозохранилища. Болото ты подтопил. Насыпал через ручеек дамбу, чтобы сократить дорогу к ферме, вода поднялась — лес погиб. Он стоит мертвый, птицы в нем не живут.

Это тебя не тревожит? Пойдем дальше. Еще десять шагов — картофельные бурты, кучи прелой соломы, сухие сосны. Каждую весну бульдозер сгребает всю гниль, валит под откос — там уже вал образовался, сосняк задохся, повалился, открыв мертвое болото с другой стороны.

А с третьей в это подтопленное болото текут обильные навозные ручьи. Теперь повернись, выбери любую из десяти дорог, коими располосован молодой сосновый бор на жалкие лоскутки, и пройди по ней еще сотню шагов — увидишь, как расползается, низвергая сосны и березы под обрыв, другая язва земли — карьер. Тут разудалой бесшабашности полный простор. Не глядят на то даже, что рядом — рукой дотянешься — ставится посад новых домов: заселяют люди еще недавно пустовавшую поляну. Неужто не войдешь в положение новоселов? Они-то из-за красоты выбрали это место, а ты уродуешь ее. Так-таки и не понимаешь? Ну, брат, если этого не понимать, то...

То тут, наверно, и ответ: человек не думает о человеке. Каждый сам по себе. Полтысячи рабочих в совхозе да два раза по стольку малых и старых, а общей думы, выходит, нет? Нельзя же принимать за общую думу то, что вместе на работу ходим да на собраниях речи о работе же говорим. Это только часть думы, а вся она в том, *как* жить.

Примеры бездумного обращения с природой, в наших озерно-лесных краях весьма хрупкой и особенно чувствительной к вторжению машин, наблюдаются сейчас повсеместно в связи с укрупнением центральных сел. И корень причины не столько в машинизации производства, сколько в чрезвычайно слабом чувстве общности у жителей. Население центральных поселков состоит большей частью из пришлого люда, а чувство общности, как известно, вырабатывается длительной совместной жизнью, общей заботой о среде обитания, свойственной малой русской деревне.

Я уже писал — и, видимо, не раз, не два придется повторять — о деревенских стариках и детях. Вот самые свежие примеры. В маленькой сельской больнице лежит старуха: поясницу прострелило.

Жалуется:

— Последний год огород держу, брошу — не стало в деревне ладу. Что эти бесы-мужики за моду взяли: вспахать — десятку, заборонить, посадить — два червонца, да еще выкопать, в кооперацию свезти... Соседке поросенка приспело резать, зовет мужика, есть, говорит, бутылочка, припасла. А у самой-то ничего. Ну, мужик, конечное дело, заколол поросенка-то и говорит: пускай остынет, а ты, старуха, налей стаканчик. Тут моя соседка и заохала, призналась, что обманула, денег сулит, сколько запросит. А мужик плюнул и пошел: пали, мол, сама, денег у меня самого куры не клюют. Как мы с ей палили, страхи божьи! Наворочались так, что меня прострелило, да и соседка не лучше, пластом три дня лежала. Вот, родимый, каково живется ныне старухам. Ране бутылка выручала, а теперь как?

Власти за то, что пьянку прикрыли, она не ругает, нет. Тут-то мудрости у нее хватает, видит, что к чему, но и согласиться не может: за какие такие грехи все беды на старух? Бесов-мужиков винит: совести не стало. Оно, конечно, так. Ну, а у деревенского начальства есть она, совесть-то? Кому думать о бытовом обслуживании на селе, как не начальству? Нету в деревне других контор, кроме колхоза, совхоза.

Вот еще картинка: на асфальте, у автобусной остановки,— подвода. На телеге четверо старух с вещевыми мешками — ждут автолавку, хлеба печеного купить. Лавка ходит по расписанию, но расписанному только старухи подчиняются, заводы — нет: один хлеба вволю не напек, другой запчастей к автомобилям не дал, третий — грейдер сугробы чистить не прислал. Мукой бы торговать — лимитов, говорят, нет. Даже блинной не продают, баранок и сухарей к чаю... Когда, говорят, в девках гуляли, так на ярмарках видали. Полвека назад было, а помнят ведь! Памятливые старухи, позавидуешь. Чтобы не показалось кому-нибудь сказанное выдумкой, сошлюсь на сессию областного Совета в Калинине. Там председатель облпотребсоюза данные приводил: в среднем на душу населения по области в год продается четыре грамма баранок и ноль две десятых грамма сухарей. Впечатляющая цифирь. Впору в какой-нибудь юбилейный рапорт втиснуть.

Ну ладно, торговля виновата, а председатели и директора о своих ветеранах почему не думают? А некогда. У них о коровах думы. Хлеб валят в кормушки — план по молоку выжимают. А он не выжимается. Тогда

своих «коровников» принуждают продавать в счет колхоза. Тут такое дело: молоко от личных коров закупает заготконтора и в порядке встречной торговли комбикорм продает, а колхоз поперек дороги встает, велит ему продавать, обещая зерна выделить, но обещание не выполняет. Говорят, сена тебе позволили накосить, и будь довольна. Словом, радейте, старухи, за колхоз, не то и выпаса лишим. Таковы картинки с натуры. Как говорится, без прикрас. В чем тут соль? В нехватках? Да, только каких? Едва ли материальных, скорее — моральных, думы о человеке нет, заботы о жизни его, знают одно: на работу ходи да план тяни. А коль не ходишь по причине старости, так и на заботу нашу не рассчитывай, на то собес есть.

Теперь — о детях. Несведущему может показаться, что уж тут-то, как говорится, все вопросы сняты, в речах только и слышишь: «школа и колхоз едины», «забота о школе в центре внимания», «школа — совхозный цех номер один» и т. д. Денег отвалят, автобусы наймут, подарки купят, даже премиальные выпишут — чего еще надо? За словами, как за ширмой, прячутся взаимоотношения двух администраций, двух контор: колхозной и школьной. В глазах детей колхоз выглядит этаким дядей-благотворителем, а как воспитатель он — н и к а к о й.

Конечно, не везде. Недалеко от нас колхоз «Красная поляна», председательствует там бывший директор школы Н. Ф. Кузнецов (кстати, и секретарь парткома тоже учитель), факт, говорящий о том, что и в эпоху технических переворотов хозяйственник-педагог имеет несомненные преимущества перед хозяйственником-технологом. Так вот, Кузнецов, помимо, так сказать, обязательной (как базовое предприятие) заботы о школе, считает, что сам колхоз как трудовой коллектив, как сельское общество должен воспитывать детей. В «Красной поляне» не по наряду, а по общественной инициативе построен целый городок отдыха и полезных занятий, хорошо поставлена спортивная работа. Тут не говорят «школьники трудятся в колхозе», а — «дети работают». Если разницу улавливаете, то она и есть воспитание чувства общности. В нашем же совхозе предпочитают отделываться подачками, а вот, к примеру, для детской изостудии за три года не удосужились изготовить ни скамеечки, ни мольбертика, рисуют дети на коленях. На головы учеников в интернате потоки воды текут, но крышу починить не удосужатся, пять лет критикуют их на всех уровнях, а им как с гуся вода. Добрые люди построили

и подарили совхозу тир, но в конторе сказали: нам это не надо — и не приняли дара.

Не вдруг (и не везде, конечно) разрушилась сельская общность как нравственная категория, процесс шел добрых два десятка лет. Материальной основой его была гарантированная денежная оплата труда, независимая от итогов производственной деятельности. Всяк стал жить, как говорится, на свои: вышел на работу — получи, гарантирует госбанк, а не хозяйство. Двадцать лет только и слышно было: материальная заинтересованность, рубль — стимул, поощряйте рублем добрый поступок... Когда тут было думать о чувствах общности, дружности?

Разменяли кое-где душу на червонцы, измерили духовность «остаточным принципом». Дескать, какие еще духовные запросы у мужика, все они в кошельке его. Многие нынешние сельские хозяйственники как раз в это двадцатилетие и сформировались как руководители. С каким трудом дается им сегодня новое мышление, я вижу воочию. В кабинете секретаря райкома беседуем с председателями, один и говорит: «Вы мне покажите противника перестройки, чтобы я знал, с кем бороться». Я говорю: «Да в тебе он и сидит». Не верит: «Вот еще! Что, я себя не знаю?» — «Хорошо,— говорю,— давай поищем противника. Вчера мы с тобой по колхозу ездили. Зачем новую школу в болотину посадил? Единственное болотце в окрестностях — и нате вам! Говоришь, не положено пашню занимать. А пустыри, бурьяном заросшие, тоже не положено? Ты же — хозяин, поди, понимал, что на сто лет вперед ребятишкам настроение отравил. Клок пашни сберег, но пахарей из деревни выпроводил. Какого тебе еще противника надо?»

След вчерашних методов управления грузом висит не только на сельских хозяйственниках, но и на районных и областных руководителях. Конторы привыкли полагаться только на председателя, только с ним иметь дело, ему указывали, его и наказывали, но он давал план, он не подводил район — за то ему и прощалась узость мышления. Да, председатель — главная фигура, это так, но вопрос — как он давал план. Коллективный разум спал, коллективная энергия не будилась, духовность со счетов иные скинули. Шла типичная бюрократизация, подмена сознательности силой приказа. Планы исхитрялись выполнять, только от этих исхищрений производство начиная с конца шестидесятых годов шло все вниз да вниз. Так вот и

сегодня, дорогие земляки, в методах руководства со стороны вышестоящих контор не заметно, чтобы что-то менялось. Еще не нашли прямых контактов с массами, старые методы (времен якобы голого энтузиазма) организации людей забыли, новых не придумали. (Чтобы быть абсолютно точным, скажу: есть день открытого письма и единый политдень, но они нередко сильно смахивают на «явление народу» — эпизодичны и формальны.)

Культивирование индивидуализма под видом заботы личной материальной заинтересованности повело к тому, что общественные фонды социального и культурного назначения (они, кстати, мизерны относительно потребности) стали расходоваться большей частью на создание повышенной комфортности быта отдельных, главным образом начальствующих, лиц и почти ничего на сферу общения.

В нашем совхозе, например, до того дошли, что деревенские клубы стали продавать под жилье, по причине, дескать, «отсутствия денег на ремонт». Зато под видом того же ремонта так отделают начальственные особняки: по два гаража соорудят, хлевов, сенников, дровяников, погребов, веранд наставят — на пять клубов хватило бы! Вот в какую сторону может трансформироваться личная заинтересованность — в социальное нахлебничество. О чувстве общности и говорить не приходится, человек о человеке уже не погадывает, об окружающей среде не заботится — только о себе. Вызрело равнодушие.

Как дальше быть? Переход на самофинансирование потребует именно чувства общности, коллективизма, сознательности. Придется возрождать утраченное. Однако есть основание опасаться, что хозяйственники, выпестованные административным стилем управления, ограничатся сугубо организационными мерами. Уже, слышу, поговаривают: сядем на свои харчи — живо сознание появится. Ой ли? Экономика, конечно, основа, но и мужик не дурак, хорошо усвоил, что слабому разориться не дадут — ленивого без зарплаты не оставят. Так что чувство общности возродить — это сознание поворотить.

И тут взор наш обращается к сельским коммунистам, партбюро, парткомам. Они — та сила, которая может и обязана устранить нынешний дефицит общности, искоренить индивидуализм, как источник эгоистических интересов. В недавних поездках по области я, честно говоря, такого наст-

роя сельских парткомов пока не уловил. Тому тоже есть причина. Незаметно, исподволь складывалось отождествление органа и личности, комитета и секретаря. Произносят «партком» — подразумевают «секретарь». Вроде и мысли не возникает, что это не одно и то же, что партком может, к примеру, не согласиться с секретарем, предложить, оспорить, найти иное решение. Получается, в сущности, комитет при секретаре. Это вот отождествление сильно мешает райкомам партии понять назревшую необходимость работы именно с парткомами и партбюро. По-прежнему добрую половину месяца сидит на совещаниях, заседаниях, семинарах секретарь, а о членах комитета и не вспоминает. Боюсь даже сказать, что в райкомах знают их в лицо, разве что по спискам. Надо ли доказывать, что один секретарь, будь он революционер из революционеров, ничего не изменит, если спит комитет.

Однако и секретарь пока что пребывает в плену инерции. Пусть вам не покажется мелочью предложение поглядеть на рабочее место секретаря парткома. Сделаем это на примере нашего села. В течение шести лет сменилось четыре секретаря, люди они очень разные, но в стиле работы разницы никакой, словно их что-то или кто-то формует по одной модели. Эта формовочная модель — контора, штаб управления производством. Для производства — и только для производства! — создана в деревне контора. И вот под одну крышу с ней втиснуты общественные организации, партком и профком, имеющие функцией организацию всей жизни села, создание, как говорят ученые, гомосферы. В нашем примере «втиснуты» звучит буквально — комнатушка восемь квадратных метров: два стола и четыре стула. Но размеры — дело, как говорится, наживное, сегодня — малые, завтра — большие, главное — атмосфера, дух и ритм. Атмосфера определяется одним словом — текучка: сиюминутные нужды, сегодняшние задачи, наряды, распоряжения, нарушения, внушения, заторы, авралы, нагоняи, летучки, планерки, проверки... Восьмичасовое коловращение не выпускает секретаря из конторы. Его то по телефону разыскивают, то в стенку стучат — «треугольник» созывают. Соблюдая коллегиальность, тут каждый пустяк обсасывают с трех углов: административного, партийного, профсоюзного. Парткома как такового нет, на слуху, на виду секретарь, и волей-неволей превращается он в «отдел конторы», в этакого главного специалиста по поведению человека на производстве. Производственную сторону работни-

ка секретарь знает назубок, но она в жизни человека занимает всего лишь одну треть суток, на две другие у секретаря не остается ни сил, ни времени.

На ту самую сферу, в которой производственный коллективизм заменяется социально-бытовым индивидуализмом.

«Человеческий фактор» требует пересмотра многих стереотипов, в том числе и таких: где быть кабинету парткома. Тем, кто мало-мальски знает село, стоит приглядеться к сельсовету и к парткому и сравнивать, где лучше знают человека. По своему опыту скажу: в сельсовете, ибо там заняты не производственной сферой, не работником только, а всей сельской жизнью, всяким гражданином. Так, может, секретарю парткома пересесть поближе к председателю сельсовета, глядишь, и перестанет бегать на «треугольник» по поводу потерянной бороны или пропавшей телеги.

Отождествление понятий «партком» и «секретарь», равно как и «колхоз» — «председатель», «совхоз» — «директор», то есть коллектива и личности, есть, в сущности, подмена демократических форм бюрократическими, при которых коллективные интересы растворяются в личных, перерастающих в эгоистические.

Недавно в газетной статье я привел несколько строк из письма к автору ветерана колхозного строя, сорок семь лет стоявшего у руля деревни. Он сетовал, что его преемник не придает особого значения прямым контактам с колхозниками, в частности бригадные собрания не сам проводит, а поручает своим помощникам. Нормальное, казалось бы, в среде товарищей замечание. Посмотрите, как оно задело... не председателя, нет,— секретаря парткома: немедленно собирает партком и устраивает проработку ветерану, якобы подорвавшему своим письмом авторитет молодого председателя. Не думаю, что у секретаря настолько мал опыт партийной работы, чтобы не знать, к чему приводят подобные приемы создания искусственного авторитета руководителю. К лести и угодничеству, товарищ секретарь. Хотелось вам того или нет, но своим заседанием вы «привели к присяге» председателю партийный комитет, продемонстрировали послушание и одобрение.

Такие факты свидетельствуют о том, что стереотип поведения партийного секретаря — обслуживание честолюбия хозяйственного руководителя — настолько прочно укоренился, что преодолеть его не так просто. На мой взгляд,

он есть первое препятствие на пути воспитания и укрепления чувства общности в коллективе. Сплочение на основе чинопочитания — это мираж. Истинная общность возникает тогда, когда каждый человек осознает свою ценность и когда она признается и уважается всеми — тогда отношения в коллективе пронизываются духом товарищества.

Вот на осознание каждым своей ценности и должно направить энергию партийных комитетов. Без этого — забуксуем.



Имант ЗИЕДОНИС

ИЗ «ПОЭМЫ О МОЛОКЕ»

И смысл и суть моей поэмы — мать.
В младенчестве мы с млека начинаем,
чтоб в старости вернуться к молоку
и дольше жить. Так человек научен.

Глядите — мудрость в нас от молока.
Посредственность — от скудности молочной.

Все оттого — и войны и убийства,
что на земле нехватка молока.
Жить сосунком при матери — доколе?
Сын в мир пошел, чтоб пищу добывать.
Беречь и взращивать — нет, не умел он,
однако был хитрей других зверей
и стал кормиться на земле убийством.

А ныне душегубство — ремесло.

Вот, скажем, остров, лось и человек.
Но у меня есть десять тысяч братьев,
и у соседей десять тысяч братьев,
а лосей тысяча. Не поделить.

И порешил король: делить не надо,
а надо сократить наполовину
число соседских братьев, очень просто.
Но те не захотели умирать.
Так началась война. Все из-за мяса.

А в старости, устав в кровопролитьях,
шрам на лице да орден на груди —
седой вояка к матери вернулся,

и врач ему лекарство прописал:
парное молоко и мед пчелиный.

Седой вояка к матери вернулся
за молоком.

У матери ни орденов, ни славы.
Всю жизнь траву таскала по охапке
с обочины, с опушки да с болотца.
Мать собрала на стол — домашний сыр,
и масло свежесбитое, и сливки.
— Ешь. А к зиме у нас теленок будет.

Сын думал — это благодарность, знак.
Он матери помог сберечь корову
тем, что убил несчетное число
коров в иной земле, в иных селеньях.
А мать? Мать, дура старая, сказала:
— Как хорошо, ты дома. Не убий.
Да, мать стара, ей не понять откуда.
Виной всему однообразный труд,
ум деревенский как бы ограничен.
Привыкла разговаривать с коровой,
с собакой, со щавелевым листком
и мелкоцветной розой у порога.

Вояка же рассчитывал на масло.



Владимир САВЕЛЬЕВ

СТРОКА

В одном краю нехватка хлеба,
в другом краю нехватка неба.
Он ложь за правду принял слепо,
ты подноготную — за ложь.
Тот стариною жив, тот — новью,
тот — ненавистью, тот — любовью,
тот — тягой к слову, тот — к злословью.
И кто есть кто, не разберешь.

И кто есть кто и кто в ответе
за жизнь и гибель на планете.
Мы или вы? Те или эти?
А может быть, весь род людской,
все человеческое племя,
в котором я — мужичье семя —
на всхожесть проверяю время
публицистической строкой.

Прямой. Бесхитростной. Горячей.
Отягощенной сверхзадачей.
С газетой, с телепередачей
лицом к лицу я что ни час.
Событья не стоят на месте.
О них услышать и прочесть я
стараюсь — и меня известья
по нервам хлещут всякий раз.

Что происходит со страною,
кому и кто грозит войною,
как ты навек любима мною
и чьи проблемы в тупике —
все связано между собою

одним узлом, одной тропою,
одной-единственной судьбою
в публицистической строке.

Чащоба. Города. Пустыни.
Национальные святыни.
Всему, что нами стало ныне,
всему, что в нас или вокруг
доступно чувству, мысли, взору
в стремительную нашу пору,
необходимо дать опору.
Фундамент дать. Идейный дух.

Как смладу честь и платье снову,
должны сберечь мы ту основу,
что создана доверьем к слову
и чьи нагрузки нелегки.
Я вижу мир в пристрастном свете,
в безжалостном и трезвом свете,
в ничем не замутненном свете
публицистической строки.

РОССИЯ

Величаво и статно идущая в гору
сквозь года и года,
сквозь труды и труды,
ты проносишь свои голубые озера,
словно полные ведра студеной воды.

Облаков раздвигаешь нависшие ветви,
и, рожденная в долгих сибирских ночах,
как пуховый платок, раздуваемый ветром,
чуть трепещет метель у тебя на плечах.

Не казной дорожа и не избранным кругом,
родословную ветвь относя к голытьбе,
и добром, и любимой, и преданным другом
я до смертного часа обязан тебе.

Я обязан тебе воспитанием жестким,
видом стольких в отчаянье вскинутых рук,

что далеких военных дорог перекрестки
мне казались распятьями встреч и разлук.

Но, хоть шастал по травам ногами босыми,
ты, я знаю, не царство плетней да телег,
как нередко еще представляет Россию
кое-кто из моих сыромятных коллег.

Ты врага забытьем беспробудным карала,
и под солнцем, особенно ярким с утра,
серебром отливает громада Урала,
будто остро отточенный меч у бедра.

Ты на редкость крута, но отходчива в гневе:
обрамляя седые твои ковыли,
семицветные радуги выгнуты в небе
ореолами святости русской земли.

И каких бы кручин ни сулила эпоха,
я уверен, что, разные судьбы кроя,
за тебя постоят до последнего вздоха
не искавшие выгод твои сыновья.

Ведь не зря же, блаженную дрему нарушив,
под гуденье дождей и шуршанье порош
ты вселяешь им дерзкие помыслы в душу,
за собою нехоженой ширью ведешь.

Ты все дальше и дальше,
все выше и выше,
все ясней и отчетливей складкой любой.
И затейливо стаями птичьими вышит
неизменный в веках небосвод над тобой.

ЧЕРНЫЙ ХЛЕБ

Есть в этом мире то, что вечно ново,
что не изменит сути от шального,
от не додержанного в сердце слова,
от не вошедшего нам в кровь и плоть.
Есть то, что не лукавит на лукавой
дороге меж безвестностью и славой:

держу я в основной ладони — в правой —
ржаного хлеба будничный ломоть.

Держу не потаенно, а открыто
среди чудес сегодняшнего быта.
На них, родимых, смолотого жита
пошла, конечно, не одна щепоть.
Бывал он с добавленьями и ситным,
излишне аппетитным или сытным.
И перво-наперво не самым сильным
давался этот хлеб. Его ломоть.

Хлеб бородинский. Докторский. Столовый.
Орловский хлеб. Целинный. Не с половой.
Лепешковидный, формовой, подовый —
родства его со мной не расколоть
и тем, что продается он без нормы.
А впрочем, тут и подошли в упор мы
к единству содержания и формы:
краюха хлеба, каравай, ломоть.

За то, что жизнь сберег он нареченному,
молись ему, жена, простому, черному,
на совесть в наше время пропеченному,
а в дни войны — не приведи господь.
Отчизна в бликах огненного шквала
по карточным пайкам — не доотвала,
его нам как в аптеке выдавала...
Смотрю я на увесистый ломоть.

Смотрю и вижу: рвутся в миг опасный
снаряды — то бризантный, то фугасный.
Свет вижу белый, флаг под ветром красный,
лесок бесптичий да безрыбью водь.
Гляжу я на ломоть ржаного хлеба
и вижу не ломоть ржаного хлеба,
а маму и ломоть ржаного хлеба:
тот с отрубями, липкий, но — ломоть.

Ломоть, что был могущественней бога.
Так что такое «мало» или «много»?
И шепчет мне крестьянская тревога,
какой в себе нам век не обороть:

цена всему, где был ты или не был,
цена стремленью к женщине и к небу
в осознанной цене ржаному хлебу...
И греет мне ладонь его ломоть.

ОЧЕРЕДИ

Где углядели? Сколько колесили?
В каких таких мытарились концах?
В людских очередях лежит Россия,
горит, как тело в шрамах и рубцах.

Никто не пухнет с голоду, понятно.
Но страстью пышут очередники:
у этих лица в темно-бурых пятнах,
те — зубы стиснули и кулаки.

А те, живя на скромную зарплату,
в подвалы проникают и углы,
где втридорога все.
И все — по блату.
Не каждому. Тайком. Из-под полы.

Откликнешься на код условных знаков —
и в сумке у тебя к плечу плечо
сойдутся плотно джинсы и Булгаков.
И сервелат. И кое-что еще.

Бери да знай расплачивайся споро:
ведь не до романтических идей
сердцам, осатаневшим до упора
в немереных хвостах очередей,

сердцам, теряющим полет и гордость.
Ты знал, отец, что это будет так?
И если знал, подай мне только голос
над лавою буденновских рубак.

Коня, упрямо скачущего прямо,
смири хоть на минуту на одну.
А разве ты не настоялась, мама,
в очередях за долгую войну?

— Там выбросили что-то? Я за вами! —
И в будний день, и даже в выходной
такими вот ущербными словами
я объясняюсь с чьей-нибудь спиной.

Расходуя себя от сил до мыслей
на сами вещи — не на суть вещей,
вдыхаю запах сладостный и кислый:
залетных жвачек да рязанских щей.

Чужого мыла да родного пота.
И вот на гребне обретенных прав
я наконец приобретаю что-то,
иное что-то напрочь потеряв.

Из очереди выхожу помятым,
насупленным и расплескавшим прыть.
Врага мы победили в сорок пятом —
врага бы нам сегодня победить.

КОСМОНАВТ

Через эти вселенские дали,
где не все и в мечтах-то витали,
я иду, ни единой детали
из того, что познал, не тая.
Всею сущностью, всею судьбою
я сквозь небо иду голубое
на посадку, на встречу с тобою —
возвращаюсь на круги своя.

В сплаве формул и древних заклятий
я в объятья иду из объятий.
После всех необычных понятий
и космического бытия
вновь к понятьям земным приобщаюсь.
И привычками к ним оснащаюсь.
И по давним орбитам вращаюсь —
возвращаюсь на круги своя.

Возвращаюсь на страх и мятежность.
Возвращаюсь на грубость и нежность.

На случайность и на неизбежность
возвращаюсь я, словно не я.
Равнодейственны долг и расплата,
ибо святы и тяга куда-то,
и всесильная тяга возврата —
возвращаюсь на круги своя.

Нелегко по шажку, по мгновенью —
возвращаюсь к тебе и к смятенью:
тут ли свет я уравнивал с тенью?
Те ли это и дни и края?
Ты ли это вдали там? Не ты ли?
Я сквозь небыли наши и были
по дорогам, что пройдены были,
возвращаюсь на круги своя.

По дорогам. По жестам. По фразам.
По стихийности и по наказам.
Что превыше — душа или разум?
Сто метаний? Одна колея?
Все, что было, былому прощаю.
Все, что будет, тебе завещаю.
Все, что есть, я себе возвращаю —
возвращаюсь на круги своя.

Егор ИСАЕВ

МОИ ОСЕННИЕ ПОЛЯ

(поэма)

1

Мои осенние поля...
Как пусто в них!
Ни журавля,
Ни аиста в холодном небе,
Ни даже вздоха там
                    о хлебе,
Давно сошедшем в закрома.
И где-то там уже зима
Готовит белую угрозу,
И дни одной щекой
                    к морозу
Идут, снижая облака...

И вот уж с вешалки рука
Снимает плащ,
И чья-то воля
Из одного в другое поле
Ведет меня.
Зачем?
Куда?

Какая странная звезда
Сокрыта там, в седом тумане?
Хоть не видать ее, а манит,
Как донный вздох
                    из камыша...

И вот уже щемит душа
В моей груди

И там, во поле,
Как боль сама и эхо боли,
Чужая чья-то и своя —
Зовет,
И я иду в поля.

2

Иду в осенние поля,
Не рву рывком с плеча ружья,
Не целюсь в бедного зайчишку,
Пускай себе живет, трусишка,
Пускай бежит за горизонт
И все, что поле даст,
Грызет.

А я,
Где пахотой,
Где пожней,
Иду
И в полдний час,
И в поздний
В литых отцовских сапогах,
Не тороплю усталый шаг,
Души своей не тороплю
И говорю себе:
Люблю.

До слез люблю такую пору,
Когда я сам, под стать простору,
Раскидан весь и отворен,
Как взрыв,
И тут же взят в полон
Тоской полей
Остро и хватко
До узелка...

Но вот загадка:
Куда иду?
И почему?
Подал бы руку — но кому?
Сказал бы слово — но о чем?
Плечо бы чье своим плечом
Доукрепил...

Да только жаль,
Во все концы немая даль
Крестом лежит сквозно
и мглисто...

И никого —
Ни тракториста,
Ни конюха,
Ни овчара,
Лишь я один, как и вчера.

3

И я иду в его зарю
И, подойдя, благодарю
За приглашенье в летний полдень,
За свет,
Которым он наполнен,
За то, что он жилой такой...

И я прилег, прильнув щекой
К нему,
Как к печке русской,
Дома...
И слышу вдруг,
Как через дрему
Совет мне кто-то подает:
— Ты встань и постучись в омет.

И я не пренебрег советом,—
Встаю,
Стучусь,
Как будто это
И в самом деле чей-то дом.
А раз есть дом,
То в доме том
Должны же быть
и домочадцы.
Чего бы к ним не постучаться?

Стучусь.
И сам себе не верю:
Передо мной раскрылись двери,

Мол, раз уж надо —
заходи
И все, что сможешь,
Огляди.

4

И я ступил в омет.
Да только
Где тут хоромы со светелкой?..
Таких тут и в помине нет,—
Тут не хоромы —
Целый свет.

Но свет не то чтобы всевышний,
Как белый наш,
А летописный,
Бестеневой,
Упавший ниц,
Как тот,
С пергаментных страниц.

И не такой уж чтобы светлый,—
В нем что-то есть не то от пепла,
Не то от праха что-то есть,—
Такой он запредельный весь.

5

Зато вокруг все то же поле,
Но в нем — другое время, что ли? —
Не те косилки,
Трактора...
В разгаре страдная пора
Косьбы и сенозаготовки,—
Там грабли вон,
А тут литовки
Вонзились в жаркие валки...
А бабы где?
Где мужики?

И сразу стало сердцу трудно:
Покос в степи, а так безлюдно?

Такого, нет, не может быть.
Кому-то ж надо пособить?

И я, невольно озираясь,
Тревожным взглядом упираюсь
То вон в ходки,
То в хомуты.
То в ту вон, полную воды,
Дубовую сырую кадку...
Ну что за черт — и тут загадка,
Хоть самого себя казни!..

И вдруг —
Ах, вон где все они! —
Увидел их — и сердце радо,—
В лесопосадке всей бригадой
Они сидят, здоровяки,—
Швытковы,
Шпаки,
Рудяки,
Чинилины и Ивановы,
Кондрашины и Острецовы...
Безусые, но не юнцы,
Плечом и статью — молодцы,
И все едят сливную кашу,
И все молчат.
А что тут скажешь?
Обед, брат, он и есть обед.

Но почему здесь женщин нет,
Красавиц, в ком души не чаю?
Меня такое удручает.
Ни кротких нет,
Ни озорных...
Ну, а какой покос без них?
Без них покоса не бывает,
Без них охота убывает
Валки валить до той межи...
А целоваться с кем, скажи?
Но факт есть факт.
А в чем причина? —
Об этом лучше знать мужчинам,

Но те сидят себе, молчат
Про жен своих и про девчат.

Вдруг обожгла меня забота,
В их лицах что-то есть от фото
Тех давних, довоенных лет...
Какой-то запредельный свет?

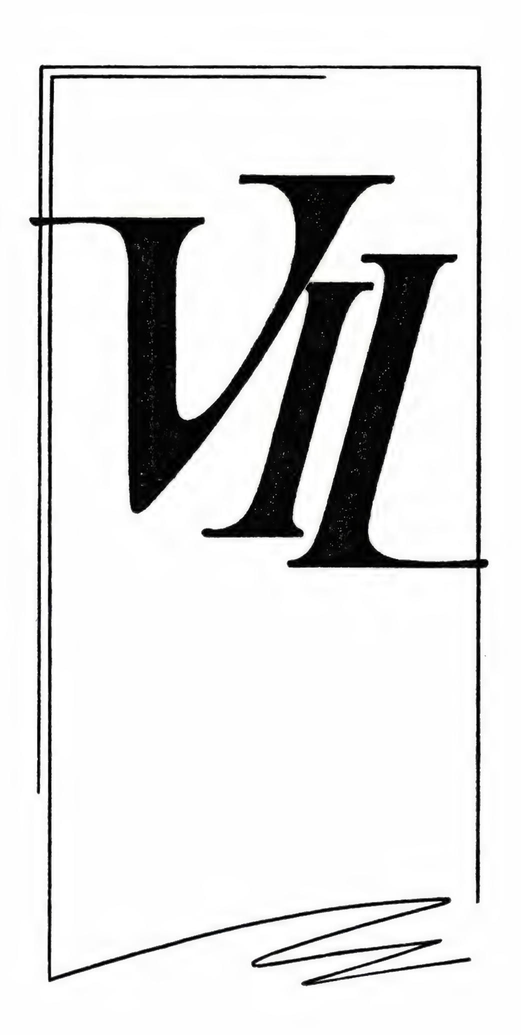
Но я беспечным быть стараюсь,
К ним подхожу и улыбаюсь,
Безмолвным землякам своим,
И — здрасте! — говорю всем им.
А Рудяку привет особый:
— Как поживаешь, дядя Степа? —
И отдаю ему поклон,
Как старшему из всех,
а он...
А он — как эхо из окопа:
— Какой тебе я дядя Степа?
По возрасту — ты дядя мне.
А по своей по седине
Уже сойдешь и за папашу.
Ты лет на сорок всех нас старше.
Не веришь?
Зеркало бы дал,
Да бабой я еще не стал.

Так и сказал, как подытожил.
А у меня мороз по коже
От слов, не ясных мне вполне.
— А что сказать твоей жене,
Такой хорошей тете Нюре?
— А то скажи, что вот покурим,
Докосим клевер и — придем...

6

В лицо ударило дождем —
И я открыл глаза,
опомнясь:
Была уже сырая полночь,
Шел туч
растрепанный
свинец...

И только там я наконец
Пришел в себя
И сердцем понял,
Какой же верой я наполнен
В то, что они еще живут,—
Докосят клевер
И — придут,
Придут в конце моей строки,
Всем похоронкам вопреки.



Необходимость реконструкции выдвигает новые задачи перед **наукой**. КПСС будет последовательно проводить линию на всемерное укрепление ее материально-технической базы, создавать условия для плодотворной деятельности ученых. Но страна вправе ожидать от них открытий и изобретений, обеспечивающих подлинно революционные перемены в развитии техники и технологии.

Из Политического доклада Центрального Комитета КПСС XXVII съезду Коммунистической партии Советского Союза

Анатолий ЗЛОБИН

ГОРЯЧО — ХОЛОДНО...

(Полемические заметки)

1. Мы все — из одного века

Триада XX века, переданная в виде телефонограммы моим приятелем, физиком-теоретиком, гласит:

§ 1. Двадцатый век доказал, что очень просто уничтожить богатство и очень трудно уничтожить нищету.

§ 2. Двадцатый век доказал, что очень просто уничтожить свободу и очень трудно уничтожить рабство.

Параграф третий данной триады гласит:

Двадцатый век доказал, что очень просто перенять способ потребления и очень трудно перенять способ производства.

Ах, с какой яростью мы спорим на кухне, аж до посинения, на все планетарные темы: добро и зло, внеземные цивилизации, виды на урожай и прогнозы на инициативу, телепатия и закон заколдованного круга. Какие мы умные, смелые, безответственные — пока мы на кухне. Но вот приходит час сосредоточенности, когда ты остаешься один перед чистым листом бумаги и хочется сказать сразу обо всем.

В истории человечества коротких веков не было, но бурные случались. Во всяком случае, можно утверждать, что двадцатый век вместил в себя много больше, чем любой из его предшественников,— век революций, век мировых войн, век фашизма, водородных бомб, кибернетики, космонавтики. Наш век черно-белый. И огненно-красный. План XX века по количеству произведенных на свет событий выполнен уже на 220 процентов — а ведь еще не вечер.

И жизнь как век, долгая, полосатая. В копилке памяти бренчит разменная монета свершившихся дат. Что извлечется к началу?

В критические дни октября 1941 года в Москве по приговору военного трибунала был расстрелян за измену Родине старший машинист электростанции Н. И. Фирсов, 1907 года рождения. Обстоятельства дела таковы. Н. Фирсов в связи с угрозой прорыва обороны Москвы получил приказ взорвать электростанцию и отказался это сделать. Положение критическое, Москва готовилась к эвакуации. Электростанцию с собой не увезешь — надо взрывать. Но Фирсов сказал:

— Не дам рвать народное добро,— и отсоединил клеммы.

Эти действия были расценены как измена Родине. Расстрел.

Спустя два дня панически-тревожная ситуация миновала. Пришел приказ об отмене взрыва электростанции.

Николай Ильич Фирсов был родным братом моей матери, я хорошо знаю эту историю как семейную. В 1959 году Николай Фирсов был реабилитирован. В нашем роду изменников не было.

А электростанция продолжала работать в Москве. Прошло еще некоторое время, в начале семидесятых годов Анатолий Николаевич Фирсов, мой двоюродный брат, решил ставить новый дом в деревне и поехал по московской родне собирать деньги на стройку. Возникла здравая идея обратиться к директору электростанции, которая была спасена отцом Анатолия.

Молодой директор выслушал моего брата и сказал, что может дать единовременное пособие в размере 30 рублей.

Анатолий Фирсов был уязвлен ничтожностью суммы:

— Он же народное добро спас. Миллионы.

Теперь не выдержал директор:

— Кому оно нужно — такое добро? Мы на последнем месте в отрасли, нас песочат на всех совещаниях. Мы же образец расточительности. Станция построена в десятых годах, с допотопными котлами. Жжем угля в два раза больше нормы. Если бы ее взорвали тогда, в сорок первом, имели бы сейчас новую станцию. Стояли бы в моем кабинете Красные знамена. А так — сколько нам еще мучиться?

Недавно я там побывал. Электростанция продолжает коптить московское небо. Правда, произведена некоторая модернизация: вместо угля станция топится газом. Прежде жгли лишний уголь, стали жечь лишний газ — такой прогресс.

Эту семейную историю мы вспоминаем каждый раз, собираясь по фамильным датам. И разгорается дискуссия

на вечные темы долга, патриотизма, жертвенности. Правильно ли поступил Николай Ильич, спасая станцию? И вообще, нужен ли наш подвиг, если результаты его не очевидны?

В таком примерно виде семейная история затвердевает, передаваемая на хранение третьему поколению — внукам. У Николая Ильича их шестеро. Старшая внучка Рая, 1965 года рождения, работает ткачихой, она, конечно, появится на финише века.

В конце концов это есть один из основополагающих вопросов века — что мы передадим последующим поколениям? Деды начинают век, правнуки его завершают.

2. Холодно-холодно

Военные воспоминания хранятся на особых полках памяти, поставленных в основании бытия. Время от времени достается старым солдатам протирать эти безмолвные полки от пыли повседневности.

Над озером Ильмень висело низкое ослепшее небо. Январь 1944 года. Северо-Западный фронт. Я лежал на льду Ильменя, и пулеметы били не переставая. Третьи сутки мы штурмовали вражеский берег, поднимались в атаку и откатывались назад под огнем пулеметов и пушек.

Тут и приключилась эта волшебная история, значение которой я и теперь понимаю не до конца: неужто это в самом деле было там, на льду, под боем пулеметов, на стылом ветру? Или пригрезилось моим отмороженным глазам?

Я увидел будущее — и не просто будущее, а с приклеенным эпитетом. А это означает, что я видел светлое будущее.

Вжимаясь в лед, ко мне подползал замполит первого батальона капитан Хлопотин.

— Слушай, лейтенант,— кричал он ледяным голосом, а у него получался шепот.— Мы должны взять этот проклятый берег. И тогда к нам придет победа. Ты знаешь, какая прекрасная жизнь будет тогда?

— Какая? — завороженно спросил я.

— Победная,— отвечал он под бой пулеметов.— Мы состаримся, станем ветеранами. И перед каждым праздником нам будут давать ветеранский заказ с копченой колбасой и черной икрой. Но это еще не все. Раз в год ты сможешь получить бесплатный билет в мягком вагоне, туда и обратно, дуй куда хочешь. И будешь без очереди сдавать сапоги в ремонт.

Я задыхался от холода, слушая слова замполита. Я верил и не верил, ибо не обладал таким глубоким историческим ви́дением. Вскоре мы в двенадцатый раз поднялись в атаку — и взяли берег. Капитан Хлопотин был тяжело ранен в грудь, его отвезли в тыл на аэросанях, больше я его не видел.

Смешно предположить, что мы, ветераны второй мировой войны, сражались за привилегии. Никто нас не упрекнет в том, что мы пошли на фронт с целью сделать карьеру.

Много мы отдали жизней за Победу. И все-таки тогда, на войне, отдать двадцать миллионов жизней было легче, чем думать об этом сейчас, в год сорокалетия Победы. Это значит, наша скорбь еще не излилась, да она же никогда не изольется до конца, иначе мы перестанем быть великим народом.

Мы скорбим — и продолжаем жить. Павшим — монументы, нам — земные радости и печали.

И все же — как быть с привилегиями, ведь мы пользуемся ими, не так ли?

Давно хотел написать об этом. Иду я за этой ветеранской колбасой, а на душе кошки скребут: неужто я в самом деле за колбасу сражался?

Разумеется, я понимаю, нравственная суть подобных дилемм не может быть глубокой — бреду по мелководью. И незатейливая совесть моя постепенно успокаивается. Ах, как холодно было сорок один год назад на льду Ильмень-озера.

Этот холод и сейчас пронизывает меня сквозь бездонные колодцы времени — и чем дальше я от него, тем он въедливее.

И я начинаю резво работать локтями, пробиваясь к прилавку.

Внук спрашивает:

— Деда, Лев Толстой был ветераном Севастопольской кампании. Он тоже получал ветеранскую колбасу?

— Нет, не получал,— бодро отвечаю я.— Лев Николаевич был вегетарианцем.

3. Тепло-тепло

— Дети! Мы начинаем. Предмет находится в комнате, вы его не знаете. Вы ищете, передвигаетесь во всех направлениях, а я говорю вам: тепло, еще теплее, холоднее, совсем холодно, Северный полюс.

Детская игра — выбор состоит из двух позиций: тепло или холодно. Современная цивилизация усложнилась на много порядков. Проблема выбора включает в себя неисчис-

лимое количество компонентов. Тем не менее в ней всегда существуют два исконных начала. Это те же самые тепло-холодно, в переводе для взрослых значащие: добро и зло.

Начинается игра, отнюдь не детская — и отнюдь не игра. Добро — еще добрее — нет, нет, это не наше добро — это добро злое...

Минувшей весной я был на заводе двигателей. Видел неукоснительные конвейеры, умные безжалостные роботы. Это значит, подошла очередь рассказать о Марине Викторовне, прекрасной молодой женщине с пышными волосами, сопровождавшей меня по заводам. Марине Викторовне 32 года, она секретарь горкома комсомола. А мы весь день на ногах — проголодались. Едем в ресторан и сразу проходим в закуток, весьма, впрочем, уютный. Начинается застолье, так сказать, поздний обед, переходящий в ранний ужин. Традиционное русское хлебосольство. При этом выясняется, что оно никому ничего не стоит: ни прекрасной молодой хозяйке, ни мне, ветерану второй мировой. Мы едим, а каким-то странным и чудодейственным способом расплачивается за этот обед государство. Так уж давно повелось, лет 20, я думаю.

Достаточно было сочинить любое модное словосочетание: ну, скажем, литературная декада, тепло, тепло — собрали 25 человек и летим на эту литературную декаду. А там нас ждет море разливанное.

Товарищ партия, отмени этот вредный и к тому же безнравственный обычай. Время Накрытых Столов кончилось.

Врочем, мы с Мариной Викторовной ели умеренно, и у нас получилась совсем иная тема. Сидим мы, значит, в симпатичном закутке, ведем умные разговоры, и вдруг я вспоминаю: как же так? С нами же был водитель Володя, который нас весь день возил.

— Он в машине,— спокойно отвечает Марина Викторовна.— Ждет нас.

— Там же холодно. На улице дождь.

— В кабине тепло. Печка работает. И радио есть, он может музыку послушать,— все-таки мне показалось, что Марина Викторовна была несколько смущена.

Вы заметили, по какой модели развивался наш разговор: тепло — холодно.

Я уехал с завода двигателей, но долгое время был неспокоен. Меня волновал вопрос: когда все это началось?

Марина Викторовна секретарствует второй год. Она умеет

произносить зажигательные речи, поднимать молодежь. Вместе с тем она в свои 32 безмятежных года четко знает, что ей полагается персональная «Волга» с водителем, закрытый буфет, спецполиклиника. Марина Викторовна знает, что может войти в любой магазин с черного хода — и никто ее не остановит, скорее наоборот. Но если она сядет за один стол со своим водителем, то от этого произойдет какое-то разрушение ее положения.

Откуда это взялось в нашей пролетарской державе? Когда это началось? Ведь в школе Марину этому не учили. Мы, я имею в виду нашу литературу, ответственность за которую полностью разделяю, мы тоже Марину не призывали к этому, показывая ей раскрашенные картинки социальной гармонии.

А получилось холодно-холодно. Получилась экономия на доброте.

В жизни Марины Викторовны двадцать последних лет были затрачены на нравственное воспитание. Может, это и есть тот искомый срок, о котором мы все печемся в надежде определить: когда же это началось?

Всем любителям дармовщины сейчас придется несладко: банкеты и застолья за счет казны отменены.

Одно решение принято. Лед тронулся. Но если водитель три часа ждет в машине свою хозяйку — тут никакое государственное установление не поможет. Тут требуется нечто высшее — общественное мнение.

Давайте же его создадим.

А пока предвижу ответ прекрасной Марины Викторовны:

— Напали на бедную девушку. Разве я одна? Все так делают.

Увы, я не осуждаю Марину, я стараюсь ее понять. Ведь я тоже получаю мои привилегии, и Марина Викторовна могла бы на то намекнуть, но деликатно промолчала. Однако же имеется тут одно немаловажное обстоятельство. Ветераны Великой Отечественной войны начали получать свои льготы через 30 лет после Победы.

Как-никак Победа была вначале.

4. Я этим не занимаюсь

Что происходит.

Людей в нашей стране становится все больше, а расстояние между людьми увеличивается еще быстрее. Растет количество перегородок, до предела увеличен выпуск изоляцион-

ных материалов, мы готовы охотнее разделить свое одиночество с телевизором, нежели с себе подобными.

Специализация хороша в технологии. Специализация в человеческих общениях коварна.

Юрий Иванович — потомственный русский интеллигент. 52 года. Из них 20 лет на бумажно-руководящей работе. Как он любит руководить, редко можно встретить такую страсть. Руководящая работа для Юрия Ивановича не средство, но цель. Поэтому вокруг него с утра до вечера существует поле напряжения. Я уверен, что именно он, Юрий Иванович, привел в действие организационный перпетуум-мобиле. И все у нас перестановочно закружилось.

Мы живем на одной улице и время от времени встречаемся на углу. Каждое утро за Юрием Ивановичем приезжает черная «Волга».

Как-то у меня возникла надобность по бумажному делу. Я вспомнил про Юрия Ивановича и отправился к нему. Он выслушал меня благосклонно, но ответ его был удивителен:

— Я этим не занимаюсь,— вот как он ответил!

— Но ведь ваше ведомство занимается именно такими бумажными делами,— робко пытался возразить проситель, то бишь я.

— Я занимаюсь бумагой в линейку, а ваше дело в клеточку. Этим занимается Николай Евграфович, его кабинет напротив.

— Но я же его не знаю. Уж лучше вы его попросите.

— Он меня не поймет и обидится. Ведь я этим не занимаюсь.

Двое мудрецов договорились меж собой. Давай развивать специализацию. Ты будешь заниматься болтом. Я — гайкой.

Одна беда: гайки не накручиваются на болты. Так ведь и это не проблема: создали Главный трест по закручиванию. Вмиг все сошлось и стало закручиваться.

В небесной канцелярии города Энска специализация была такая.

Начальник А. занимается облачностью до двух тысяч метров.

Б. ведает облачностью от двух до пяти тысяч метров.

В. руководит облачностью свыше пяти тысяч метров.

Г. занимается западными ветрами, дующими на высоте свыше десяти тысяч метров...

А за чистое небо никто не отвечает.

— Я этим не занимаюсь.

Ответ звучит внушительно, почти державно. А ведь совсем недавно его изобрели, уверяю вас, в нашем XX веке, во второй половине века. В третьей четверти. Я почти уверен, что знаю имя первопроходца. Это Юрий Иванович.

5. Невыгодная экономия

Другое великое изобретение XX века, произведенное на свет потомственным интеллигентом Юрием Ивановичем,— отчетный показатель. За последние десятилетия это великое открытие проникло во все поры нашей действительности.

Если вы прочтете возмущенное письмо в газете, что поливальная машина выехала на улицы города после дождя, знайте, это отчетный показатель был причиной. Если программа «Время» покажет, как железнодорожники гонят пустые вагоны, знайте, это он же, отчетный показатель.

Фокус в том, что показатель создается не ради дела, а ради отчета. В деле становится важен не результат, а показатель результата. Любое проваленное дело можно прикрыть показателем.

Закон иллюзии гласит:

— Иллюзия возникает из ничего, но заполняет собою все.

Следствие из закона иллюзии гласит:

— Ничто управляет всем.

На полках магазина усто, а план товарооборота выполнен на 101 процент — прода и с черного хода. Пустой дом стоит незаселенный, а премии за него получены строителями еще под Новый год.

Чтобы не быть разоблаченным, показатель множится, дробится. На каждую продукцию — свой показатель, счет пошел на миллионы.

Иллюзорным становится сам процесс работы. Главный конструктор разработал проект нового прокатного стана. По всем мировым показателям получился прекрасный стан — кроме веса. Перетяжелили. Конструктор, как говорится, не попал в линию.

Однако против ожидания защита проекта на коллегии прошла благополучно, словно обе стороны знали нечто такое, о чем лучше промолчать. Стан запустили в производство. В газете появилась похвальная статья. Поговаривали о том, чтобы выдвинуть прокатный стан на Государственную премию.

А все-таки: зачем перетяжелили?

Ответ я услышал от главного конструктора:

— Все дело в показателе. В стан закладывается множество параметров. Среди прочих показателей имеется и такой: будущая экономия металла. Каждый следующий стан, который мы будем выпускать в этой серии, должен быть легче на 4 процента. А мы даем два стана в год. Если мы не снизим вес стана, план не будет выполнен, мы не получим премии. Хочешь не хочешь, я должен закладывать в стан полтора веса. Зато потом имеем десять лет спокойной жизни.

Сказано — сделано. Экономия планируется, экономия осуществляется. Всем хорошо. Одно накладно: за такую экономию приходится дорого платить. Но если поступить по велению совести: снизить вес стана в самом первом варианте, а потом десять лет ничего не менять, то всем станет плохо. Произойдут непоправимые вещи: невыполнение плана по экономии металла, лишение премий проработки, выговоры — страшно подумать.

Поэтому Юрий Иванович провозгласил:

— Нам сверхплановая экономия не нужна. Нам нужна такая экономия, которая планируется заранее.

6. От Госплана до станка

Чтобы пересечь Цветной бульвар у Самотечной площади, надо долго дожидаться перерыва в потоке машин, которые в этом месте текут особенно густо и коварно, поворачивая широким виражом от Садового кольца в сторону цирка. Однако на этот раз переход был свободен. На повороте стоял старшина автодорожной службы — и в руках у него черно-белый жезл. Старшина не давал машинам сделать поворот, гнал их прямо вдоль эстакады — а там горловина, каменная узость, машины не поспевали протиснуться, тормозили, вставали вперекос. Назревала пробка.

Я спокойно пересек опустевший бульвар и задержался на середине, наблюдая за старшиной. Рослый, плечистый, он возвышался над машинами, жезл летал резко и красиво, гоня ревущий поток по заданной линии.

Сейчас будет пробка, все застопорится. Мне хотелось крикнуть, дать сигнал старшине, хотя я понимал, что он не услышит меня в этом железном гуле. Но тут со стороны цирка подкатила голубая «Волга» с мигалкой. Старшина посмотрел на часы, нырнул в машину. Голубая «Волга»

красиво развернула и укатила, оставив перекресток на произвол судьбы.

Бульвар продолжал тревожно гудеть. Но жезла не стало. Первые машины еще продолжали по инерции двигаться прямо — за теми, что были впереди. Но накатили задние, не видевшие жезла, не ведавшие о запрете. Только что было нельзя — и вдруг стало можно. Так повелел молодой старшина. Юркий малиновый «жигуленок» первым свернул на бульвар, ему никто не мешал, и он резво рванулся вперед. За ним припустились другие. Еще минута, другая — и поток сделался ровным, неослабным, машины естественно катились по извечному пути. Только там, у эстакады, светофор домешивал остатки недавней пробки.

Государственный корабль совершает крутой поворот на полном ходу. Курс выверен и определен партией: перестройка хозяйства и управления им, интенсификация, научно-технический прогресс. Но разве тут обойдешься без перестройки психологической? Ради того я и взялся за перо.

Нас 277 миллионов. При таком человеческом обилии бестактно говорить о том, что у нас недостает рабочей силы. Может быть, у нас не всегда доставало умения привести эту великую энергию в действие — об этом мы и начали говорить.

Мы созидаем наше будущее на основе научных расчетов, провозгласив первую в мире плановую систему. Наше общество устремлено в будущее. Для нас стало привычным словосочетание: итоги и перспективы.

Но вот случился непонятный сбой в плане. Причины этого еще не проанализированы до конца. В газетах сейчас то и дело публикуются материалы с критикой министерств, Госплана за допущенные ошибки. Но если ошибки были совершены и потом повторяются, то вполне логично вывести заключение, что они были запланированы. Уверовав в силу и непогрешимость плановой системы, мы как-то незаметно для самих себя упустили из виду, что план — это процесс, а не результат.

В годы первых пятилеток в стране действовал Наркомтяжпром во главе с Серго Орджоникидзе. Так вот, ту работу, которую 50 лет назад исполнял один наркомат, сейчас ведут 33 министерства. А это означает только то, что мы пошли по линии количественного управления.

Наша экономика растет, и рост ее будет ускорен. Один специалист произвел несложный расчет: если мы и дальше будем развивать управление по количественному (или отрас-

левому) признаку, то уже в начале XXI века нам потребуется 130 министерств.

А чтобы бесперебойно руководить ими, нужны 8 Госпланов. Одно можно сказать — при таком подходе расстояние от Госплана до станка не сократится. Будет ни горячо, ни холодно.

Мы говорим: государственный план есть закон. И тут же бодро провозглашаем: выполним план досрочно. Но разве можно перевыполнить закон?

Из рапорта начальника уголовного розыска города Энска:

— План раскрытия преступлений в сентябре сего года выполнен на 110 процентов.

Ясно, а главное — коротко.

Приехал инспектор:

— Как вам удалось раскрыть больше того, что было совершено?

— Докладываю. Удалось раскрыть четыре несовершенных преступления. Но поскольку они были запланированы преступниками, то входят в отчетность. Мы их предотвратили.

— Интересно. Будем распространять ваш опыт.

Идея усиления централизации управления имеет свои исторические корни и причины. В частности, централизация была вызвана условиями военного времени. Но теперь-то войны нет — сорок лет. А централизация мало сказать, осталась, она развивается и крепнет. Недавно услышал на одном заводе:

— Дубль-централизация.

В нашей стране 100 000 действующих (не считая мелких) предприятий. Это означает — у нас сто тысяч первоклассных, высокоталантливых руководителей, командиров производства во всех отраслях человеческой деятельности. Это же вселенская сила.

Освободите ее.

7. Три дня в Кремле

Май 1955 года выдался в Москве чистым и теплым. На всех перекрестках благоухала сирень, словно город стал огромной корзиной с сиренью. В перерывах между заседаниями мы выходили на край косогора кремлевского холма и смотрели на простирающийся внизу город.

Тогда в Кремле три дня работало Всесоюзное совещание работников промышленности, я был на нем корреспондентом журнала «Новый мир». Вот когда мы начали говорить во

весь голос о наших проблемах: показателях плана, новой технике, сокращении аппарата, администрировании.

Помню выступление тогдашнего директора «Уралмаша» Г. Н. Глебовского. Он взволнованно и бесстрашно говорил, говорил о правах и обязанностях директора.

— В разделе «Обязанности» я предлагаю записать такое положение: «Параграф первый — директор обязан бороться за свои права».

Это было как прорыв плотины, аплодисменты волной прокатывались по залу, словно присутствующие жаждали услышать эти слова на бис.

Тогда же после совещания я написал очерк «Стружка». Последний раз его переиздавали два года назад.

Как же так? Тридцать лет говорим и пишем об одном и том же. А ведь это немалый срок — треть века. Я писал в старом очерке, как при изготовлении лопаток турбины на Харьковском турбинном заводе 65 процентов металла идет в стружку. А всего в нашей стране в 1954 году, по данным академика А. И. Целикова, было произведено 6 миллионов тонн стружки.

Перемены, однако, есть. В 1984 году в стране стружки было произведено в два с половиной раза больше. Со стружкой стали обращаться бережно, стружку экономят. Более того, стружка включена в план.

Боюсь, что это уже надолго.

Наши проблемы успели затвердеть, сделаться родными и близкими. Мы старались решать проблемы по старой схеме — методом замалчивания. Загоняли проблему внутрь: а вдруг рассосется?

Так ведь нет: не рассосались наши проблемы, только усугубились с годами. Теперь самим придется их решать не перекладывая на плечи внуков.

8. Горячо-горячо

Юрий Иванович прочитал мои заметки в рукописи и многозначительно покачал головой:

— Не пойдет. Вы же всё опрокидываете. А это что? Выступаете против государственных учреждений.

— Юрий Иванович,— в отчаянии воскликнул я,— как можно! Я — «за»! Но только на новом уровне.

— Что же вы предлагаете? Где ваша конструктивная программа? В частности, относительно министерств. Вам что — название не нравится?

— Дело не в названиях. Но чтобы это были ассоциации свободных промышленных предприятий. Пришла пора кончать с заклинаниями. Вместо заклинаний необходим естественный стимул. Чтобы каждый руководитель знал: если я даю, то и получаю. Надо раскрепостить заводы от централизации.

— Кто это сказал? — Юрий Иванович огляделся вокруг и даже голову приподнял ради широты обзора.— Разве есть такая директива?

— Есть! — не выдержал я.— Это веление времени.

— Вы слишком много на себя берете,— с достоинством продолжал он.— Я не могу допустить, чтобы вы чернили Госплан. У нас нет второго Госплана — и быть не может.

Зазвонил телефон. Юрий Иванович снял трубку и тут же вытянулся по стойке «смирно» перед аппаратом. Послышались взволнованные междометия, невольные всхлипы, по правой щеке Юрия Ивановича протекла слеза радости.

Я понял, что стал невольным свидетелем исторической минуты, а может быть, и звездного часа Юрия Ивановича.

— Пришла директива,— шептал в трансе Юрий Иванович, опустив трубку.— Великая директива. Историческая. Какая мудрость. Глубина. Энергия.

— Да что решили-то, Юрий Иванович?

— Тихо! Тут надо говорить шепотом. Это глубоко. Это мыслительно. Режим экономии — вот что сейчас необходимо, на данном историческом этапе. По моей отрасли спущена разнарядка на 22 миллиона. Но где я возьму столько миллионов? Директору спустили. А инструкции по ее исполнению нет. Ну хорошо, мы сократим количество электрических лампочек, это даст нам две-три тысячи. А дальше?

— Юрий Иванович, вы забыли про машины.

— Какие машины? — он удивился.

— Те самые, бесплатные. То есть бесплатные для вас. А для государства очень даже не бесплатные.

Юрий Иванович вскипел благородным негодованием:

— Зависть не может быть советником разума. Это исключено. Никто на это не пойдет. Как же мы ездить будем?

Но я уже не мог остановиться:

— Мы с вами живем на одной улице. Каждое утро в одно и то же время во двор въезжают четыре черных «Волги» и четыре начальника едут цугом по городу в один и тот же дом, где они служат. Разве не хватит на четверых одной машины? Зато какая экономия, это же десятки миллионов.

Но Юрий Иванович мыслил совсем не так, как мы, смертные. Он был великим аппаратчиком — и он изрек:

— А кто кого везет?

Я тут же осознал свою ошибку. Более того, мне стало жаль Юрия Ивановича. Он человек до тех пор, покуда при нем есть машина, пайковая книжица и прочие атрибуты державности. Отнимите от него эти неодушевленные предметы, и от Юрия Ивановича останется один пшик, ускользающее воспоминание. Но кто же тогда станет управлять бумажным делом в клеточку?

Делать нечего. Пришлось призвать на помощь компромиссный вариант, который я до того держал в уме.

Прекрасно. Тогда вместо персональной машины Юрий Иванович получит талоны на такси: 300 километров в месяц. Юрий Иванович по телефону заказывает на утро машину. К подъезду приходит та же черная «Волга», которая теперь передана в таксомоторный парк. Наш дорогой и любимый Юрий Иванович садится и катится.

Какая метаморфоза. Юрий Иванович уже не дает машину жене, чтобы та ехала на базар или к косметичке, не везет дочку в школу. Юрий Иванович считает талончики. Это государственных километров ему было не жалко. А талончики-то свои.

Не раз принимались решения о персональных машинах — не пора ли стронуть воз с места.

А еще я предлагаю начать кампанию под таким лозунгом:

— Закрыть закрытые буфеты! Юрий Иванович, вы слышите меня?

Напрасно я вглядывался в коридорные дали. Юрия Ивановича и след простыл. Только эхо гудело по коридору: «Я этим не занимаюсь».

9. Ускорение добра

А я тем временем разохотился. Сэкономленные миллионы так и сыпались из-под моего пера. Да что там миллионы — миллиарды.

Обувь лежит на складе в аккуратных белых коробочках, а ее никто не покупает. Тюки синтетических тканей тоскуют на полках — не берут.

Вот оно: принцип главной экономии прост. Чтобы определить его, вовсе не нужно быть экономистом или философом. Он гласит:

— Главная экономия будет тогда, когда мы перестанем производить то, что никому не нужно.

Часовая промышленность (еще совсем недавно славная) произвела ненужных часов на два миллиарда рублей. Можно найти причины, дать объяснения, войти в положение — а два миллиарда так и лежат мертвым грузом.

До каких же пор мы будем обманывать самих себя? Товар не находит сбыта — как это зовется? Затоваривание, излишки, неликвиды — какие-то жалкие слова-недоумки, слова-кастраты. Кто их только выдумал?

Вот что я хотел сказать: добренькое у нас государство. Оно всегда примет на себя чужие грехи. И это прекрасно знают те дяди, которые в силу малых своих способностей гонят товар на полку.

К сорокалетию Победы было принято решение подарить каждому ветерану часы. А ветеранов у нас более шести миллионов. Часовая промышленность вздохнула с облегчением. Но лучше от этого не стала.

Я не хозяйственник, не работник Госплана, занимающийся бумажным делом в линейку или клеточку. Я публицист, знающий цену слова. И потому я скажу: это не та доброта, которая идет на пользу дела. Если мы и дальше будем такими добренькими, то мы прогорим.

На этот раз в качестве потребителя выступает чабан Афанасий, живущий в Горном Алтае. В доме полная чаша: цветной телевизор, холодильник, стиральная машина, радиоприемник. Хозяин с гордостью демонстрировал свое добро, крутил ручки. Я посмотрел на часы:

— Давайте включим телевизор, сейчас будет программа «Время».

— Программы «Время» не будет. У нас электричества нет.

Вот и задумался я на обратном пути. В чем причина того, что мы стали жить не по средствам? Ведь не всегда было так. Это из последних наших приобретений, когда мы стали потребителями при полном дефиците того, что собирались потреблять.

Как часто мы принимаем вещное добро за добро вообще. Но ведь добро неделимо. Потому-то и взят курс на добро.

10. Кто разрубит заколдованный круг?

Снова потребление идет впереди производства.

И вот что тогда получается.

Звонок в дверь. Открываю. Хлюпая носом, к моей груди

прижимается Раиса, внучка Н. И. Фирсова, живет она в Ивановской области, но частенько приезжает к нам за мясом.

— Как жизнь? — говорю.— С приездом.

А она:

— Зачем мы только пятилетку перевыполняли? — и в слезы.— Я не за мясом, за медалью приехала,— и пуще прежнего заливается.

Слово за слово — раскручивается черно-белое кино. Раиса работает в передовом ткацком цехе, у них знатная ткачиха Н.— героиня труда с Золотой Звездой. Ткут они сообща сверхплановые километры тканей, очень при этом стараются. А тут приходят к ним такие же девочки из универмага и говорят: «Зачем вы все это ткете?» Оказывается, ткань эта никому не нужна, никто ее не покупает — завалили все склады своими сверхплановыми километрами.

И решила Раиса Фирсова, что откажется от награды. Ведь это медаль за брак, а не за доблестный труд.

Такая вот проблема. Что ответить моей родственнице? Собрали семейный совет, решили: медаль надо принять. А вот с ненужной работой придется покончить, вплоть до того, чтобы менять профессию. Уехала Рая, пока от нее никаких вестей.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

Министр приехал на автомобильный завод и говорит на собрании актива:

— Товарищи автомобилестроители! Вы славно потрудились над выполнением плана. Но мы просим вас — дайте нам сверх плана еще сто грузовиков, очень нужных для народного хозяйства.

Автомобилестроители отвечают:

— Товарищ министр, мы сделаем, дадим сто грузовиков сверх плана, но есть у нас одно узкое место: дайте нам рессоры. чтобы сделать сто грузовиков.

Министр едет к машиностроителям:

— Товарищи славные машиностроители, к вам обращаюсь. Дайте нам сверхплановые рессоры, чтобы сделать грузовики.

Машиностроители отвечают:

— Мы выпустим рессоры. Одна у нас просьба: дайте нам металлопрокат.

Министр едет к прокатчикам:

— Товарищи славные прокатчики! К вам обращаюсь.

Дайте нам прокат, чтобы сделать из него рессоры, чтобы сделать из них грузовики для народного хозяйства.

Прокатчики отвечают:

— Мы дадим вам прокат, но имеется просьба: дайте нам металл.

Министр едет к металлургам:

— Товарищи славные металлурги! Дайте нам металл, чтобы сделать из него прокат, чтобы сделать из него рессоры чтобы сделать из них грузовики для народного хозяйства.

Металлурги отвечают:

— Будет сделано. Только подбросьте нам руды.

Министр летит на горный комбинат:

— Товарищи славные горняки! Нам нужна ваша руда, чтобы сделать из нее металл, чтобы сделать из него прокат, чтобы сделать из него рессоры, чтобы сделать из них грузовики для народного хозяйства.

Очень радовался министр, все так у него складно получается.

Отвечают горняки:

— Сделаем, товарищ министр! Всенепременно! Вот только одна к вам просьба: не успеваем с карьера руду вывозить. Дайте нам сто грузовиков — тогда всенепременно сделаем.

Министр летит обратно на автомобильный завод и говорит на собрании актива...

Закон заколдованного круга гласит:

— Заколдованный круг нельзя бросать утопающему — не спасет.

Кто же разрубит заколдованный круг? Только мы с вами. Только при всеобщем участии каждого. Мы разрубим любой заколдованный круг, когда станем в ряд, приблизимся друг к другу, возьмемся за руки — и двинемся сообща. В одиночку и пробовать не стоит.

Гора перед нами высокая, и на нее надо идти всем миром плечом к плечу — только тогда возникнет цепная реакция добра.

От одного хорошего дела будет само отщепляться другое.

Тут и письмо подоспело, которое я давно поджидал. Сомкнулось сюжетное кольцо. Читаю.

«...Сначала мне было как-то нехорошо, что даже не могла написать вам. Так мне и надо. За этот ужин в закутке я получила заслуженный урок. А теперь муки моей совести разрешились естественным образом. Володя устроился на самосвал и ушел на стройку, а я стала безлошадная, так как машину отправили в капиталку. Езжу на трамвае. Честное

слово, мне это больше нравится. Мы, тридцатилетние, еще ничего не сделали, а получаем все. У нас привилегии идут впереди работы. Это несправедливо, от этого происходит искривление души... Вы уж, наверное, подумали, будто я вам отвечу: «Все так делают». А я мучилась, мучилась. Да и сейчас еще не успокоилась. Конечно же не все так делают, я бы могла дать вам много примеров. Мы распрямляемся...»

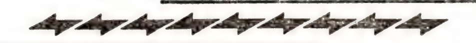
И подпись была заделана чисто на женский лад: «Ваша М. В.» — Марина Викторовна.

Русский язык, такой великий и прекрасный, тоскует по свежему слову, и мы уже слышим его сквозь громыханье булыжников.

Ускорение добра началось. Ускорение добра будет продолжаться.

Тепло — еще теплее...

Дубулты,
август 1985



Валерий ПОВОЛЯЕВ

ПЛАНОВ ГРОМАДЬЕ

Напряженной, целеустремленной жизнью живет страна. Велики задачи, которые приходится решать советскому народу. Задача номер один — святая святых для всех нас! — сохранение мира и покоя на планете. Поговорите с фронтовиками, которые прошли Великую Отечественную! Поговорите с теми, кто вдали от фронта был фронтовиком, ковал оружие для победы на уральских и сибирских заводах, кто вынес голод и холод, но сделал все, чтобы солдат был сыт и вооружен! Поговорите с теми, кто в составе только что сформированных дивизий прямо из эшелона уходил в бой! Эти седые, знающие жизнь люди немало расскажут о том, что такое боль и крик раненых, что такое плач матери, потерявшей сына, и бывает ли боль своя и боль чужая! Только тот, кто не знает, что это такое, может считать, что есть боль чужая. А ее не должно быть. Тишину надо сохранять, пока эта тишина стоит на земле. Мир нужно сохранять, пока он есть. Если же не станет, то и сохранять его будет поздно. Всякому понятно, что песни детей лучше песен пуль и осколков. И хочется, чтобы это хотя б на десятую долю осмыслили те, кто пытается сегодня раздуть военный пожар. Среди тех грандиозных дел, которыми занимается страна,— не только международные, а и внутриполитические, экономические, которые выдвинуты в последних партийных документах.

Меняется стиль нашей жизни, ее движение, тёк. Как река весною сбрасывает с себя остатки мусора, обломки ледовой кольчуги, чистит берега и весь хлам уносит вниз, так и жизнь уносит сейчас всю накипь, пену, образовавшуюся за годы. Сказано решительное «нет» пьянству, очковтирательству, двурушничеству, непринципиальности, лени, накопительству, особенно накопительству за счет государства, всему худому, что есть в человеке.

...Планы создаются для того, чтобы их выполнять, не

отлынивать, не смотреть на них со стороны, как на некую наглядную агитацию — очень выгодным кое для кого оказывается это дело: смотреть со стороны, быть наблюдателем, а не участником, потирать руки и заговорщицки подмигивать — давай, мол!

Не секрет, что совсем недавно был до граммов рассчитан коммунизм — и сколько будет человек потреблять масла, сахара, а сколько галушек, было рассчитано, и год, когда коммунизм наступит, был указан. Подошел этот год — коммунизм не наступил. Ибо коммунизм не рассчитывается на бумаге, тем более до граммов,— коммунизм надо создать. Трудом своим. И рассчитывать надо на самого себя, а не на дядю со стороны — придет, мол, подсобит, доделает несделанное.

Не доделает!

И планы должны быть реальные. Потому их и выставляют на широкое обсуждение: если что не так, уточните, люди, подправьте. В этом залог всенародности, популярности нашей партии, в гласности — норма нашей жизни. Нереальные планы не нужны.

Закладывается фундамент будущего. Перспективы прекрасные, но, чтобы план стал реальностью, а перспективы явью, надо работать. Не по старинке, когда продукцию тачали на коленке, а по-новому, с новой современной технологией, с использованием новых научных методов, с повышенной производительностью труда. Хотя повышать до бесконечности свой труд только за счет собственных мускулов человек не может. Для этого обязательно нужна совершенная, а точнее, постоянно совершенствующаяся техника, плюс собственное совершенствование, плюс человеческий фактор. Человек с его мыслью и страстями, с его дыханием и стремлением разумно преобразовать землю, на которой он живет, с его думой: как-то завтра будет житься его детям, а что им достанется в наследство? — вот какой человек нужен.

Мы планируем свою жизнь до двухтысячного года, смотрим в завтра. Нигде, ни в одной стране нет документа, где бы стояла эта цифра: 2000. Начало двадцать первого века — что будет ощущать человек там, какими глазами станет смотреть в наш день, будет ли благодарен нам или, наоборот, станет нас ругать...

Одна из важных проблем, которая, как мне кажется, поможет в выполнении плана — это проблема организации работы. Она тесно, теснее быть не может, связана с урегулиро-

ванием производительных сил и производственных отношений. Производительные силы всегда стремятся идти вперед, а производственные отношения часто тормозят, тянут назад: иному работнику в одних только инструктивных письмах разных министерств и ведомств можно сломать голову — то нельзя, се нельзя. А что, собственно, можно?

Я это хорошо знаю на примере Западной Сибири.

Директор ЗапСибНИИГНИ — института, занимающегося геологией, разведкой и уточнением запасов нефти,— лауреат Ленинской премии Иван Иванович Нестеров, рассказывал мне, что за счет науки он не может, например, ничего внедрить в производство. А как же наука без производства-то, без внедрения? Производство ведь не хочет брать кота в мешке, всякое научное новшество надо опробовать. Ан нет, оказывается, не моги опробовать!

— Если я что-то попытаюсь проверить на практике, внедрить самостоятельно, так сказать, то с института снимают ассигнования, а меня просто-напросто штрафуют,— с горечью говорит Иван Иванович,— хорошо, что сумма штрафа небольшая, всего семь процентов от оклада, а если больше? Это же дикость: открытие нельзя проверить на практике! В науке у нас есть разные рубли: одни отведены — и ждут, поскольку отведены,— на капитальное строительство, другие на проектирование, третьи собственно на науку — всего около двадцати типов рублей. И, увы, руководитель отвечает своей головой, если рубли из одной графы перекочуют в другую. В магазине же нет деления, того, чтобы рубли были сахарными — от продажи сахара, колбасными — от продажи колбасы, булочными — от продажи булок. Выручка единая. И если надо произвести рокировку, передвинуть рубли из одной графы в другую, если этого требуют интересы дела — пусть такая рокировка будет произведена. Ведь, повторяю, выручка-то общая!

А в науке? И тут должна быть общая выручка. И на эту общую выручку надо работать, увеличивать ее, у руководителя не должны быть связаны руки, и там, где выгодно переместить деньги из графы в графу, пусть руководитель это делает. Под свою ответственность.

Хотя при такой гибкости, когда деньги перекладываются из одного раздела в другой, есть и иная опасность. Именно поэтому большой город Нижневартовск остался, например, без кинотеатра. Остался потому, что эти деньги пошли на производственные нужды, на нефть. Клич «давай, давай, давай!» действовал подхлестывающе — нужна была нефть, и

прежде всего нефть, и ее давали, а все остальное откладывали уже на потом.

Вот так и получались перекосы.

Сейчас в Западной Сибири, в стране Тюмении, возводятся четыре новых города, развиваются они комплексно — не по типу Нижневартовска, а именно комплексно: если по проекту запланирован детский садик, то он будет обязательно выстроен и деньги, отведенные на него, не уйдут уже на строительство булочной или стадиона. Гибкость тут нужна совсем не та, что в науке.

И. И. Нестеров может принять на работу кандидата наук, доктора наук, профессора, академика — пожалуйста, лишь бы свободные ставки были, а сторожа, обыкновенного сторожа принять не может, это номенклатура министерства, и согласовывать ее должен с министерством, вот ведь. Разве это справедливо? Ныне движение вперед немыслимо без науки. Именно наука является основой НТР.

Кто скажет, как и когда началась научно-техническая революция, где находится порог, первоначальная точка отсчета? Одни полагают, что НТР началась с возникновения колеса и доказывают, что колесо — одно из самых гениальных изобретений человечества, что, кстати, вполне вероятно; другие точкой отсчета называют паровоз, сделавший первые метры по железным рельсам; третьи — автомобиль. В общем, сколько людей, столько и углов зрения.

Всякий научный коллектив складывается трудно — нет единой формы, закона, по которым бы шло это рождение. Научный коллектив — это мозги плюс стимулятор. Мозги — это не так-то много, во всяком НИИ всего два-три процента от «личного состава», остальные — исполнители идей, питающая основа, без которой не обойтись никакому коллективу.

Если раньше ученые-тюменцы — из института того же И. И. Нестерова — брали на пятилетку триста тем, то сейчас берут триста уже на один год. Но крупных из них — двенадцать-тринадцать. Крупные темы — это, так сказать, темы разобщенные, которые заставляют человека предельно сконцентрироваться, заставляют думать. Ну условно: как рождается нефть? Или: как молекулы твердые преобразуются в газ? Эту тему уже лет сто пробуют решить (вспомнил изречение одного поэта: «Написал семьдесят стихотворений о любви и закрыл тему»), пробуют закрыть тему — и, увы, пока не могут. Ничего не получается.

В современных условиях существует довольно жесткий закон, который мы условно можем назвать «законом инфор-

мации». Человек как собеседник бывает интересен до тех пор, пока сообщает что-то новое, то есть информацию, которую мы не знаем. Так и среди нас, писателей: писатель интересен, если по-новому говорит о наболевшем, первым подмечает типическое, помогает решить проблему, неожиданно остро и свежо лепит литературный образ. Как только собеседник начинает повторяться, топтаться на одном месте, изрекать избитое, преподносить уже известные и набившие оскомину истины — он перестает быть интересным.

Западная Сибирь — это каждый раз, когда приезжаешь сюда, интересный собеседник, это новый пакет информации. Здесь, в Сибири, я услышал довольно неожиданное выражение: «Тюмень в Тюмени». Оказывается, так зовут здешнюю науку. Науку, без которой ныне невозможно выполнить любой мало-мальски повышенный план. И Тюмень, и Томск — научные центры, где опровергнуты многие утвердившиеся постулаты.

Когда-то в учебниках, например, черным по белому было написано, что «Сибирское Зауралье на нефть и газ бесперспективно». Нефть и газ были открыты, и до 2000 — по меньшей мере — года здешняя земля останется главным «топливохранилищем» страны. Нигде ничего подобного нет.

Открыта нефть. Открыт газ. Идет работа. Возникла новая проблема — строительство. Чтобы брать нефть и газ из земли, нужны города, поселки, дома: людям надо же где-то жить. И не абы как жить, а по-человечески. Нужны стройматериалы. Но где их взять, когда в тех же учебниках черным по белому записано, что здешняя земля и на стройматериалы бесперспективна. В год в Тюменской области, например, осуществляется 90 миллионов тонн грузоперевозок, из них 60 миллионов — это строительные грузы.

А сейчас вопрос стоит так, что здешняя земля может обеспечить строительным материалом чуть ли не всю планету — найдено так называемое опаловое сырье — диатомит. Из него можно делать легкие строительные блоки, причем вес одного кубометра равен примерно 20 килограммам. Это в 50 раз меньше веса воды. С помощью диатомита можно даже поднимать затонувшие суда, можно получать из него чистый оптический кварц, на который обычно идет хрусталь. Еще одно направление этого сырья — сельское хозяйство. Диатомит обладает способностью всасывать влагу из воздуха. Можно рассыпать диатомит, допустим, на поле. Если выдастся засушливое лето, то диатомит будет брать влагу из воздуха и отдавать

ее растениям. В дождь спокойно пропускает воду через себя, в землю.

В общем, это сырье многоцелевого назначения. Если в СССР оценка запасов всего строительного сырья примерно 60 миллиардов тонн, то диатомита у нас — 500 триллионов. Я не совсем представляю себе, что это такое — 500 триллионов, это не в состоянии охватить человеческий мозг — число остается за пределами фантазии: 500 и еще двенадцать нулей.

Причем 100 миллиардов тонн диатомита выходит на поверхность — это значит, что и взять его не столь сложно.

А вот еще один пример опровержения существующих теорий. Всегда считалось, что нефть и глина — материалы, исключающие друг друга. Вы представляете, что это такое? Бурится скважина, на определенных глубинах берутся пробы, и если в керне попадается глина, то все, бурение можно смело прекращать. Так, кстати, и делалось. Нефть и глина несовместимы. Западная Сибирь снова внесла поправку в учебники: найдена так называемая «баженовская свита». А говоря обычным языком, найдена нефть в глине. Это новый, особый виток, который будет раскручен, наверное, в XXI веке.

В планах стоит и особая задача — охрана окружающей среды. Охрану природы надо поднять на такую же высоту, как и нефтегазовые дела. Природа должна достаться «грядущему веку» не испохабленной, не изжеванной человеком — ведь сыновья и внуки наши не простят, если что...

С другой стороны, со всей откровенностью надо сказать, что вместе с огромным положительным потенциалом, который в себе несет и повседневно реализует Сибирский территориально-производственный комплекс, еще не изжиты такие явления, как погоня за длинным рублем, сутяжничество и халтура, безответственность и очковтирательство. Партия призывает нас бороться с негативными явлениями жизни, называть вещи своими именами — тем самым способствовать успешному строительству развитого социалистического общества, выполнять то, что мы планируем.

На гребне всякого живительного процесса обязательно образовывается пена, нерадивый и завистливый может посчитать критику, звучащую в том или ином зале, только как призыв к снесению существующих заплаток, и, глядишь, под святым знаменем оздоровляющей партийной критики поднимает голову серость и начинает качать права. И тронуть ее не моги, вот ведь как — сразу начинаются вопли: «Со мной

расправляются за критику!» Да никто не расправляется, бог ты мой! Просто вещи надо называть своими именами: клевету — клеветой, справедливую критику — справедливой критикой, навет — наветом, а правду — правдой,— и все станет на свои места.

...Говорят, когда смотрят на нашу Землю с высоты, она вызывает ощущение тепла, благодарности и одновременно удивления: до чего же Земля наша маленькая, беззащитная! И как легко, оказывается, перемещаться из пространства в пространство, как легко нарушить ее равновесие. Все надо делать для того, чтобы равновесие не нарушалось и Земля не ухнула в преисподнюю. Вот для этого мы все живем и трудимся, воплощаем в жизнь «планов громадье», боремся за мир и растим детей.

Юрий ЧЕРНИЧЕНКО

КОМБАЙН ПРОСИТ И КОЛОТИТ...

I

Первого июля 1984 года мне дали хо-оррошего пенделя, от которого я летел километров десять за реку Кубань, в ту самую полевую бригаду, где последние лет двенадцать после тех или иных пенделей получаю кров, борщ и вечерние дискуссии.

Пенделем на языке моих черноморских племянников зовется резкий выброс ноги для придания другому телу ускорения, близкого к величине М. С тем первоиюльским пенделем я получил уникальное право не интересоваться новым семейством комбайнов «Дон», не вникать, не касаться, не соваться и т. д., а одновременно был облечен и обязанностью не лезть, не путаться, не спрашивать — то есть не мешать. Наделил меня этой привилегией генеральный директор «Ростсельмаша Юрий Александрович Песков. Для завидующих — два слова о ритуале.

Церемония имела место в богатых полях Новокубанского района Краснодарского края, где будущие корабли степей зарабатывают путевку в жизнь. День выдался как по заказу. Легкий ветер шевелил валки спелого гороха. Я находился в кабине комбайна «Дон-1500» под номером 00004, спутником у комбайнера Кислякова В. С. Как районный чемпион страды, Владимир Семенович был послан на испытания техники будущего, а меня райком партии направил к нему выяснить условия труда в новой кабине, отразить их в печати и по телевидению. Условия мне очень понравились, хотя сидеть пришлось на железном ящике для инструментов.

Пообвыкнув и оглядевшись, я стал выяснять у Кислякова, почему это его «Дон» в чужой сбруе. Ремни, электроника, кондиционер воздуха носили на себе неизгладимую печать «сделано не у нас». Как бы не вышло так, предостерегал я

скорее самого себя, что новое семейство наработает надежность на заемном, взятом поносить, а к потребителю явится в несколько ином, домотканом обмундировании. Говорят, и завода еще нет для ремней таких типоразмеров — вдруг да не выйдут сразу на мировой уровень на неведомой новостройке? Надо предостеречь руководство Ростсельмаша! Я чувствовал себя пионером у лопнувшего рельса и хотел принести свое маленькое открытие как дружественный знак комбайностроению. Брань, дескать, бранью, а дело делом — вот у деловой прозы какие наблюдения...

За разговором мы с Кисляковым не сразу приметили, что на дальнем краю полосы готовится мероприятие. Скапливались легковые автомобили, из них выходили разгоряченные ездой люди и выстраивались полукольцом. Они разминали ноги и решали походя мелочь дел. Явно назревал сюрприз.

— Володя, Песков приехал! — подсказало мне сердце.— И Коробейников с ним.

— Нет, не Песков,— возразил испытатель.— У Пескова живота нет.

— Коробейников сзади, а в белом кепарике — Песков.

— И белого кепарика у Пескова Юрия Александровича нет,— упрямился комбайнер,— по прошлому году знаю.

Пишущему надлежит уважать в себе пишущего — но непременно с оглядкой! Если же зашкалит, если он, допустим, вообразит, что его катание на ящике с инструментами родит у генерального директора гигантского предприятия (весь остальной мир выпускает комбайнов меньше, чем один ростовский Сельмаш!) желание все бросить и мчать в квадрат юго-западнее пункта Армавир к комбайну № 00004, то налицо минимум переутомление. Время искать психиатра.

Однако же в центре дуги, прочной, как мужское объятие, стоял именно Ю. А. Песков! Тут же находились директор Кубанского института испытаний (КНИИТИМ) Коробейников А. Т., ответственные работники районной Сельхозтехники, другие официальные лица. При таком численном превосходстве срочный одиночный вылет кодексом южной чести позволен. Даже поощряется.

Генеральный директор широко шагнул для стыковки — и выдал... Выдал, одним словом! Автор комбайна он, Песков! И он запрещает подходить к этой машине! Разрешения у меня нет и не может быть... И добавил в неказенной, доступной форме, что если еще когда-нибудь... безразлично где... то тогда уже он... Не до чужой тут было сбруи, свою бы не потерять, три-два-один — взлет!

Вы знаете, Юрий Александрович, неприятные ощущения были только во время набора высоты. А когда я на встречных потоках пошел нордом к Ставропольскому плато, оставляя под правой рукой приусадебный сектор Армавира, места отдыха трудящихся, а под левой — поля, сады, фермы, остатки укреплений полководца А. В. Суворова, прохлада освежила лоб, и оно пришло, ничего не ожидая, гулкое, как ростовский колокол «Сысой»: «Поделом!.. Поделом!.. Поделом!..»

Виновен — и получил самый минимум.

Виновен в социально опасной вере в магию! Вот внедрим, освоим такую-то машину, или насадку на нее, или даже метод пользования, групповой или, наоборот, одиночный,— и расточатся врази, откроется небо в алмазах... Кто насаждал раздельную уборку осенью 1956 года в Верх-Чуманке Алтайского края как истину в конечной инстанции? Кто валил колосья на стерню, облыжно внушая, что «колос в валке — это хлеб в мешке»? Зерно прорастало, зелень переплела солому, валок потом тянулся бесконечной ковровой дорожкой — в какой-то аграрный ад. Да осталось бы оно за горизонтом времен, являлось бы к тебе одному, как приходили лемовским героям на планете Солярис их тайные грехи, так нет ведь: и осенью восемьдесят третьего на том же Алтае видел те же самые адские коврики.

Какие испытания прошла готовность ликовать!

Ну, переделку прицепного комбайна в самоходный, чтоб ползал сам, как Емелина печка, забыли, списали на волюнтаризм, но эксцентриковые мотовила, бункера-накопители, переворот валков, ипатовский метод да герметизацию, сдваивание то ножей, то валков, то еще чего-то, и непременно со схемой в местной газете, с решением о повсеместном внедрении,— все это поныне кипит и бушует... На вдумчивых ЭВМ считают потребность машин на конец века; Сибирь с Казахстаном, сорок миллионов га зернового засева, относят к графе «урожайность 11 центнеров». Чушь, надо бы — «н а м о л о т 11 центнеров», рожает земля гораздо больше! Еще в пятилетие 1905—1909 годов — мне приходилось про это печатать — сбор зерновых по Алтаю составил 10,2 центнера на круг. Неужто за 80 лет прибавлено только 80 килограммов, это в двадцатом-то веке?! Галиматня, как говорит наш бригадир Андрей Ильич. Это все коврики, все вера в чудо! Страда стала временем, когда в поле почти узаконенно остается 20 процентов зерна.

Виновен в сокрытии фактов национальной значимости.

Знал, но не донес о крутом росте парка комбайнов и о синхронном, столь же крутом росте доли ввозимого зерна. Эти явления вступили в преступный сговор для покушения на казну с двух сторон, а я, зная, что выпуск комбайнов перевалил за сто тысяч штук в год, а длительность уборки все прежняя — 24 дня, зная, что импорт зерна за время моей работы вырос в 15, а потом и больше раз, все объяснял то серией технических промашек, то заговором стихийных сил, сознательно не произнося слов «производственные отношения». Убедился, но не сообщал, что производственные отношения, материализованные в машинах уборки, настолько не отвечает требуемым производительным силам, насколько собственный сбор зерна не отвечает нужде в нем — и просит валюты на импорт. Абстрактное понятие «попустительство» метрически может быть выражено весом продовольственного ввоза, а графически — качеством, использованием и ремонтом уборочных машин. А если — в итоге расчлененок, степных досборок, коррупции вокруг сальников-ремней и завскладовского алкоголизма — все-таки она вертится, то единственным гарантом тут — подгруженный планом, семейством и бригадным подрядом хуторянин в промасленном ватнике, мерцающем как доспех, и он представляет первое агропоколение, которое знает: машинка-то неважнецкая, и металл третий сорт, и сборка шаляй-валяй, и штамп тяп-ляп, тут тебе не дедовы лобогрейки-молотилки, что проходили через поколения целыми, разве что на старости лет хлопали сшитым ремнем. А сейчас выбирать не из чего, машина тебе назначена.

Признаю вину в застарелом гегельянстве: раз действительно — стало быть, и разумно. И где авторитет, там приоритет. Вот был А. А. Ежевский главой Госкомсельхозтехники — и стоял как скала за модернизацию уже существующих комбайнов, за подъем ступенями, против штурма неведомых высот. А стал тот же А. А. Ежевский министром сельхозмашиностроения — и «поворот все вдруг», аргументы полетели кверху тормашками, вместо степенно́го подъема — рывок к «Дону-1500». (Конечно, точка зрения инженера — не у попа жена, ее менять можно, но только ка́к впечатляет здесь сама живость перемен! И как мобильность эта связана с переменой кресел!..) Если три министра (до Госагропрома действовала такая триада: Минсельхоз, Минсельмаш и Госкомсельхозтехника вкупе решали судьбу машин и вложений вместо фактически нужных селу 470 тысяч работающих комбайнов запрашивали 1050 тысяч и успешно достигали проси-

мого, то, значит, остается повторить за древним фанатиком: «Верую, ибо абсурдно».

А раз веруешь, то лети не жалуйся. Не жалуюсь, а... захожу на посадку.

Вон внизу наша бригада: мастерская, кухня, автовесы. Андрей Ильич в холодке играет свой обеденный блиц. Я сел — грамотно, на три точки — в бригадном огороде (лук, щавель, картошка), которым мы откликнулись на лозунг всеобщего самопрокорма. Отряхнулся, вышел...

— Что, пенделя дали? — не отрываясь от доски, спросил бригадир, видящий кадры насквозь.— Идите к Римме, пока борщ горячий, а чесночину я дам...

Для гласности у Андрея Ильича есть навес с голубыми перильцами. Сюда он выходит и сам — вовремя сказать нужное слово, оттенить некелейность решения. Здесь вывешивает «молнии» и решает вопросы оплаты труда, громко ища истину, счетовод бригады Анна Дмитриевна. У навеса выкуривает последний «Памир» дня мой терпеливый учитель Виктор Васильевич Карачунов — это тот тихий момент, когда комбайны согнаны под ночной надзор, а состав механизаторов принимает душ перед отправкой на восстановление сил в станицу Прочноокопскую, посещенную в свое время путешествовавшими Пушкиным и Лермонтовым.

С голубых перил я и сознался в происшедшем, допустив, что у вас, Юрий Александрович, был в резерве и другой способ дискуссий.

— Галиматня,— оборвал меня Андрей Ильич. Он у нас резковат, зато по складу ума философ. Кинической, скорей всего, школы.— Когда в соревнованиях участник один, прессы не надо. Победителя мы с утра знаем, чего посторонним гуртоваться? Пенделя, чтоб не путались.

— Ну, вы не загибайте, Андрей Ильич, как же это — один? Были ж и конкурсные испытания с западными машинами, и «Нивы» кругом ходят — сопоставляйте...

— Если б рядом шел «Ротор» таганрогский, а в другой загонке, скажем, «доминатор» или синий «немец», я бы мог сравнить и, какой понравится, купить — тогда вы нужны. Сфотографировать на кинопленку, какой такой комбайн Прочный Окоп себе выбирал. А если оно так, как сегодня, то сократил Песков вас правильно. Толку все равно никакого.

Это его давний пунктик, Андрея Ильича: словесные споры («а-ла-ла́» — называет он дискуссии) — дрянной эрзац спора

делом. И мы, пишущие, встречаем к себе внимание только потому, что «бедному крестьянину некуда податься», ни пощупать, ни прицениться, всё за него решат и фонды разделят. В реальности кругом монополия. Это как в Фергане... Продает узбек дыню, держит в руках. Подходит к нему председатель, по-тамошнему раис. «Что, дыню продаешь?» — «Да, выбирай, какая нравится».— «Так она ж у тебя одна, из чего выбирать?» — «Так и раис у нас тоже один, а мы тебя всё выбираем да выбираем»...

— Вот когда Агропром или кто заведет многополию, тогда и я на тот конкурс, наверно, поеду. И меня оттуда не попрут. Потому что я там нужный, а вы — нет.

Таков наш Андрей Ильич. Странно, но аналогичный взгляд, уже укорененный в жизни, я встретил среди социографов Венгрии. Не писарей дело решать за работника! Такой знаток деревни, как Берто Булча, не знал — можете себе представить? — стоимости одного скотоместа на комплексах крупного рогатого скота! А в журнале «Форраш», глубинном, почвенном, даже удивились речи о расходе кормовых единиц на один килограмм привеса... «Это знает Свинопром, а не знает — всех заказчиков у него переманит «Агробэр»,— объяснял свое неведение Даниэл, редактор «Форраша». Глядишь, и заставят задуматься над хваленой осведомленностью нашей очерковой прозы — от какой она радости? Какую пустоту заполняет? И что ее, собственно, вырастило?.. Специалист подобен флюсу, а флюс как-никак болезнь.

— Вот вы все ворчите, Андрей Ильич, а «Дон», если расчеты подтвердятся, сократит четыреста тысяч механизаторов, он и уборочный парк сократит, он гораздо производительней «Нивы»...

— Сколько «Донов» будет Ростов выпускать?

Отвечаю, как у вас, Юрий Александрович, не раз читывал: 75 тысяч в год.

— А «Нивы» сколько теперь печатает?

— Тоже семьдесят пять тысяч.

— Значит, сколько делали, столько и будут делать? Где ж тогда хваленый прирост производительности? Поле остается старым, выпуск комбайнов — тем же... Выходит, сами не верят в то, что сулят,— к смеху бригадного веча, развел руками софист.

Ну, насчет числа «Донов» мне еще есть что возразить. «Ростсельмаш» поначалу может выпускать и 75 тысяч, пока не скопится оптимальный парк. К тому же срок уборки сейчас такой протяженный, что потери на полосе от осыпания,

прорастания в колосе, «угорания» клейковины очень велики и вполне сопоставимы с объемами наших зарубежных закупок зерна. Но потом, в туманном пока будущем, придется сокращать «сплошную комбайнизацию» и производить выпуск только на поддерживающем уровне, иначе никакой бюджет не выдержит. На этот счет есть обсчитанная учеными стратегия, есть Система машин (которая так с прописной и пишется, чтоб уважение было.). В больших делах не повольничаешь!

Философ из Прочноокопской прав, однако, в самом подходе: чтоб хлебный вал и производительность труда в земледелии устойчиво росли, число главных уборочных машин должно... сокращаться. Парадокс? Никак нет. Это обязаны быть машины такого прироста мощности и надежности, какой бы опережал рост урожайности.

У Соединенных Штатов Америки *уже был тот* миллион комбайнов, к которому звали нас не так давно три министерства. Был — и сплыл! В 1961 году довольно скромный их урожай в 176 миллионов тонн (зерно кормовое, продовольственное плюс соя) убирался армадой в 980 тысяч комбайнов. Выработка за сезон, легко подсчитать, составляла около 180 тонн зерна на машину. У нас тогда, в 1961-м, при 598 тысячах комбайнов и 130 миллионов тонн валовки сезонный намолот превышал американский: он находился у 215 тонн. Спустя четверть века уборочный парк Штатов сократился приблизительно на одну треть и держится у 600 тысяч единиц, тогда как валовой сбор (кормовое, пищевое зерно плюс бобы сои) достиг 394 миллионов тонн. Выработка на агрегат превысила 650 тонн в осень. Это значит, что техника соответствует, будем объективны, запросам рынка и требованиям надежности. У нас за минувшую четверть века выработка за сезон на одну машину практически сохранилась прежней: около 240 тонн намолота, если принимать за истину валовой сбор, названный журналом «Наш современник» (№ 7 за 1985 г.), то есть 200 миллионов тонн. (ЦСУ в последние пять лет публиковать данные о зерне перестало.) Но парк комбайнов круто вырос, достиг 822 тысяч — в смысле амортизации, расхода горючего, металла, объемов труда это, разумеется, рекордно неэффективный путь. Такова плата за ненадежность. Добавим, что американская сезонная мерка (около 650 тонн) вовсе не что-то аховое: наш стандартный «Колос» в руках испытателей показывает и 900, и 1000 тонн за осень, а «Нива» — в условиях порядка, повторим,— нарабатывает пятьсот и выше.

Но с чего это мы вдруг сошли на параллели с заокеанским

хозяйством? А с того самого, что наш Андрей Ильич соревнуется с Соединенными Штатами Америки.

Серьезно. Там могут не знать о существовании такой хозяйственной автономии — бригады № 1 колхоза имени Кирова Новокубанского района. По территории одна сторона (бригадная) явно уступает второй, как и в производительности труда. Кроме того, гидротермический коэффициент на Ставропольском плато, то есть осадки, их распределение, сумма температур и пр., а также всегдашняя опасность эрозии («Армавирский коридор»!) ставят Андрея Ильича в проигрышные условия в сравнении с Миссури, Огайо, Иллинойсом, вообще Средним Западом, где и формируется продовольственное могущество Юнайтед Стейтс. Это, однако, не остановило нашего философа, и с приобретением хозяйственной самостоятельности (с переходом на полный хозрасчет и чековые внутренние деньги) он выбрал себе далекого, но серьезного соперника. Сложилось так отнюдь не потому, что Андрей Ильич, давний кубанский работник, прежде противостоял то Айове, то Шампани (чего только не провозглашалось за время нашего с ним знакомства!), а как раз напротив — вопреки разудалой бывальщине. Просто я, корпя над книжкой «Работающий американец», стал снабжать нашего хозяина кое-какой статистикой, отбирая, естественно, только сопоставимые натуральные показатели, и постепенно всякий бригадный итог стал рождать независимое и любознательное: «ну, а как там у т е х с этим вопросом?».

После каждого дождя председатель Орехов считает долгом обежать поля соседей, чтобы лично определить число выпавших миллиметров и тем вписаться в обстановку. А Андрей Ильич вынужден верить бумажным данным, но функция та же самая: определить координаты. Ближний испытательный институт КНИИТИМ в «дни новой техники» знакомил бригадиров и вообще механизаторскую элиту с элементами производительных сил США — с вишневыми «интерами», зелеными «джонами дирами» с бегущим оленем, потому что фамилия основателя фирмы и значит олень, синими «фордами», с машинами «Кейса», который тогда еще не поглотил «Интернэшнл харвестер». А поскольку и мосфильмовскую игровую картину «Свой хлеб» с вопросом, почему это мы все возим да возим о т т у д а, наша киногруппа целое лето снимала именно в этой бригаде, то известная международность представлений и оценок укоренилась и стала нормой.

У всякого свои сложности. У т е х нет проблем с зернофуражом, элеваторы забиты прежними урожаями, зато задол-

женность фермеров сравнялась с внешним долгом Мексики и Бразилии, вместе взятых,— 200 миллиардов долларов, не баран начихал! Бригада при наружном денежном благополучии все-таки задолжала... натурально задолжала магазинам, скажем, ближнего Армавира такие объемы продовольствия, какие делают очереди в гастрономах проклятием местной жизни — примерно таким проклятием, каким была малярия на старой и сытной Кубани. Или оспа в старинной Руси. Наши бригадные тоже стоят в тех армавирских очередях, и если государственный хлебный импорт Андрей Ильич не принимает в круг своих напряжений, то нахлебничество станицы у города его гнетет, выводит из себя.

Соревнование, о котором шла речь, лишено гласности и от этого, может, несколько односторонне, зато убавляет хуторской застенчивости, лечит от комплекса неполноценности, каким страдают иной раз ого-го какие вышестоящие люди, и дает бригаде, я говорил, собственные координаты на аграрном глобусе.

В натуральной отдаче гектара дела складываются так. По озимой пшенице: 40,1 центнера в бригаде и 26,7 центнера в среднем по США. Андрей Ильич всю пшеницу поставляет сильной — мировые стандарты освоены, и мотив, что американцы думают о клейковине, поэтому намолот мал, никак не проходит. Ячмень, основная фуражная культура Прочного Окопа: 55,9 центнера у Андрея Ильича и 28,9 — у «дяди Сэма». В колосовых, как видим, прочноокопцы дают фору. Урожайностью кукурузы (72 центнера по стране) Штаты, увы, одолевают (бригадный сбор не выходит за 50 центнеров): сказываются гибридизация, фермерская оснащенность и четкая специализация внутри «Кукурузного пояса», чего Андрей Ильич, повязанный диктуемой структурой, достичь не может. Сборами сахарной свеклы наша бригада, были годы, не уступала заокеанскому партнеру (там получают 450,6 корней по стране), но теперь сверху припаяли такой план посевных площадей, что своих рук не хватает, приходится открывать границу, брать договорников из Армавира, а от приходящего известно какое старание. Недаром ведь и отдельные штаты, и вашингтонский конгресс принимали акты против практики «мокрых спин» — сезонных рабочих из Мексики. Что-то похожее и в молоке. Разница, снаружи глядеть, большая: 3700 килограммов годового надоя у колхоза (что для засушливых степей считается прекрасным показателем) и 5587 кило у США. Но — опять-таки — надой в Прочном Окопе сдерживается искусственно: расписанием, сколько

держать коров и сколько чего сеять, поэтому в разгар лета молочные гурты давит бескормица, дают полову да старый силос...

Ну, это уже детали-подробности, а самый существенный факт состоит в том, что в крестьянствовании, то есть уловлении способностей данного неба и данной земли, заведомого первенства нет, успех переменный. Даже сою, если на то пошло, наши освоили, хотя догнать Штаты в валовке (от 50 до 60 миллионов тонн в лето) надежд у бригады нет!

Сравнимость результатов и сопоставление условий, из которых необходимо эти результаты вытекают, придают взглядам Андрея Ильича независимость и прямоту.

Закончим толки у голубых перил.

— «Будьте хозяевами, будьте хозяевами»... Уговорили! Хозяин начинает с того, что прикидывает: дай-ка я сделаю не так, а вот так. Это «не так» связано у него с машинами. Даже не связано, а прямо-таки из машины вытекает. Если начального выбора нет, то нет и хозяина, какие бы хороводы вы ни крутили.

Это, вы поняли, Андрей Ильич. А я ему возражаю, что выбирать реально им предстоит не из «или — или», а между «да» или «нет». Вот томатоуборочному, скажем, комбайну вы можете сказать «нет», оставите его стоять на заводском дворе в городе Бельцы, потому что вас страхует система ССУ — студенты, солдаты, ученики. Нажали — выручат, до экономики, рентабельности и т.д. тут просто не дошло. А с зерновыми не пошалишь, и побежите вы за «Доном» как миленькие! Он и намолачивает в сезон — Ростсельмаш публиковал — до четырех с половиной тысяч тонн. И финансово вас побудят только к такому выбору. Госкомцен напечатал же в газете: «Дон-1500» — машина современная и дорогая, завод в Ростове будет получать за экземпляр 27 тысяч рублей, но колхозу отпускная цена составит только 11 тысяч. Шестнадцать тысяч экономии на каждом — побежите!

— Не-а,— покачал головой Андрей Ильич. —Может — если заставят, а сам не-а. Как узнал, что «Дон» на пять с половиной тонн важче от «Нивы», про себя решил, что первый за такой цацкой не побегу. Тринадцать тонн четыреста кило с порожним бункером — это ж половина танка «Т-34»!

(Андрей Ильич — ветеран войны и, когда уйдет на пенсию, напишет воспоминания — не такие, может, как у Рокоссовского, но уж интереснее, чем у Штеменко.)

— Четыре с половиной тысячи — это значит, они ему тысячу га огородили одному, так? И колотил он минимум

месяц сроку, верно? А у нас девиз — «уборку в декадный срок!», — легко вылущивал суть бригадир. — А за полцены сбывать — это, думаете, от хорошего?.. Госбанк не растягивается, здесь отпустили — в другом натянут. На шифере, допустим, или на бетоне. Колхоз сейчас тоже научился говорить: «Я не такой богатый человек, чтоб покупать дешевые вещи»... А вот груз — это да, проблема. С полным бункером да заправленный — это ж будет почти двадцать тонн! Земля пищит. Когда я забуду шестьдесят девятый год, тогда, может, побегу, а пока — не-а.

Жуткой зимой 1969-го здесь, на Ставропольском плато, я снимал с оператором подступы к атомной войне: сдутый до известкового хряща чернозем, занесенные лесополосы, фермы, станичные хаты... Андрей Ильич внедрил почвозащиту, поднял лесополосы, последние пятнадцать зим дьявол проснуться не может, частные победы над агрокомплексом США есть прямое следствие одоления эрозии, и бригадир вынужденно внимателен к давлению колес на почву. Агротехника просит, чтобы давление было не больше полутора килограммов, иначе гибнет вся биология, умоляет — не больше 1,7 кило на квадратный сантиметр, а «Дон» даже на широких новых шинах обещает 2,6.

— А разве «Нива» давила меньше, разве тот ваш «Ротор» из воздуха?— зову я к реальности.— Вроде взрослые люди, а ищете какую-то страну Муравию, только в технике...

— Спросил бы меня кто-нибудь: «Слушай, ты, такой-сякой немазаный, ты сорок лет на одном месте — хочешь ты такую машину, на какую мы пока способны, за полцены?» А я б тем сказал: «Дорогуши, разве в цене дело? Я лично в «Уцененные товары» не хожу, мне комбайн не сам по себе нужен, пускай он и вообще даром дается. Мне его заподлицо вогнать нужно во все хозяйство, он мне ровный со всем остальным нужен, как зуб в исправной шестерне»...

— Вот тут, Ильич, ты правильно,— вдруг вступил, докурив, мой прямой наставник Карачунов.— Машина мощная, кабина удобная, много разного со всего света взяли, это здорово. Ну а если он прогоняет с работы сегодняшнего механизатора? Отсталый, видите ли! Я в районе еще когда говорил: электроника нам не нужна. Люди к ней не подготовлены, ремонтировать негде. Гаражей нет— где я часовых наберу на каждый комбайн? «Нива» тем хороша, что весь дефицит один мужик унесет с нее за одну ходку... И кого я посажу на «Доны»— Орехова, Вербова?

(Орехов Юрий Александрович, инженер по диплому,— наш председатель, Вербов — главный инженер.)

Во-первых, Карачунову как члену бюро райкома партии не следовало бы выступать против электроники как нового этапа. Мы должны давать по рукам — и крепко давать! — за антикомпьютерные настроения в общественном растениеводстве. Да и всей электроники — один указатель потерь! У т е х чуть не к каждому колесу датчик пробуксовки, комбайн набит электронной техникой, глядишь — человека вообще убирать станут, а Ростсельмаш сам осторожен, с пониманием... Если «Дон» создается с известным упреждением, так локомотив и обязан опережать состав! Раз жили без гаражей, по-печенежски, так и наперед так жить?.. Мы с Андреем Ильичом просто обязаны были призвать Карачунова к порядку — слушали ведь люди разные, без четких берегов нашей дискуссии было никак нельзя.

— Я знаю одно,— вздохнул мой наставник.— Машина пускай дорожает, лишь бы дешевле выходил центнер хлеба. «Ниву» и «Колос» просто так вчерашним днем не объявишь — нам на них ехать до девяносто пятого года. Условия труда, надежность, конец потерям — вот и все, что нам надо! Чернышук, Машкин, Зинченко вывели нас на сорок и пятьдесят центнеров без электроники, им электроники не надо — и нам других работников не надо. Да их и нет!

Охо-хо, тысячу раз прав старый писатель Энгельгардт: «Есть ли такой ум, который мог бы обнять всю сумму факторов, имеющих влияние в хозяйстве, и определить их истинное значение, все взвесить, вычислить, рассчитать?» Поди узнай, где тут у наших настороженность, дутье на воду после ожога на молоке, что́ перемелется — и мука будет, а что́, не ровен час, и жернов поломает, и всю мельницу раскурочит... Хорош насмешливый лозунг академика Мигдала, им будто бы где-то читанный: «Дадим потребителю не то, что́ он хочет, а в чем он нуждается!» Если бы так откровенно, простецки и писалось, а то ведь все — «унификация», «модернизация», «интенсификация», а насчет м о н о п о л и и - м н о г о п о л и и нашего Андрея Ильича — ни гугу. Наоборот, все напористей закрепляется идея всезональности «Дона-1500» в державе четырнадцати морей: «предназначен для уборки зерновых... во всех зерносеющих зонах страны», как пишет в рекламах Ростсельмаш.

А как «бедному крестьянину» узнать и пощупать, чего же он, собственно, хочет? Способ некрасовский — «столбовая

дороженька», личное выяснение, кому на Руси что́ удалось, где и чем куют машинную Муравию.

В разгар жатвы 1985 года мы покатили в станицу Каневскую. Миссию НТР возглавлял Орехов,— в сущности, райком партии послал его на разведку. А нам предстояло посвятить новинке очередной телевизионный «Сельский час».

II

Мы увидели в действии вековые крестьянские правила: страда сведена к жатве, а молотьба выполняется не на пашне, а на току. Значит, ты только жнешь в зоне риска, в условиях естественных, а молотишь уже под крышей, в искусственных условиях, и волен растягивать этот этап как тебе нужно. Старина-то старина, но тут была в самом деле новая технология, придуманная и испытанная для себя колхозным строем: не мост новый или кабина, не новая ширина барабана— техно-логия во всем разнозубцовом ее кругу! Возвращались ветры на круги своя, но совсем на иной высоте.

Электрическая молотьба...

«Первое место в работе электромоторов занимает, конечно, электрическая молотьба...»— читали шестьдесят с гаком лет назад посетители Первой сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки СССР; в простом и всеобъемлющем «Спутнике по выставке» черным по белому было писано: «Электрическая молотьба важна для сельского населения... тем, что электромотор в отличие от других двигателей легко переносится с одного места работ на другое и, таким образом, может обслужить много крестьянских дворов. Также важно и в пожарном отношении— потому что электромотор совершенно безопасен... Но самое главное преимущество электрической молотьбы заключается в том, что она дает больше выхода зерна при молотьбе примерно на 12% по сравнению с ручной молотьбой и на 5% по сравнению с конной. Так что если все наши крестьяне будут молотить с электромоторами во всей России, то это даст увеличение зернового хлеба около 270 млн. пуд. для России. Эта огромная экономия по ценам нынешнего года (1923.— *Ю. Ч.*) стоит 135 млн. руб. золотом».

Все в мире по нескольку раз изменилось, электричество научили водить ледоколы, взбивать коктейли, безбольно лечить зубы, стирать, творить непредсказуемое в компьютерах, а вот великую вечную работу человечества, молотьбу, как переложили после мускульной силы на двигатель внутреннего сгорания, так и с концами! Будто еще прадедам не была

известна антитеза: конная молотилка — или электричество, локомобиль — или электричество, древний цеп, «потату́-потаты́, 22 тысячи ударов за десять часов сплошного пота — или электричество.

Председатель Каневского (имени Калинина) колхоза Анатолий Тихонович Кузовлев, тоже инженер-механик, «зиждитель храма сего», говорил с нашими просто, понималось все с полуслова. Возить молотилку по пашне и требовать еще, чтоб не рассевала зерно,— вообще вариант обреченный. Завтра ли, послезавтра, а прекращать обмолот на бегу придется — такова гипотеза.

Комбайн идеален как машина для уборки з е р н а. Не у р о ж а я целиком, а заготовительной его сердцевины. Солому и полову он всегда бросал — за государственной ненадобностью — колхозу, а тот тратил на доуборку всегда больше, чем обходилась собственно молотьба. Комбайн незаменим как машина спешных хлебозаготовок, когда единственной зерновой емкостью всего колхоза остался железный короб на верхотуре — бункер, из него хлеб сразу мчат на элеватор. Но у земледельца, желающего добра себе, земле и внукам, есть чем попрекнуть машину, перенятую нами когда-то у прерий и пампы.

Потери зерна — они порождение тряски и молотьбы на бегу, но как не видеть потерь от того, что комбайн простоял? Влажный хлеб вообще молотить нельзя, этого и впредь не смогут ни «Дон», ни «Енисей», ни какой-нибудь «матадор» или «доминатор». А малы ли у нас территории, где нормой в недели страды является сырость, влажность, «временами дожди», а сухая масса — исключение? Далее. Солома, брошенная на полосе, не дает пахать, но в степях помогает почве сохнуть: затяжка обработки создает «чемоданы», глыбы земли, а разбиваешь их — помогаешь эрозии... А человеческий фактор — можно ли требовать от комбайнера работы по двадцать часов в сутки? Ночная работа не только родит потери — она и человека истязает.

По всему по этому колхоз, поддержанный районом и краевой краснодарской наукой, вступил в спор с целым ведомством сельскохозяйственного машиностроения. Он предложил м е х а н и ч е с к у ю жатву и э л е к т р и ч е с к у ю молотьбу. Передвижение только там, где без него нельзя,— и стационар на заключительном этапе. А когда у каневских стало получаться, когда параллельно и вполне независимо от Ростсельмаша станица Каневская повела испытания двухфазной уборки, то и среди профессиональных конструк-

торов нашлись сочувствующие. Таганрогский Сельмаш, не боясь конкуренции, передал сюда «Ротор», сделал МПУ...

Чем здесь жнут? Этой самой МПУ, «машиной полевой универсальной», она происходит от «Колоса», молотилки лишена, но и избавлена от главного минуса всех комбайнов: работать только на уборке, а одиннадцать месяцев в году пребывать, как выражается Андрей Ильич, «на бюллетне́». Машина генерального таганрогского конструктора Юрия Николаевича Ярмашева представляет собой самоходное шасси — может после страды работать на фермах, возить, даже землю копать. Полтораста «лошадей» двигателя могут быть заняты круглый год. (Как подумаешь, что энергоблоки почти миллионного парка комбайнов — это минимум сто миллионов «л.с.», «бюллетенящих» одиннадцать месяцев в году, то уступаешь тоске и ярости: и впрямь, должно быть, тут тупиковый вариант!) Хлебной массой набивают 80-кубовые короба тележек — и после одного прохода на пашне не остается ничего. «Лишь паутины тонкий волос...» Почва не изрубцована, не укатана, стерня цела, потери определяют в тридцать кило — вместо пяти прежних центнеров. Уже в день жатвы можно пахать.

Как молотят? Уже говорено: электричеством. В две смены, без перегрузок. Под крышей, при свете. Здесь потери исключены вовсе: ворох можно подсушивать, асфальтная площадь не даст зерну уйти в землю. Пневмотранспорт разгоняет солому и полову по хранилищам, здесь же действует гранулятор, штампуют брикеты для ферм: безотходная технология.

Тут-то и увидели наши впервые полузапретный, но оттого еще более интересный «Ротор». Автор его Юрий Николаевич Ярмашев пробился к колхозным энтузиастам и первую работающую машину сделал стационарной. Мы со станичниками наблюдали, таким образом, первую машину «с аксиально-роторной молотилкой» — единственную из тридцати тысяч комбайнов СК-10-12, какие должны были быть произведены таганрогским заводом в 1985 году.

Не может быть, чтобы кто-то здравый и порядочный не изучил досконально и не описал в назидание будущей наглости, в урок мастерам силовых приемов историю южнорусского «Ротора» — историю сознательного задержания в колыбели новой машины, с которой мы могли бы претендовать на действительный приоритет! Четверть века связанный с цехом пишущих, лезущих куда их не просят, я не могу идеализировать его — но и поверить не могу, что акция с «Ротором» останется под спудом.

Роторные молотилки были предложены советскими инженерами еще в шестидесятых годах. Ротор — это вращающийся цилиндр, он расположен вдоль оси комбайна (обычный барабан всегда стоит поперек) и обеспечивает кроме большой производительности на сухой массе щадящий, деликатный режим колосу. Он не сечет зерно на крупу, как это, увы, способен делать «классический» барабан, и не размалывает его в мучную пыль, исчезающую в соломе бесследно. Станем богаче — непременно заговорим о травмах зерна, об ударах и трещинах, которые уродуют посевной материал, приводят к невероятным завышениям норм высева, и роторная «вежливость» войдет в агрономический обиход.

Не только в шестидесятых — до начала семидесятых годов ротор в мировом комбайностроении реальностью еще не был. И когда в 1979 году большой синклит наших ученых, располагая ЭВМ «Минск-32», обсчитал перспективный типаж комбайнов на 1981—1990 годы, то среди четырех базовых моделей был выделен «большак» класса 10 — 12 килограммов массы в секунду, и Таганрогское ГСКБ, традиционно ориентированное на «тяжелые» (вспомним «Колос») машины, предложило на ту вакансию принципиальную новинку — ротор.

Пожалуйста, задержите свое внимание... Ни о какой всезональности не было речи в том стратегическом плане! Шаблоном все уже были сыты по горло, и в строгую Систему машин (пишется, повторю, с заглавной) внесли четыре класса комбайнов, удовлетворяющих разным ступеням урожайности: от одиннадцати центнеров (увы, больше сорока миллионов гектаров!) до двадцати и выше (около тридцати миллионов гектаров). Логично? Вполне. Даже приятно сознавать, как спокойно и расчетливо спланировали. «Большак», тогда еще без имени и плоти, был назначен обслужить острова высокой урожайностью в море сдержанных, скажем так, намолотов — те острова, которые по не изученным пока законам шумихи служили особо страстным людям для искажения истинной картины: уж так всюду преуспели с буйной урожайностью, что вовсе нечем обмолотить!

Регионы, фактически заработавшие право требовать комбайны класса 10 — 12 кило,— это Северный Кавказ, юг и юго-запад Украины, Донбасс, Молдавия и Эстонская ССР. В общем парке страны таких комбайнов должно быть не больше 15 процентов. Классу в 8 — 9 килограммов (поля ЦЧО, Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока, Латвии, Литвы, Азербайджана) надлежит достичь четверти комбай-

нового парка. А до шестидесяти процентов в общем составе должно принадлежать классу 5—6 килограммов, это производительность «Нивы», если сделать ее надежной. Разумеется, и Омск может (островами или архипелагом хозяйств) потребовать класс комбайна-«большака», а где-то и на Северном Кавказе вполне удовлетворятся классом 5—6 кило: решает, понятное дело, целесообразность, а не административная карта.

Но «всезональность» идет от лукавого и представляет собою технический блеф. Если нельзя сшить сапог, годный на любую ногу, и нельзя создать единую неделимую агротехнику, то машину такую нельзя создать и подавно. Да и не нужно! Поэтому техническая характеристика «Дона-1500», печатно распространяемая Ростсельмашем, где прямо провозглашается — «предназначен для уборки зерновых... во всех зерносеющих зонах страны», есть или мания грандиоза кого-то из сочиняющих бумажки, или (никак не хотелось бы верить!) замах на монополию, покушение на Систему машин.

Таганрогский СК-10 «Ротор» родился практически одновременно с «Доном-1500» и в представлении аграрного болельщика (а имя ему ныне легион) открывал как бы новый вариант привычно конкурировавшей пары «Нива» — «Колос». Наш брат взялся знакомить с принципиально новой машиной широкий круг жаждущих перемен, и съемки для телевизионного «Сельского часа» я делал еще на зимней молотьбе: автор машины Юрий Николаевич Ярмашев вел испытания в ангаре на запасенной с лета хлебной массе.

И вдруг — стоп! Визг тормозов. Таганрогское ГСКБ, лишив его автономности, передают в подсобники Ростсельмашу. Ярмашева сажают на мост и жатку для «Дона». Своей машиной ему дозволено заниматься в часы досуга — как пионеру планеризмом. С экранов ТВ «Ротор» исчезает, поминать о нем становится дурным тоном. Новой пары не составилось, «Дон» прошел всю дорогу испытаний (с усмешками и признанием умелости отмечают это специалисты КНИИТИМа!) без единой встречи с опытными экземплярами «Ротора»! Затем разговор словно бы возродился, но уже на другой базе: сделать «Дон» в роторном исполнении. Унифицировать былую пару в одной приоритетной машине.

Материал будущему летописцу... ГСКБ Таганрога насчитывает более тысячи двухсот человек, за 35 лет работы здесь создано 56 конструкций машин, поставленных на производство, — авторские свидетельства запатентованы в США,

Англии и Канаде, эффект от внедренных машин превысил 5 миллиардов рублей. Никого не пожалеем в подсобники, если дело коснется унификации!..

Утекло много воды. И когда несколько экземпляров таганрогской машины класса 10 килограммов все-таки поставили на государственные испытания, уже девятью фирмами Запада был освоен выпуск роторных комбайнов и даны их товарные партии. Например, «Кейс-Интернэшнл» теперь предлагает потребителям четыре модели уборочных машин: «1620» с дизелем в 124 л. с., «1640» — дизель 150 «лошадей», «1660» — турбодизель в 180 л. с. и «1680» — турбодизель в 225 л. с., всюду стоит ротор длиной в 2,77 метра...

Постановка «Дона» на производство не восполнит нужды в «большаке»: промолот восьми килограммов в секунду, характеризующий ростовский комбайн, не снимает нужды в классе 10-12 килограммов. Потерю стольких сезонов, величину отрицательную, легиону агроболельщиков придется суммировать с победами Ростсельмаша — иначе списать не на что. И еще материал летописцу: если бы в войну Яковлева подчинили Ильюшину, Петляков бы работал на Лавочкина, а все унифицированно — на Туполева, не стали бы наши системы лучше немецких. Кроме всего прочего, тут человеческая сторона, естественное самоутверждение. Если даже мил насильно не будешь, то уж умен, даровит, дерзок — подавно. Когда Ю. Н. Ярмашеву предложили участвовать в постановке роторной молотилки на «Дон», он не проявил, мягко скажем, энтузиазма — и, грешный человек, я могу понять почему...

Итак, на могучем току в Каневском мы, ходоки из Прочноокопской, наблюдали, как через колхозный, независимый, конкурентоспособный стационар ищет выхода в жизнь коллектив в тысячу двести умов. На борту роторной молотилки стояло странное для сельских пейзажей слово «МАРС». Ярмашев, приехавший пояснить нам кое-какие детали, расшифровал сокращение — «молотилка аксиально-роторная, стационарная». Но что-то от научной фантастики в космодромном этом устроении все же оставалось. Предельное малолюдье... Сами разгружаются здоровенные кубы с намолоченной массой, колесник живо подает ее на линии — и пошло́, молотилка проколотит, провеет зерно, пневматика разгонит отвейки по трубам, красота! Наверно, бородачи двадцатых годов с таким же недоверием разглядывали жнею-молотилку, как мы — этот прообраз будущего.

Значит, можно и влажную массу косить, раз есть возможность подсушивать?

А уже и косят, и сушат! В Ейске работает стационар в семхозе люцерны: принудительная сушка зелени и потом обмолот, стали получать по пять центнеров семян — прежде и полутора не видели... А Сибирь, Казахстан испытывают накопление хлебной массы для обмолота ее зимой. Ведь исстари молотили в мороз и снега — вспомните: «Хаджи-Мурат», русская семья Авдеевых...

Хорошо, ток постоянный, но ведь и он может «идти к Магомету»? Давний южный укатанный «гарман» никаких ведь особых вложений не требовал — площадка для молотилки да энергоблок. Ясное дело — может, отвечал хозяин Кузовлев, это у нас фундаментальный, базовый, а будут варианты и удешевленные... Ну, раз коснулись финансов — дает ли выгоду стационарная молотьба? Кроме, конечно, долговременных факторов — что земля не «пищит», почва не сохнет, пáлов нет и т. д.

Гектар уборки по сравнению с «нивской» технологией обходится на 27 рублей 43 копейки дешевле. На гектаре, считает Кузовлев, подняли умолот минимум на пять центнеров — за счет прежних потерь. А что уборка кончается не просто хлебовывозкой, а уже кормовым брикетом, где с соломой спрессованы и люцерновая мука, и концентраты,— это крепко помогло животноводству...

Новизна простирается, однако... на пятьсот гектаров пашни. Двухфазный способ обкатывается в колхозе им. Калинина лишь в одной бригаде, остальное — комбайновая молотьба. Почему?

Радиус эффективности ограничен. Издали не подвезешь, и вообще такой ток — дело дорогое. «М а т е р и а л ь н о дорогое»,— уяснил себе Андрей Ильич, всегда подчеркивающий, что материальный интерес означает интерес к материалам: к шиферу, лесу, кровле, асфальту...

Другой колхоз станицы Каневской, «Победа», устами знаменитого своего председателя В. Ф. Резникова отмел всякий налет чуда:

— Мы три года всем районом без металла сидели из-за этого стационара! А молотится даже у соседа Кузовлева сколько — одна восьмая урожая?.. Лично я жду «Донов». Отобрали комбайнеров, послали на курсы. Построены гаражи. Чем покупать по тридцатке «Нив» ежегодно, лучше выбить партию «Донов»...

Если бы наш Орехов мог, не ходя годами и по острию ножа,

не рискуя будущим двух своих крепеньких пацанов, купить тот стационар готовым к монтажу! Если бы прочный бюджет Прочноокопской тоже мог делить призы на финише, одним приказом банку признавая или отрицая чей-то рекорд! Нет, как раз в сопоставлении с действительно новой технологией проявит себя игра ценами, протекция — включение едва подошедшей к конвейеру машины в «уцененный товар».

Удивительно: тепличная пленка протекционизма натянута именно над теми машинами, которых страна производит больше всех в мире,— вроде хозяйства и сами не заинтересованы коситься на импорт. «Магирусы», «Татры» среди «КАМАЗов»? Обычное явление. Синие гэдээровские косилки с наклонной кабиной? Всюду и везде, они живо упрочили кормодобывание. Сеялки, оборудование для ферм? Нет проблем... Но зарубежный комбайн — табу!

Когда в полях Белоруссии, Прибалтики появился гэдээровский комбайн «Е-516», среди механизаторов пошли дуэли: простоев не знает, тип-топ целую осень, потери аптекарские, люди по полторы тысячи тонн намолачивают — на сырых-то хлебах. Позвонил раз ночью Бедуля, знаменитый брестский председатель Владимир Леонтьевич Бедуля — «летающий мужик», по стихотворению Андрея Вознесенского,— и в характерной свой манере заявил:

— Цыган две зимы за одно лето отдавал. А я три «Нивы» отдам за один «пятьсот шестнадцатый»! Ап-парат!! Если вы в «Сельском часе» не покажете эту прекраснейшую машину, если не передадите наше острое желание покупать ее — не хочу и видеть вас в нашей Беловежской пуще.

Взялся я исполнять заказ хозяина-белоруса — в ответ: «Опять подкоп под «Дон»?» Даже сказать про «Е-516» на телевидении тогда не дали: «Мы что́, рекламбюро заграничной техники?..» Понимаю: выгодней продавать комбайны, чем покупать таковые. Но если дожились, что на международной выставке «Сельхозтехника-84» наша экспозиция, насчитывая тринадцать разделов, даже краешком не могла показать комбайн, чтоб не конфузить страну на кругу, так, может, и невредно освежать кровь импортом? Почему Бедуле, Нечерноземной зоне вообще ждать у моря погоды, а не покупать давно серийную, по СЭВу спланированную, надежную машину социалистической фирмы «Фортшрит», что означает «Прогресс»? И разве не обидна такая протекционная пленочная теплица самому крупному комбайновому заводу мира, ему ли бояться свежего ветра? И как я должен был отвечать председателю? «Помилуйте, Владимир Леонтьевич, мы тут

поражены вашим выбором. «Е-516» — машина старая, в производстве уже десять лет, и колеса тяжелые, и кабина старых стандартов, ведь удивим Москву лаптями...»

И от преда-белоруса получил бы хор-роший пендель!

...А поездка наша была благодетельна. Она восполняла недостающие звенья. Мои заречные консерваторы увидели беговую дорожку уборочного прогресса совсем иною. Считайся с этим арбитр или нет, а параллельно с «Доном», вроде как за бортиком, бежал-дышал живой «Ротор», а рядом действовал (не скажешь ведь — «бежал»!) колхозный, ни на что не похожий, в кузнечном еще исполнении двухфазный метод.

Мне очень хотелось бы подверстать здесь абзац-другой, как наши заложили свой молотильный стационар, а второй бригаде Орехов добыл «Дон-1200» и во что вылилась дискуссия у голубых перил. Но мне еще к своим возвращаться, сочинять не могу: «Донов» вообще в район не прислали, на стационар нет ни материала, ни подрядчика, и молотили мы и в начальную страду эпохи агропрома обыкновенными старыми «Нивами».

А сами дивились мы вот чему. Новая техника? Что тут хитрого, путь ясный: делай барабан шириной в полтора метра, куй под него новую железную телегу, ставь мощнее двигун... Но это одна ясность, арифметическая. Другая — ротор — пускай будет алгеброй. А как смело и здорово, что у кого-то хватило дерзости и непохожести на других — взять и воскресить дедовский ток, сделать его, может быть, острием технической смелости — утворить какую-то высшую математику!..

У меня для объяснения ситуации была в запасе одна выписка из труда молодого гениального человека, но она длинновата и сложна для декламаций в бригадном кру у, и я тоже соврал бы, если б написал тут, будто провозгласил вслух такое:

«По геометрии выходит, конечно, что прямая линия есть кратчайшее расстояние между двумя точками. Но многовековой опыт действительной жизни доказывает неопровержимо, что люди в исторической практике не признают этой математической истины и умеют продвигаться вперед не иначе, как зигзагами, то есть кидаясь из одной крайности в другую. Нраву всего человечества препятствовать невозможно, и потому приходится махнуть рукою на неизбежные зигзаги и только радоваться тому, когда крайности начинают быстро и порывисто сменяться одна другою. Значит, пульс хорош, и человеческая мысль не порастает плесенью».

Написал так Дмитрий Иванович Писарев.

III

После нашей встречи — такой короткой, но насыщенной — под Армавиром, я не рискую, Юрий Александрович, нарушить наложенный вами запрет — и прибегаю к письму.

Не подумайте, ради бога, будто храню хоть микрон обиды! Да если б за этим дело стало — дело подъема к двум тоннам зернового сбора в среднем по нашей стране и, следовательно, отвычки от хлебного импорта,— я бы ежедневно прибегал, скажем, к заводоуправлению Ростсельмаша и подставлял в согласованное с вами время как правую ланиту, так и левую! И было бы здесь не тщеславие, не мазохизм, а хитрая корысть: столь малыми издержками вызвать такое облегчение! Брань на вороту не виснет, но страх, что вся моя самостоятельная жизнь, уже после всех дипломов и целинного ученичества, пройдет под звездой оскорбляющих хлебных закупок, не позволяет и думать о каких-то амбициях.

У нас с Андреем Ильичом новости — и серьезные. Не то чтоб печальные или шибко радующие, просто — крупные биты информации по крайне беспокоящей нас графе. Пока мы — первая бригада прочноокопского колхоза — состязались с Соединенными Штатами умозрительно, их по пшенице обштопали натурально, и кто б вы думали? Западная Европа. Уже в восемьдесят четвертом она произвела пшеницы больше, чем все Штаты. Произошло это впервые после освоения американского Запада сто лет назад и достигнуто, как все мы понимаем, не распашкой первородных тучных прерий, а на тех же римских, галльских, кельтских пашнях, только новой селекцией, агрохимией и конечно же техникой. Средненьким комбайном Средний Запад с ног не собьешь, и говорить нечего...

Сказать, что нам так уж обидно за партнера, что слишком расстроили нас прогнозы, будто Европейское экономическое сообщество обставит Канаду по экспорту пшеницы уже в восьмидесятых, а США «сделает» в 90-х и выйдет на первое место в мире, было бы неправдой. Иное заботит. Уже тридцать держав буквально на глазах превратились из импортеров продовольствия в его экспортеров, и среди новых поставщиков не только богатые страны (пустынная Саудовская Аравия с притоком нефтедолларов), но и Индия, и Китай...

Самообеспечение, жизнь на своих харчах — задача еще ныне работающего нашего поколения, и она способна, думается, соединить самые разные характеры и разные представления о гласности, собственном весе и пределах дозволенного.

Я делю, Юрий Александрович, общую радость от перемен в комбайностроении. Ростсельмаш, по вашим словам, отказался от временных работников — это прекрасно. Оседлость населения — необходимый залог накопления культуры, номады всегда отставали именно в технике. Отличная новость, что 170 тысяч комбайнов ваш завод взял на гарантийное обслуживание. Ничего, что тут только одна пятая парка,— лиха беда начало... «Нива» модернизирована и делается лучше. Уже эти свершения оправдывают бумагу и нервы, потраченные на оповещение читателя относительно дел в сельском машиностроении. Понимая, что от очерков прямых перемен ждет только Манилов, я и то учитываю: если все вокруг вдруг задуют в одну дуду, то приходится что-то менять, пенделями не обойдешься.

Момент ответственный: на конвейер становится «Дон». Если тут просто технический шажок («Нива» подновленная пропускает 6 килограммов в секунду, а «Дон-1200» — уже шесть с половиной), то незачем было тридцати министерствам и огород городить. Надо, видно, не о вундеркинде хлопотать, а основать самонастраивающуюся техническую систему с внутренней генетикой обновления, чтобы не приходилось периодически всей громадой, на шумном майдане, доводя до пенделей, до телемонологов Жванецкого, в пожарном порядке ковать нечто столь же звучное, как и отнюдь не тихий даже в своих истоках «Дон». Без такой живородящей системы не достичь самообеспеченности зерном, факт. А систему надо отлаживать сразу, ибо опыт учит, что этико-юридического «потом» спустя срок не оказывается.

Машина, как все рукотворное, несет на себе отпечаток и пальцев, и натур, делавших ее. Уходя в большой мир, становясь частью производительных сил людей, она одновременно воздействует и на их производственные отношения. Даже в опрощенном виде. Сеет вежливость, взаимоуважение, такт — или зубовный скрежет сеет, брань, учит силовым приемам... Обращение с пишущим братом, повторяю, не в счет. Но силовые приемы, применяемые даже там, где никакого отпора ждать вроде неоткуда, обладают — по закону сохранения энергии — способностью накапливаться, суммироваться и со временем, интегрированные, вдруг треснут с силой таранного бревна, не щадя среди виновных и безвинного.

Я не только не боюсь ошибиться — хочу ошибиться в опасениях своих! Гораздо выгоднее, чтобы кто-то из пишущих, пусть даже весь их клан, оказался во лжепророках, беликовыми предстал бы перед массой, «какбычегоневышли-

стами», чем снова являть чудеса анатомической точности.

Я прошу вас, Юрий Александрович, помочь разобраться в вашей статье, ознаменовавшей пуск «Дона» на конвейер,— точнее в интервью «Комсомольской правде» за 26 апреля 1986 года «Дон» задает тон».

Тон — оно, конечно, дело авторское, вкусовое, нужно о цифрах-фактах спрашивать, а не судить о том, на что, по пословице, товарища нет. Но именно тон показался здесь и настораживающим, и опасным... В следующую ночь после выхода вашей статьи произошло событие, окрасившее всю пору попустительства, хвастовства и разгильдяйства иным светом: расплачиваться за Чернобыль приходится всей стране. И не скрою — вашу публикацию перечитываю с элементами постчернобыльского мышления, насколько сумел и способен был его приобрести.

«По всем основным параметрам «Дон» своих конкурентов превзошел... Так что мы не только вышли на уровень мировых стандартов, но и превысили их». Ну, зачем так уж сразу, Юрий Александрович,— «превзошел», «превысили»... Является ли основным параметром вес машины? Наверное — да, потому что тут все: и конструкция, и материал, и технология изготовления. «Эра бегемотов» осталась позади, и «превзойти» теперь — значит сделать легче. Возьмем на поверку стародавнюю страну комбайностроения — те США, каким подкладывает сюрпризы агропром «Общего рынка». Из шести моделей, предлагаемых потребителю компанией «Джон Дир», аналогом «Дону» будет, скорее всего, машина «8820». Мощность его турбодизеля 225 л. с., объем бункера 7,82 кубометра, вес 10 149 килограммов. У «Дона-1500» соответственно — 162 л. с., 6 кубометров и 13 370 килограммов веса. На 3221 килограмм тяжелее!

И бункер меньше! И габариты у «Дона» больше — по длине на три метра, по ширине — на два. Совсем как в «Борисе Годунове»: «Что, брат? Где тут 50? Видишь? 20».

Может, иначе пока не выходило, не из чего было сделать, но и в наше-то техническое задание (11 500 килограммов) новый комбайн «не вместился», но зачем же городить небывальщину? Не подходит «Джон Дир» — берем аналог из шести моделей фирмы «Аллис Чалмерз». Комбайн «13» дизель 145 л. с., бункер 6,9 куба, вес 9 421 килограмм, длина меньше на три с половиной метра, ширина — на три с лишним, даже по высоте на 60 сантиметров ниже... Да вообще веса в 13 тонн среди девятнадцати моделей комбайнов, поставляемых четырьмя основными компаниями, в помине нет, он

оставлен давно позади! А о числе моделей (не модификаций, тех сотни!) приходится поминать в связи с не менее отчаянным вашим утверждением насчет «небывалого в мире случая»: «Нигде и никогда в комбайностроении не совмещались воедино, как у нас, стадии создания конструкции, технологии, проектирования и изготовления оборудования, испытания, реконструкции, строительства. Все это позволило нам создать принципиально новый комбайн в небывало короткий срок. И главное — не об одном комбайне речь. Это — 17 модификаций машины, а если и роторный теперь в семейство «Дон» войдет, то получится более 20 машин на поток одновременно — вообще небывалый в мире случай!».

Аж уши закладывает... Узел, конечно, затянулся тугой, но в нем скорее беда, чем доблесть. А как вспомнишь, что модели-то всего д в е, с шириной барабана 1500 и 1200 миллиметров, а только у четырех тех фирм — д е в я т н а д ц а т ь моделей, а зерновое-то поле Штатов единообразнее нашего и компактней, такого перепада, как между Карелией и Закавказьем, там не найдешь, а насадок для тех ли, иных культур каждая компания предлагает (навязывает, да в кредит!) по полтора десятка на модель, что роторный «Дон» — не только не убитый, но толком и не выслеженный медведь — на испытаниях этого лета гнал зерно в полову, к ярости агрономов,— так только и остается сказать: «Грех. Проповедуем-то — молодым!»

Конечно, юный читатель пятнадцатимиллионной «Комсомолки» склонен к энтузиазму: приятно и весело входить в мир везучих, могучих, всепобеждающих. Но, будучи молодым, он издревле отличается тем, что на второй раз уже не верит, нет! Недаром в очень-очень старом наставлении особо оговорена необходимость беречь доверчивость младших: кто, дескать, соблазнит единого из малых сих, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Так, метафора, мифотворчество... И прежде, конечно, корыстные преувеличения часто сходили с рук.

Только говоря молодому человеку правду, какой бы она ни была, мы уверены в том, что «перетакивать» не придется. Сознающий разделяющую дистанцию будет тянуться, сжав зубы. Да, мировые стандарты — дело ныне нешуточное, да, техническая революция экзаменует предельно серьезно, прощать не умеет, даром не венчает, но у нас средства, таланты и опыт, нужно много и упрямо работать — удача придет... Но когда тебя уверяют — «в сравнении с лучшими образцами

зарубежных комбайнов намолот у «Дона» был в 2—3 раза выше» — ты начинаешь себя ощущать одним из персонажей перовских «Охотников на привале». Скорее всего тем, что, смеясь, чешет в затылке. И уже не к мировой информации тянешься, а к домашней, доступной всем. Сами же пишете, Юрий Александрович, что Нива теперь молотит 6 килограммов в секунду. А паспортная характеристика «Дона-1200» называет производительность в 6,5 килограмма (хотя модель тяжелее старой на четыре тонны), у «Дона-1500» этот показатель — 8 килограммов. Понятно, что столь сдержанное превышение делает и обгон старушки «Нивы» не простым делом! Чтобы намолот был в самом деле в 2—3 раза больше, надо пропускать 12—18 килограммов в секунду! Фантазия? Значит, те «лучшие образцы» должны были отставать в намолоте от ушедшей с мировых рынков «Нивы»...

Усваивать у западных фирм можно много разного, только не тягу к рекламной шумихе. Тем более что — об этой малости мы, кажется, забыли — и сбывать пока нечего, товар не наработан, реализуется не воплощенный в железо успех.

А из реальностей огорчает в вашей беседе, Юрий Александрович, одно туманное место:

«Первые партии комбайнов распределяются пока по регионам, сосредоточенным вокруг Ростова. Их обслуживание обеспечивает Ростсельмаш. Как будет дальше, сказать пока трудно».

Сказать трудно два слова — «фирменное обслуживание». ВАЗ давно сказал — и победил тем старый «Москвич», довел АЗЛК до затоваривания, вынудил экстренно обновляться. КАМАЗ тоже признал мировой технический закон — «кто делает машину, тот и обеспечивает ее работу». Мы уже имели с вами, Юрий Александрович, диспут насчет «кукушкиных детей» (термин Н.Н.Смелякова). Извините, но я и поныне убежден, что как раз практика отрыва машины от завода (забросить яйцо в гнездо, а там уж дело птички-невелички) — лишь временное и местное отклонение от общего закона, этот сбой различим в своем начале и понятен в своем конце, виден и в экономической вакханалии с запчастями, и в круговой поруке переброски ответственности. Вы же сами так выразительно писали в «Правде» о потоке брака, какой может хлынуть в новый комбайн: «В нынешнюю уборку выходили из строя некоторые комплектующие изделия из-за низкого качества резинотехнических изделий, стальных сварных труб, подводили гидроагрегаты, их соединения подтекали. По-прежнему вызывали нарекания конструкции и качество

шарикоподшипников разовой смазки, генераторов, стартеров, электронных блоков контроля, приводных ремней узкого сечения. Говорю об этом, чтобы еще раз подчеркнуть важность роли поставщиков».

А фирменное обслуживание как раз и сделает для покупателя неважным, кто там поставщик, есть он вообще — или детали падают готовыми. Есть завод — и его фабричная марка, есть финальный интеграл, больше покупателю и знать ничего не надо! Методика «кукушек» завещала Госагропрому такой объем хлеборобского гнева, но и скопила такой ресурс быстрого улучшения, что первый Сельмаш, который отважится на фирменный присмотр за всеми своими детьми, получит и признание, и признательность. Почему же «Дону» в этом — таком социально важном — деле не выйти на мировые стандарты?

А из чего собирать тот стандарт, если тебе впрямь шлют калечь?

Конечно, тут и вы, Юрий Александрович, наткнетесь на монопольность: бракованный подшипник шлет один завод, он назначен поставщиком Ростову — другому не закажешь, а станешь качать права — и в таком-то добре откажут... Как быть — я не знаю, совсем не моя епархия, понимаю лишь, что тут еще одно подтверждение: монополия родит отставание всегда, повсюду, непременно — и с плодовитостью трески. И не дадим себя обмануть, наблюдая порядки промышленных монополий Запада: капитал-то, понятно, монополистический, но все не так элементарно, в одиночку тебе не позволят выпускать ни комбайн, ни карандаш, ни куриные котлеты. Пока не зарегистрирован соисполнитель, соревнователь, конкурент, вам изделие выпускать не позволят — капитализм оберегает технический уровень!

Я буду восторженно ликовать, как самый молодой подписчик «Комсомолки», если впрямь будет спокойно доказано, что какой-то из советских комбайнов производительней, экономичней, легче машин «Сперри Нью Голланд», «Кейс-Интернэшнл», «Аллис Чалмерз»,— это будет и мой светлый день. Но думаю, что он будет и последним днем монопольности как метода, принципа, подхода. Пока же, увы, монопольность закреплена в запчасти, какую ты по-прежнему добудешь только в данной мастерской, заплатив и за деталь, и за якобы ремонт. Она затвердела в громоотводном разъездном гарантийщике, который от вашего завода мотается, спорит — и гнев перерабатывает в заявления. Монопольность, какой уж тут спор, четко выражена в единственности СМУ, вам

назначенного, и в тех фондах, что у строителя в кулаке. Пока практически всюду, где хлеборобское право решать входит в сферу реальностей, хочет материализоваться, оно встречает ответ, когда-то изреченный чеховским героем: «Лопай, что дают!»

Само создание Госагропрома, все согласны, убавило сил у монопольности юридически. Слияние продовольственного комплекса в структуру с единым бюджетом, планом, курсом, с единой мерой успеха — мерой хлебом, урожаем, видом магазинных полок — обещает жизненному многообразию и де-факто материальную плоть. Если же ждать указаний на этот счет...

Указания поступили! И не сказать, чтобы недавно.

«Надо бороться против всякого шаблонизирования и попыток установления единообразия сверху... С демократическим и социалистическим централизмом ни шаблонизирование ни установление единообразия сверху не имеет ничего общего. Единство в основном, в коренном, в существенном не нарушается, а обеспечивается *многообразием* в подробностях, в местных особенностях, в приемах *подхода* к делу, в *способах* осуществления контроля...»

Подписано: *Ленин.*

«...централизм, понятый в действительно демократическом смысле, предполагает в первый раз историей созданную возможность полного и беспрепятственного развития не только местных особенностей, но и местного почина, местной инициативы, разнообразия путей, приемов и средств движения к общей цели... Чем больше будет такого разнообразия,— конечно, если оно не перейдет в оригинальничание, тем вернее и тем быстрее будет обеспечено как достижение нами демократического централизма, так и осуществление социалистического хозяйства. Нам остается теперь только организовать соревнование, т.е. обеспечить гласность...»

Ленин.

«Разнообразие здесь есть ручательство жизненности...»

Владимир Ильич Ленин.

В 1986 году проходит государственные испытания метод двухфазной уборки — в Каневской, в Ейске, в Сибири, Казахстане и прочих местах, где он себя уже — энергией спорящих с вами — проявил. В это же лето держит госиспы-

тания опытная партия таганрогских «Роторов». Мне бы хотелось поставить на испытания — пускай пока ведомственные, в своем кругу — пробные нормы отношений между делателями техники и фиксирующими память о ней. Чего скрывать, тут личный интерес! Мне в жизни потрафило писать о Мальцеве, Бараеве, Лукьяненко, Гарсте, Ремесло и страсть хотелось бы сочинить реалистическую, нестыдную оду отечественной машине уборки.

Малых детей — и тех знаменитый кот Леопольд учит жить дружно. А нашему с вами возрасту еще две тысячи лет назад был подан пример — вон как завидно Плиний-Младший писал Тациту:

«Меня восхищает мысль, что потомки, если им будет до нас дело, постоянно будут рассказывать, в каком согласии, в какой доверчивой искренности мы жили!»

Умели жить люди!..

Июнь 1986 г.

Владимир КОСТРОВ

МАМСКАЯ ТРАССА

Накормим промышленность
Рыжей слюдою и шпатами,
А может, и золото
Кинем на стол, как крупу...
Сюда самолет меж гольцов
Не садится, а падает
И в клюве приносит
Бродяжью чью-то судьбу.

Рубаха истории
В витимской воде не стирается,
Ты, Мама, про пятна на ней расскажи.
Про то, как на тропах
Судьбу отрезали старателям
Разбойных поселков
Мужицкие злые ножи.

Тут соболь ошкурен
Для Франции и для Италии,
Опасны стремнины
И слабым прорваться слабо,
Кочуя от Мамы на Чую
И далее,
Туда, где в распадке,
Как угли, дымит Бодайбо.

С далекого детства
Нас тянет к подобным названиям,
Где предки прошли от Урала
До самых Курил.
На этом пути колокольчик
Ямщицкий названивал

И колокол неба
По каждом убитом звонил.

Измученным телом
Я трассу таежную пестую,
На сопки гляжу,
Пересохшие губы лижу.
В слезу неуместную,
В чью-то судьбу неизвестную
По яростной трассе
Я медленной пулей сквожу.

Мы скованы вместе
Большой электрической цепью.
С дорогой,
С планетой,
С галактикой вместе кружись!
Куда эта трасса?
И что же является целью?
Она самоцельна —
Тяжелая, светлая жизнь.

К ней,
К ней самолет меж гольцов
Не садится, а падает.
Но это во-первых,
А главное — что во-вторых,
Стоят над палатами,
Над электронными платами
Работники Родины —
Люди из штолен сырых.

Ты трассой подпишешь, Россия,
Рабочую хартию.
Тайменем и хариусом
Сверкнут по Витиму года,
Умчатся к Тюмени,
И далее, скажем, за Харьковом
Сверкнет чешуею
Заснеженной трассы слюда.

* * *

Л. Васильевой

Мы — последние этого века.
Мы великой надеждой больны.
Мы — подснежники.
Мы из-под снега,
Сумасшедшего снега войны.

Доверяя словам и молитвам
И не требуя блага взамен,
Мы по битвам прошли,
Как по бритвам,
Так, что ноги красны до колен.

И в конце прохрипим не проклятья —
О любви разговор поведем.
Мы — последние века.
Мы братья
По ладони, пробитой гвоздем.

Время быстро идет по маршруту,
Бьют часы, отбивая года.
И встречаемся мы на минуту,
И прощаемся мы навсегда.

Так обнимемся.
Путь наш недолог
На виду у судьбы и страны.
Мы — подснежники,
Мы из-под елок,
Мы — последняя нежность войны.

* * *

Памяти Ф. Г. Лорки

Собери-ка судьбу,
А потом разбери-ка.
Хорошо завязалось,
А что получилось?..
Я хотел бы признаться
В любви к Федерико.

Он за пылкость
Испании явлен, как милость.

Это — рана чужая,
Но рана больная,
И до сердца,
Как вьюга, меня прохватила.
Что мне — мало Владимира и Николая,
Александров, Сергея и Михаила?

Я иную культуру судить не полезу,
Только ходят стихи,
Словно шапка по кругу.
Почему-то мне нужен
Вот так! —
До зарезу! —
Он — ни разу не слышавший
Русскую вьюгу.

И обида далекая все угнетает.
Каждый день почему-то
Душа виновата.
Мне, как счастья,
Все время его не хватает.
Мне, как правды,
Все время его маловато.

И во мне
Колокольцем звенит романсеро,
После пули, гитары,
Стона и вскрика.
И на сердце,
Вытравливая пошлость и серость,
Алым цветом написано —
Федерико.

Я ему поверяю
Свою незадачу,
Я ему повторяю
Про то, что мечтаю...
Эти смутные строки
Читаю и плачу.
О, читаю и плачу
И снова читаю!

* * *

О тех коммунистах
Сегодня хотел бы сказать я,
Которым контрастно
Век дарит любовь и проклятья,
О неудержимых,
О белых,
И черных,
И страстных,
О них, одержимых
И высшею страстью прекрасных.
Об Андах высоких,
О судьбах безвестных и грозных.
О людях веселых,
А значит, всемерно серьезных.
Где волей мильонов
Придет во дворцы, на бульвары,
Из темных каньонов
Бессмертная тень Че Гевары.
Хотел бы сказать я,
Да так,
Чтобы сердце саднило.
Про клич «Венсеремос».
Про честное знамя Сандино,
Про тех коммунистов,
Которые больше чем братья!
Для всех равнодушных
Сегодня хотел бы сказать я:
В уютах безоблачных комнат
Живущие сытно,
О них я хочу всем напомнить,
Чтоб стало вам стыдно.



Гулрухсор САФИЕВА

НУЖНО ИСКАТЬ СВЕТ

Ешь хлеб, что протянула щедрая рука,—
Лишь только этот хлеб пойдет тебе во благо.
И жажду утоляй водой из родника —
Для чистого душой должна быть чистой влага.

Все хвори у тебя исчезнут без следа,
Коль в дыме руты[1] свет
Найдет твой взгляд горячий.
И в камне искру сам заметишь лишь тогда,
Когда невежество ты сделаешь незрячим.

И справиться сумей с гордынею своей,
Чтобы в себе — себя открыть, вглядевшись строже.
И скрягу повстречав, его ты пожалей,—
Ведь знанья для тебя любых богатств дороже.

Знай:
Чередует жизнь падение и взлет.
Попристальней вглядись в судьбу свою, взлетая,
И не забудь, что нет главнее тех высот,
Чем мать,
Чем корни,
Чем земля твоя родная!

В колючках родины
Сумей найти цветок —
И зацветет твой сад под утреннею синью.
Чтоб в искренность твою
Любой поверить мог,
Верь в Родину свою,
Как верят лишь в святыню.

---

[1] Растение.

Михаил ДУДИН

ВДОГОНКУ ВЧЕРАШНЕМУ ДНЮ

Вчерашний день,
Вчерашний день,
Как далеко ты бросил тень
На день грядущий,
На века
Из своего недалека.
Я не кляну
Твою вину,
Твою победу
И войну,
Кровавый пот
Твоих работ
В песках пустынь
В тисках болот.
Твое усилие
И лень.
Я стал твоим,
Вчерашний день.
Ты — мой почет
И мой просчет.
Моя судьба
В твоей течет.
И мне
Со всеми наравне
Пришлось гореть
В твоем огне.
А без вчерашнего огня
Нет жизни завтрашнего дня.

ОЧЕНЬ ПРОСТЫЕ СТИХИ

Как яблоко на блюде,
У нас Земля одна.
Не торопитесь, люди,
Все выскрести до дна.

Немудрено добраться
До скрытых тайников,
Разграбить все богатства
У будущих веков.

Мы общей жизни зерна,
Одной судьбы родня.
Нам пировать позорно
В счет будущего дня.

Поймите это, люди,
Как собственный приказ,
Не то — Земли не будет
И каждого из нас.

* * *

Увы, не представляет разум
Предела жадности своей,
Упрямо следуя приказу
Своих обманчивых затей.

Мы всё доводим до предела,
Разъединяя жизни круг.
От наших действий поредела
Ее мозаика не вдруг.

Мир покорён, и мир покорен
Уму и делу, но, увы,
Мир, уничтоженный под корень,
Не восстанавливаем мы.

Посмотришь — кровь по жилам стынет,—
Как это сделать мы смогли
Многоэтажные пустыни
Из нашей царственной Земли?!

УТРЕННЕЕ ОБРАЩЕНИЕ

Нет солдата без генерала.
Генералу — солдата мало.
Разворачивается работа:
Появляется взвод и рота,
Образуется штаб. У штаба —
Аппетит растет без масштаба.
И глаголет в приказе строчка:
«Весь народ под ружье» — и точка.
И — «Пора обрушить удар свой
На соседнее государство».
С адъютантом летит в конверте
Предписанье победной смерти.
И она над стихом и прозой
Пухнет атомною угрозой,
Без пощады и снисхожденья,
К каждой радости в миг рожденья,
К пестрой бабочке в чистом поле,
К тихой песне на вольной воле.
Кто теперь остановит это
Добывание тьмы из света?..

СОДЕРЖАНИЕ

I

II

III

IV

V

VI

VII

Составители:

Ким Николаевич Селихов
Владимир Семенович Савельев
Анатолий Павлович Злобин
Александр Николаевич Шаталов
Геннадий Сидорович Гоц

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Сборник

Редактор
Е. В. Леонова

Художественный редактор
Е. Ф. Капустин

Технический редактор
Н. В. Сидорова

Корректор
Н. П. Задорнова

ИБ № 6648

Сдано в набор 02.02.87. Подписано к печати 04.01.88. Формат 84×108$^1/_{32}$. Бумага тип. № 1. Обыкновенная новая гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 26,04. Уч.-изд. л. 26,04. Доп. тираж 50 000 экз. Заказ № 73. Цена 1 р. 50 к.

Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11

Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 300600, г. Тула, проспект Ленина, 109

Л 66 Личное мнение: *Сборник писательской публицистики.*— М.: Советский писатель, 1988.—496 с.

Вы держите в руках книгу, у которой 53 автора. Это виднейшие советские поэты, прозаики, публицисты. Среди них: Леонид Леонов, Вениамин Каверин, Георгий Марков, Владимир Карпов, Валентин Распутин, Егор Исаев, Евгений Евтушенко, Расул Гамзатов, Маргарита Алигер и другие. Каждый из них выражает свое «личное мнение» — из суммы этих «личных мнений» складывается впечатляющая картина жизни нашего общества на переломном этапе его развития после XXVII съезда КПСС.

Л $\frac{4702010200-242}{083(02)-88}$ КБ–15–48–87 ББК 84 Р7

ISBN 5–265–00457–2


1 р. 50 к.


Личное мнение